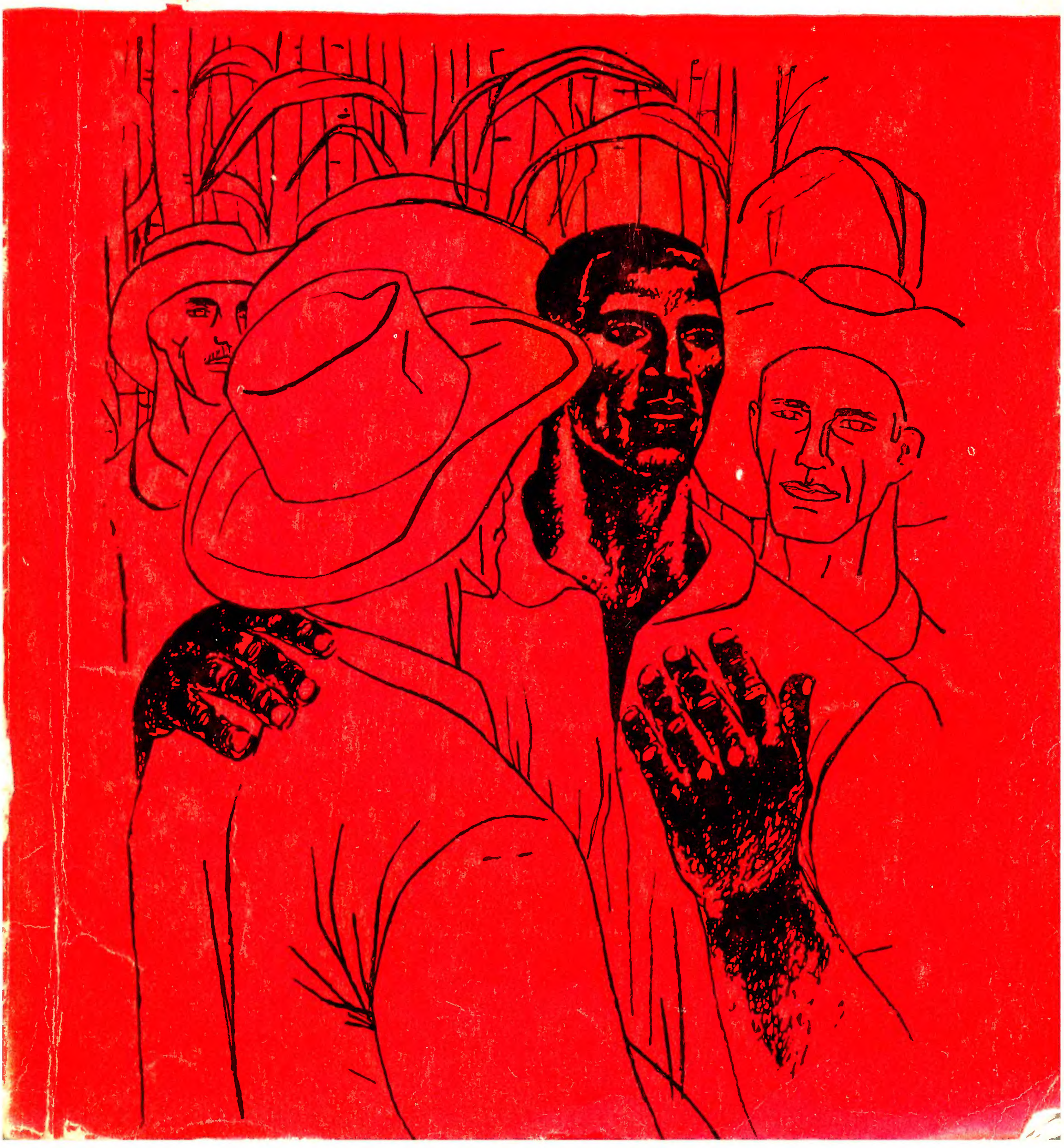
ИНОСТРАННАЯ литература

2
1964



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — На отшибе (Глава из романа «Хвала и слава») 6

Р. К. НАРАЙАН Людоед в Мальгуди (Послесловие Н. Демуровой) 53

РАССКАЗЫ

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Ночь перед боем . . . 180

СТИХИ

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ — Где ты, Испания? 4

НИКАНОР ПАРРА — На простом языке наших дней (Вступление Маргариты Алигер) 42

КРИТИКА

Р. САМАРИН — Пример Луначарского . . 198

РЫШАРД МАТУШЕВСКИЙ — Писатель народной Польши (О творчестве Ярослава Ивашкевича) 208

ИВАН КАШКИН — Испания в рассказах Хемингуэя 216

ПОЛЕМИКА

Б. Р. — О пользе споров и вреде предвзятости 227

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

КРИСТА ВОЛЬФ Почему я пишу 232

2

ФЕВРАЛЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МАРТИН НАГ — Вера в человека (Письмо из Осло) 236

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Диалог двух Франций 239

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК — Бомба для Гейдриха (Документальная повесть) 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ИВОННА ГАСАН — Антон Рефрежье—художник американской демократии 261

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Л. ОСПОВАТ - Антонио Добрый (К 25-летию со дня смерти Антонио Мачадо) . . . 269

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке рисунок кубинского художника АДИХИО БЕНИТЕСА «Братство».

Курт Циммерманн (ГДР)

«Д Р У Ж Б А»

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ

ГДЕ ТЫ, ИСПАНИЯ?

Памяти Хулиана Гримау

Я спустился к потокам хмурым,
К водам, лишенным утра,
В край неподвижного камня,
В край немого металла.
Нищие плоскогорья.
Черные веки обрывов.
В небо луной иссохшей
Кастилия смотрит устало.

Память бросала тени
На голые плечи склонов.
Было лето, как погремушка,
Горохом цикад набито,
Набито набатным звоном,
Тайной налито силой.
...Край соломы и охры.
Фрегат, занесенный илом.

В Бургосе нет прохлады.
В Бургосе потные стены.
В Бургосе голые дети
Барахтаются в фонтанах.
И костлявые руки собора
Сквозь облако древней пыли
Тянутся к золоту солнца,
К нитям дождей оловянных.

Где ты, Испания, где ты?
Я ловлю в завываниях ветра
Эхо песен твоих недопетых.
Я в глазах твоих сыновей
Вижу искры горячего света,
Блики завтрашнего рассвета.
Я знаю: багровое пламя
Зреет под серым пеплом.

Где ты, Испания, где ты?
Я ищу, ищу твои песни
На улицах, сном одетых,
Пропитанных запахом плесени

И жгучей мечтой о просторе.
Этот сон солонее моря,
В котором свое лицо
Ты отмоешь от крови и горя.

У людей твоих нету света.
Нет ветвей у них. Прошлого нету.
Смерть для них привычная штука.
Жизнь для них ежедневная мука.
Их постель — холодные скалы...
Я в растоптанных розах, Испания,
Тяжкий твой крест искал,
Твое сердце, магнит усталый.

На восходе стены Авилы
Полыхают в отсветах желтых.
А в небе гигантом хилым
Встает нефтяное солнце.
А красота — это сука,
По следам бредущая смерти.
А красота — это стыд
На лицах людей голодных.

Где ты, Испания, где ты?
Красоту твою руки слепые
Ночами ощупью ищут.
Туристы домой увозят
Фотографии тощих нищих.
А звезды к рассвету тают,
И бросаются люди в изгнанье —
В лиловый костер вокзала.

Где ты, Испания, где ты?
Нет, не в чванном золоте храмов,
Не в аренах — пурпурных ямах,
Не в знойной дремоте лета,
Не в изгибах долин холмистых,
Этих амфорах лунного света,
И не в душном сумраке порта,
Где ночью швартуются шлюхи.

Где ты, Испания, где ты?
Ты в этих строках, Испания,
Твои мечты и страдания
Колотятся в сердце поэта.
Ты в руках горняков бастующих,
Ты в непокорной Астурии,
Ты за решетками тюрем,
Ты в огненном солнце рассвета.

Перевод с французского
М. ВАКСМАХЕРА

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

НА ОТШИБЕ

Глава из романа
«ХВАЛА И СЛАВА»

Перевод с польского
М. ИГНАТОВА

I

До самой осени 1943 года Януш Мышинский отсиживался в Коморове, и никто его не беспокоил. Разумеется, покой этот был весьма относительным. Лично его, Януша, не трогали, но он постоянно оказывался вовлеченным в те или иные события. В Сохачеве действовала биржа по вывозу рабочей силы в Германию и лагеря, крупные имения отбирали и превращали в «легеншафты», а в окрестных лесах творилось невесть что. Надо было вызволять молодежь из рук «арбайтсамта» — Януш сам ездил на тележке в Сохачев улаживать эти и тому подобные дела. Однако вскоре ему стало ясно, что и о нем самом, и о его усадьбе в немецких учреждениях имеют довольно туманное представление. Тогда он перестал мозолить немцам глаза, желая по-прежнему оставаться в тени. Теперь Януш посылал в уездный городок Игнаца или Ядвигу, а чаще всего пана Фибиха, который, благодаря фамилии, мог сойти за «фольксдейчё». Пан Фибих доставал также для Януша все нормированные материалы, которые были необходимы ему в ту пору для расширения хозяйства.

Последние несколько лет стояла великолепная погода и урожаи были обильными. В первый же год оккупации, убедившись, что такой мелкий объект, как Коморово, не возьмут под немецкое управление, Януш на добытые где-то деньги (в этом ему помогла панна Текла) начал строить большие оранжереи. Маленькую теплицу, напоминавшую о первом разговоре с Зосей, он велел разрушить. Януш не любил всего, что было связано с покойной.

Как вскоре выяснилось, расходы на оранжереи, несмотря на трудности с получением нормированного кокса, окупились с лихвой: выращивание помидоров — это дело было поставлено с размахом — начало приносить солидный доход, а осенью хозяева Коморова могли уделить внимание и цветоводству. Хотя Коморово находился вдали от местечка и железной дороги, пан Фибих, нанимая «налево» грузовики, наладил бесперебойной сбыт и доставку продуктов.

Ядвига твердой рукой вела «бабье хозяйство»: битых кур, гусей и уток она частенько возила даже в Варшаву — отважная женщина как-то так устраивалась, что жандармы к ней не придирались. Из всех оби-

тателей Коморова чаще всех именно Ядвига ездила в столицу. Теперь она бывала там чаще, чем до войны. И всегда заходила на Брестскую улицу, привозила провизию для Голомбека и панны Теклы.

Как-то вечером, под осень, Ядвига не одна вернулась из Варшавы. Януш стоял в «первой» комнате у окна и различил в зыбком сумраке, как с брички, которую снаряжали в Сохачев за экономкой, сошла еще одна хрупкая фигурка. Он скорее догадался, что это была Хеленка, чем узнал ее.

Девушка вошла в комнату как ни в чем не бывало. Она поздоровалась с Янушем, ни слова не говоря о причинах своего приезда, будто всего на час отлучилась из Коморова.

Ядвига появилась следом за ней.

— Панна Хеленка,— сказала она,— поживет у нас несколько дней. Хорошо?

Януш без удивления посмотрел на Хеленку, но ответил не сразу:

— Вот и прекрасно. У тебя, Ядя, будет общество...

Экономка явно была не в восторге от такой компании. Она согласилась взять с собой Хеленку в Коморово, лишь уступив отчаянным мольбам панны Теклы, которая внушала ей уважение и даже нечто вроде страха. Ей не нравилась мрачная, но броская красота Хеленки. Она всегда отдавала предпочтение Анджею.

Однако теперь Ядвига с приветливым лицом принесла приборы и подала запоздавший обед.

Януш, как обычно, мало разговаривал с приезжей. Он задал лишь несколько вопросов, касающихся домашних. И поймал себя на том, что хотел спросить об Антосе — он забыл вдруг, что того уже нет в живых. Хеленка, доедая котлету с брюссельской капустой, как бы невзначай осведомилась:

— Дядя, а немцы к вам не заглядывают?

Никогда прежде Хеленка не называла Януша «дядей». Теперь она начала подражать Анджею. Видно, для чего-то ей понадобилось это фиктивное родство.

Януш ответил отрицательно. Нет, не заглядывали.

Он привык ни о чем не спрашивать. И раньше-то не отличался любопытством, а сейчас тем более. Хеленка заняла одну из комнаток наверху и спускалась — это его тоже почти не трогало — только к обеду.

Присутствие Хеленки за столом сначала тревожило Януша — он не мог привыкнуть к ее красоте. Особенно мешало ему разговаривать с ней спокойно сходство с Юзей Райским: каждое ее слово, каждая улыбка пробуждали в нем давно забытые сны. Но и к этому через несколько дней он привык. Глядя в ее ясные, с косым разрезом глаза, Януш вспоминал скорее фразу, услышанную в горах: «Ты уж никогда не будешь с ними», нежели давние времена. Разумеется, он тогда не мог быть с ними. Но с тех пор, как заметил, что Хеленка уже не та, что прежде — веселая, гримасничающая,— что она может быть ему сестрой в грусти, в разочаровании, в беде, он почувствовал к ней невыразимую симпатию. Она не была теперь так красива, как несколько лет назад, но стала чем-то милее. Огромную разницу в возрасте, которая существовала между ними, некоторым образом скрадывала общая беда. Поэтому со временем Януш заметил, что в нем происходят какие-то перемены.

Хотя Януш с самого начала войны, нет, еще раньше, со дня возвращения из Испании и Рима, пребывал в особого рода прострации — состоянии духа, которое легко определить словами «ни к чему»,— он все же вскоре почувствовал, что после приезда Хеленки в Коморове многое изменилось. Изменилось самое главное — настроение. А если меняется настроение, то и все меняется. Не ощущалось уже той вялой меланхолии, которую распространял вокруг себя Януш и которая передавалась

окружающим. Что-то в доме происходило. Януш не знал, чему это приписать — красоте ли Хеленки или попросту ее молодости. Иные жизненные интересы были той новью, которую внесло в его дом присутствие девушки.

И в себе самом заметил Януш перемену. Словно пробуждалось в нем что-то новое. Как будто бы тень тени надежды. А может, все это не так уж страшно — и война и вообще судьбы человечества?

Когда они сидели за обеденным столом, Янушу достаточно было взглянуть на золотую прядь, вьющуюся надо лбом «малышки», на луч света, который искрился в завитках ее волос, на отблеск осеннего дня, преломленный в ее зрачках, чтобы почувствовать перемену. Порой ему казалось, что нет войны, нет чудовищного террора гитлеровцев, которые этой осенью бесчинствовали вовсю, а есть только осеннее солнце, дробящееся светлыми бликами в волосах девушки.

Януш почти не разговаривал с Хеленкой. Слишком поглощенный работами в оранжерее и строительством ее нового крыла, он обычно перебрасывался лишь несколькими словами с Ядвигой: отправлено ли то или это? Кто поедет в Сохачев и не надо ли ехать в Варшаву?

Но Ядвигу не так-то легко было провести. Улучив минуту, когда они были в комнате одни, она спросила:

— Чего ты так теряешься за столом?

Януш только пожал плечами.

— Je t'embête, oui *,— мрачно произнесла Ядвига и вышла, громко хлопнув дверью.

«Этого мне еще не хватало»,— подумал Януш.

Однако вечером, за ужином, он вспомнил:

— Я видел вас когда-то в горах, на Хале Гонсеницовой.

Хеленка внимательно посмотрела на него.

— Когда вы нас видели, дядя? — спросила она.

— Перед самой войной. Ты была с Анджеем и еще с каким-то черняВым пареньком...

— Это был Бронек.

— Вы шли на Кшыжне?

— Да. Анджей хотел сделать нам сюрприз и не говорил, какой вид открывается с Кшыжне...

— А оттуда открывается прекрасный вид.

— Целая панорама.

— Это была для вас большая неожиданность...

— Да,— как бы собираясь с мыслями, проговорила Хеленка.— Но по пути туда я встретилась с еще большей...

— Какой?

Хеленка вдруг оживилась. Януш никогда ее такой не видел. Сначала это его озадачило, потом он все понял. В страшные годы оккупации пешая прогулка с братом и его другом, наверняка именно тогда ставшим ее возлюбленным, осталась для девушки светлым воспоминанием; это было единственное событие, к которому ей хотелось мысленно возвращаться.

— Это была чертовски приятная прогулка,— сказала она, улыбаясь и как бы отбрасывая вдруг всю серьезность конспиратора, человека, который много знает.

«Интересно, носит ли она при себе цианистый калий?» — невольно подумал в этот момент Януш.

— Это была чертовски приятная прогулка,— повторила Хеленка, не глядя на Януша, а посматривая в окно, словно видела там проделанный ими в те дни путь,— ведь мы шли пешком... Бронек всегда говорил:

---

* Я тебе надоела, да *(франц.)*.

«Мы шли пешком из Кракова до Закопане», но это было не совсем так. Мы доехали до Мыслени автобусом... и только потом двинулись по шоссе.

— Долго шли? — поинтересовался Януш.

— Три дня,— ответила Хеленка и, взглянув на Януша, со вздохом добавила: — Это были самые счастливые дни в моей жизни.

— И какой вас ждал сюрприз?

— Мы не пошли по шоссе прямо до Кликушовой, а свернули в Рабку. Я никогда не была в Рабке и не знала, хорошо там или нет. Вы были когда-нибудь в Рабке, дядя? — спросила она с внезапным любопытством.

Януш испытующе посмотрел на нее. Хеленка изменилась до неузнаваемости, казалось, это была другая девушка. Прелестные черты утратили одеревенелую скованность — улыбка озарила ее лицо. Она слегка выпячивала красиво очерченные губы, у глаз образовались мелкие морщинки, и появилась та одинокая ямочка на щеке, которая всегда придавала ей столько очарования.

— Нет, никогда не был,— ответил он.— И что же ты там такого нашла?

— Ах, это была такая неожиданность, когда мы подошли к старому костелу. Я очень устала и развалилась, как корова, под первым же деревом. Я видела, что деревья там старые и раскидистые, но не заметила почему-то, что они огромные.

— Ты, должно быть, утомилась. Жуткое дело столько протопать пешком...

Януш старался изъясняться в стиле Хеленки, хотя она давно забыла свои излюбленные выражения и говорила очень литературно.

— Деревья, казалось бы, как деревья,— продолжала девушка.— Но когда я взглянула на костел, то просто онемела от восторга, только схватила Бронека за руку и твердила: «Взгляни, взгляни...»

— Это деревянный костел?

— Из лиственницы. Он примостился среди высоких могучих лип и ясеней и представлялся совершенно нереальным. Вернее, созданным не из дерева, а из чего-то другого. Точно весь составлен из шелковых полотнищ. Ты будешь надо мной смеяться, дядя... — вдруг заколебалась Хеленка,— будешь презирать меня. Ведь я действительно ничего не видела. Но все-таки мне кажется, что этот костел потрясающе прекрасен. Он везде был бы прекрасен.

— Наверняка,— согласился Януш, упиваясь происшедшей с ней метаморфозой.— Наверняка. Эти сооружения очень красивы.

— И не в смысле каких-либо архитектурных красот,— продолжала Хеленка,— по крайней мере, так говорил Бронек,— а с точки зрения красоты фактуры. Бронек был помешан на «красоте фактуры». Он обо всем говорил так. И о костеле в Рабке, и о ясенях возле Кликушовой... Его восхищала фактура. Он говорил, что лишь Константин Гиз умел передать «красоту фактуры». Вечно ссылался на этого Гиза.

— А ты когда-нибудь видела рисунки Гиза?

— Ведь я же ничего не видела, дядя,— произнесла Хеленка, сразу сникая.

— Анджей был с вами? — чуть ли не с ревностью спросил Януш.

— Был.

— И даже на каникулы в Пустые Лонки не поехал?

— Нет,— сказала Хеленка и с суховатой язвительностью добавила: — Его возлюбленная как раз вышла замуж. А ее супруга посадили в каталажку... Анджей боялся соблазна.

Она цинично усмехнулась. Януш смутился.

Ядвига захихикала. Она торжествующе взглянула на Януша, точно хотела сказать: «Видишь, каковы эти детки». Но промолчала.

Януш уставился в тарелку, чувствуя, как у него сжимается сердце. И лишь немного погодя пробормотал:

— Ты недобрая, Хеленка.

— Никто не помогает мне быть доброй. И уж меньше всего то, что творится вокруг,— довольно резко проговорила девушка. Злая усмешка не сходила с ее лица.— Анджей — тот добрый. Он был так забавно влюблен в простую девушку, проще не найдешь на целом свете.

— Все-то ты знаешь, Хеленка! — заметила несколько задетая Ядвига.— И помнишь, что было четыре года назад? А почему нельзя любить «простых» девчат? — добавила она спустя минуту.

Хеленка ничего не ответила. Она пошла к себе в комнату и в тот день больше уже не спускалась.

Так коротали они дни в невеселых разговорах или в еще более суровом молчании. Только недели через три Януш осознал, как жаждет, чтобы это молчание продолжалось вечно. И полные разногласий застольные беседы, и этот шорох в мансарде — признак жизни «на верхотуре», которая прежде всегда пустовала, а теперь была обитаема. Он не хотел признаться самому себе, что этой осенью, когда новости одна хуже другой приходили не только из Варшавы, но и из Сохачева, сердце его наполняло чувство гармонии, какого он давно не испытывал. Януш лицемерно приписывал все добрым вестям с фронтов. Это не мешало ему следить за каждым шагом Хеленки.

Постепенно он убедился, что она находится в Коморове не потому, что бежала из Варшавы. Догадался, что здесь, на месте, она выполняет какое-то задание. Отправлялась на далекие прогулки в сторону Сохачева, а шла в противоположном направлении, к лесам. Януш видел однажды, как она прохаживалась по аллее в сопровождении какого-то юнца. Все это его сердило. Ему казалось, что его злит слишком неосторожное поведение девушки.

— И это они называют конспирацией,— как-то сказал он Ядвиге.

Экономка испытующе поглядела на него и вышла, пожимая плечами. Янушу не понравилось это молчание.

— А пусть называют как хотят,— проворчала она, когда он снова повторил то же самое.

В Коморове ни для кого не было тайной, что в лесу под Броховом, за Кампиносом, находятся партизаны. Отряд, ближе всего расположенный к Варшаве и как будто весьма активный. Янушу пришло в голову, что Хеленка выполняет роль связной между отрядом и Варшавой. Однако потом он удостоверился, что это не так.

В конце октября настали теплые, солнечные дни. Лес, казалось, был отлит из меди. По утрам чистое сапфировое небо подымалось из предрассветной мглы.

Чувство гармонии нарастало. Януш находил в себе силы преодолевать все «преходящее». Он взирал на события как бы с высоты. И в то же время знал, что все эти чувства скоро будут в нем подавлены. Он решил сочинить что-нибудь и теперь сидел по утрам за столиком, писал и зачеркивал.

В то утро он тоже сидел так часа два, устал и решил немного поработать в оранжерее. С радостью вышел он во двор, оставив листки на столе.

Когда он уже был в теплице, Игнац доложил, что его непременно хотят видеть какие-то бабы.

Януш был несколько раздосадован.

— Какие бабы? Что за бабы?

— А это, сударь, бабы из леса, аж из-за Брохова.

— Что им надо?

— Они, сударь, из Люцыны.

— Из Люцыны? Что это значит?

— А это деревня такая есть,— сказал Игнац,— в лесных глубинах. Сами понимаете, сударь...

Игнац многозначительно подмигнул. Януш знал, что Игнац тайком в овине слушает радио и почитывает газеты. Поэтому он догадался, о чем тот говорит.

«Люцына,— вспомнил он,— это деревня, находящаяся далеко в чаще леса. Полностью контролируется партизанами».

— Ну, так зови этих баб,— сказал он, сдаваясь.

Вошли две женщины, высокие, загорелые, голосистые. Какие-то удивительно смелые и симпатичные. Януш при виде их улыбнулся. Та, что была выше ростом и постарше, подождала, пока Игнац вышел из оранжереи, и начала без всяких предисловий:

— Мы пришли сюда, сударь, с нижайшей просьбой.

— Это не наша просьба,— добавила младшая.

— А чья?

— Да тех, из леса,— без смущения сказала старшая.

— Что вам нужно? — холодно спросил Януш.

— Да к ним, сударь, теперь два англичанина приблудились, а столковаться с ними невозможно.

— Значит, я должен пойти к тем, из леса? И служить им переводчиком?

— Просили, чтобы сейчас же, а то им очень некогда. Вроде бы должны этих англичан поскорее отправить... А столковаться с ними — ни в какую!

— Но ведь это далеко, чертовски далеко.

— Безделица для ваших ног. Километров двенадцать будет... Только они просили, чтобы вы непременно пришли пешком. Ведь бричка да конь и всякое такое навлекают... Ей-ей, недалеко, двенадцать...

— Да что ты болтаешь,— перебила младшая,— до Люцыны восемь, а там два-три...

— Надо в обход, не деревней. Будет с тринадцать километров... За два часа дойдешь.

— Но как же я туда попаду? — спросил Януш, все более раздражаясь.

— А мы вас проводим. За этим и пришли.

— Значит, я должен уже собираться и идти?

— Выходит так, благодетель, пока еще тепло и солнышко светит. Мы пойдем передом...

— Чтобы не навлекать...

— А вы следом. Мы будем оглядываться, поспеваете ли за нами.

Бабы засмеялись. Януш почувствовал себя задетым.

— Не бойтесь,— сказал он,— ноги у меня еще сильные.

— Так ведь мы межами, межами, прыг-скок, словно зайчишки...

— Сюда-то мы шли, пожалуй, не более часа.

— Ну, так и я пойду межами,— улыбнулся Януш.— Надо только взять какой-нибудь еды. Ведь это займет целый день.

— Не стоит, сударь. Там вас покормят. И у нас в Люцыне перекусите. Не стоит нагружаться.

Януш уже давно не выходил в чистое поле. Он бодро шагал теперь за двумя веселыми бабами; они шли легко, как цыганки. Сперва у него чуть-чуть захватывало дух, так стремительно двинулись они вперед. Бабы озирались на него и подталкивали друг друга локтем, словно это была какая-то любовная игра. Его забавляла эта прогулка вдоль межи, «прыг-скок, словно зайчишки», вдогонку за женщинами.

Во всей этой осенней безмятежности он уловил вдруг новый, давно

забытый оттенок сердечности или дружелюбия — что-то отрадное и прекрасное.

Мышинский никому не объяснял, куда направляется, но Хеленку и Ядвигу, попавшихся ему в саду, слегка встревожило упрямое выражение его лица. Януш миновал их, ничего не сказав, и направился к перелазу, пробитому в каменной ограде сада. Выйдя в поле, он обернулся. Обе женщины стояли в проломе стены и смотрели в его сторону. Он махнул им рукой, чтобы успокоить.

Меж тем провожатые пошли не прямо, а, сделав большой крюк, обогнули Коморово, пересекли шоссе и только по ту сторону его повернули к видневшимся на горизонте желтым и голубоватым полоскам леса.

«Я смогу вернуться липовой аллеей,— подумал Януш, почти бежавший по меже,— они берут лишку».

Бабы направились через поля. Они шли межами, а издали казалось, что идут напрямик. Вскоре на опушке дубняка они почти пропали из виду. Но их черные, с зеленоватым отливом платки мелькали среди стволов.

Януш торопился изо всех сил. Он чувствовал, как бодрящий воздух ускоряет кровообращение, дышал так, словно у него убавилось лет, и совсем перестал думать о том, что его ждет. А ведь сперва он с неприязнью представлял себе встречу с партизанами; наверняка его ждет трудный разговор с английскими парашютистами или заблудившимися летчиками. Но когда достиг опушки и ступил на тропу в дубняке, совсем уже забыл о цели своего похода.

Он сам не знал почему и вряд ли смог бы это объяснить, но ему вспомнилась ранняя молодость. А может, знал? Ну, конечно, такая же дорога — только почва была менее песчаной — вела из Манькувки в Молинец. Так же надо было идти по дороге, петлявшей среди старых дубов. Такая старая дубрава и на Украине и здесь — редкость. Януш смотрел на высокие дубы и восхищался медно-красным оттенком листвы. Свернулась она и скорчилась, но не опадала. В воздухе стояла тишина, и не было ветра, который мог бы ее развеять. Над бурым лесом простиралось небо — без единого облачка, темно-сапфировое и очень высокое. Итальянское небо.

В памяти Януша воскресали ежедневные прогулки между двумя домами его детства. Сколько раз — порой даже по нескольку раз в день — он проделывал этот путь, когда был в Манькувке! Старик Мышинский посылал его к Райским со всякими пустяками: с запиской к пану Райскому, с просьбами взять в долг сахару или обменять газеты, ибо тех газет, которые читали у Райских, Мышинский не выписывал.

Пожалуй, он не шел лесом еще и четверти часа, как уже совершенно забыл, где находится и стечению каких удивительных и страшных обстоятельств обязан тем, что очутился здесь, а не между Манькувкой и Молинцем.

Как-то вполне естественно исчезло ощущение времени, словно чьи-то руки сняли с его плеч тяжесть суровой и грустной жизни — он снова стал молодым Янушем, влюбленным не столько в Ариадну, сколько вообще в мир. Молодым Янушем, который шагает лесом из одной усадьбы в другую.

Он тихонько насвистывал тему Второго концерта Шопена и даже принялся махать в такт рукой, как делал это на прогулках в дни своей юности. Этому он научился на гимназических экскурсиях в Житомире. Тогда все ребята махали так, на манер царских солдат. Януш улыбнулся.

Ему было очень хорошо в этом лесу. По-настоящему хорошо. Он уже давно не чувствовал себя таким счастливым. Казалось, кто-то снял с его плеч тяготы жизни. Снял, как пальто. И уже не было ни жизнен-

ного опыта, ни смерти близких, ни всех разочарований, черствости, тревог, Испании. Была только огромная вера и огромная радость, как перед самым отъездом из Молинца в Одессу. Он повторил себе: «Все будет хорошо, вот увидишь, Януш, все будет хорошо.— А потом добавил: — Будет хорошо, дорогой».

И снова улыбнулся, ибо эта фраза напоминала ему Яся Вевьюрского и его безграничную доброту, лучистость его глаз, которые потом он сам закрыл своими собственными руками. Нет, не закрыл, ибо всего этого не было. Еще не было.

Была только горечь молодости, приятная, как размятый зубами первый березовый листок.

И странно: всей жизни не было. Он избавился от гнетущей тяжести. Шел легко, так легко — и вовсе не чувствовал усталости. Не думал о том, что должен идти за какими-то бабами, а следовал за ними машинально. Но, хотя он и не чувствовал тяжести минувшей жизни, она существовала вне его и растягивалась между стволами берез и дубов, как гигантское полотнище. Он мог теперь обозреть всю ее — огромную, долгую, как ему казалось, и совершенно бесплодную, он видел ее, как нечто единое. И его удивило, что была она такой тяжелой, трудной, хоть и не изобиловала большими творческими усилиями — была пустой и тяжелой, как железо. Может, потому и тяжелой, что пустой.

На мгновенье Януш остановился и присвистнул.

«Боже мой, посмотрите-ка,— сказал он,— вот ведь до чего дошло».

Столько в этой жизни было хлопот и суеты. А ведь он так старался, чтобы их было как можно меньше. Но с первой минуты жизни... А что было первой минутой его жизни? Конечно, тот момент, когда он увидел Ариадну в белом платье на самом верху лестницы в странной квартире Тарло в Одессе... С первой минуты жизни все у него «не складывалось». Все превращалось в проблему, и проблемы эти не решались, а падали нерешенные в пропасть, как изуродованные куски железа. И столько лежало на дне его жизни этих вопросов, запутанных и неразрешимых. В сущности он не знал, зачем женился на Зосе, а еще менее знал, почему ее потерял. И почему после этой потери все пошло не так, как надо. Глупые поездки, во время которых перед глазами стояла улыбка маленькой Мальвинки. Не только глупость, но и преступление! Эти страшные дни в Испании. И смерть Ариадны.

Януш содрогнулся, ибо жизнь, которая распростерлась перед ним, как нечто чужое, безразличное и скучное, вдруг снова стала его собственной жизнью и крепко схватила за горло. Ариадна, лежащая под автомобилем, который бесстыдно изорвал и задрал ей юбку,— лежащая в красной луже, с открытыми и уже мертвыми глазами, застывшими, как у застреленного зайца,— не могла стать чем-то чужим и далеким. Она настолько глубоко вошла в жизнь Януша, что была неотделима от него. Он не мог ее оторвать, не мог обрести из-за нее своей невинной молодости, легкости прогулки между Манькувкой и Молинцем. Всюду, где бы он ни шел — даже дубравой молодости,— он шел со всеми этими смертями за пазухой.

Один Янек Вевьюрский остался где-то в стороне, не торчал в его жизни, как колючка, вонзившаяся в ладонь,— и об одном Янеке подумал он, продолжая путь, почти с радостью. Он испытывал облегчение от того, что не в его жизни, а вообще где-то существовал такой человек, со светлым чубом, с голубыми глазами и этим ласковым словом.

«Дорогой»,— снова повторил Януш.

И тогда желтые дубы, словно по воле волшебного заклятья из тысячи и одной ночи, превратились в зеленые, весенние. И Януш, уже давно шагавший по лесу, рассердился: «Почему, черт побери, я не вижу этой Манькувки?» И лишь когда дубрава поредела и Мышинский вышел

на опушку и увидел среди леса широкую котловину, где дымили хаты Люцыны, он заметил, что его окружает осенний пейзаж.

Бабы остановились у изваяния мадонны на перекрестке дорог и показывали жестами, чтобы он обходил деревню. Только одна теперь пошла межой к лесу, лежавшему за деревней, а вторая своим легким, цыганским шагом направилась к дому, из трубы которого подымался высокий, пушистый столб дыма.

Младшая миновала дворы и за деревней тоже двинулась к лесу. Деревья в этом месте были не такие старые, и кроны смыкались плотнее.

Когда Мышинский вступил под свод листвы, он показался ему более таинственным. Януш отдавал себе отчет в том, что постепенно приближается к месту расположения партизан. Однако он шел по этим зарослям еще минут сорок пять, уже ни о чем не вспоминая, не размышляя. Боялся только, как бы не потерять след женщины, чей платок снова просвечивал то здесь, то там между деревьями. Вперемежку с дубами росли сосны, попадались и высокие, старые липы, которые были старше всего этого леса.

«Глупо, что она по-прежнему идет впереди меня,— подумал Януш,— здесь бы мы могли идти уже вместе».

И вдруг ему захотелось — тем более что он чувствовал себя молодым и свежим — пройтись вот так зеленым лесом с этой женщиной, шагать рука об руку, глупо смеяться и шутить над чем угодно. Одним словом, быть молодым. Мог бы и месяц посветить, как в цыганском романсе, а нынче еще вдобавок и полнолуние...

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни.
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни...

Ему стало бесконечно жаль утраченной молодости и утраченной любви. Впрочем, стараясь утешить себя, он подумал, что не было у него ни настоящей молодости, ни настоящей любви. Ни с кем он не был так крепко связан, как концы шали на груди. Ядвига? Он не любил Ядвигу. Хеленка пришла слишком поздно. Да, вне всяких сомнений, теперь он видел ясно — или это ему только казалось,— что он не изведал настоящей любви. А может, иначе: никогда не знал счастливой любви. Это большая разница. Вечно все либо не удавалось, либо повисало в пустоте. Тогда, единственный раз, когда Зося поцеловала его в губы, сразу же после свадьбы, он ощутил какую-то тревогу. Но это чувство больше никогда не возвращалось. И может, вовсе не было счастьем? А то, что было с Ариадной, погребено во прахе забвения, в пепле времени, в серой нынешней повседневности — он уже не помнил этого.

Это было давно,
Я не помню, когда это было...
Может быть, никогда?

Может, никогда не было?

— Не было? Так слава богу, что не было,— громко сказал он самому себе. Не было Ариадны, не было любви, не было смерти. Не было смерти Ариадны, белого «линкольна», лужи крови. Что лучше? Чтобы не было ни любви, ни смерти? Или чтобы была огромная, великолепная любовь, а потом — смерть?

В эту минуту он наткнулся на свою младшую провожатую, которая разговаривала с партизаном. Он, кажется, требовал какого-то официального пропуска, а женщина улаживала дело, «беря горлом».

— Велели привести, вот и привела,— бойко тараторила она.— Это помещик из Коморова, он должен потолковать с вашими англичанами. Ну, пустите же нас, бога ради. Не волыньте.

Януш подошел к молодому партизану. Это был невысокий блондин, красавчик, но с удивительно плебейскими чертами лица. У него были большие голубые глаза и пшеничные бакенбарды. Янушу партизан показался жестоким, и он сразу почувствовал к нему антипатию.

— Ступайте вперед,— резко сказал наконец тот Янушу.— По этой тропинке, прямо.

И повел его, как на расстрел.

Так они дошли до изгороди, за которой стоял домик лесника, небольшой, выкрашенный бурой краской, крытый гонтом. По двору сновали какие-то люди, выглядевшие весьма непрезентабельно.

Скрипел журавль у колодца.

«Как у Сенкевича»,— подумал Януш.

К ним подошел пожилой партизан. Януша провели в какую-то странную пристройку, похожую на дровяной сарай или кладовую. Там висели на стенах уздечки и хомуты. Молодой, с бакенбардами, задел за бубенчики — они зазвенели, напоминая о зиме и катанье на санях. Стояли там и винтовки.

— Эй ты,— окликнул пожилой кого-то, пробегавшего по двору,— приведи этих барчуков в оружейную мастерскую.

Януша усадили на табурет у стола, вернее станка, на котором ремонтировали, очевидно, и хомуты и винтовки. Тут же валялись обрезки черной кожи, грязная пакля, шомполы и ржавые шурупы.

— Присядьте здесь,— сказал пожилой партизан, между тем как молодой стал часовым у дверей. Это не понравилось Янушу.

— Видите ли,— продолжал его собеседник,— им надо растолковать, что сегодня или завтра будет самолет, приземлится на шоссе, тут, неподалеку, и что они должны сесть и уехать. И что полетят они в Россию, матушку-Расею, понятно? И чтобы они не воображали, что их можно доставить в Лондон, английскому королю в зубы. Ничего подобного. Пусть и не мечтают.

— А откуда они тут взялись? — спросил Януш.

— С неба упали,— сказал пожилой.

Внезапно заговорил часовой. Голос у него был хриплый и очень неприятный.

— Я бы посоветовал вам прекратить эти расспросы.

Януш обернулся к нему, крайне удивленный.

— Это вы мне говорите? — осведомился он.

— А то кому же! — грубо ответил партизан.— Может, вашей мамаше?

— Успокойся, Збышек,— сказал старший, явно почувствовав себя неловко.— Чего ты задаешься?

Но в эту минуту ввели двух «барчуков». Действительно, вид у них был такой, словно они прибыли прямо с Пиккадилли. Один рослый, светловолосый, с коротеньким носиком, совсем как лорд Дуглас. Второй — пониже и потемнее, с черными глазами — был гораздо мужественнее с виду. Они стали по ту сторону станка шорника и дружно поклонились Янушу.

— Good afternoon *,— произнесли оба одновременно, как благовоспитанные мальчики.

Януш с трудом сдержал улыбку.

В этом странном и жестоком мире, среди закаленных и грубоватых партизан, каждый день находящихся на волосок от смерти, эти два благовоспитанных англичанина действительно выглядели не только смешно, но и трогательно. Так они были уверены в своей ценности.

---

* Добрый день *(англ.)*.

У одного шея была повязана пестрым шотландским шарфиком, у другого из кармана френча торчал небольшой томик в сером сафьяновом переплете. Библия или стихи?

«Наверно, «Потерянный рай» Мильтона»,— подумал Януш.

— Боже мой, господа! Откуда вы взялись? — спросил он.— Что тут делаете? Вы должны сматываться отсюда при первом же удобном случае. Как будто на днях вам представится такая возможность. Не разводите церемоний, садитесь в самолет и до свидания!

— All right *,— сказал брюнет,— но мы требуем, чтобы нас, как сражающихся офицеров, отослали в Англию.

— Хорошо, хорошо,— согласился Януш.— Я вас понимаю, но надо также считаться с возможностями. С Англией нет связи...

— Но мы не хотим в Россию,— возразил блондин и жалобно взглянул на Януша.

— Если мы не можем поехать в Англию, то предпочитаем остаться здесь.

— Но сейчас идет война,— увещевал их Януш.— Вы не можете здесь остаться.

— Почему?

— Потому, что здесь опасно.

— Почему?

Януш развел руками.

— Почему? Почему? Неужели вам не ясно, в каком положении вы находитесь?

В эту минуту часовой у дверей снова забыл о своих служебных обязанностях и подошел к столу. Он резко сказал Янушу:

— Что вы так долго им внушаете? Молитве их учите, что ли? Вы должны им сказать, что они поедут в Россию, и точка.

Януш бросил разгневанный взгляд на юнца с баками и повысил голос.

— Я говорю с ними, как считаю нужным! — воскликнул он.— А если вы не доверяете мне, нечего было меня вызывать.

— Чего они от вас хотят? — испуганно спросил блондинчик.— Этот солдат,— он показал на часового,— нам очень неприятен.

— Перестань, Збышек,— снова принялся успокаивать часового пожилой партизан, который привел сюда Януша.— Отвяжись и не задавайся.

— Я бы такому не доверял,— буркнул Збышек и отступил к дверям.

Януш обратился к английским летчикам со всей учтивостью, на какую был способен:

— Увы, господа, я не могу продолжать разговор с вами. Мне было поручено сообщить вам, что вы должны выехать при первой же возможности. Полагаю, что вам скорее следует уступить. У вас нет выбора. А упорство в данном случае нежелательно.

— Что это значит? Почему нежелательно?

— Это значит — опасно,— решительно заявил им Януш.

— Это значит, что нас могут убить? — спросил чернявый.

— С ума ты сошел! — напустился на него блондинчик.— Ведь мы же офицеры королевских военно-воздушных сил и находимся среди союзников. Здесь нам не может грозить никакая опасность.

— Ну, а если немцы окружат этот лес,— вышел из терпения Януш,— если они вырежут поголовно весь этот партизанский отряд, тогда что? Советую, господа, подчиниться. Вы находитесь в оккупированной стране. Вы как бы в плену...

---

* Хорошо *(англ.)*.

— Мы находимся среди друзей,— отчетливо произнес блондин-идеалист.

— Разумеется, но...— Януш развел руками,— моя миссия окончена. Больше мне нечего добавить,— и обратился к партизану, который привел англичан: — Кончено.

Тот с силой хлопнул себя по бедру.

— Ну, шагом марш,— скомандовал он англичанам.— Пошли.

«Барчуки» снова наклонили головы. как две китайские куклы.

— Good bye! * — произнесли они одновременно и вышли спокойным, ровным шагом из «оружейной мастерской».

Януш изложил содержание беседы с англичанами пожилому партизану, который казался более рассудительным.

Партизан выслушал его и сразу же вышел.

Тогда Януш обратился к другому, с бакенбардами, продолжавшему стоять у дверей:

— Моя миссия закончена. Можно идти домой?

— Погодите,— мрачно ответил тот и, к величайшему изумлению Януша, оставил его одного среди хомутов и винтовок. Довольно долго он не возвращался.

«Вечно зря теряешь время»,— вздыхал Януш.

Наконец Збышек с бакенбардами снова влез в каморку и проговорил словно бы с грустью:

— Ну, теперь уже все. Больше вы никому не нужны.

II

Молодой, медведеподобный партизан, оставивший без внимания все попытки заговорить с ним, проводил Мышинского до того самого места, где он расстался с сопровождавшей его женщиной. Оттуда Януш шел уже один.

Наконец он остановился на опушке и посмотрел в сторону деревни. Люцына лежала тихая и словно бы необитаемая под лучами осеннего солнца. За деревней снова тянулся лес, который предстояло пройти, чтобы попасть в Коморово.

Януш старался понять, почему не испытывает страха. Ведь его наверняка поджидала здесь не одна ловушка.

Встреча с лесными людьми вытеснила ощущение непосредственной опасности. Если там ничего с ним не случилось, так уж тут ему тем более нечего бояться.

Януш хотел двинуться дальше, как вдруг позади раздался голос. Он нехотя обернулся: у него была внутренняя потребность собраться с мыслями, побыть в одиночестве, а женский голос выводил его из этого состояния.

Обернувшись, он увидел женщину, которая сопровождала его до места расположения партизан.

— Уважаемый,— сказала она,— что же это они вас отпустили не по-христиански? Вы, верно, голодны, отмахали столько верст. Идемте со мной. Загляните в мою хату.

Януш заметил, что на этот раз женщина — видимо, потому, что была без подружки, — выражалась вполне интеллигентно, ни в ее произношении, ни в лексиконе не было ничего вульгарного.

Он и сам не знал почему, но это произвело на него скорее отрицательное впечатление.

---

* Прощайте *(англ.)*.

— А вы, видно, кончали школу? — спросил Януш.

— Ох, какая там школа...— отмахнулась она.

Януш не очень охотно, но все-таки последовал за ней.

Они шли в сторону Люцыны. Дым над хатами поднимался прямо в небо.

— Какая превосходная погода,— заметил Януш по дороге к деревне.

— Чего же вы хотите? Осень. У нас всегда осенью благодать.

Это было банально.

— Мужа нет, поехал в Варшаву, но мы с соседушкой,— «Наконец, какие-то человеческие слова»,— подумал Януш,— но мы с соседушкой кое-что для вас приготовили. Я сразу поняла, что эти партизаны ничего вам не дадут.

— Кое-что они мне дали,— сказал Януш, но думал он совсем о другом. Не о хлебе.

Дальше они шли уже молча. Деревня производила впечатление чистой, но очень бедной.

Они вошли в третью хату от края вдвоем. И никого не встретили по дороге — ни ребятишек, ни даже скотины. Ни одна собака не забрехала.

Они очутились в довольно темной комнате. Окна затеняли кусты и высокие деревья, которые росли здесь возле хат,— вероятно, остатки леса.

— Я сейчас...— сказала хозяйка и исчезла в другой половине дома.

Януш сидел один. Он не хотел признаться самому себе, что партизанский лагерь произвел на него большое впечатление.

Большое впечатление произвели на него и англичане. Их наивность, непонимание обстановки. Они непременно хотели попасть в Англию, а ведь ясно, что туда их доставить невозможно.

«Пусть им кажется, что они летят в Англию,— произнес он про себя,— а когда приземлятся в Саратове, все будет в порядке».

И подумал: «А может, их действительно отошлют в Саратов?»

Ему стало жаль этих англичан. Он живо представил себе мины «барчуков».

Дело в том, что, покидая партизанский лагерь, Мышинский еще раз мимоходом увиделся с «барчуками».

Когда он, уже брошенный на произвол судьбы своим стражем, но еще не встретившись с женщиной, проходил мимо густых кустов орешника недалеко от того места, откуда открывался вид на деревню, он вдруг обнаружил двух англичан, стоявших в чаще и казавшихся почти нереальными. За ними, разумеется, маячила какая-то фигура — очевидно, это был тот добрый партизан, который и разрешил им эту последнюю встречу с Янушем.

Януш вошел в заросли, на ветках орешника еще держалась густая, увядшая, бурая листва.

Юнцов заливал мерцающий свет, просеянный сквозь ветви и остатки осенних листьев. Солнечные блики лежали на их лицах, словно на картине.

Почти ничего не говоря, буркнув что-то, похожее на «good bye», они сунули ему в руки два предмета. Младший — томик в сафьяновом переплете, сказав: «Шелли», а второй — большой, холодный, гладкий кольт.

Теперь, сидя в хате и дожидаясь трапезы, Януш сказал себе:

«Вот я и вооружен на смерть и на жизнь».

И надо признать, что наличие этого пистолета в кармане несколько изменило его настроение.

Он устал, и ему даже казалось, что все происходит во сне.

Януш оглядел комнату. Здесь было лишь несколько табуреток и кро-

вать. Он сидел у ветхого стола, доски которого были гладко отполированы от долгого употребления.

На таком столе должна была бы появиться краюшка черного хлеба и крынка простокваши. Но провожатая, которую, как выяснил Януш, звали Сабиной, принесла большое белое блюдо, какими пользуются в имениях, а на блюде красовался жареный гусь — ароматный и обложенный подрумянившимися картофелинами. Был и окорок, нарезанный ломтиками, лук и помидоры.

Разумеется, появился и хлеб, а затем, наконец, початая бутылка самогона.

Януш только теперь почувствовал, как проголодался, и усердно принялся за еду.

— Вот видите, а то бы пошли голодный. Хорошо мы с Софьей додумались, что надо вас по-человечески накормить.

— Великолепное угощение,— сказал Януш.

— Ничего другого у нас нет. Только бедную птицу все бьем да бьем. Не утка, так гусь, не гусь, так курица. Последнее время даже муки на лапшу нет...

— А яйца есть?

— Когда такой лагерь под боком,— сказала Сабина,— то не много яиц убережешь. Собирают сами, на зорьке шарят по курятникам... Наказание...

Хозяйка ничего не ела, зато выпила с Янушем стаканчик, один и другой.

— Давно они здесь стоят? — опрометчиво спросил Януш.

Сабина пристально посмотрела на него. Но в ее взгляде не было подозрительности. Скорее какая-то грустная снисходительность.

— Стоят, стоят,— сказала она.— Давно уже. С самой зимы.

— А мне, в сущности, безразлично,— сказал Януш, сообразив, что его вопрос бестактен.— Просто так спросил. Я знаю, что по нынешним временам лучше не задавать вопросов.

Сабина как-то странно улыбнулась в ответ.

— Вы такой ученый,— начала она,— образованный...

Януш почувствовал раздражение.

— Не притворяйтесь,— сказал он,— мне кажется, что и вы получили образование.

— Не слишком большое,— еще раз улыбнулась Сабина.

«Улыбка у нее какая-то сердечная, даже материнская»,— подумал Януш. Ему стало досадно, что он ее одернул. Сабине не хотелось говорить о себе. Это было совершенно ясно.

— Вы что-то начали говорить? — напомнил он уже мягче.

Самогон сразу ударил ему в голову — ведь он выпил на голодный желудок целых два стаканчика. Мышинский почувствовал, что у него есть что-то общее с этой женщиной. Возможно, мелькнула у него мысль, она имеет в виду то же, что и он.

— Да ничего. Мне просто хотелось спросить вас,— сказала Сабина.— Но если вы считаете, что в наше время не следует задавать вопросов...

— Смотря какой вопрос,— попытался Януш вызвать ее на разговор.

— В том-то и дело, что вопрос довольно сложный,— сказала Сабина и пододвинула к нему блюдо.— Ешьте,— сказала она,— вам предстоит еще дальняя дорога. Это мы с Софьей только так говорили, что недалеко... Боялись, что откажетесь.

— Мне очень хотелось отказаться. Кстати, приняли меня здесь весьма негостеприимно. Не доверяли мне, что ли?

— Не удивительно, ведь им приходится с любым человеком держать ухо остро... Они очень осторожны.

— Ну да,— сказал Януш без особой убежденности.

— Я хотела вас спросить,— заговорила Сабина,— как, по-вашему, долго они тут продержатся?

Януш рассмеялся.

— Вы полагаете, что я — всезнайка.

— А вы не знаете?

— Дорогая моя, я сижу дома, запершись на четыре засова, и ничего не знаю! И даже если бы сидел в самой Варшаве, Лондоне или Москве, все равно не сумел бы ответить на этот вопрос.

Сабина немного удивилась.

— Вы сидите в Коморове? — А потом добавила: — И *ничего* не делаете?

Януш почувствовал себя неловко.

— Что же я мог бы делать? Не знаю, имеет ли большой смысл вся эта конспирация.

Сабина задумалась.

— Возможно, многого они не сделают... Но как-то так уж заведено, что мужчина не сидит сложа руки. Мой муж не в Варшаве, он совсем в другом месте...

— Мне бы даже не хотелось этого знать,— сказал Януш.

— А вы кто же будете? — спросила Сабина.

Януш не ответил.

С минуту они помолчали.

— Ешьте, пожалуйста,— сказала Сабина.

— Больше не могу.

— Сейчас принесу кофе. У меня немного сохранилось. У нас его никто не пьет, могу вам сварить.

И исчезла в другом конце сеней.

Януш снова оглядел комнату. Выпитый самогон начал на него действовать, и теперь он заметил в хате совсем иные вещи, чем прежде. На стенах висели фотографии, картинки из Сохачева, какой-то вид Желязовой Воли.

«Сентиментальная хата»,— сказал он себе.

Хата, видимо, и впрямь была сентиментальной, ибо мысли Януша приняли иной оборот. Его несколько озадачили слова хозяйки: «И *ничего* не делаете?»

Януш мог делать то же, что и те, у кого он был сегодня с визитом. И он с досадой подумал, что все-таки испытывает к этим людям нечто вроде антипатии. Но признавшись в таком недостойном чувстве, устыдился и тут же призвал себя к порядку.

И все-таки он не мог избавиться от ощущения какой-то внутренней неловкости. Что-то во всей этой истории его не устраивало. Впрочем, что именно — не составляло тайны. У Януша было врожденное отвращение ко всякой деятельности — он обнаружил это, разумеется, не впервые. И вооруженные действия, и военный лагерь, и приготовления к борьбе — все теперь претило ему. Он подумал об Анджее. Януш был глубоко убежден, что по натуре Анджей ему сродни. Их разговор под дубом в Коморове в тридцать девятом году был полон недомолвок. Но Януш понимал, что Анджей, как бы обязуясь действовать за него, взваливая на свои плечи всю тяжесть ответственности, чинил насилие над собственной натурой.

«Каким же образом это ему удалось?» — спросил он себя.

Вспомнил, что говорили (все это повторяла ему Ядвига, возвращаясь из Варшавы) о последних подвигах Анджея. Януш огорчался, ведь он очень любил этого юношу. И прекрасно знал, что Анджею нелегко было превратиться в такого рубаку и что он наверняка тоже страдает.

«Надо бы лишить его моих полномочий,— подумал Януш, словно переносясь в сферу деловых отношений.— Я должен взять все это на себя».

В ушах его звучал вопрос Сабины: «А вы кто же будете?»

Он хотел подумать над этим, но мысли путались. Что бы он мог ответить на этот вопрос? В сущности, кто он такой? Что означает его присутствие в этом мире, который сделался столь нелепым и жестоким? Какой смысл имеет его существование? «Кто обо мне думает? Кто меня помнит?»

И весьма странная мысль пришла ему в голову: а может, помнит о нем — где-то там, в далекой России — его непостоянный друг Володя. Он попытался представить себе, какое сейчас может быть отношение Володи к польскому обществу. Какие мысли обуревают его в тот момент, когда советские войска приближаются к границам Польши.

«Наверно, вспоминаются ему наши одесские разговоры, наши встречи, неожиданные и такие странные, и все то, что мы успели сказать друг другу.

Наверно, вспоминается и то, о чем мы не успели или не решились сказать друг другу, все недосказанное, что, однако, оказало глубокое влияние на историю всей этой дружбы.

Удивительно,— рассуждал он далее,— что двух друзей разделяет именно то, о чем они не решались говорить. Все, что осело на дне фраз, на дне сердец, на дне слов, которые в общем-то в их разговорах не означали того, что должны были означать».

Володя не питал к полякам особой нежности и не скрывал этого от Януша. Он даже недооценивал их, хотя и говорил обычно, что они хорошие солдаты. Но после бесед с ним у Януша всегда оставалось впечатление, что Польша привлекала Володю и он говорил не то, что чувствовал, а только то, что, как ему казалось, должен был говорить. Володе нравилось его происхождение — ведь он носил польскую фамилию.

«Ариадна считала себя полькой»,— вспомнил Януш.

И это имя Ариадна, возникшее в столь своеобразной обстановке, помогло Янушу осознать всю нелепость положения, в котором он очутился. Более того, всю нелепость его жизни — жизни человека, совершенно не приспособленного к действительности, которая уже столько лет его окружала. Эта участь показалась ему незаслуженной, недостойной поляка, это было прозябание на задворках событий. Он писал сегодня письмо Билинскому и оставил его неоконченным на столе. И теперь, сидя здесь, в убогой крестьянской хате, между лесом и партизанским лагерем, он подумал о том, что письмо это, изобилующее — о боже! — ссылками на историю Польши, было таким искусственным, никчемным и, собственно говоря, не отражающим его положения. Хуже всего была именно эта его неприспособленность. И то, что он мог размышлять о «вечных» проблемах перед партизаном с бакенбардами, старался создать себе искусственный мир, который брала приступом польская действительность, носился с собой и придавал себе значение, какого у него не только не было, но и не могло быть. Какой смысл имела его жизнь для этой деревни, для партизан, для этих масс, которые все так же гибли в повседневной сутолоке? Он приписывал своей встрече с Ариадной какое-то невероятное значение, но едва произнес это удивительное имя в пустой крестьянской хате, как тотчас понял, что эта встреча, как и вся его жизнь, ровным счетом ничего не значила.

«Не может это так продолжаться»,— сказал он себе.

И подумал, что письмо Билинскому — только попытка придать значимость своей пустой жизни. Напряжение всех сил ума и души, чтобы оставить после себя след, какого не оставили люди, из поколения в поколение рождавшиеся, работавшие и умиравшие в Люцыне, в этой хате.

Только пласты моллюсков, образующих меловые отложения, лежат здесь. Ему страшно было думать о себе как об эфемерном, преходящем существе, но он чувствовал, что такова его судьба.

— Восставать против судьбы? Это невозможно,— снова произнес он почти вслух.— Однако такой бунт...

В эту минуту в сенях послышались шаги хозяйки, и она с довольно таинственным видом вошла в комнату.

В руке Сабина несла небольшой чайник с кофе. Она налила Янушу стакан. Кофе был жидкий, но Януш давно не пил его и обрадовался такому угощению.

— Я думала,— сказала Сабина, присаживаясь напротив гостя,—что вы страсть какой ученый.

— Ученый? — спросил Януш.

— Ну, так говорят тут, в деревне. Одним словом, начитанный, как вы говорите.

Януш недоверчиво покосился на женщину. Все меньше походила она на деревенскую бабу, и все больше проглядывал в ней человек, который лишь скрывается в деревне. Он слегка насторожился.

— В чем начитанный?

— Впрочем, начитанность не имеет тут ни малейшего значения,— произнесла Сабина, как бы сбрасывая остатки принятой личины.— Дело не в этом. Мне хотелось бы знать, как человек вашей культуры оценивает наше положение.

Януш улыбнулся.

— Мне кажется, вы явно ошиблись адресом. Вы видели, как я живу — ведь ко мне не доносится даже эхо войны, а что уж говорить о каких-то существенных политических проблемах. Я политикой не интересуюсь.

Сабина пожала плечами.

— Это только так говорится,— заметила она, наливая и себе кофе.— Должны же быть у вас какие-то мысли.

Януш протянул к ней руку.

— Мне не хотелось бы беседовать с вами об этих мыслях. Они крайне пессимистичны.

— Пессимистичны?

Януш решил, что Сабина не поняла этого слова, и хотел ей объяснить, что оно значит. Но Сабина остановила его жестом.

— Я окончила семь классов,— сказала она.

— Вот видите, надо было сразу говорить. Подозреваю, что окончили все десять. Впрочем, это меня не интересует. А ваш супруг?

— Мой муж действительно крестьянин, тут уж без обмана.

— Вот как,— протянул Януш.

— Так почему же пессимистичны? — не унималась Сабина.— Ведь теперь уже ясно, на чьей стороне будет победа.

— Вот именно. Но я знаю русских.

Сабина вспыхнула.

— Как вы можете знать русских? Вы жили там, наверно, в начале революции, были помещиком, с народом не сталкивались. Вы о них представления не имеете...

— А вы?

— Ну, и я тоже ничего не знаю.

— Так как же можно составлять уравнение со столькими неизвестными? С целым неведомым народом, который через несколько месяцев станет народом-победителем и будет диктовать свою волю всей Европе?

Сабина отпила глоток кофе, долив в него самогона.

— Вы прикладываетесь, как я вижу.

— Это немного облегчает мое положение,— улыбнулась женщина.—

Надеюсь, вы догадываетесь, что положение мое довольно трудное. Как вы соприкоснулись с революцией?

Януш ответил не сразу.

— Когда вас не было в комнате, я как раз думал о тех временах. Вспомнились мне мои тогдашние симпатии и понятия. Вероятно, они не были разумны, коль скоро довели меня до моей отшельнической жизни. И до того, что я, собственно, не могу дать ясного ответа на ваш вопрос.

— На какой именно? Ведь я их задала вам много, а вы старательно ни на один не ответили.

Януш искренне рассмеялся.

— Я делал это не умышленно. Попросту, я самому себе не в состоянии ответить на подобные вопросы и избегаю раздумий о таких вещах.

— Каких вещах?

— Рассмотрим ваши экзаменационные вопросы в порядке очередности.

— Вы все запомнили?

— Мне казалось, что вы задавали их по определенной системе.

— То есть?

— Когда вы еще разыгрывали деревенскую бабу, вы задали самый главный вопрос: «А кто же вы будете?»

— Я повторяю его и в новом воплощении.

— Вот именно. А если бы я задал вам такой же вопрос?

— Разумеется, в данную минуту я не могла бы вам ответить. Но самой себе ответила бы без колебания. Я-то знаю, кто я такая.

— Какой же вы счастливый человек! Право, я мог бы вам позавидовать, если бы не...

— Что же?

— Если бы не сомневался отчасти в искренности ваших уверений. Не так легко польскому интеллигенту определить смысл своего существования.

— Я не причисляю себя к интеллигентам... И к польским интеллигентам...

— Вы не чувствуете себя полькой?

— Пожалуй, нет. Я еще до войны прониклась отвращением к подобного рода определениям.

— Хорошо. Чего же ради вы хотите знать, кто я такой?

— Потому что хочу хоть немного быть готовой к временам, которые надвигаются.

— Вы выйдете из убежища?

Сабина задумалась.

— Я нахожусь, вернее, несомненно могу оказаться в несколько ложном положении.

— Женщина способна найти выход из любого положения.

Сабине явно требовалось время, чтобы обдумать ответ.

— Почему вы не доливаете самогона в кофе?

Януш ответил прямо:

— Если уж зашла об этом речь, я предпочел бы просто самогон.

— Значит, у меня остался второй вопрос,— сказала она, испытующе глядя на Януша.

— Какой был второй вопрос?

— Уже не помните? А хвастались, что у вас хорошая память. Да ведь второй вопрос был очень простой: как вы соприкоснулись с революцией? Он относится к области воспоминаний. У вас хорошая память, надо только вспомнить.

— А вы хорошо запомните то, что я буду говорить?

— Не беспокойтесь. Не слишком хорошо. Я не напомню вам этого... потом.

— А я не боюсь. На моей совести нет никаких грехов. Разве только чересчур прохладное отношение к друзьям... А может, напротив, слишком горячее... Я влюбился. И это было хуже всего.

— Это случилось весной? — спросила Сабина не без иронии.

— Ваши вопросы становятся все язвительнее. Еще несколько таких замечаний, и я окончательно смогу ответить на первый вопрос... самому себе. Разумеется, была весна.

— Вы думали только о себе?

— Нет, я думал как раз только о ней.

Януш чувствовал, что самогон действует на него. Он перегнулся через стол и произнес:

— Вы только послушайте. Я расскажу вам все. Давно уже я не говорил об этом.

Он взял стакан с самогоном и уставился на него.

— Впрочем, это не была весна революции. Это было год спустя. В восемнадцатом году...

Женщина устроилась поудобнее на табуретке, как бы готовясь выслушать интересную историю.

— Неужели она была так красива? — спросила Сабина.

Януш минуту раздумывал, не сводя глаз с зажатого в руке стакана, словно видел в нем отражение Ариадны. Не той Ариадны, какою она стала впоследствии — немного грузной, с расплывшимися чертами лица — и которую время, оставляя молодой на вид, все заметнее лишало красоты. Ариадна никогда не была в его воспоминаниях раздобревшей, стареющей женщиной, которую он встретил в Риме. Она всегда оставалась для него молоденькой девушкой в белом платье и в обманчивом сверкании искусственной мишуры.

О темный парус
В зеленой дали...

— Я, естественно, не могу описать вам, какой она была. Она стоит у меня перед глазами молодая. Впрочем, несколько лет назад я как-то был в Одессе. И встретил там чудесное существо, которое оказалось ее племянником. Он пел на сцене... И был гораздо красивее ее. Но как он выглядел, я тоже не смогу рассказать. Мне кажется, что самым большим достоинством Ариадны...

— Ее звали Ариадна?

— Ариадна Тарло. Мне кажется, что самым большим ее достоинством была особая прелесть — не просто женская обаятельность, а очарование, присущее только русским женщинам... Родители ее были польского происхождения и потом, на Западе, она выдавала себя за польку, но была русской в полном смысле этого слова.

— Она была артисткой?

— Не знаю. Нет, пожалуй нет. У подлинного артиста, что бы он ни делал, все по нем, все облегает его, как руку тонкая перчатка. А у Ариадны все было ненастоящее. Нет, не только не настоящее, а даже искусственное. Factice,* как говорят французы. И вся ее жизнь была ненастоящая.

— Как жизнь может быть ненастоящей?

— Видите ли, вам этого не понять. Ваша жизнь очень страшная, и интересная, и кипучая — и самая что ни на есть настоящая. Увы, все то, что вы переживаете, подлинно. Вы не знаете, не можете этого понять,— Януш задумался.— Нет, при некотором усилии вы все-таки должны понять. Ведь, может, и вас научил опыт, и вы по своей — как бы это выразиться? — работе убедились, что порой говорится одно, а в действи-

---

* Деланное *(франц.)*.

тельности происходит совсем другое. Или иначе: когда не чувствуешь, что делаешь, теряешь с ним внутренний контакт. Человек, который чувствует, что он делает, гармоничен. Брат ее был совершенно гармоничен. Он принимал участие в революции. Он делал то, что чувствовал и что понимал. Между его ощущением правды и тем, что он делал, не было зазора. Я останавливаюсь на этих вопросах, ибо вас они наверняка интересуют в плане вашего будущего.

— Наверняка интересуют.

— Пожалуй, самое лучшее для человека, когда у него нет такого зазора. А у Ариадны все было совсем иначе. Все, что она делала: сперва декламация, потом ваяние, декорации в парижских театрах,— все это было не то, что она чувствовала. Она совершила огромную ошибку, бежала от своей судьбы. Никогда нельзя уйти от своей судьбы.

— Вы верите в судьбу? Или в бога?

— Я не верю в громкие слова. И, прошу вас, не будем к ним прибегать.

— Да и я тоже не люблю этих громких слов. Не верю в них.

— О, я думал иначе. Вам должны быть по душе громкие слова.

— В эту минуту?

— Эта минута преходяща.

— Но она скажется на последующих...

— Возможно. Порой надо освобождаться из-под власти преходящих минут. Нет, не будем пользоваться такими высокопарными сравнениями. За бутылкой самогона так легко впасть в пафос.

— Нет, пафоса не нужно,— произнесла интеллигентная брюнетка, которая еще совсем недавно была чернявой бабой.

— Все у нее поэтому выглядело фальшивым. Даже то, что она переживала по-настоящему.

— А каковы же были ее подлинные чувства?

— Ага! Вот этого я и не знаю. Думаю, что она была по-настоящему религиозна.— Януш вздохнул.— Если бы я знал в свое время, то, возможно, был бы теперь спокойнее.

Сабина внимательно посмотрела на него.

— Что же вас тревожит?

— Не ловите меня на слове,— сказал Януш так, словно перед ним сидело множество собеседников: видно, у него двоилось в глазах.— Я не тревожусь. Только...

— Вас мучают угрызения совести?

— Нет. Я говорю себе, что для этого нет ни малейшего повода.

— Не разминулись ли вы со своей судьбой?

— Вы полагаете, что я должен был остаться в России? Знаете ли, так, лицом к лицу с событиями, в ту пору еще нельзя было понять, что из всего этого получится.

— Некоторые понимали.

— Да. Некоторые. Володя тоже понимал. А я нет. Я был эдакий интеллигентик, и мне все казалось, что надо ехать куда-то, в иные места. Нет, не там должна была решиться моя судьба. Верно?

— Кто же может это знать?

— Разумеется. Ну, возможно, что я и ушел от своей судьбы, но не бросил Ариадну там, а, напротив, поехал за ней сюда. Впрочем, я не обидел ее. Скорее она меня обидела своим отъездом на Запад и всей этой историей с офицером... А я ее действительно любил,— добавил он вопреки тому, что думал в лесу.

Сабина снова налила самогона и придвинулась к столу, словно желая показать, что ценит неожиданную откровенность его признаний.

— Впрочем, все это сентиментальные слова, которыми люди пользуются по привычке и за отсутствием других... «Обидел, обидела»...

«Любил, любила»... Это, собственно говоря, ничего не значит либо значит слишком много... В сущности, у всех на свете жизнь идет вкривь и вкось. Хоть бы даже у вас...

Сабина обеспокоенно встрепенулась.

— Обо мне, пожалуйста, не говорите. Вы обо мне ничего не знаете.

— И не желаю знать. Я вижу перед собой доброе и милое лицо,— он дружелюбно взглянул на нее,— особу, которая свела меня к партизанам. Неужели и впрямь надо было лишь перевести англичанам то, чего они все равно не поняли?

— Вы подозрительны,— спокойно произнесла Сабина.— Не надо даже так думать.

— «Даже так», может, и не следует. А «так»?

— Нет,— продолжала Сабина мягко,— не надо, повторяю, говорить обо мне. Более того, я просила бы вас вообще обо мне не думать.

— Не думать?

— Не думать, когда вернетесь домой.

— Ах, так! Извольте. У меня будет много других тем для размышлений.

Сабина встала и положила ему на тарелку ветчины и лука.

— Ешьте, жирным хорошо закусывать.

— Вы, должно быть, артистка? — спросил Януш.

Сабина приложила палец к губам.

— Мы условились не говорить обо мне,— сказала она.

— И даже не думать,— засмеялся Януш.— Может, я действительно не буду думать о вас, как не думаешь о том, что приснилось позавчерашней ночью. Ведь это лишь сон.

— Я была артисткой,— сказала Сабина, которой тоже, вероятно, несмотря ни на что, хотелось поговорить о себе,— но из этого уже ничего не получится.

— Не получится?

— А вы думаете, после такой войны человек сможет обрести равновесие и снова петь? Никогда...

— О, человек, говорят, выносливая скотина... Иной раз он возвращается к своим делам весьма издалека.

— Нет, нет, уверяю вас. Как вы видели, я тут на короткой ноге с партизанами. Я была не только у партизан и многое пережила. Видали вы развороченные бомбами железнодорожные линии? Или овраги, заполненные трупами невинных и безоружных людей? Вы полагаете, что если бы после войны я вышла на эстраду и начала петь Моцарта или Шуберта...

— Певица? — спросил Януш полушепотом.

— ...то перед моими глазами сейчас же, немедленно не возникли бы эти трупы, кровь и протянутые в мою сторону руки?

— Нет, нет,— спокойно возразил Януш,— не думайте так. Мы собирались отказаться от патетики. А то, что вы говорите,— чистейший пафос. Так никогда не бывает. Выйдете на эстраду и будете думать о Моцарте или Шуберте и даже о высоком «си» в конце — хорошо ли выйдет. Человек, увы, только человек.

Януш заметил, что самогон подействовал на женщину и что под влиянием алкоголя она впала в неприятный ему патетический тон. Он подумал: «Она, конечно, не понимает того, что я говорил об Ариадне, в ней тоже есть какая-то искусственность. Это не Эльжуня».

— Ведь и вы видывали такие вещи,— сказала Сабина.

Януш почесал голову.

— Я был в Испании.

— Что? — удивилась Сабина.

— Нет, нет, не удивляйтесь. В качестве корреспондента.

— Ага, всегда как наблюдатель.

— Человечеству порой требуются наблюдатели. Не так ли?

Сабина молчала.

— Впрочем, я живу в Польше, а война продолжается уже четыре года. Так что я многое повидал.

Но Сабина вернулась к теме, которая ее интересовала.

— А зачем вы ездили в Испанию? Наверно, сидели преспокойно в Мадриде как корреспондент. Выезжали на прогулки, а вам говорили, что это фронт. Были в боях?

— Один раз.

— Расскажите, как там было.

— Да очень просто. Пришли ко мне с паролем. Я отдал письмо и... остался. В качестве корреспондента. Потом меня переправили в Мадрид...

— Вон даже на что вы решились,— сказала Сабина с иронией,— чисто интеллектуальный интерес. Испытание впечатлительности.

— Может, это и неплохо по нынешним тяжелым временам?

— Ну, и как же все-таки было в Испании?

— Это было чудовищно.— Януш встал из-за стола и прошелся по хате.— Понимаете, страшно. Казалось бы, после этого действительно жить невозможно. И все-таки живешь. Это была не война... Мне тогда казалось... что человек находит удовольствие в том, чтобы убивать. Каждый человек... Ну, а я все-таки живу, как видите. Такова моя жизнь, но как-то держусь. Подчиняюсь всем тем законам, которые направляют повседневное человеческое существование.

— Человек порою должен быть жестоким,— произнесла Сабина, помрачнев.

— Тут дело не в жестокости. Конечно, это тоже страшно — обломки после бомбежки, поля битвы, как было здесь, под Сохачевом... холмы... трупы молодых людей,— но суть не в этом. Дело в том, что под эти убийства немедленно подводят какие-то идеи. До или после. Под свой чудовищный инстинкт убийцы подводят какие-то высокие цели. Примеры тому ты видишь вокруг (под влиянием алкоголя Януш перешел с Сабиной на «ты»). Ведь все их идеи глупее чертовой задницы. Да еще с приставным хвостом. Я имею в виду не их жестокость, а цинизм. Полнейшее разложение...

Сабина развела руками, как бы удивляясь.

— Вы несколько странно подходите к вопросу. Видите человека не совсем так, как надо. И при этом немножечко поэтизируете. Вы, случайно, не сочиняете стихи?

Януш вдруг смутился и начал торопливо уплетать жирную ветчину, заедая ее помидорами, словно желая показать, что он вовсе не поэт. Что он обыкновеннейший из смертных, который питается, как другие, и обожает жирную ветчину и красные помидоры.

— Когда-то пробовал,— сказал он.

— Да,— веско произнесла Сабина.— Если не ошибаюсь, я когда-то уже слышала нечто в этом роде. По-моему, эти вещи надо разграничивать: если вы пишете стихи, то зачем же ездили в Испанию?

— Эх, опять вопросы! Вы что, допрашиваете меня?

— Боже избави! Но, право же, я не очень-то вас понимаю.

— Одним словом, все вновь и вновь задается вопрос: «Кто вы такой?» А ну-ка повторите, как спросила бы простая баба? Так, как вы спросили сначала.

Сабина засмеялась и повторила «по-деревенски»:

— А вы кто же будете?

— Не знаю и не скажу. Не хочу быть вашим осведомителем, особенно по части того, что касается моей собственной персоны.

Сабина задумалась, глядя прямо перед собой.

— Интересно, какой бы вы были, если бы не пережили революции в России, не ездили в Испанию и теперь не сталкивались с немцами.

— Я не сталкиваюсь с немцами.

— Не в том дело, но я не представляю себе человека, такого же толстокожего, как вы. После стольких испытаний вы по-прежнему замыкаетесь в себе и всего сторонитесь.

— Ни в коей мере. Я просто знаю... знаю, что все минует, и к тому же очень быстро. Вернее, не все минует, ибо революция не миновала, а очень быстро изменяется. Жизнь человеческая коротка, даже коротенькая, и я стараюсь продержаться это короткое время в неизменном состоянии. Разве это грех?

— Перед лицом тех перемен, которые вас сотрясают, это, может, и плохо.

— Ох и мудрая же из вас баба получилась, премудрейшая. Но я боюсь, что вы предпочитаете теорию практике. Вы придаете слишком большое значение тому, что, к сожалению, легко может измениться.

— Некоторые принципы остаются неизменными.

— Зато другие зыбки как океан-море. Это действительно так, пани Сабина, поверьте старому стреляному воробью.

— Возможно, и старому,— произнесла Сабина с улыбкой (наконец-то!),— но стреляному ли?..

Януш не ответил улыбкой на улыбку. Напротив, он с серьезным видом рассматривал руки Сабины, которые покоились на краю стола.

Руки натруженные и заскорузлые, совсем крестьянские, знакомые с тяжелой работой. Некогда прекрасные — это было видно,— до чего же они теперь огрубели, покрылись мозолями и шрамами от обморожений. Может, не только черная работа наложила на них свой отпечаток.

— Видите ли,— сказал он,— с некоторых пор мое отношение к вам изменилось. Я разговариваю теперь как бы с солдатом. Не запечатлен ли на ваших ладонях след... винтовки?

Сабина оглядела свои руки, словно видела их впервые.

— Вы не знаете нашей жизни. Не представляете себе, какие женщины партизанят.

— Прекрасно знаю: всевозможные. Вижу и вас в этой роли.

— Это никогда не может быть «ролью».

— Действительно, я изъясняюсь, как на балу. Так как же?

— Нет, нет. В самом деле нет. Самое большее — носила котлы с похлебкой.

Внезапным движением Сабина подняла рукав белой блузки. Чуть повыше запястья виднелся полустертый номер.

— Ах,— воскликнул Януш и снова сел.— Боже праведный, что вы делаете?

— Прячусь,— произнесла с улыбкой Сабина.

— Нет, нет, но зачем вы мне это показываете? Об этом никому не надо говорить.

— У меня есть относительно вас некоторые планы,— сказала Сабина довольно таинственно,— поэтому все равно пришлось бы рассказать.

— Я не совсем вас понимаю.

— Ведь должны же вы думать о том, что рано или поздно настанет время, когда все руины, землянки, траншеи перестанут дымиться... На развалинах вырастет трава. Все зазеленеет. Так будет, правильно?

— Разумеется.

— И мне хочется знать, какова будет тогда роль человека.

— Опять «роль», на этот раз из ваших уст. Мы точно разыгрываем какой-то спектакль.

— Возможно,— сказала Сабина.— Но у каждой роли, у каждого спектакля должен быть какой-то подтекст. Так вот я не вижу у вас этого подтекста. Вернее, вижу, что он неизменен.

Януш снова вскочил с места.

— Это великолепно,— воскликнул он,— именно так. Ведь должен найтись человек, который перенесет подтекст из одной эпохи в другую. Для того чтобы существовала общечеловеческая культура, необходима преемственность. Это мой долг: перенести из одной эпохи в другую известный мне подтекст. Невольно вы дали правильное определение. Вы сами ответили на первый вопрос, кто я такой.

— Не думаю, чтобы невольно,— произнесла с расстановкой Сабина, опуская взгляд на свои изуродованные руки.— Я давно знала об этом.

— О чем?

— Что вы пишете стихи...

Януш рассмеялся.

Он заговорил с легкой иронией и вместе с тем взволнованно:

— Тучи разбегутся и засветит солнце. Распустятся цветочки и защебечут пташки, все могилы в Кампиносской пуще покроются сочной зеленью. И тогда на луг, поросший маргаритками, выйдет Орфей, он же Януш Мышинский... Выйдет с песней на устах, с лирой златою в руке, а товарищ Сабина ему заявит...

— Что она ему заявит?

— Ох, уж этого я вам не скажу. Не хочу вас огорчать. Но не понравятся ей ни лира, ни песнопенья, не будет она любить маргариток...

— Вот уж неправда! — вдруг воскликнула Сабина.— Вот уж неправда! Маргаритки должны цвести.

— Да. Но я буду писать стихи о войне.

Сабина иронически улыбнулась.

— О войне писать очень трудно, друг мой,— проговорила она уже совсем приятельским тоном.— Знаете, как написал Тихонов об Испании:

Что ни скажешь о жизни такой,
Все не так, и не то, и все мало...

Вот так и о любой войне.

Януш повторил:

— «Все не так, и не то, и все мало...».

— Слишком мало, мало, мало,— почти в исступлении проговорила Сабина.

— Чтобы говорить о войне, надо знать, где граница войны,— сказал Януш.

— То есть как? Что же собой представляет граница войны?

— Ну, война войной. Но человеку присущи такие инстинкты, далеко выходящие за пределы войны... Вот об этом я и хотел бы знать.

Сабина испытующе посмотрела на Януша.

— Вы больше уж не пейте,— сказала она.

— Что вы! От этого только проясняется в голове. Меня встряхнул визит к партизанам. Всегда они такие неприятные?

— Жизнь у них неприятная,— заметила Сабина.

— Вот оно что,— сказал Януш. А потом внезапно добавил: — Жизнь вообще неприятна. Она ставит перед нами совершенно неожиданные вопросы.

— Например?

Януш задумался.

— Например: что-то случилось, давным-давно, человек почти за-

был о том, что случилось. И вдруг он начинает думать, что все было совсем иначе, чем ему казалось...

— Не понимаю,— сказала Сабина.

— Видите ли, есть одна вещь, которая не дает мне спать по ночам. Я уже говорил вам, что Ариадна была совсем другая... когда я встретил ее много-много лет спустя. Подурнела, стала невыносимой, истеричной. Мы встретились в Риме... и...

— Захватывающая история,— довольно кисло произнесла Сабина, но Януш не заметил ее тона.

— И стояли мы однажды на Монте Пинчио, у самого края тротуара.— Сидя за столом, он продемонстрировал, как это было, с помощью двух ножей и вилки.— Ведь я видел, что приближается автомобиль... Автомобиль ехал вот так! И тогда она сделала этот шаг.— Ножи с громким стуком выпали из его рук на стол, но Януш не обратил на это внимания.— Я мог ее остановить, схватить за руку. И ничего не сделал. Умышленно не сделал!..

Януш сидел на табуретке и не смотрел на Сабину. Женщина покачала головой.

— И охота же вам так фантазировать.

Януш поднял на нее глаза.

— Да, это фантазия, но она не дает мне спать по ночам. Я мог ее остановить — и не остановил. И это дало мне ощущение радости. Я любил свою жену и ее любил тоже. И обе не выжили — обе, принадлежавшие мне безраздельно...

— Принимайте на ночь валерьянку. Так вы недалеко уедете,— сказала Сабина.

Она встала и принялась убирать со стола. Януш сидел в глубоком раздумье, уронив голову на грудь.

— Мне кажется,— сказал он немного погодя, когда Сабина вернулась из кухни в комнату,— что ничего не получится ни из этой лиры, ни из маргариток.

— Малая потеря — малые слезы,— произнесла Сабина тоном назидания.

Януш вспыхнул.

— Как вы со мной разговариваете! Я готов обидеться и сбежать. Уже поздно.

— В самом деле. Поздно,— сказала Сабина.— Вам уже пора уходить. Но я, собственно, еще не дошла в нашем разговоре до самой сути.

— Болтаем, болтаем, словно и нет войны,— сказал Януш.— Но разве можно в таком разговоре «дойти до сути»?

— Ах, я вовсе не имею в виду философскую суть,— возразила Сабина.— Действительно, это пустопорожняя болтовня. Никто из нас не поумнеет после такого разговора.

— Ну, не знаю,— проговорил Януш,— я почерпнул очень много.

— Неужели? Вероятно, не из моих высказываний.

— Нет, не из ваших. Из своих собственных. Некоторые мысли, высказанные мною, дали мне обильную пищу для раздумий. И потом, этот самогон... Хлебный?

— Нет, из сахара. Понравился?

— Понравился не понравился — разве самогон может нравиться? Но он оживил мои мысли. Дал мне, как я сказал, толчок для раздумий. Я полагаю, это он высвободил во мне очень многое. Однако до какой же сути вы хотели договориться?

Сабина присела к столу, словно опять собираясь начать серьезный разговор.

— Я хотела бы с вами посоветоваться,— сказала она.

— По какому делу?

— По очень важному. Разумеется, важному для меня. На общее положение это не окажет никакого воздействия, но я бы хотела, чтобы вы мне что-нибудь сказали.

— Ну, ладно, пани Сабина. Только к чему такое длинное вступление?

— Весь наш разговор был вступлением. Я хотела убедиться...

— Кто я? Так?

— Вот именно. И можно ли вам доверять.

— Каков же результат?

— Думаю, что положительный. Так слушайте, пан Януш.— Она впервые назвала его «пан Януш». Это звучало торжественно.— Я тут кое-кого прячу.

Януш откинулся назад.

— Зачем вы мне это говорите? Вероятно, он здесь надежно спрятан?

— Да, но он не хочет прятаться.

— Как? Разве ему не грозит опасность на каждом шагу?

— Это не еврей. Это русский офицер.

Януш свистнул.

— И вы его прячете?

— Прячу. Сидит в надежном укрытии, никто, буквально никто, о нем не знает, и сидел бы так до конца войны в своем тайнике. Но он не может выдержать.

— Ему скучно?

— Ну разумеется, это очень молодой человек. Бежал из лагеря советских военнопленных под Сохачевом.

— Как бежал?

— Это уж его тайна. Я его об этом не расспрашивала. Видно, прямо из эшелона.

— Надо быть счастливчиком.

— Иногда это удается... Иногда нет...— Сабина с грустью посмотрела на Януша.

С минуту помолчали.

Сабина встала.

— Я попросту покажу его вам.

— Он здесь?

— Не дальше чем в сенях.

Сабина поднялась, открыла дверь в сени и тихо позвала:

— Коля, войди.

Появился невысокий, еще очень молодой человек, худощавый и некрасивый. На нем была рваная гимнастерка, под которой виднелась пестрая польская рубаха со слишком широким воротом. Вид у него был болезненный.

Он молча подал руку Янушу. Его заострившиеся черты озарила улыбка, такая открытая, простая и сердечная, что в комнате сделалось светлее.

— Боже милостивый,— обратился Януш к Сабине,— эдакий шпингалет, и как он удрал?

— Я сказала, что не знаю.

Офицер обратился к Сабине:

— Что он говорит? Что он говорит?

Сабина перевела, хоть ей и было трудновато перевести слово «шпингалет». Коля засмеялся.

— А вы не пьете? — спросил Януш, показав на бутылку, стоявшую на столе.

— Как же, конечно пью,— ответил молодой воин.

Янушу трудно было поверить, что перед ним офицер.

Сабина налила в стакан немного самогону.

— Ему нельзя пить,— сказала она Янушу.

— Многого нельзя делать.

Юноша сел на свободный стул.

— Очень рад, что встретился с вами,— произнес он по-русски,— тем более, что вы, кажется, владеете нашим языком.

— Я кончил гимназию в Житомире,— пояснил Януш.

— А я там никогда не бывал,— сказал Коля.— Я сибиряк.

— И куда только война не забросит,— заметила Сабина.

Она снова заговорила «на деревенский лад». Неужели скрывала правду о себе от Коли?

Молодой офицер уселся против Януша, на том самом месте, где прежде сидела Сабина. Он начал оживленно и сбивчиво рассказывать о своих родных сибирских краях. Заметно было, что Колю глубоко взволновала встреча с незнакомым человеком. По его поведению можно было понять, что он не часто видит людей.

Януш не очень-то прислушивался к этому, довольно пространному рассказу. Зато весьма внимательно разглядывал говорившего. Был он худощав, но крепкого сложения, лицо вытянутое, с неправильными чертами, а глаза огромные и густой голубизны. Теперь они блестели от необычайного возбуждения, и блеск их делался все ярче, по мере того как Коля продолжал свой рассказ и опустошал стакан.

В нем не было ничего примечательного, но от него веяло чем-то экзотическим, необычным, чем-то свежим. Взгляд его был чист и полон уверенности в себе. Он ничем не напоминал загнанного зверя. Никто бы даже не мог предположить, что это так называемый «скрывающийся». «Вот оно — то новое, что грядет,— подумал Януш,— вот он — победитель».

— Вы были под Сталинградом? — спросил он, прерывая рассказ.

— Нет,— ответил несколько удивленно Коля.

Он замолчал. Ему стало ясно, что он не интересует Януша.

— Собственно, вот в чем суть,— вступила в разговор Сабина,— не знает он, как быть дальше.

— А что ему делать? Пусть сидит!

— Говорит, что не может!

Януш пожал плечами. Он не понимал, чего от него хотят. Зачем она показывает ему Колю?

Сабина присела на табурет у стола.

— Видите ли,— сказала она по-польски,— он попросту хочет спросить вас, стоит ли ему присоединяться к тем партизанам, у которых вы были.

Януш широко открыл глаза.

— Он хочет идти к партизанам?

Сабина потеряла терпение.

— Ведь это же понятно. Он хочет быть в какой-то организации.

Януш развел руками.

— А что же я могу ему сказать? Пусть идет...

Сабина испытующе посмотрела на Януша.

— Вы так считаете?

— Конечно. Они должны принять его, как брата.

Коля перевел взгляд с Сабины на Януша. Он, разумеется, понимал, о чем они говорят.

Януш вдруг почувствовал, что ничего не может решить за другого. Он сказал об этом Сабине. Но его слова вызвали у нее явное раздражение.

— Я его не пущу, — сказала она.

— Что вы выдумываете?— возразил Януш.— Конечно, пусть идет.

Эти слова Коля понял превосходно. Он вскочил со стула и внезапно бросился Янушу на шею. Обнял его крепко, по-детски.

— Мне ведь только это и нужно было, — сказал Коля, когда выпустил наконец Януша из объятий.

III

Ядвига и Хеленка молча вернулись в дом, после того как увидели Януша, покидавшего Коморово в каком-то странном расположении духа.

Они постояли еще некоторое время в проломе стены, глядя, как он обходит стороной усадьбу, пересекает шоссе и направляется к лесу. И та и другая догадывались, что это значит, тем более что видели приходивших баб, но обе промолчали.

Ядвига занялась хозяйственными делами. Хеленка сидела внизу и читала «Лорда Джима». * Так прошло время до обеда. За окнами стояли пожелтевшие деревья и виднелось сапфировое небо. Но Хеленку тревожило это спокойствие, царившее в природе. Строки романа прыгали у нее перед глазами, и порой она ловила себя на том, что не понимает прочитанного.

Обедать сели около часа. Хеленку не могло не удивить, что Ядвига была с ней подчеркнуто любезна, уговаривала есть, пододвигала кушанья. Но у нее сегодня почему-то не было аппетита. Великолепные блюда из выращенных паном Фибихом овощей и приготовленные Ядвигой по французским рецептам, убирались со стола почти не тронутыми. Ядвига тоже едва прикасалась к еде. Они ни словом не обмолвились о Януше и его странной прогулке, хотя видно было, что обе только об этом и думали.

После обеда Хеленка пошла к себе наверх.

Она легла на диван, все еще держа книгу в руке, но не читала. Ветви высоких яблонь поднимались до самого окна. От желтых листьев в комнате было как бы светлее, солнечней. Но Хеленка лежала встревоженная и хмурая. Ей не нравилась эта прогулка Януша не потому, что она боялась за него — сердце у нее было закаленное, — но она опасалась, как бы их из-за этого не «засекли». Незначительный безрассудный поступок Януша мог навести врага на след многих людей, и прежде всего приманить гестаповцев сюда, именно в эту комнатку, где сидит она. А это не могло кончиться добром ни для нее, ни для ее товарищей.

Холодное лицо ее окаменело от напряженного раздумья. После смерти Бронека она ничего не принимала близко к сердцу. Скорее руководствовалась расчетом. Но теперь это не давало утешительных результатов.

«Ну, ничего не попишешь», — сказала она себе. Хеленка открыла печную дверцу и на всякий случай принялась жечь свои бумаги. За этим занятием и застала ее Ядвига.

Ядвига никогда не приходила к ней, и Хеленка даже не считалась с возможностью ее визита. Поэтому она и дверь оставила незапертой.

— Жжешь бумаги? — с тревогой в голосе спросила экономка.

— Как видите, — неприязненно ответила Хеленка, — жгу...

— Еще какую-нибудь беду накличешь, — сказала Ядвига.

И без приглашения опустилась в кресло. Хеленка, присевшая на корточки у печной дверцы, смерила гостью недружелюбным взглядом. По ее позе девушка поняла, что визит затянется. С минуту она помолчала.

— Именно потому и жгу, — проговорила Хеленка, презрительно оттопыривая губы, — чтобы беды не накликать.

---

* Роман английского писателя Джозефа Конрада (1857—1924).

Ядвига молча наблюдала за ней.

— Некоторые бумаги откладываешь, — сказала она, — все не сжигаешь.

— Некоторые жечь нельзя, — буркнула Хеленка, — буду держать их при себе.

— Ждешь обыска?

— Нет. Но мне не нравится это путешествие Януша.

Опять помолчали.

— Послушай, — будто через силу произнесла наконец экономка.— Не могла бы ты перебраться со всей этой работой в какое-нибудь другое место? Разве тебе непременно надо быть в Коморове?

Хеленка улыбнулась, глядя в огонь. В розоватом отблеске пламени ее суровое лицо казалось просветленным, а улыбка смягчала словно изваянные из дерева черты. Красота ее внушала Ядвиге своеобразный страх.

Хеленка не отвечала.

— Ну, чего молчишь? — подстегнула ее Ядвига.

— Боитесь? — спросила наконец девушка. — Струсили?

— Сама прекрасно знаешь, что нет. Меня это не касается. Тут дело не в политике.

— А в чем? — равнодушно спросила Хеленка, бросая в огонь очередную бумажку.

— Сама прекрасно знаешь, — мрачно произнесла Ядвига.

Хеленка удостоила ее мимолетным взглядом. В глазах девушки мелькнул недобрый огонек.

— Ну, — сказала она, — не ожидала я чего-либо подобного.

— Януш еще не стар... и вдовец.

— Вы думаете, я хочу выйти за Януша? Это было бы великолепно! Да ведь он старше моей мамы. Придет же такое в голову...

— Януш еще очень может нравиться, — с убеждением прошептала Ядвига.

— Может нравиться? Потому, что нравится вам! — В голосе Хеленки прозвучало еле сдерживаемое возмущение: надо же додуматься!

Ядвига с минуту сидела молча.

— Конечно, он мне нравится, — произнесла она наконец, — всю жизнь нравился.

А потом продолжала, размечтавшись, не задумываясь над тем, слушает ее Хеленка или нет.

— Еще как увидела его впервые в Париже, так понравился, что просто разревелась... Сама не знаю, почему ревела. Говорила себе, что будет трудно, но все оказалось просто. Просто, как задача по арифметике. Вот попасть сюда, в Коморово, было куда труднее. И тяжелее. А теперь не отдам, понимаешь, детка, не отдам...

Хеленка еще раз с молчаливым презрением взглянула на Ядвигу.

— Мне жаль вас, — вздохнула она и поднялась с колен, отряхивая выпачканное пеплом платье.— Ну, вот и все, остальное буду держать при себе.

Она села на диван, довольно далеко от Ядвиги. По выражению лица видно было: ей хочется, чтобы экономка ее оставила. Глаза ее сделались словно бы еще более раскосыми. Она вертела в руках книгу, точно собираясь снова приняться за чтение.

Вдруг Ядвига, повинуясь внезапному порыву, встала со своего кресла и села на диван, рядом с девушкой. Хеленка инстинктивно отодвинулась. На лице ее, хоть она и старалась не подавать вида, отразилось раздражение и, может быть, даже неприязнь.

— Золотенькая моя,— торопливо залепетала Ядвига (она говорила с трудом, словно любезные выражения и длинные фразы были для нее

чем-то совершенно чуждым),— золотенькая моя панна Хеленка, не отнимайте его у меня. Поверьте, и для него лучше, что я при нем. Ведь у него нет на свете ни одной близкой души. Ни единой. Он только так говорит, что никто ему не нужен,— нет такого человека на свете, который бы ни в ком не нуждался... Нуждается, нуждается, очень даже нуждается... А что вы ему дадите? В мужья он не годится. Зосю он, собственно говоря, замучил, какая это была несчастная женщина... Замучил, и все тут. И с вами будет то же.

Хеленка с гримасой недовольства прикоснулась к руке Ядвиги.

— Дорогая моя, — сказала она, — о чем вы говорите? У меня нет ни малейшей охоты соблазнять Януша. Я ничего не хочу от него. Успокойтесь.

Ядвига резко оттолкнула руку Хеленки и, снова переходя на «ты», произнесла:

— Я знаю, уж я знаю, — повторила она, — у тебя был еврей.

Хеленка вздрогнула и плотнее запахнула шаль, в которую все время куталась: в комнатах было холодно, экономили уголь. Ядвига брала над ней верх грубой силой. Как всегда.

— Нечего, детка, ежиться и прикидываться невинной овечкой, — сказала она, вставая и совершенно забыв о своем недавнем тоне. — Твоего Бронека никто не воскресит, а при удобном случае можно заделаться графиней Мышинской. Для панны Голомбек это отличная партия. Папаша торты и пирожные выпекал... Сама ведь у папаши работала. Это пригодится, даже когда придут большевики. Кондитерская графиня.

Хеленка выпрямилась и отбросила шаль, словно бы решила защищаться и хотела, чтобы руки у нее были свободны. Она угрожающе втянула ноздрями воздух.

— Перестаньте, — досадливо, с усилием сказала она. — Прошу вас выйти из комнаты. Мне вовсе не хочется слушать вашу нелепую болтовню. Вам понятно?

Ядвига стояла посреди комнаты, вытянувшись в струнку. Она казалась огромной. Глаза ее сверкали.

— Ты змея! — воскликнула она. — Соплячка! И если ты сейчас же не уберешься...

— Что тогда?

— Если не уберешься ко всем чертям, то я уж знаю, что сделаю.

— Что же вы сделаете?

— Я заметила, как Януш в твою сторону поглядывает. Но ничего у тебя не выйдет, девка!

И тут, наклонившись к сидевшей на диване Хеленке, она подняла обе руки и сдавленным голосом прошептала:

— Если ты отсюда не уберешься, я нашлю на тебя гестапо. Донесу жандармам. Уж я сумею. Вон с моего двора...

— С моего? — презрительно фыркнула Хеленка.

— С моего... Своим каторжным трудом я все это добыла, своим потом, здоровье погубила...

— Вы спятили! — крикнула Хеленка. — Разума лишились? Чего вам от меня надо?

В эту минуту на лестнице раздался стук. Обе женщины бросились к внезапно распахнувшимся дверям. На пороге стоял теперь уже подросший сын Игнаца. Он всегда приносил страшные вести, этот «посланец богов». Сейчас он стоял на пороге с тем же словом на устах:

— Немцы!

Ядвига бесшумно скользнула вниз. Следом за ней сбежала Хеленка, уже в пальто, наброшенном на плечи.

Ядвига кинулась к столу Януша и схватила лежавшие там бумаги. Недоконченное письмо. Скомкала все и подала Хеленке.

— Что это? — спросила Хеленка.

— Беги, — сказала ей Ядвига, — через стену и в сторону леса...

— Дождались, — прошептала Хеленка.

Но Ядвига не обратила внимания на ее слова.

— Предупреди Януша, — она говорила торопливо и тихо, — если встретишь. А я попытаюсь дождаться его в липовой аллее... если будет возможно.

Хеленка уже мчалась к окну, выходившему в сад.

Ядвига еще успела схватить ее за рукав.

— И помни, Хеленка, что это не я. Помни, что это не я...

Хеленка нетерпеливо вырвалась.

— Неизвестно, — бросила она на бегу.

— Не я, помни, не я. Bonne chance,* — добавила экономка, увидав, что девушка открывает окно.

На крыльце уже слышался топот и зычные голоса немцев. Когда Хеленка, выскочив из окна, исчезла в сумраке сада, Ядвига перекрестилась и пошла им навстречу.

IV

Януш пустился в обратный путь, когда короткий день уже кончился. Пройдя шагов двадцать по лесной тропе, он увидел сквозь желтую листву деревьев, как из-за горизонта поднимается широкий лик луны, точно пасхальная облатка.

Отсюда до Коморова было километров восемь. Не так уж мало для человека, не привыкшего к долгим пешим прогулкам. Но холод наступавшей осенней ночи и все обострявшееся ощущение опасности такого рода прогулок подгоняли Януша. Он шагал довольно резво и рассчитывал, что часа через полтора будет дома.

Однако впечатление от беседы с молодым большевиком и возбуждение, вызванное алкоголем, способствовали тому, что немного погодя Януш замедлил шаг, забыв о грозящих опасностях. Он шел, как на прогулке, совершенно безразличный к первому осеннему холодку, который начал основательно пробирать его. Вскоре он понял, что мысль о разговоре с Колей была как бы подспудным течением, а на первое место выступало удовольствие, которое он испытывал, ступая по лесной тропе, то твердой, то мягкой от песка.

Тропа эта вскоре побежала по опушке леса, так, что от поля Януша отделял только ряд деревьев. Это были могучие дубы, приземистые и раскидистые. В просветах между ними виднелись осенние распаханные поля — широко раскинувшиеся, залитые белым светом восходящей луны и последними зеленовато-холодными отблесками угасающего дня.

Янушу не было жаль минувшего дня, он испытывал то чувство гармонии, которое так редко у него возникало, гармонии, наполнявшей его радостью.

Просветы между деревьями белели, словно огромные фигуры, которые, казалось, шли рядом с Янушем тем же путем. Сравнение это возникло у него само по себе, и он попытался представить: кто из умерших мог бы его сопровождать в этих скитаниях, что́ бы каждый из них пожелал сказать ему, что́ бы он сам сказал им. Он подумал, что, пожалуй, больше всего мог бы сказать Юзе, ведь тот так мало знал о его жизни. Юзя, конечно, удивился бы, увидав — через двадцать пять лет после своей кончины — давнего друга, одиноко бредущего по лесу, снова в годину войны; он удивился бы, увидав, как Януш то и дело сует руку в карман, чтобы нащупать холодную сталь пистолета, полученного в подарок от английских летчиков.

---

* Желаю удачи *(франц.)*.

Один из белых просветов между дубами напоминал Эдгара, но ему-то нечего было сказать: Януш побоялся бы его шокировать. Попросту не мог себе представить состарившегося Эдгара, снова в дни войны, с такими жестокими сценами на каждом шагу, с безобразной смертью, таящейся всюду. Ведь у Эдгара была красивая смерть — в этом Януш не сомневался ни минуты. И знал, что его другом владели перед кончиной высокие мысли и что, погружаясь в вечный сон, он изящно и аккуратно слагал их, как шелковые одеяния в дубовый сундук. Эдгар должен был умереть красиво. А как умерла Ариадна — ему ведь незачем знать. Для него она тоже красиво умерла. Не так ли?

Ему вспомнилось, как Эльжбета некогда пела «Лесного царя» и с каким трагическим выражением успокаивала больного ребенка:

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif...*

Если бы только Эдгар пожелал сказать ему что-нибудь о кошмарах жизни и смерти, он повторил бы эту успокоительную фразу. Все, что есть страшного в жизни, это лишь наваждение, туманная дымка.

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif...

Он повторил про себя эти слова, когда увидел между двумя черными силуэтами деревьев надвигавшуюся узкую белую полосу. То был туман, стлавшийся над полем. К нему вела тропа.

За всю дорогу только в эту единственную минуту он ощутил тревогу, словно что-то слегка сжало сердце. Что бы он мог им сказать?

Если бы среди мертвецов, сопровождавших его в этом путешествии, оказались женщины, он не знал бы, как отнестись к ним. Даже перед Ариадной не проронил бы ни слова. Теперь они не могли бы его понять. Может, ни одна женщина не способна понять тревоги мужчины?

Януш направился прямо к проходу между двумя дубами, напоминавшему по очертаниям невысокую женщину. Он шел прямо к нему, словно должен был там кого-то встретить, наверняка встретить. Но когда достиг его, проход изменил свои контуры — это была обыкновенная прогалина. За ней сразу же начиналось поле, ночь, белесые отсветы на пластах пашни. Он предпочел выйти из леса, хоть и понимал, насколько это опасно. Во время такого путешествия по полям, залитым ярким лунным светом, с редкими полосами тумана, похожими на облака, двигавшегося человека можно было заметить издали.

Он миновал опушку. Теперь уже стоявшие у края леса дубы казались ему человеческими фигурами. Но это не были спутники его жизни, умершие друзья: Эдгар, Юзя, Валерек, маленький Собаньский. Деревья хотели задержать его в своем царстве, спрятать, дотянуться лапами, сыграть роль Лесного царя. Попросту хотели отнять жизнь.

А все-таки одно он осознал — все, что было до сих пор, не было подлинной жизнью. Было только существованием. Он не понимал, что должен за отведенное ему время пронести в руках драгоценность. Что обязан идти. Теперь приходилось начинать сызнова то, что он называл «продолжением». Нет, теперь это не снилось. Прежде он спал. Теперь — проснулся.

Ему захотелось поразмышлять над этим с минуту, и не долго думая он прилег на землю. Она была холодна и вместе с тем как бы приветлива. Он ощутил эту землю под собой, словно постель, постланную самой природой. Януш лежал в сплошном березняке. На фоне неба, озаренного луной, просвечивала редкая завеса поникшей и съежившейся от холода осенней листвы. Неподалеку, на краю леса, виднелись дубы, снова в иной ипостаси. Они наклонялись друг к другу и, казалось, что-то обсуждали. Вид этих деревьев пробудил в нем новое воспоминание.

---

* «Мой сын, то белеет туман...» — строка из стихотворения Гете.

Когда-то давным-давно он проходил здесь с Адасем. Совсем выветрился из памяти этот человек. Адась Пшебий-Ленцкий... Вспомнилось, как вместе они шатались по Кракову и о чем говорили позднее, вспомнились похороны Эдгара. Эдакий забавный человечишка. Ничего он не значил для Януша. И покончил с собой. Да, покончил с собой. Лишил себя жизни по какой-то нелепой причине.

Януш презрительно усмехнулся: идиот! Нельзя лишать себя этого величайшего сокровища — жизни. Теперь он знает, что это была, что это есть самая великая ценность. Вопреки всем ужасам, выпавшим ему на долю, вопреки тому, что он брел до сих пор как во сне, окруженный непроницаемым туманом,— жизнь была самым драгоценным даром.

Все — и война, и пожары, и смерть других — было упоительно, величественно, монументально. Он смотрел на облака, проплывавшие при блеске месяца, точно рваные паруса, и их бег действовал на него, как бравурная музыка.

Пронести все это сквозь пламя пожаров, жить дальше, несмотря ни на что, и ощущать каждой клеточкой тела биение жизни. Какое упоение!

Каким же неоценимым сокровищем была его собственная личность.

Януш снова вскочил, продолжая думать о Пшебий-Ленцком. Адасю не было тридцати. Теперь он уже стал землей, дышит вместе с травой и листьями.

А ему, Янушу, почти пятьдесят. И только теперь он чувствует, что значит жить. Видя повседневно смерть других людей, он узнал цену жизни.

Януш зашагал быстрее. Он все-таки слегка промерз, лежа на земле. Травы уже коченели, словно в их гуще таился мороз. Быстрая ходьба — до испарины — разрядила необычное нервное напряжение и развеяла пары алкоголя.

Януш начал думать спокойнее и обстоятельнее.

Постепенно стало ясно, что он лгал себе, утверждая, будто жил как во сне. Нет, молодость его была явью. Тогда не оставалось места для снов — сплошная явь, исполненная боли. Это последние годы окутали его мглой, годы духовной лени, прострации, неприязни к миру. Он наверняка растратил их впустую. Теперь начнется иная жизнь.

Он вспомнил взгляд Хеленки, провожавшей его глазами, когда он шел к партизанам, вообще вспомнил Хеленку, начиная с той минуты, когда увидел ее из окна пансиона Бустрицких. «Может, она символ жизни?» — подумал Януш.

А Коля? Разве он не предвестник новой жизни?

Януш забеспокоился, но потом мерный ритм походного шага пробудил в нем иные мысли. Он начал думать о том, чего недоговорил Сабине. Хотел рассказать ей все о Володе и Ариадне, но ее это не интересовало.

Ему припомнилась встреча с Володей в овине. Собственно говоря, не припомнилась, ибо он и не забывал о ней никогда.

Теперь он хотел определить, каково было основное содержание этой встречи. О чем они говорили? Не помнил! Но остались в памяти их разговоры в Одессе, в той отвратительной квартире, где он так любил Ариадну. Ведь эта встреча была такой важной, а как мало повлияла на его жизнь. «Как мог я забыть о ней? Почему потянулись потом годы грустной, застойной жизни в непроглядной мгле?» Теперь-то уж этому конец. Он поможет Хеленке, поможет ребятам, будет вместе с ними. Жаль черного Лилька! Нет, он не будет самоустраняться, отсиживаться в тихом уголке. Он пойдет вперед, неся... — как это он сказал Сабине? — неся лиру... Ха-ха-ха! Лиру!

Только теперь начнется жизнь, то есть борьба за что-то важное, неизмеримо важное — за самую его, Януша, сущность.

На минуту Януш остановился. Ему припомнилась история с брошю-

рой. Он не прочел в ней ничего, кроме фамилии автора на обложке. Даже не знал ее содержания, которому такое большое значение придавал Володя.

Где она теперь? В каком ящике стола? Он отложил ее куда-то вместе с ненужными заметками о военном походе и даже не помнил куда. Но где-то она лежит — наверняка лежит,— кажется, недавно он видел эту брошюру среди бумаг. Надо будет ее найти.

Он ускорил шаг и шел теперь так стремительно, словно от прочтения ленинских статей о Толстом зависела его жизнь.

«Теперь все изменится»,— думал Януш.

— У меня есть цель! — вслух произнес он.

Значит, все, что говорили люди, посвящавшие жизнь какой-то цели,— не обман? Значит, можно верить и жить, а не только видеть во сне свою собственную жизнь?

— Быстрее, быстрее,-- повторял он.

Он шагал теперь между вспаханным наделом и пустырем, на котором рос конский щавель. Высокие стебли — обиталище холода и сырости — заслоняли Януша со стороны большака, где могли проходить патрули и проезжать немецкие машины. Конский щавель сейчас, в полнолуние, отбрасывал густую и длинную тень, и ею мог воспользоваться крадущийся Януш. Но этот заслон не занимал большого пространства. Не успел Януш оглянуться, как оказался в чистом поле. Куда осмотрительней было бы поживее пройти напрямик к шоссе, пересечь его, подобраться к дому со стороны леса, садом, и проскользнуть с черного хода, минуя двор. Но Януш так торопился отыскать брошюру, что даже не подумал о соблюдении подобных предосторожностей. Идя межою, он быстро достиг шоссе и зашагал вдоль кювета, спеша изо всех сил к аллее, ведущей в коморовскую усадьбу.

Было уже очень поздно — раздумья все-таки заняли у Януша много времени. Месяц стоял высоко, и Януш чувствовал себя крайне утомленным. Почти весь день он провел на свежем, бодрящем осеннем воздухе, а ведь он давно уже так не ходил.

В том месте, где от главной дороги ответвлялась боковая аллея, ведущая в Коморово, примерно там, где упал раненый Янек Вевьюрский, кто-то рванул его за руку и увлек в тень.

Это была Ядвига.

— Беги,— выкрикнула она.— В доме немцы!

Януш окаменел. Он совершенно не понимал того, что сказала Ядвига.

— Хорошо, что ты пришел с этой стороны. Игнаца арестовали в лесу и посадили в машину.

— То есть как, немцы? Когда приехали?

— В сумерках. Ждут тебя. Беги.

— Но это какое-то недоразумение,— сказал Януш,— мне надо домой. Ничего со мной не случится.

И вырвался из рук Ядвиги. Тяжело дыша, она догнала его в аллее...

— Прямо рехнулся! Тебя же заберут. Игнац сидит в машине...

— Где Хеленка?

— Не знаю. Спряталась. Убежала, когда приехали. Я не видела ее.

— То есть как? Ты не знаешь, где Хеленка?

— Не знаю... Выбежала в сад. Должна была ждать тебя с той стороны.

— Немцы ее не видели?

— Не знаю. Я ждала тебя. Меня тоже хотели забрать, но я не далась. Отшутилась. Некоторые говорят по-французски. Я принесла тебе теплую шаль и немного денег. Больше у меня нет. Бери...

— Мне надо домой.

Он еще раз вырвался из рук не пускавшей его Ядвиги. И полетел вперед в прорезанную белыми прогалинами тьму аллеи. Женщина не поспевала за ним. Сердце ее болело, и одолевала одышка. Наконец она остановилась.

Ядвига следила за его стремительным отлетом, не в силах пошевельнуться. Она лишь заломила руки и неподвижным взглядом провожала уходившего человека.

— Дважды в жизни он так спешил,— часто рассказывала она потом каждому, у кого была охота ее слушать,— когда женился на своей Зосе, и тогда, к этим немцам.

А Януш почти вбежал в ворота.

У ворот стоял черный автомобиль, охранявшийся часовыми, но немцы не задержали Януша. Никто не задержал его и когда он торопливо шел по двору. Только со стороны служб и риги донесся какой-то шепот. Это наверняка было предостережение.

Он стремительно вошел в сени, затем в комнату — «нижнюю», что налево от сеней.

Прежде чем увидеть немцев, Януш заметил, что весь письменный стол перерыт, начатое утром письмо исчезло, а его бумаги и записки свалены беспорядочной кучей на полу. На самом верху — он увидел это отчетливо и вместе с тем как во сне — лежала пожелтевшая брошюрка с надписью «Ленин». Брошюра 1920 года.

Януш поднял глаза и увидел стоявшего за столом немца в каске.

Немец шутовски отдал честь.

— Мы долго ждали вас,— произнес он очень спокойно.— И что же это вы, господин граф, поделывали в лесу? Да еще так далеко?

«Значит, за мной,— решил Януш,— не за Хеленкой».

— А почему вы подумали, что я был далеко? — спросил он.

— Потому, что мы долго ждали,— проговорил с раздражением гестаповец, стоявший за столом.

Януш не обращал внимания на его слова. Ему хотелось наклониться к брошюре Ленина и прочесть заголовок. Действительно ли это была брошюра о Толстом? Но на обложке не было заголовка. Януш потянулся за ней.

Немец тотчас крикнул:

— Hände hoch! *

Мышинский не послушался приказа. Несмотря ни на что, он наклонился над кучей бумаг и схватил брошюру. Поднес ее к своим близоруким глазам, перевернув титульную страницу.

Немец взбесился.

— Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! — истерически завопил он.

Януш поглядел на него со страхом, но словно на какое-то непонятное животное и поднял обе руки. В левой он держал брошюру.

Вдруг он почувствовал, что сзади его обхватывают чьи-то сильные руки и начинают обшаривать сверху донизу. Послышалось хихиканье, и рука обыскивавшего вытащила из заднего кармана брюк Януша блестящий английский револьвер.

«Забыл,— подумал Януш.— Совсем забыл, надо было выбросить это где-нибудь по дороге. В траву или под деревом... Теперь пропал».

— Na,— послышался голос обыскивавшего,— da haben wir ein kleines neues Spielzeug gefunden. Es stammt — glaube ich — aus dem Walde...**

Немец, находившийся за спиной у Януша, бросил револьвер на стол. Голос того, что обыскивал, напомнил Янушу голос Шельтинга.

---

* Руки вверх! *(Нем.)*

** Ага, вот мы и нашли игрушечку. Она, если я не ошибаюсь, из леса *(нем.)*.

И перед его взором возникла панорама, образ давнего, великолепного Гейдельберга. Он обернулся.

— Ruhig, sonst schiesse ich! * — вопил немец, стоявший против Януша, явно теряя самообладание. Он, вероятно, никогда еще не встречал таких наглецов среди тех, у кого производил обыск.

Позади Януша стоял высокий, молодой, очень красивый гестаповец.

«Ничего общего с Шельтингом,— подумал Януш,— только такой же акцент. Очевидно, тоже родом из Гейдельберга».

И, придавая своему голосу подчеркнуто любезный тон, он обратился к гестаповцу с вопросом:

— Sind Sie in Heidelberg zu Hause? **

Молодой человек ничего не ответил, только ткнул Януша дулом пистолета в поясницу, подталкивая вперед, к гестаповцу, который ждал его у стола.

«С меня достаточно,— подумал Януш,— и так все пропало. Не собираюсь быть мучеником...»

Он сделал еще шаг к стоявшему перед ним немцу в каске и, переложив брошюру из левой руки в правую, слегка ударил по носу вопившего гестаповца.

— Ruhe,*** — произнес он очень спокойно, но громко.

Это были его последние слова на этой земле. Три выстрела оглушительно прозвучали в маленькой комнатке. Януш оперся грудью о стол и, скользнув по нему, свалился, как манекен, на кучу бумаг. Кровь его начала сочиться на кипы заметок, записей и вечно хранившихся в тайне интеллигентских стихов. Он успел еще подумать, что всякий конец бывает таким вот неожиданно бессмысленным.

— И я больше ничего не сделаю,— попытался прошептать он.

Но пурпурная мгла уже стала заволакивать его сознание, словно руки смерти рвали края какого-то щита, а потом ударили в самую его середину — и больше уже ничего не было.

— Na, der ist fertig,****— сказал высокий красивый немец из Гейдельберга.

---

* Не двигаться, а не то получишь пулю! *(Нем.)*
** Вы не из Гейдельберга? *(Нем.)*
*** Тихо *(нем.)*.
**** Ну, этот готов *(нем)*.

НИКАНОР ПАРРА

На простом языке наших дней

Перевод с испанского и вступление
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Если вы собираетесь в путешествие по увлекательнейшему континенту латиноамериканской поэзии и, готовясь в путь, жадно листаете гиды и справочники, то неизбежно и очень скоро столкнетесь с именем Никанора Парры. Это имя ныне стоит в ряду первых имен — вместе с давно знакомыми нам, близкими и дорогими. И сразу же — за этим новым для нас именем, неотделимо от него — следует название, озадачивающее и заинтересовывающее: «Poemas y antipoemas». Развивая образ и рассматривая имя Никанора Парры как некое географическое название, скажем, как одну из областей континента латиноамериканской поэзии, «Poemas y antipoemas» можно было бы считать центром этой области. В действительности таково название книги, с которой, по убеждению самого Парры, начинается этот поэт.

Я приехала в Чили, зная лишь по имени Никанора Парру, автора книги «Poemas y antipoemas», который, как отмечал Пабло Неруда, среди поэтов Южной Америки выделяется «своей своеобразной листвой и сильными корнями». Его неизменно упоминали в разговорах о нынешнем и грядущем дне поэзии Чили и всей Латинской Америки. И вот, наконец, я познакомилась с ним. Он пришел к нам — пожалуй, первым советским людям в его жизни,— исполненный такого жгучего интереса, такого напряженного желания как можно больше узнать, и понять, и додумать, такого глубокого доверия и безоговорочного дружелюбия, что мы не потратили ни минуты на преодоление обычных при всяком новом знакомстве первых затруднений.

Его вопросы были столь напряженны и остры, что было ясно: он много думал о них и до встречи с нами, они жизненно важны для него, кровно связаны с его работой, судьбой, будущим. По характеру его интересов, по всему его облику чувствовалось, что это живой, активный и сильный человек, любящий жизнь и верящий в нее, которому несмотря на это, а может быть, именно поэтому жить нелегко, что в его судьбе много неустроенности и неудовлетворенности, что он ищет глубоких решений и своих путей, и поиски даются ему недешево.

Итак, я знала имя, по достоинству оцененное его современниками и соотечественниками, и узнала человека, которому принадлежало это имя,— без усилий мы нашли общий язык, общие интересы, крепкие духовные связи. Это было много, но далеко не все. Между двумя точками лежала огромная, еще неизвестная мне величина: труд этого человека, реализация его столь близких мне взглядов и принципов, его поэзия, его книги. Их я узнала позднее, и наша последующая встреча была, очевидно, самой значительной в нашем знакомстве. Вслед за острым интересом, вызванным стихами Парры, во мне возникло другое, более острое чувство — желание поделиться этим интересом с другими, открыть этого поэта друзьям. А друзей этих у меня немало, и имя им — советские читатели поэзии. Что же вызвало во мне, поэте другого языка и другого мира, горячее желание помочь новому голосу зазвучать по-русски?

«Poemas y antipoemas». «Стихи и антистихи». По-русски звучит почти кощунственно. Но не забудем, что написано это не по-русски,— преодолеем же первую реакцию и попробуем разобраться, в чем тут дело и что это, собственно, значит: «Стихи и антистихи».

Североамериканцы перевели и издали книгу Никанора Парры, назвав ее «Antipoems». Еще бы, это так эффектно. Стоит ли долго задумываться и глубоко вникать в задачу и замыслы поэта? Стоит ли обращать внимание на то, что поэт не дает никаких указаний, что́ в этой книге он считает стихами, а что́ антистихами; следует ли

раздумывать над тем, является ли союз «и» в этом заглавии разделительным или связующим? Для кое-кого это, как видно, слишком кропотливая работа. Однако вопрос по сути куда сложнее и тоньше; решать его по-североамерикански — значит вообще не задумываться над ним.

Мне думается, я понимаю, что имеет в виду поэт, называя книгу «Стихи и антистихи». Это позиция, это решение и решимость, это убежденность, это путь, который кажется поэту единственно мыслимым, единственно верным, единственно ведущим к цели. Нет, это не разрушение поэтических форм — это поиски новых форм, создание новых форм, поиски новых материалов для этих форм. Нет, это не разрушение стиха как такового, с его высоким строем и ладом — не забывайте, что речь идет об испанском стихе, прекрасном и благородном, но скованном несчетными традициями и условностями. Это борьба за то, чтобы стих, его строй и лад, завоевал еще более трудные высоты, заговорив о таких предметах, о таких явлениях жизни, о которых традиционная чилийская поэзия еще не умеет и не пробует говорить, находясь в многовековом заблуждении, будто бы существуют такие сферы жизни, до которых она не может снизойти. Разрушить подобное нелепое представление — одна из первых задач «антистихов» Никанора Парры.

Он пробует говорить стихами о материях вроде бы вовсе не поэтических. Он рассказывает стихами весьма будничные эпизоды своей жизни, рассказывает просто, даже грубо и всегда жестоко — прежде всего непримиримо к самому себе. Он избегает какой бы то ни было «поэтичности», и в этом заключена огромная поэтическая сила, исключительная сила воздействия на любителей поэзии, которые были ошеломлены новизной и непривычностью сильного голоса.

Он очень социален — о чем бы ни шла речь,— не нарочито, а естественно и органично, как социально всякое явление, всякое существование, если его рассматривать реалистически, говорить о нем правдиво, ничего не приукрашивая и не смягчая.

Он очень современен по самой сути своей, стихи его полны внутреннего напряжения и беспокойства, отмеченных характерностью и печатью второй половины двадцатого века.

Все это вместе взятое — социальность, современность, истинный реализм во взгляде на мир, в котором он живет,— привело поэта в конце книги «Poemas y antipoemas» к глубоко ироничному и горькому «Монологу Индивидуума». Острое ощущение бессмысленности человеческого существования, растерянности перед этим сознанием, которым стихи проникнуты, может стать либо печальным концом дороги, либо — если речь идет о сильной и остро мыслящей личности — нелегким началом некоего нового пути. Парра искал этот путь трудно, нашел его не сразу — поиски поэта интересны и органично впаяны во время.

Следующая книга стихов Парры называется «Versos de salón». Название весьма условное, и было бы, очевидно, уместнее, продолжая прежнюю линию, назвать книгу «Versos de antisalón». Второй сборник, по сути, продолжает линию «Монолога Индивидуума» — линию осмысления обреченности человеческого существования в капиталистическом обществе, продолжает подчас в гротескной форме, порой с такой горечью, с такой убийственной иронией, которые не оставляют сомнения в том, что этот острый, и злой, и недовольный реальной жизнью поэт сильнее ее назойливых обстоятельств и он найдет выход для себя и для своей поэзии. Не может не найти этого выхода автор уничижительного стихотворения «El pequeño burgués», которое ужасно хочется назвать в переводе не «Мелкий буржуа», а «Маленький буржуа».

Нет, Никанор Парра не располагается уютно в креслах салона, где идут досужие и банальные разговоры о бренности всего сущего; нет, он переворачивает к черту все эти кресла, он пробивается через всю эту салонную дребедень, расталкивая локтями все, что мешает, огрызаясь и отругиваясь, отбиваясь от упреков, от традиций, от условностей. Он упрямо ищет слова о подлинной сущности жизни, о подлинной сущности поэзии — того дела, которому он отдает свою жизнь. И он находит нужные слова — еще, может быть, первые, но горячие и уже бесспорно важные для него слова «Манифеста». Он произносит их, встав на пороге, распахнув дверь из всех и всяческих салонов в огромный мир, полный воздуха, ветра, солнца, жизни и людей, людей, людей, которые верят в жизнь, любят ее, строят ее и которые в борьбе и труде ждут помощи своих поэтов.

Приветствие Пабло Неруде

Это только приветствие пилигриму,
Благородному путнику, что прошел путями
Пятидесяти государств вселенной
Для того, чтобы снова вернуться в Чили.

Иные видят в тебе колибри,
Которую превратили в винтовку,
Рыбу-меч, большую полярную птицу;
Видят, как в метафорах вырастает
Писатель, пером своим вооруженный.
Я приветствую рабочего мира,
Лесоруба из чилийской чащи.

А другие, о тебе заслышав,
Издают нелепые приказы
Уничтожить, вырубить, выжечь
Тополиные стройные аллеи,
Чтобы ветер не развеял семя,
Что разносит пламенное слово
Далеко и широко по белу свету.
Ладно, пусть болтают, будет время,
И народ их всех притиснет ногтем
Одного лишь своего мизинца.
Пусть они тогда забрызжут желчью,
Словно насекомые ночные,
Что похожи на крошечную скрипку.
Я пришел приветствовать посланца
Родины любимой и свободной.

Друг и брат,
Я тебя хотел бы встретить
Полной чашей вина из Чилиана,
Да копиуэ * алой охапкой.
Но, увы, я могу тебя приветить
Лишь печалью в сердцах и на лицах
(Все, что тут стряслось, уж ты-то знаешь),
Лишь крушеньями, заревом и мраком,
Отголосками жестоких обвалов
В шахтах Лоты и Коронела
Да высоким чилийским небом
В ястребиной зловещей короне.

Поется морю

Из памяти моей никто не уберет
Мерцающий таинственный светильник,
Огонь его, ударивший в глаза,
Неповторимо озаривший душу.
Все губит время, только этот свет,
Я верю, даже смерть затмить не может.

...В ту пору я еще не понимал,
По чести говоря, кто я таков,
И первое свое стихотворенье
Еще не написал и первых слез не пролил.

* Южноамериканский цветок.

Чем было мое сердце той порой?
Не больше чем киоск на площади забытый.
Но вышло так, что именно тогда
Отец мой выслан был на крайний юг,
В глухую зиму острова Чилоэ.
Я вместе с ним отправился, и вот
В Пуэрто Монтт мы вышли ясным утром.
...С тех пор, как вспоминаю я себя,
Моя семья жила в горах или в долине,
И в доме, где родился я и рос,
И речи даже не было о море.
И я о море очень мало знал,
Лишь только то, что объясняли в школе,
И что-то смутное, что я тайком
Успел прочесть в любовных письмах к сестрам.
Мы с поезда сошли, прошли среди знамен.
Колокола торжественно звонили —
В тот день, наверно, был какой-то праздник.
И мой отец взял за руку меня
И, обратив глаза свои вперед,
К свободной, вечной, белопенной воле,
Которая куда-то вдаль летела,
Он произнес, как будто бы молитву,
Слова такие голосом таким,
Что до сих пор в ушах моих живут,
Не умолкая: — Мальчик, это море!
...Спокойное, безоблачное море,
Кристалл, которым родина омыта.
Я, право, не скажу вам, отчего
Какая-то безудержная сила
Влилась мне в душу. Сам не понимая
Значительности своего порыва,
Не думая, я бросился бежать
Вперед — к нему, пути не выбирая,
Как будто бы отчаяньем объятый,
И в миг, незабываемый навеки,
На берегу морском я очутился,
Лицом к лицу с великим властелином
Великих битв, и руки протянул
К зеленому взволнованному войску.
Застыло тело, и впились зрачки
В незыблемую истину пространства.
Ни волосок на мне не шевельнулся.
Я был подобен синей тени статуй.
Я не могу определить словами,
Как долго длился первый миг свиданья.
Могу добавить только: в этот день
Во мне родились страсть и беспокойство
И то неутолимое стремленье
Свершать стихами то, что непрестанно
Свершало море на моих глазах,
Неутомимо, за волной волна.
С тех пор меня и сушит эта жажда,
Неутолимая.

Монолог Индивидуума

Я — Индивидуум.
Сперва я жил в скале
(Я вырезал там разные фигуры).
Потом я стал искать
местечко попригодней.
Я — Индивидуум.
Сперва добыть еды:
Птиц, рыбы, дров...
(О прочем можно волноваться
позже).
Я высекал огонь,
Дрова, дрова...
Где можно бы найти
еще дровишек,
Еще дровишек, чтоб
разжечь огонь?
Я — Индивидуум.
Я спрашивал себя
В тот миг, когда я
приближался к бездне,
Что воздухом наполнена была,
И голос отвечал мне:
Я — Индивидуум.
Потом я попытался
Переместиться на другие скалы,
И там я снова вырезал фигуры,
Я вырезал там буйвола и реку.
Я — Индивидуум.
Я, наконец, устал,
Мне надоело высекать огонь,
Мне захотелось повидать
побольше.
Я — Индивидуум.
И я сошел в долину, омытую
рекой,
И я нашел там племя
первобытных.
Я — Индивидуум.
Я увидал, как люди
Увлечены различными делами:
Как вырезают на камнях
фигуры,
Как высекают пламя...
Эти тоже!
Я — Индивидуум.
Они меня спросили,
Откуда я пришел.
Я им ответил: — Да,
Нет у меня определенных планов.
Я им ответил: — Нет...
И с этих пор...
Ну, ладно!
И взял я камень,
найденный в реке,

И начал обрабатывать его,
Полировать его,
На это дело
Немалую часть жизни я потратил.
Но это длилось чересчур уж долго.
Рубил деревья, плыл на них
по морю,
Рыбачил, занимался тем и этим.
Я — Индивидуум.
Пока мне не наскучило
все снова.
Все: бури, штормы,
молнии и громы.
Я — Индивидуум. Ну и что ж,
отлично!
Тогда я начал думать понемногу,
Мне шли на ум дурацкие вопросы,
Пустые и фальшивые проблемы.
И я пустился странствовать
в леса,
Шел от ствола к стволу,
К источнику пришел,
Ко рву, в котором копошились
крысы.
Дойдя дотуда, я тогда сказал:
— А где тут есть
какие-нибудь люди,
Какое-нибудь племя дикарей,
Упорно добывающих огонь?
Таким путем я двинулся
на запад,
С людьми другими,
Нет, скорей один.
Мне говорили: видеть
значит верить.
Я — Индивидуум.
Я вижу очертания во мраке,
Быть может, тучи,
Тучи и зарницы.
Тем временем, покуда дни
шли мимо,
Я вдруг почувствовал,
что умираю.
Тогда я стал изобретать машины,
Часы, оружье, средства перевозки
Я — Индивидуум.
Я успевал едва
Похоронить умерших, хлеб
посеять.
Я — Индивидуум.
С годами я постиг
Какие-то предметы, формы,
смыслы,
Пересекал границы на баркасе,
Который шел по морю сорок суток.
Я — Индивидуум.
Затем случались засухи и войны,

Цветные люди заняли долину,
Но я производил не уставая.
Я произвел сложнейшие науки
И очень много непреложных истин,
Я произвел изделия ганагры
И много книг по тысяче страниц.
Я стал чванлив, я изобрел фонограф,
Потом я создал швейную машину,
И первые автомобили в мире
Вдруг появились.
Я — Индивидуум.
Другие стали изучать планеты,
Другие стали изучать деревья,
Но я производил
орудья производства,
Писчебумагу, мебель и посуду.
Я — Индивидуум.
Я строил города,
Дороги строил...
Церкви и соборы
Внезапно стали выходить из моды,
Искали люди одного
блаженства.
Я — Индивидуум.
Потом я понял,
Что лучше путешествовать
по свету,
Практиковаться в разных языках,
В наречьях разных.
Я — Индивидуум.
Я в скважины замочные глядел,
Да, я подглядывал,
о том я и толкую,
Чтобы свои сомнения рассеять,
Заглядывал я в щели занавесок.
Я — Индивидуум.
Ну что ж, отлично!
Не лучше ли вернуться в ту долину.
Под ту скалу, что мне служила
домом,
Опять начать вырезывать
на камне,
Опять пуститься из конца
в начало,
Мир выворачивая наизнанку?
Но, собственно, к чему?
Не вижу смысла.

■

Предлагаю закрыть заседание

Дамы и господа,
Господа и дамы!
Я хотел бы поставить один лишь вопрос:
Кто мы, дети земли или солнца?

Если только земли,
Я не вижу причины
Продолжать затянувшуюся киносъемку
И на том предлагаю закрыть заседанье.

Русские горы

Поэзия!
Без малого полвека
Она была, пожалуй, сущим раем
Для всех высокопарных дураков.
Покуда в ней не появился я
И не воздвиг своих, тех самых русских гор,
Которые в России почему-то
Зовут американскими горами.

Пожалуйста, взбирайтесь — кто угодно!
Но если сверзитесь, и расшибетесь,
И рот и нос расквасите до крови,
Я, разумеется, не отвечаю.

Изменения названий

Любителям изящного искусства
Я шлю мои нижайшие поклоны,
Намереваясь изменить названья
Кое-каких вещей.

Моя позиция да будет вам известна:
Поэт не сдерживает обещанья
В том случае, когда он не меняет
Названия вещей.

Как солнце стало называться солнцем?
И почему оно должно и впредь
Так называться?
А я его назвал бы Мисифусом —
Котом в сорокамильных сапогах.

Ботинки не похожи ль на гробы?
Так знайте же: отныне и навеки
Ботинки называются гробами.
Запомните и всех оповестите,
Что, мол, ботинки изменили имя,
Отныне им название — гробы.

Ну, ладно, ночь длинна,
И уважающий себя поэт
Свой собственный словарь иметь обязан.
И прежде чем забудут обо мне,
Я должен богу дать другое имя,
Я должен людям выговорить право,
Чтоб каждый называл его как хочет.
Пусть это будет личною проблемой,
Сугубо личной — каждого из нас.

Мелкий буржуа

Желающий устроиться в раю
Для мелких буржуа пускай пройдет
Дорогою искусства для искусства
И вдоволь наглотается слюны
Презрения, обид и оскорблений.
Не вечно ж оставаться новичком!

Чтоб мелким буржуа однажды стать,
Вот перечень того, что надо знать:
Искусство галстук завязать по форме,
Начистить до сверканья башмаки,
И карточки визитные изящно
Бросать в приемных в вазу иль на блюдо,
И в глубине зеркал венецианских
Узнать себя и в профиль и в анфас;
Уметь хлебнуть изрядно коньяку,
Виолончель от скрипки отличая,
Встречать гостей в изысканной пижаме,
И волосы беречь от выпаденья,
И проглотить достаточно слюны.

Пусть все всегда лежит в своих архивах.
Когда жена в восторге от другого,
Рекомендую вам такую хитрость:
Спокойно бриться безопасной бритвой,
Красотами природы восхищаться,
Что было сил хрустеть листом бумаги,
Привыкнуть к болтовне по телефону,
Постреливать порой из пугача,
И ногти грызть отчаянно зубами,
И проглотить достаточно слюны.
А если хочет мелкий буржуа
Блистать в салонах, следует учиться
Ходить на четвереньках в совершенстве,
Чихать и улыбаться в то же время,
И танцевать у края бездны вальсы,
И раздеваться перед зеркалами,
И розу обрывать карандашами,
И тоннами проглатывать слюну.

Я разрешу себе один вопрос:
А был ли мелким буржуа Иисус Христос?

Как видите, чтобы проникнуть в рай
Для мелких буржуа, не надо быть богатым,
А надо быть искусным акробатом,
Отменным, совершенным акробатом,
Чтобы проникнуть в рай для мелких буржуа.

Но истинный артист порой по праву
Уничтожать стрекоз считает за забаву,
Чтоб разомкнуть порочный круг, порою
Рекомендуют действовать ва-банк:

Внезапно исчезать и появляться,
Вставать в каталептическом припадке,
Вальсировать на мусорных курганах
И старика баюкать на руках,
От взгляда тусклого не отрывая взгляда;
Плевать в кулак, о времени справляться
У тех, кому осталось чуть до смерти,
Во фраке появляться на пожаре,
Накинуться на траурный кортеж
И поднимать могильную плиту,
Чтобы узнать, растут ли там деревья;
Сворачивать с тропинки на тропинку,
Без ссылок на «когда» и «почему»,
С усами кинофата,
Стремительно, как мысль.

Манифест

Дамы и господа,
Это наше последнее слово,
Наше первое слово
и наше последнее слово:
Поэты спустились с Олимпа.

Для тех, кто предшествовал нам,
Поэзия — роскошь.
Для нас она — хлеб и вода,
И жить без нее невозможно.

В отличье от предков —
Скажу вам со всем уважением —
Мы считаем,
Поэт не алхимик,
Поэт — человек, как другие.
Он — каменщик, дом
возводящий,
Строитель, который в стене
прорубает
Широкие двери и окна.

Говорим меж собой
На простом языке наших дней,
В кабалистику вовсе не веря.

И еще одна вещь:
На земле существует поэт
Для того, чтобы дерево
вкривь не росло никогда.

С этим мы обращаемся к вам
И встаем на пути
Демиурга-поэта,
Поэта-дешевки,
Поэта, подобного мыши
из книгохранилищ.
Эти все господа —
Говорю вам со всем
уважением —
По закону должны быть судимы,
Потому что они воздвигают
воздушные замки
И безжалостно тратят
пространство и время,
Посвящая сонеты луне,
Сочетая слова наудачу,
Соблюдая последнюю моду Парижа.
А по-нашему — нет:
Мысль рождается не на губах,
В сердце сердца рождается мысль.

Наотрез отвергаем
Поэзию темных очков,
Плаща и кинжала,
Поэзию шляпы с пером.
Предлагаем взамен
Поэзию ясного глаза,
Обнаженной души,
Головы непокрытой.

Не верим ни в нимф,
ни в русалок.
Поэзия — девушка
С охапкою спелых колосьев,
Или вовсе поэзии нет.
Итак, в политическом плане
Они — те, кто шел впереди,
Наши добрые, наши
ближайшие предки, —

Преломлялись рассеянным светом
Кристаллических призм.
Кое-кто из них
слыл коммунистом,
Но был ли он им, я не знаю.
Знаю только:
Из них лишь немногие
Добирались до сердца народа
И живут в этом сердце.
Другие всегда, когда только могли,
Выступали и словом и делом
Против права поэзии
знать направленье дороги.
Быть поэзией нашего дня,
Быть поэзией пролетариата.

Ну, допустим, что
были они коммунистами.
Тем мне горше сказать,
Что поэзия их — катастрофа,
Торжество второсортного
сюрреализма,
Декадентство, пожалуй что,
третьего сорта,
Возвращенные на берег морем
какие-то старые доски.
Прилагательные стихи,
Поэзия носа и глотки,
Произвольная,
Переписанная из книг,
В основанье которой лежит
революция слова,
Хоть согласно условию
Должна она встать на основе
Революции чувств и идей.
Заколдованный круг
для полдюжины избранных:
«Абсолютно свободное слово!»

И сегодня мы спросим, недоумевая:
Для чего же писалось все это?
Для того, чтобы страху нагнать
на мелкую буржуазию?
Как ничтожно потеряно время!
Буржуа реагирует только тогда,
Когда дело касается пищеваренья.
Попытайтесь его растревожить
стихами!

Такова обстановка:
Покуда они утверждали
Поэзию сумерек,
Поэзию ночи,
Мы защищали
Стихи на рассвете,
Поэзию утренних зорь.
Это наша задача:
Свет поэзии должен светить
Всем на свете,
Повсюду на свете,
До всех достигая.

Это, собственно, все.
Товарищи, мы осуждаем —
Повторяю со всем уваженьем —
Поэзию малых божков,
Разъяренных быков
И священной коровы.

Поэзии за облаками
Предлагаем мы твердую землю —
У сторонников твердой земли
Голова холодна и горящее сердце.
Поэзии душных кафе
Предлагаем мы вольную волю.
Поэзии светских салонов —
Простор площадей,
Трубный глас возмущенья
миллионов.

Поэты спустились с Олимпа.

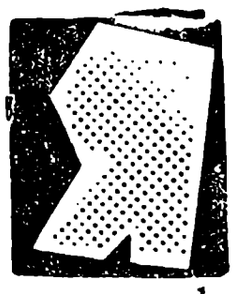
Р. К. НАРАЙАН

ЛЮДОЕД В МАЛЬГУДИ

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДЕМУРОВОЙ

Глава 1



мог бы с выгодой сдать маленькую комнату, расположенную перед моей типографией. Окнами на Базарную улицу, с видом на фонтан, она была предметом вожделения всех неудавшихся лавочников нашего города; меня считали глупцом: почему я не хотел окупить ее стоимость? Ведь для типографского станка и персонала вполне хватало места за синей занавеской. Мне трудно было оправдаться перед этими торгашами. Я повесил на стену изображение богини Лакшми в рамке — стоя на лотосе, богиня высоко подымала в своих четырех руках щедрые дары земли,— и под ее защитой дела мои шли совсем неплохо. Мой сынишка Бабу учился в школе при миссии Альберта и не испытывал недостатка в игрушках, книжках, сластях и всяких мелочах, которых он время от времени требовал. Каждый раз на праздник Дипавали жена моя покупала себе новое шелковое сари, отделанное золотой каймой (другие она приобретала, не заботясь о поводе). В кладовой у нас всегда было достаточно припасов, а в кухне жарко горел огонь — жена поддерживала обычаи нашего старого дома в Кабирском переулке.

В гостиной я поставил тиковое кресло с высокой спинкой — если верить аукционисту, который продал его моему деду, оно было выдержано в стиле королевы Анны,— бюро с опускающейся крышкой и с тонкими выгнутыми ножками, увитыми плющом, и еще четыре кресла различной формы и высоты.

Если, проходя по Базарной улице, кто-нибудь чувствовал усталость, он мог отдохнуть у меня в гостиной, в любом из кресел, которое было свободно в эту минуту. Там он предавался размышлениям, а потом поручал мне напечатать бланки для счетов, визитные карточки и приглашения на свадьбу. Случалось, правда, что эти визиты не приносили мне выгоды ни на пайсу. Среди постоянных моих посетителей был поэт, сочинявший моносиллабическую поэму о деяниях бога Кришны. Он задумал ее как великий эпос и приходил ко мне чуть ли не каждый день, чтобы прочитать новые строфы. Я преклонялся перед ним. Волнение вздымало мне грудь, когда я слышал чеканные строки:

Бег дев на луг был быстр и дик...

Не меньшее волнение охватывало меня, когда, бывало, мне приходилось добираться до смысла некоторых пассажей, если, не найдя подходящего односложного слова, поэт, не терпевший никаких препон на своем пути, безжалостно разрубал многосложное на части. Самые обыденные слова приобретали тогда таинственность особого кода. Из уважения к его литературным заслугам я неизменно предоставлял ему кресло королевы Анны. Сам я присаживался на краешек своего бюро. Второе по удобству кресло, сплетенное из тростника в форме корзины, занимал журналист Сен — он приходил ко мне почитать газеты и поговорить о просчетах, которые допускает Неру. Журналист и поэт, а подчас и все остальные не помышляли об уходе даже в шесть часов, когда замолкал типографский станок. Если я выходил или занимался чем-нибудь, не обращая на них внимания, их это ничуть не смущало; к тому же они были настолько любезны, что без всяких просьб уступали кресло, если ко мне приходил кто-нибудь по делу. Между гостиной и типографией висела синяя занавеска. Никто не пытался заглянуть за нее. Я громким голосом отдавал распоряжения метранпажу, наборщику, переплетчику или кассиру, и все думали, что за занавеской скрыто множество людей. На деле же, чтобы доказать их существование, мне пришлось бы спрятаться за занавеской и заняться чревовещанием. Зато в соседней «Звездной типографии» персонала было более чем достаточно, и, если кто-либо из моих заказчиков настаивал на осмотре машин, я выводил его мимо синей занавески прямо к «Звезде» и с гордостью демонстрировал настоящий «гейдельберг», отмечая, что его двойной цилиндр просто находка, хотя, по-моему, сосед сделал большую ошибку, купив этот станок: когда он работал, его скрип и стоны слышны были даже за железнодорожным депо.

Владелец «Звезды» был прекрасным человеком, на него во всем можно было положиться, но клиентов у него почти не водилось. Да разве могло быть иначе! Ведь все они толпились у меня в гостиной, хоть мне и нечего было им предложить, кроме нескольких разрозненных кресел и приветливого слова. Но так как мало кто побывал за синей занавеской, всем казалось, что я способен на великие дела, и я старался не разочаровывать их. В этом мне помогал мой доброжелатель (я не решаюсь назвать его «персоналом») — Састри, пожилой человек, который набирал текст, печатал его по четыре страницы вручную, подбирал листы и относил их в переплет и в обрез за четыре улицы, на Кандан. Я помогал ему во всех этих занятиях, если он просил об этом и если мои посетители оставляли меня в покое. Как правило, заказов у меня было немало, когда же их было слишком много, я передавал часть соседу, чтобы он напечатал их на настоящем «гейдельберге». Я так вольно обращался со «Звездой», что трудно было понять, кто же из нас двоих был ее владельцем.

Я жил в Кабирском переулке, который проходил за Базарной улицей. День мой начинался около четырех часов утра. Когда я шел к реке для утренних омовений, было еще темно, только кое-где на нашей улице мерцали установленные муниципалитетом фонари (если в них не кончилось масло). Я спускался по Кабирскому переулку, пересекал поредевшую аллею, пролезал сквозь дыру в ограде из куманики, что окружала двор городской ратуши, и выходил к реке.

Я хорошо знал, кто мне встретится на пути. Разносчик молока, отправляясь в ежедневный обход, гнал перед собой тщедушную белую корову. Он почтительно здоровался со мной и спрашивал:

— Который час, хозяин?

Я оставлял его вопрос без ответа, так как часов с собой у меня не было. С принужденной улыбкой я уступал ему дорогу. Мне хотелось сказать ему:

«Поведай мне тайну своего колдовства! Как тебе удается извлекать из этого призрака молоко на тридцать семейств? А ведь ты это делаешь каждое утро... Кто ты — простой продавец молока или фокусник?»

Старик, больной астмой, живущий в конце нашего переулка, садился на галерее своего дома и, задыхаясь, хрипел:

— Всю ночь не мог сомкнуть глаз, и вот уже утро — и вы здесь! Да, видно, такова жизнь!

Сторож городской ратуши окликал меня из-под своего одеяла:

— Это вы?

Единственный вопрос, заслуживающий ответа! Я неизменно отвечал:

— Да, это я.

И проходил мимо.

У меня было свое место на берегу реки, сразу за ратушей. Я сторонился длинного ряда ступеней ниже по течению: там всегда было много народу, и, если мне и случалось совершать там омовения, меня мучило чувство, что я погружаюсь в грязную воду. А вот мое местечко — выше по течению — было, как мне казалось, совершенно уединенным. Большая пальма склонялась над рекой, а на ней висели глиняные горшочки. Через разрез в коре в них капал пальмовый сок, бродил, благоухая до небес, а потом его собирали в бочки и продавали избранной клиентуре восемнадцати распивочных во всех четырех концах города, где каждый вечер можно было увидеть, как, насладившись напитком, бражники дерутся или валяются в канаве. Но больше ни слова об этой могучей жидкости, стекающей в глиняные горшочки! Я не мог смотреть на пальму без содрогания. Благодаря своей монополии в распивочных Санкунни строит себе особняки в Новом районе и ездит в четырех американских автомобилях с шоферами в ливреях!

Меж корней пальмы лежала большая каменная плита, на которой я мыл свое дхоти. В темноте гулко раздавались удары мокрой ткани по граниту. Я заходил в реку по грудь, холодная вода приятно бодрила тело. Деревья на берегу темнели, словно тени в сумерках. Когда восток багровел, я присаживался на песок и молился Солнцу, чтобы оно озарило мой ум. Я прекращал размышления, когда раздавалось звяканье бубенчиков на упряжках быков — это крестьяне из ближайших деревень огибали Налаппскую рощу, направляясь на рынок с грудами овощей, зерна и дров. Я подымался и шел назад, скрутив в тугой жгут мокрое дхоти.

На обратном пути мне предстояли новые встречи. Моя двоюродная сестра с Четвертой улицы проходила мимо, бросив на меня холодный взгляд. Она вымещала на мне свою злость: ведь я жил в доме наших дедов, который мой отец получил при разделе имущества между братьями. И хотя все это произошло еще при жизни отца, она никак не могла нам этого простить.

Сонно брели к реке и другие жители квартала, и у каждого из них находилось для меня слово. Был среди них адвокат, известный мастер отсрочек — он умел так растянуть дело, как это и не снилось клиенту. Тощий человек с голодным взглядом, он брил подбородок лишь раз в две недели. Завидев меня, он кричал:

— А где же ваша постель? Вы, должно быть, спали на берегу, раз возвращаетесь в такой неурочный час!

Заметив его издали, я восклицал про себя:

«Я пропал! От специалиста по отсрочкам так просто не уйдешь!»

Только одного из своих многочисленных соседей я встречал не без

удовольствия. Это был семидесятилетний старик, живший в полуразвалившемся флигельке в Адамовом тупике. Он владел добрым десятком домов в нашем районе, прилежно собирал с жильцов плату и рассылал ее в самые отдаленные уголки Индии, где обретались его многочисленные потомки. Он всегда останавливался, чтобы сообщить мне последние новости о своих родных. Когда его голые десны обнажались в улыбке, он был так похож на новорожденного!

— Вы что-то поздно сегодня,— говорил я ему и ждал объяснений.

— Да, вчера засиделся до ночи. Все писал письма... Знаете, как бывает, когда дети разбросаны по всей стране.

Я останавливался и слушал старика, хотя пальцы мои затекали от мокрого дхоти, которое я нес сушить домой. У старика было четверо сыновей, пять дочерей и бесчисленное количество внуков. Он был вечно занят — ремонтировал свои дома, на которые всегда жаловался кто-нибудь из жильцов, и писал бесконечные письма своим подопечным, благословляя, упрекая, а подчас и портя их своими денежными переводами.

Я жил в отцовском доме, ничего не меняя в нем. Когда произошел раздел имущества между моим отцом и его братьями, я был студентом колледжа при миссии Альберта. Я хорошо помню тот день, когда четверо моих дядюшек с женами и детьми покинули наш дом, погрузив на тачки свою долю наследства, посуду и всякую мелочь. Все, что можно было разделить на пять частей, было аккуратно поделено, и каждый из братьев получил по равной доле. Те же вещи, которые нельзя было разрубить на части, достались тому, кто громче всех их требовал. Плетеное кресло, в котором, глядя на небо, любил лежать во дворе дедушка, досталось моему второму дяде, жена которого и начала весь шум из-за раздела имущества. Она потребовала также пару скамеечек из розового дерева, которые блестели естественным блеском, и деревянное кресло, известное в семье под названием «антиклопиного». Третий брат потребовал, в качестве компенсации за эти предметы, деревянную кушетку и «ножную» фисгармонию с педалью, которую также требовал другой дядя, чья дочь, как считалось в семье, обладала музыкальными способностями. Десятки лет эта фисгармония пылилась в углу, и никто не замечал ее. Никто даже не интересовался, как она попала в наш дом, хотя небольшое семейное следствие установило бы, что дедушка одолжил как-то сотню рупий местной драматической труппе, взяв в качестве обеспечения единственную их движимую собственность — фисгармонию, а после постановления суда о конфискации приволок ее домой и поставил в углу прихожей. Он умер, так и не успев реализовать стоимость фисгармонии, которой до самого раздела его потомки и не замечали.

Долгие годы все четыре брата моего отца, вместе со своими женами и пятнадцатью детьми, жили под одной крышей. Связующим звеном была бабушка, она заложила теоретические основы этой системы, а ее сестра, известная в семье под именем Тетушки, осуществляла ее на практике. Управление семейством шло, таким образом, довольно гладко. Со смертью бабушки пришел конец и семейному единству. Неприятности начались, когда жена второго брата моего отца, стоя как-то в крытой галерее нашего дома, громко пожаловалась, что ее детей в семье обижают. Она утверждала, что является предметом ненависти всей семьи, и ее супруг согласился с нею. Вскоре между братьями и их женами возникли и другие расхождения, хотя дети продолжали играть все вместе во дворе, не подозревая о ссорах взрослых. Но не прошло и года, как разразился самый громкий скандал. Это случилось в праздничный день, и поводом к нему послужил ничтожный случай: восьмилетний мальчишка сшиб с ног другого и выхватил у него изо рта печенье. Мать жертвы стянула с обидчика штанишки и отшлепала его, после чего возник тяжелый семейный кризис.

Отец и его братья сидели кру́гом и обедали. Отец пробормотал вполголоса:

— Если бы мама была жива, ничего подобного бы не произошло.

Два брата, возмущенные происшедшим, встали из-за стола, не прикоснувшись к еде. Отец продолжал, не обращаясь ни к кому в особенности:

— Нельзя отказываться от пищи. Сегодня священный праздник. Такие вещи недопустимы.

Мать склонилась над ним, подливая масло, и прошептала:

— Что ты во все вмешиваешься? Они же не дети — сами знают, как себя вести в праздничный день.

Отец молча согласился с нею и тут же во имя мира решил отказаться от жизни всей семьей.

На следующий день в нашем доме появились семейные адвокаты и специалист по отсрочкам: они забе́гали с бумагами, подписями, и через несколько недель дом опустел. С тех пор как дом был построен дедом моего отца, в нем всегда жило много народу — бесчисленные дети, женщины, двоюродные братья и сестры, дальние родственники, гости приезжали и уезжали, а теперь дом стоял заброшенный и пустой. В нем остались только мои родители, Тетушка, я и две мои сестры. Брат учился в Мадрасе и жил там в студенческом общежитии. Отец старел — теперь он целые дни сидел на галерее нашего дома, читал «Рамайяну» и глядел на улицу. Даже по ночам он не покидал галереи — подкладывал себе под голову маленькую подушку и засыпал. Он почти не заходил в другие части своего большого дома. Иногда он забредал в сад и срывал засохшие листья с цитруса, который всегда был его любимцем. Дерево росло там годами; никто не знал, апельсин это или лимон. Время от времени на его ветках появлялось несколько белых цветов, но на этом все и кончалось, оно никогда не выдавало своей тайны людям. Только об этом дереве и заботился мой отец. Он почти не замечал шести высоких кокосовых пальм, которые шуршали листьями высоко в небе. Ими занимались мать и Тетушка — следили за тем, чтобы их верхушки регулярно очищались от жуков и засохших листьев, нанимали раз в месяц сборщика кокосов и складывали в амбар большие спелые орехи. Кроме того, в саду росли тыквы, а тростниковая крыша коровника, в котором когда-то, много лет назад, стояли четыре самые породистые коровы в Мальгуди, была густо увита плющом.

После смерти отца мама жила с нами до тех пор, пока Бабу не исполнился год, а потом переехала в Мадрас к моему брату, забрав с собой подругу своих дней — Тетушку. А я вместе с женой и маленьким Бабу остался один в нашем старом доме в Кабирском переулке.

Глава 2

Састри нужно было уйти пораньше, чтобы отслужить молитву. Я не хотел его отпускать. Сегодня нужно было закончить трехцветные этикетки для газированной воды К. Дж. (я гордился прекрасным качеством своей цветной печати). Это была серьезная работа, хоть я и считал, что краски, которыми я пользуюсь для печати, гораздо безобиднее тех, которыми К. Дж. подкрашивает воду в своих бутылках. Мы уже отпечатали основной тон, и сегодня нам предстояло накладывать вторую краску. Это был самый решительный момент в нашей работе, и мне хотелось, чтобы Састри остался и сделал ее сам.

Састри сказал:

— Возможно, я смогу задержаться вечером и закончить этикетки. Только не сейчас! А пока вы должны...

И он объяснил мне, что я должен сделать до двух часов, когда он вернется. Я был поглощен беседой со своими обычными посетителями. На повестке дня сегодня стоял третий пятилетний план — мой друг Сен не видел в нем ничего хорошего для страны.

— Три миллиарда — что мы считаем: людей или деньги?

Аудитория, к которой он обращался, состояла из меня и поэта, да еще кого-то, кто зашел отпечатать какое-то изречение на своих визитных карточках. Дискуссия разгорелась, так как зашедший принадлежал к партии конгресса и с тех пор, как Махатма Ганди прибыл в Индию из Южной Африки, успел четырнадцать раз побывать в заключении. Он забыл о том деле, которое привело его ко мне, и, прочно усевшись в углу, погрузился в спор:

— Все горе в том, что вы привыкли во всем винить правительство. По-вашему, демократия в том и состоит, что, если в магазине нет сахара, значит, в этом виновато правительство! Ну и что, если нет сахара? Вы же не умрете, если несколько дней попьете утром кофе без сахара!

Сен оспаривал каждое слово этой патриотической речи.

Я внимательно следил за спором, пока не заметил тени Састри за синей занавеской. Когда ему что-то было нужно, Састри обращался со мной, как с подручным. Мне же в таких случаях ничего не оставалось, как примириться с этой ролью. Я должен закрепить форму на станке, тиснуть вторую краску на всех этикетках и положить их сушиться, а потом придет он, отпечатает третью краску и снова разложит их сушиться. Для большей ясности он добавил:

— Формы уже стерлись, так что подлейте побольше чернил.

— Слушаюсь, господин Састри.

Он посмотрел на меня сквозь очки в серебряной оправе и решительно произнес:

— Если вторая краска не будет отпечатана и этикетки не высохнут сегодня, мы не сможем завтра их сдать. Вы же знаете К. Дж...

А мой обед? Этот человек и не подумал о нем. Он становился настоящим тираном, когда приходило время печатать этикетки, а условиями труда он и не интересовался. Возражать ему было бесполезно. Он ничего и слышать не желал. Словно прочитав мои мысли, он добавил:

— Я бы не стал вас беспокоить, если бы не молитва. Я должен идти — жена и дети будут ждать меня на пороге.

Ему придется поторопиться, если он хочет, чтобы они не очень долго сидели голодными. Жена и дети... Какая бессмыслица! Что такое семейные узы для такого человека, как Састри? Люди меньшего калибра — вроде меня, например,— могли влачить это бремя. Его же место было у печатного станка. Он был так непохож на главу семьи. Но я не решался выразить свои мысли вслух. Время от времени, но только в совершенно экстренных случаях, в наших отношениях хозяина и служащего происходил переворот. Я принимал это без возражений.

По установившемуся обычаю, мои друзья никогда не заглядывали за синюю занавеску — я мог спокойно приниматься за дело. Састри все приготовил. Мне надо было только нажимать на педаль и подкладывать под пресс этикетки. На бледно-оранжевом фоне мне предстояло изобразить нечто фиолетовое. Шум машины, приводимой в движение одним нажатием педали, действовал на меня усыпляюще. Остановившись, я услышал голос Сена:

— Если бы Неру смотрел на вещи реально, он должен был бы заявить, что конгресс не проводит его политики... Зачем строить планы, если нет средств на их осуществление? К тому же, что мы будем делать со всей этой сталью через десять лет?!

Внезапно голоса затихли. «Что они там — онемели?» — подумал я. Послышалось шарканье ног. Я радовался, что они покончили с третьим

пятилетним планом. Потом случилось нечто неожиданное. Синяя занавеска колыхнулась, край ее приподнялся, и я увидел голову моносиллабиста. Должно быть, произошло нечто из ряда вон выходящее, если он решился на такой поступок. Глаза его были широко раскрыты.

— Тут вас спрашивают!

— Кто? Что ему надо?

— Не знаю.

Продолжать разговор шепотом было совершенно невозможно. Я затряс головой, заморгал и скорчил гримасу, желая дать поэту понять, что он должен вернуться и сообщить, что меня нет. Но поэт, никогда не блиставший сообразительностью, не понимал и продолжал бессмысленно мигать. Внезапно голова его исчезла, и в тот же миг на ее месте появилась другая — загорелое лицо, большие пронзительные глаза под густыми бровями, широкий лоб и над ним, словно черный ореол, целая копна спутанных волос. Моим первым желанием было сказать: «Кто бы ты ни был, почему бы тебе сначала не причесаться?!»

Незнакомец, очевидно, оттолкнул или оттащил поэта, чтобы самому занять его место. Не успел я и рта раскрыть, как он спросил:

— Вы Натарадж?

Я кивнул, и он шагнул вперед, рванув занавеску в сторону, чем нарушил священные обычаи моей типографии. Я сказал:

— Будьте любезны, присядьте в соседней комнате. Я сейчас выйду к вам.

Он не обратил на мои слова никакого внимания, сделал еще шаг и протянул мне руку. Я торопливо отер пальцы тряпкой и пробормотал:

— Простите, запачкался, работал...

Он крепко сжал мне руку. Моя кисть утонула в его кулаке — он был высокого роста, около шести футов, но строен и пропорционально сложен, бычья шея и кулаки молотобойца выдавали его силу.

— Не перейти ли нам в другую комнату?— повторил я.

— Зачем? Мне это ни к чему,— сказал он.— Вы что-то делали — продолжайте. Мне вы не помешаете.

Он взглянул на мои этикетки.

— Это что такое?

Мне не хотелось, чтобы посторонние проникали в тайны моей цветной печати. Я подошел к синей занавеске и учтиво откинул ее. Он вышел вслед за мной. Я придвинул ему кресло в стиле королевы Анны и занял свое обычное место на краешке бюро. Теперь я снова чувствовал себя хозяином положения. Я улыбнулся своей самой любезной улыбкой и спросил:

— Так чем могу быть полезен, господин?..

— Васу,— сказал он и добавил: — Я заметил, что вы не расслышали моего имени. Вы что-то говорили в эту минуту.

Я растерялся и, чтобы скрыть свое смятение, снова глупо ухмыльнулся. Внезапно я увидел себя со стороны и рассердился на этого человека за то, что он так смутил меня. «Натарадж,— спросил я себя,— уж не боишься ли ты этого силача?»

— Итак?..— произнес я с расстановкой, как бы желая сказать: «Хватит зря тратить мое время — говорите, что вам от меня надо!»

Он вынул из внутреннего кармана пачку бумаг, порылся в ней и протянул мне листок, на котором было что-то написано от руки.

— Пятьсот листов именной бумаги — самого лучшего качества — и пятьсот визитных карточек.

Я молча развернул листок и прочел: «Х. Васу, магистр наук и чучельных дел мастер». Во мне проснулось любопытство. Раздражение куда-то улетучилось. Я никогда раньше не встречал чучельников.

— Пятьсот! — воскликнул я самым приветливым тоном.— Вы уверены, что вам нужно именно пятьсот визитных карточек? Почему бы вам не напечатать для первого раза сотню? Ведь они могут пожелтеть.

— Что это вы лезете со своими советами? — отрезал он.— Я знаю, что мне нужно. Я заказываю визитные карточки не для того, чтобы хранить их под стеклянным колпаком.

— Что ж, я могу напечатать хоть десять тысяч.

Услышав мой решительный тон, он смягчился.

— Прекрасно, прекрасно, вот это правильный ответ.

— Если вы хотите, чтобы они были отпечатаны на настоящем «гейдельберге»...

— Послушайте, мне все равно, на чем они будут отпечатаны. Я ничего в этом не смыслю.

Все было ясно — каждая новая фраза только усложняла дело. Этот человек казался мне загадкой. Мне не хотелось терять такого клиента, но даже если бы я решил от него отделаться, я не знал бы, как это сделать. Теперь придется терпеть его общество до тех пор, пока он не решит уйти сам. Почему бы мне и не держаться с ним приветливо!

— Конечно, как вам будет угодно... Мое дело спросить, вот и все. Некоторые предпочитают «гейдельберг».

Внезапно он оживился:

— А что это такое?

Я описал ему магические свойства «гейдельберга», а также и его местонахождение. Он задумался, потом вдруг воскликнул:

— Натарадж, я полагаюсь на вас. Не сомневаюсь, что вы сделаете для меня все возможное. Я пришел к вам, как к другу.

Я был удивлен и польщен.

— В вашем городе я впервые, но не прошло и часа после моего приезда, как я услышал о вас.

Он невнятно сослался на кого-то.

— Такие дела я решаю без размышлений,— сказал он.— Если мне кто-нибудь нравится, значит, действительно нравится, и все тут.

Я жаждал поговорить с ним о его специальности.

— Чучельных дел мастер,— проговорил я, глядя на его карточку.— Интересная, должно быть, работа. А где же ваша... гм... контора?...

— Я надеюсь начать дело здесь. Я жил в Джунагаде — вы знаете Джунагад? — и там меня увлекло это искусство. Я познакомился там с одним мастером, неким Сулейманом. Когда он делал чучело льва — а в Джунагаде, как вы знаете, водятся львы,— лев выглядел у него еще свирепее, чем в джунглях. Его чучела продаются сейчас по всему миру. Это был настоящий мастер, и он научил меня своему искусству. В конце концов, мы же цивилизованные люди, культурные, образованные, мы должны доказать свое превосходство над природой. С каждым днем наука все больше и больше покоряет природу, почему бы и нам не последовать ее примеру! Вот вам моя философия! Пусть кто-нибудь попробует поспорить со мной.

Вспомнив о своем наставнике Сулеймане, он загрустил и вздохнул:

— Это был настоящий праведник. Он передал мне все, что знал сам.

— А где вы получили звание?

— В Мадрасе, конечно. Хотите, я расскажу вам о себе?

Интересно, что бы он стал делать, если б я ответил: «Нет, я лучше пойду домой обедать»? Он, должно быть, схватил бы меня и сказал: «Нет уж, вы будете слушать!»

— Я учился в Президентском колледже. Там мне и дали звание магистра исторических, экономических и филологических наук.

Это было в 1931 году. Затем он примкнул к движению гражданского неповиновения британским властям, нарушал законы, участвовал в ше-

ствиях, демонстрациях и сел в тюрьму. С тех пор он неоднократно попадал в заключение и вот, выйдя раз на свободу, очутился на улицах Нагпура. Там на представлении в цирке он увидел силача.

— Этот человек клал себе на щеку каменную плиту весом в полтонны и спокойно смотрел, как ее разбивали на куски тяжелым молотом; он перегрызал стальные цепи, а как ударит, бывало, кулаком по каменной глыбе, так тотчас сокрушит ее в порошок. Был я тогда молод, его сила покорила меня. Я готов был пожертвовать всем, чтобы только стать его учеником. Я представился ему.

На минуту он задумался, а потом продолжал:

— Я выучился всему у своего наставника. Обучение было тяжелым. Он будил меня в три часа утра, и начиналась тренировка. Кормил он меня хорошо. Каждое утро я должен был съесть сотню миндалин и запить их кувшином молока. Через два часа — шесть яиц с медом, в обед — курицу с рисом, на ужин — овощи и фрукты. Не всякому посчастливится получить такую диету, но мне повезло — я нашел человека, который готов был откармливать меня как на убой. Через полгода я уже выступал иногда вместо него. Когда я впервые ударил кулаком по двери одного дома в Лакнау, сделанной из столетнего дуба, от нее отлетел кусок в три дюйма толщиной. Мой наставник похлопал меня по спине и вскричал со слезами радости на глазах: «Мой мальчик, ты идешь по правильному пути!» Через несколько месяцев я уже тоже разгрызал цепи, сгибал железные прутья и сокрушал гранит в порошок. Мы ездили по стране и выступали по всем городам и деревням, и он зарабатывал кучу денег. Мало-помалу он обленился, ослабел и предоставил мне выступать одному. Теперь уже я ломал камни, сгибал железные прутья и все, что ни попадет под руку, но на афише по-прежнему стояло его имя. Когда я заговорил с ним об этом, он обозвал меня неблагодарным псом и всякими другими словами и попытался вытолкать за дверь. Я упирался.

Васу засмеялся, вспомнив об этой сцене.

— Мне было известно его слабое место, вот я и ударил по нему ребром ладони, словно топором. Он упал и закорчился на полу, как червяк. Я знал, что больше выступать он не сможет. Я оставил его лежать на полу и ушел. На этом моя карьера силача закончилась.

— И вы даже не оказали ему помощи? — спросил я.

— Я оказал ему помощь тем, что оставил его в покое, а ведь я мог держать его вверх ногами и трясти до тех пор, пока все зубы не вылетели бы у него изо рта.

— Ах, нет! — воскликнул я в ужасе.— Вы бы этого не сделали!

— Почему же нет? Все изменилось — я уже был не тот мальчик, которого он взял когда-то из милости. Я был сильнее его.

— Но ведь это он научил вас быть сильным. Он был вашим наставником,— сказал я, замирая от радости при мысли, что смею возражать ему.

— Какого дьявола! — вскричал Васу.— Он наживал на мне деньги, разве вы этого не понимаете?

— Да, но он кормил вас яйцами и миндалем с молоком — и чем там еще?

Он безнадежно воздел руки к небу.

— Ах, вам этого не понять, Натарадж! И не пытайтесь! Вы ничего не знаете, вы не видели света. Вы только знаете свое дрянное захолустье.

— Если вы так считаете, так зачем же вы приехали сюда?

Я стоял к двери ближе, чем он,— если бы он попытался схватить меня, я успел бы выскочить. Его фамильярность довольно быстро сделала меня упрямым и дерзким. Мне было приятно дразнить его.

— Вы думаете, я приехал сюда потому, что мне нравится эта дыра? Так знайте же: я здесь потому, что тут начинается Мемпийский заповедник, и джунгли рядом — вон, в горах. Я набивщик чучел. Я должен быть там, где звери живут.

— И где они умирают,— добавил я.

Он рассмеялся моей шутке.

— Вы умный парень,— сказал он с восхищением.

— Ну, а как же вы стали набивщиком чучел? — напомнил я ему.

— Гм,— сказал он.— Не следует проявлять чрезмерного любопытства. Сперва займемся делом. Когда будут готовы мои карточки? Завтра?

Может, он и сокрушал гранит в порошок, может, он и убил своего наставника одним ударом, но только в моем деле я не терплю никакой спешки. Я поднялся и полистал страницы отрывного календаря, висевшего на стене.

— Поговорим об этом завтра. Сегодня я ничего не могу вам сказать. Мои сотрудники уже ушли.

В эту минуту с криком «папа» в комнату вбежал мой сынишка Бабу.

Увидев незнакомца, он остановился, сунул палец в рот и ринулся к двери. Я протянул руку и поймал его. Мои постоянные посетители его не стесняли. Но тут он почему-то смутился. Я знал, зачем он пришел: либо его прислала мать, либо он хотел попросить разрешения пойти на улицу вместе с приятелями.

— Что тебе? — спросил я.

— Мама спрашивает: ты не идешь домой обедать? Она проголодалась.

— И я тоже,— сказал я.— На мамином месте я не стал бы ждать папу. Ты понял? Я занят очень важным делом вот с этим господином. Знаешь, что он умеет делать?

Мой тон заинтриговал Бабу, и он с интересом взглянул на незнакомца.

Васу устало махнул рукой, нахмурился и сказал:

— Ах, перестаньте, господин Натарадж. Не стоит — я ни с кем не хочу знакомиться. А теперь иди, мальчик,— продолжал он решительно.

— Но это мой сын...— начал я.

— Я понял,— сказал равнодушно Васу.

Бабу вырвался и убежал.

Васу вернулся не на следующий день, а лишь через две недели. Он приехал в джипе.

— Долго же вас не было,— сказал я.

— Думали, что уже отделались от меня? — спросил он. И, ударив себя в грудь, добавил: — Я никогда ничего не забываю.

— А я никогда ничего не помню,— сказал я. Не знаю почему, но при этом человеке в меня словно бес вселялся.

Он вошел в комнату, увидел, что в кресле королевы Анны сидит поэт, и полушутя заметил:

— Кажется, это мое кресло.

Поэт вскочил и пересел в другое.

— Так-то оно лучше,— сказал Васу, усаживаясь. Он покровительственно улыбнулся поэту и заметил: — Мне не говорили, кто вы.

— Я... я... учитель в здешней школе.

— Что же вы преподаете? — продолжал безжалостно Васу.

— Гм... географию, историю, естествознание, английский — словом, все, что входит в программу.

— А-а, мастер на все руки,— промолвил Васу.

Я видел, что поэта передернуло. Он был человек мягкий, добрый, не привыкший к таким речам. Васу же, казалось, наслаждался тем, что смутил его. Я ринулся на помощь другу. Мне хотелось подбодрить его, и я сказал:

— Это наш поэт. Он, правда, учительствует, но фактически...

— Никогда не читаю поэзию — времени жалко,— быстро сказал Васу.

Поэт его больше не интересовал. Он повернулся ко мне и спросил:

— Где мой заказ?

На этот вопрос я давно уже приготовил ответ:

— А где были вы эти пятнадцать дней?

— Я был занят.

— И я тоже,— сказал я.

— Вы обещали сделать мне карточки...

— Когда? — спросил я.

— На следующий день,— ответил он.

Я заявил, что не давал таких обещаний.

Он повысил голос — я последовал его примеру. В конце концов он спросил:

— Интересно, мы здесь делом занимаемся или ищем драки? Если хотите драться, так и скажите. Я драться люблю. Неужели вам непонятно, дружок, зачем мне визитные карточки?

— А разве вам непонятно, что у нас здесь свои правила? — Я всегда говорил «мы», «у нас», когда речь заходила о моей типографии.

— Какие такие правила? — вызывающе спросил он.

— Мы никогда не выбираем шрифт и бумагу для наших клиентов. Они это делают сами.

— Вы мне об этом ничего не сказали,— вскричал он.

— Помните, я просил вас прийти на следующий день? Именно этим я и хотел заняться. Я никогда ничего не говорю впустую.

— Почему вы не сказали мне об этом в тот же день?

— Ваше право спрашивать...— сказал я, чувствуя, что пришло время сделать хоть какую-то уступку. У поэта был перепуганный вид. Он сделал шаг к двери, но я жестом остановил его. Почему он должен уходить, бедняга?

— Вы не ответили на мой вопрос,— настаивал Васу.— Почему вы не показали мне образцы шрифтов в тот же день?

Я отрывисто бросил:

— Моих сотрудников не было на месте.

— А-а! — сказал он, широко раскрывая глаза.— Я не знал, что у вас есть сотрудники.

Я оставил без внимания эту фразу и крикнул:

— Састри! Пожалуйста, принесите образцы бумаги для карточек и шрифты.

Васу я величественно объяснил:

— Вы можете сделать выбор, а мы постараемся полностью удовлетворить ваши желания.

Састри в своих неизменных серебряных очках принес нам две незаполненные карточки и книгу шрифтов. Войдя в гостиную, он остановился, внимательно посмотрел на посетителя, положил книгу и карточки на стол, а затем повернулся и исчез за синей занавеской.

— Сколько человек работает в вашей типографии? — спросил Васу.

Любопытство этого человека не имело пределов, он не признавал никаких приличий. Я рассвирепел. Кто он такой, чтобы задавать мне

вопросы? Может, он инспектор по труду или еще кто-то в этом роде? Я ответил:

— Столько, сколько нужно. Впрочем, знаете, положение дел сейчас не очень веселое. Но на господина Састри можно вполне положиться, он работает у меня уже много лет.

Я подал Васу карточки.

— Это лучшее из того, что у нас есть. Вам придется самому сделать выбор.

Я подал ему книгу шрифтов.

— Укажите, какой шрифт вам больше нравится.

Он пришел в полное замешательство. Повертел карточки в руках, полистал книгу и взмолился:

— Будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю! Мне все эти шрифты кажутся одинаковыми. Кстати, какая между ними разница?

Я торжествовал.

— Типографское дело, Васу,— вещь сложная. Вот почему мы не берем на себя ответственность в этих вопросах.

— Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь и напечатайте мне мои карточки! — воскликнул он в отчаянии.

— Хорошо,— сказал я величественно.— Я это сделаю, если вы полагаетесь на меня...

— Я полагаюсь на вас, как на друга, иначе я не пришел бы к вам.

— По правде говоря,— заметил я,— меня больше интересуют друзья, чем клиенты. Я не из тех, кто гонится за деньгами. Если кто-либо приходит сюда только по делу, я отправляю его к своему соседу. Там заказы обходятся дешевле и выполняются на лучшем станке — настоящем «гейдельберге»!

— Ах, идите вы со своим «гейделем»! — нетерпеливо вскричал он.— Я не желаю больше о нем слышать. Сделайте мне карточки. Без них у меня дела стоят. И не забудьте пятьсот листов именной бумаги!

Глава 3

Чердак над моей типографией был битком набит ненужными бумагами, кипами прошлогодних газет, пачками старых писем, счетов и рукописей. Кроме того, там лежала тысяча экземпляров отпечатанного мною школьного журнала, которым я гордился, как своим шедевром,— когда школа отказалась оплатить типографские расходы, я спрятал их на чердаке. Я вызвал старьевщика, который скупал старую бумагу по домам, и велел ему подняться по шаткой лесенке на чердак, сделать осмотр и сообщить мне о своем предложении. Это был старый мусульманин, который целыми днями бродил по улицам с мешком за спиной и кричал: «Старая бумага, пустые бутылки!»

— Будь осторожен,— сказал я ему.— Там наверху могут быть змеи и скорпионы. Вот уже много лет ни одна душа не поднималась туда.

Позже, услышав, как он спускается вниз, я нахмурился и, приняв мрачный вид, приготовился торговаться. Он откинул занавеску, вошел в гостиную и остановился у стенки, почтительно выжидая, когда я заговорю.

— Ну как, посмотрел?

— Да, господин, но большая часть бумаги слишком ветха, она стала совсем коричневой от старости.

— Ты что же, хочешь, чтобы я покупал для тебя самые последние издания? Или, может, ты хочешь, чтобы я покупал кипы белой бумаги и продавал ее тебе на вес? — сказал я с грубоватым сарказмом.

Он сразу сбавил тон и заметил:

— Я же этого не прошу...

И назвал сумму. Я промолчал, словно такое предложение было недостойно моего внимания.

На этой стадии, если бы он на самом деле думал, что тут ничего не выйдет, он должен был бы повернуться и уйти; но он остался — это был хороший знак. Я просматривал гранки кинопрограммы; внезапно я встал и ушел, словно по какому-то делу, за занавеску. Когда же, почти через час, я вернулся в гостиную, он все еще был там. Он сидел на пороге.

— Ты все еще тут! — воскликнул я, делая вид, будто удивился.— Конечно, можешь отдохнуть здесь, если тебе хочется, но только не жди, что я буду тратить время на разговоры. Я могу и вовсе не продавать эту бумагу. Пусть себе лежит на чердаке, как лежала годами.

Он беспокойно заерзал и сказал:

— Бумага вся почернела и рассыпается в руках. Подумайте и обо мне, господин, мне ведь нужно заработать рупию-другую в день, чтобы прокормить семью...

Тут он углубился в подробности своего семейного бюджета: как ему приходится изворачиваться, чтобы заплатить за учебники для детей, за еду, за лекарство, за квартиру, как он собирает старье, не пропуская ни одного дома, как продает собранное скупщикам и зарабатывает на этом гроши, как часто по утрам ему приходится одалживать деньги, чтобы было на что начать. Выслушав его, я несколько смягчился и назвал свою сумму, в ответ он подхватил свой мешок и сделал вид, будто уходит. Я слегка уступил, он еще сбавил, и так оно продолжалось до трех часов. В три в гостиную вошел хмурый Састри. Он тут же понял, что происходит.

— Иногда лучше бросить всю бумагу в печь вместо дров, чем продавать этим людям. Вечно они пытаются тебя обмануть...— пробормотал он, оказав тем самым поддержку моей позиции.

Вскоре приехал Васу в своем джипе, вытащил бумажник и пробормотал:

— Лучше запишу, пока не забыл.

Он сел в кресло королевы Анны, вынул листок бумаги и что-то на нем отметил. Мы оба — участники чердачной операции — молча наблюдали за ним. Мимо, подняв облако пыли, проехал грузовик; протарахтели на деревянных колесах повозки; двое бродяг, развалясь на каменном парапете фонтана, наслаждались послеобеденным сном; мальчишка с упоением смотрел, как его ягненок пасется на цветнике, которым муниципалитет тщетно пытался окружить фонтан; на фонтан села ворона, надеясь поживиться хоть каплей воды. Идеальное время для сделок со старьевщиком! Васу кончил писать и спросил:

— Что тут происходит?

Я повернулся к старьевщику и сказал:

— Ты знаешь, кто этот господин? Мне придется держать перед ним ответ, если я продешевлю.

Васу поднял глаза от своего листка бумаги, бросил на мусульманина испепеляющий взгляд и спросил:

— Чем ты там занимаешься? Смотри у меня!

Старик заволновался и сказал:

— Это мое последнее предложение, господин. Уже поздно, если у меня с вами ничего не выйдет, мне нужно успеть сегодня хотя бы еще в один дом.

— Ну что ж, иди,— сказал я.— Я тебя не задерживаю.

— Двадцать пять рупий, хозяин.

— Если согласится вот этот господин,— сказал я.

Васу это, видно, понравилось. Он забарабанил по столу пальцами, свистнул и что-то замурлыкал.

— Я бедный человек,— воззвал к нему тряпичник.— Не обижайте меня. Если я покупаю...

Васу внезапно встал.

— Что ж, посмотрим на твою добычу,— сказал он, прошел вслед за мусульманином за синюю занавеску и поднялся на чердак.

Я удивился, что Васу так легко включился в игру.

Вскоре мусульманин спустился с огромной пачкой бумаги в руках и вынес ее на порог. Затем он подошел ко мне и, сияя, протянул двадцать пять рупий.

— Тот господин согласился!

Он трижды слазил наверх, и вскоре у моего порога выросла настоящая бумажная баррикада. Потом он окликнул повозку и погрузил в нее всю бумагу.

— А где же тот господин? — спросил я.

— Наверху.

— Что он там делает?

— Не знаю. Пробовал открыть окна.

Немного спустя Васу позвал меня.

— Натарадж, идите сюда.

— Зачем? — отозвался я. Мне не хотелось отрываться от кинопрограммы.

Он повторил свой приказ, и я поднялся на чердак. Я не был там много лет. Деревянные ступеньки скрипели и стонали — все эти годы на них не ступала нога человеческая. Крошечная площадка, зеленая дверь — и я на чердаке. Васу, словно великан, возвышался посредине. Он распахнул деревянное оконце, из которого открывался вид на улицу, ведущую к рынку, и фонтан в глубине. Рядом с окном была маленькая дверь на узенький балкон, откуда можно было любоваться соседними черепичными крышами. Пол был завален обрывками бумаг, и вековая пыль покрывала все вокруг.

Васу обмахивался обложкой школьного журнала.

— Этот человек оказал вам большую услугу, забрав всю эту бумагу, но он лишил крова тысячу москитов. Терпеть их не могу!

Он изо всех сил отгонял их, а они жужжали и лезли ему прямо в уши.

— Днем ли, ночью ли, я бегу со всех ног при виде одного паршивого москита.

— Пойдемте вниз,— сказал я, размахивая руками, не в состоянии выдержать их атаки.

— Подождите немного,— сказал он.— Что вы собираетесь делать с этим помещением?

Я поразмыслил с минуту, у меня не было никаких определенных планов, но не успел я ответить, как он предложил:

— Я его вычищу и поживу здесь немного... Хорошо, когда есть куда забросить вещи и переночевать без долгих размышлений. Главное — это достать москитную сетку, чтобы спать спокойно, кровать и пару стульев.

Он взглянул наверх и заметил:

— Потолок слишком низкий.

Взмахнул руками.

— А впрочем, фута два до потолка не достаю — неплохо!

Я молчал: мне никогда не приходило в голову, что на чердаке можно жить.

— Что же вы не отвечаете? — спросил он.

— Ничего, ничего,— сказал я.— Надо будет...

— Что? — безжалостно перебил он меня.— Только не говорите мне, что вам надо посоветоваться с родными или компаньонами. Знаю я эти отговорки! Я поживу здесь, пока не освободится бунгало в Новом районе, которое я собираюсь снять. Здесь я навсегда не останусь, не бойтесь. А вы все равно опять сделаете здесь склад для старья.

Оказалось, что вот уже две недели, как он искал себе жилье.

Я ничего не ответил и спустился вниз. Он сошел вслед за мной, вскочил в свой джип и уехал. Через час он вернулся с четырьмя рабочими, которые несли метлы и ведра. Он провел их за занавеску и вверх по лестнице. Я слышал, как он кричал и стращал их и как работали метлы и тряпки. Под лестницей он нашел бак с водой и заставил рабочих таскать наверх воду и скрести полы. На следующий день он привел маляра и до самого вечера белил стены. Он уходил и возвращался, почти не обращая на меня внимания. Я молча следил за ним. Через два дня он привез кровать и кое-какую мебель.

Мне надоело, что Васу и его подручные то и дело проходят через типографию, и я открыл боковую калитку в переулок: теперь Васу мог ставить свой джип во дворе и подниматься по деревянной лестнице прямо на чердак. Прошла еще неделя, прежде чем я понял, что Васу прочно устроился на чердаке, хоть я так и не дал на то своего согласия. «Что ж,— успокаивал я себя,— это всего лишь кладовая для всякого старья. Если бы он не занял ее, мы бы уже заполнили ее всяким барахлом. Почему бы и не разрешить ему пожить там, пока он не найдет себе дома?»

Он надолго исчезал — я никогда не знал куда — и неожиданно возвращался. Иногда он просто приходил и усаживался в гостиной. Мои посетители не любили его грубых речей. Стоило поэту завидеть его, как он тотчас же тихонько уходил. Журналист Сен не заметил его появления на другой день после того, как Васу обосновался в моем доме, и поплатился за это. Он рассуждал о пятилетнем плане. Васу, зайдя в гостиную за бумагой, остановился, прислушался к его речам и, повернувшись ко мне, спросил:

— А это кто такой? Вы мне о нем не говорили.

— Мой старый друг,— сказал я и в нескольких словах отрекомендовал журналиста.

Васу покровительственно кивнул.

— Если он настолько умнее Неру, почему бы ему не попробовать стать премьер-министром Индии?

Журналист не мог смолчать. Он высокомерно выпрямился и вскричал:

— Кто этот человек? Зачем он прерывает меня, когда я разговариваю с другими? Есть у нас свобода слова или нет?

— Если вам кажется, что вы умнее Неру, почему бы вам не поехать в Дели и не возглавить кабинет? — повторил Васу и презрительно рассмеялся.

Разгорелась ссора. Журналист в гневе вскочил с кресла, Васу угрожающе шагнул к нему. Я бросился между ними, хоть и замирал в душе от страха, как бы кто-нибудь из них не ударил меня, и закричал:

— Здесь все мои друзья! Я не потерплю драки. Где угодно, но только не здесь! Только не здесь!

— Где же? — спросил Васу.

— Нигде,— ответил я.

— Я не желаю выносить оскорблений, только и всего,— заявил грубиян.

— Меня мускулами и ростом не запугаешь! — кричал Сен.— А ну, ударь, ударь!

Я был в отчаянии. Сен оттолкнул меня и шагнул к Васу. Тот отшатнулся.

— Нет уж, любезный,— сказал он.— Начинай ты первый!

Он поднял кулак и покрутил им в воздухе.

— С помощью вот этого я разрешал многие споры. Но сейчас я, пожалуй, воздержусь — ведь если я тебя ударю, тут тебе и конец. Не думай только, что я всегда буду таким добрым.

Васу часто сидел у меня в гостиной и излагал мне свою философию жизни.

— Натарадж,— бывало, скажет он вдруг.— Жизнь слишком коротка, чтобы успеть со всеми перебросится словом в стране, где более трехсот миллионов населения. Поэтому приходится игнорировать большинство.

Я понимал, что это пустая болтовня — просто он не мог никого оставить в покое. Он бы зачах, если б ему некого было запугивать целый день. Он все время кем-то был занят. Если ему встречался старый знакомый, он тут же принимался дразнить его. Если он видел незнакомого человека, он тут же спрашивал: «Это кто?» Ни один махараджа, внезапно увидевший ободранного простолюдина в залах своего дворца, не мог бы сравниться с ним властностью тона, когда он спрашивал: «Это кто?»

Привычка Васу считать мою гостиную частью своего чердака совсем меня не устраивала: кроме постоянных гостей — поэта и журналиста — у меня всегда было много посетителей. Поначалу Сен и поэт удалялись, стоило им заслышать шум подъезжающего джипа, но постепенно их взгляды претерпели изменение. Когда Васу входил в гостиную, Сен продолжал сидеть с самым вызывающим видом, словно говоря: «Я не позволю этому мяснику...» Поэт же неторопливо пересаживался из кресла королевы Анны с высокой спинкой в другое, попроще. Он овладел искусством не смущаться в присутствии Васу: не произносил ни звука, а если его вынуждали что-либо сказать, ограничивался односложными ответами (недаром он был знатоком в этой области!). Хорошо, что Васу бывал занят собственными размышлениями и находил время разве что для двух-трех личных выпадов, а поэт делал вид, что не слышит их. Сен воздерживался от изложения своих политических взглядов в присутствии Васу (и это тоже было неплохо). Правда, иногда Васу, вспомнив о нем, спрашивал: «А что по этому поводу думает наш мудрый друг?» Тогда поэт срывался и с достоинством заявлял: «Если кое-кто беспросветно глуп и не замечает, что творится вокруг, я не собираюсь...» И так далее, без конца. Это служило началом словесных сражений, однако теперь дело никогда не доходило так близко до драки, как в первый день,— они скоро выдыхались. Я в их раздоры не вмешивался. Хотят кричать до потери голоса и рассудка — что ж, это их дело. Даже если бы они стали разбивать друг другу головы, я бы вряд ли вмешался. Я заранее приготовился ко всему. Дорожа спокойной жизнью, я должен был бы в первый же день отказать Васу. Теперь же у меня было такое чувство, словно в моем доме поселился людоед средних лет — от него можно было всего ожидать!

Этот людоед смягчался, и даже плакался, и заискивал только перед власть имущими. Однажды он привез в типографию лесничего, смертельно бледного человека в хаки, усадил его и представил ему меня:

— Это господин Натарадж, мой самый лучший друг. Мы с ним больше похожи на братьев, чем на печатника и клиента или хозяина и жильца.

— Я, собственно, не сдаю квартир, не хочу этим заниматься,— сказал я, вспомнив, как спокойно я жил, когда на чердаке у меня был один только мусор. Будь проклят тот день, когда я решил убрать его!

— Но даже между братьями дело должно быть делом,— заметил Васу.

— Правильно, правильно,— поддержал его лесничий.

Теперь Васу обратился к искусству лести. Я никогда и не подозревал, что у него есть такие способности. Он заявил:

— Я привез сюда уважаемого господина потому, что мне хочется, чтобы вы познакомились с ним. Он очень занят, но все же он приехал со мной сегодня.

— Вы живете в заповеднике?

Васу быстро ответил:

— Мемпийский заповедник — это и есть он! Там все в его руках. Каждый зверь в этих лесах у него перенумерован. Ему неведом страх. Будь он трусом, он бы не занимал это место, понятно?

Лесничий почувствовал, что пора и ему самому вставить о себе словечко.

— Я отдал тридцать лет жизни этому делу. Всего две недели тому назад я получил третье повышение в должности.

— Нет, вы только посмотрите, как он выглядит! Сколько, по-вашему, ему лет? — Мне хотелось сказать, что тут ошибиться трудно.— Он крепок, словно тик,— тысячи тиков в Мемпийском заповеднике находятся под его охраной, не так ли, господин?

— Да, да, это огромная ответственность,— отвечал лесничий.

— И знаете, он жилист, но крепок, точно тиковое бревно. Я, как вам известно, сильный человек, и все же я призадумаюсь, прежде чем сразиться с ним.

И он расхохотался.

— Серьезно,— продолжал Васу, успокоившись,— он один из лучших лесничих во всей Индии. Сколько раз на вас нападал дикий слон?

— Восемнадцать раз за время моей службы,— отвечал тот спокойно, словно давая статистическую справку.

— И вы просто всаживали в него пулю в упор?

— А что еще мне оставалось делать! — отвечал герой.

— Сколько тигров он выследил один?

— В среднем одного в полгода,— отвечал тот.

— Можете себе представить, сколько он повидал и сделал за тридцать лет! — воскликнул Васу и снова обратился к герою: — А что вы делали со шкурами?

— О-о, раздал их кому попало. Я не люблю хранить трофеи.

— Да разве так можно! Вы должны разрешить мне сделать для вас хоть одно чучело, тогда вы почувствуете, как это важно,— сказал Васу.— Натарадж,— внезапно добавил он,— я привез его к вам в основном потому, что он хочет напечатать небольшую книжечку.

У меня упало сердце. Мало того, что я печатал для Васу, теперь мне придется работать и на его покровителей! Трехцветные этикетки все еще не были закончены.

— Натарадж, ну-ка, освободите стол и займитесь этим заказом.

Я механически протянул руку. Лесничий вынул из своей сумки толстую рукопись и сказал:

— Все эти годы я собирал Золотые Мысли. Я расположил их в алфавитном порядке. Я хочу издать их отдельной книжкой и распространить ее среди школьников бесплатно. Таким образом я хочу служить родине.

Я полистал рукопись. Добродетели шли в алфавитном порядке.

— У меня не очень хороший тамильский шрифт. У моего соседа самые лучшие в городе шрифты и настоящий «гейдельберг»...

— Ох,— застонал Васу.— Опять настоящий...

Я взглянул на него с состраданием.

— Как человек образованный, Васу,— начал я,— вы не должны противиться новым веяниям.

— Какого дьявола мне этот — как его? — настоящий! — вскричал он с раздражением.

Видно было, что он изо всех сил сдерживается в присутствии человека в хаки.

— Дело в том,— объяснил я с кротостью святого, обращающего заблудшую душу в истинную веру,— что на этом станке можно печатать гораздо быстрее. Например, такую книгу, как та, что принес наш друг,— Золотые Мысли,— лучше всего печатать на настоящем «гейдельберге». Прекрасный станок! А вы что скажете, господин? — спросил я, повернувшись к лесничему.

Привыкнув за эти годы к авторам, я хорошо знал их тщеславие.

Лесничий сказал:

— Да, все должно быть на самом высоком уровне. Я хочу, чтобы книга была хорошо издана. Я собираюсь послать один экземпляр, специально переплетенный, главному смотрителю в Дели через нашего начальника в Мадрасе.

— Значит, вам потребуются два экземпляра в особом переплете?— спросил я.

— Совершенно верно,— охотно согласился он.

Я просмотрел рукопись. Он набрал таинственных изречений отовсюду — Бхагавадгита, Упанишады, Шекспир, Махатма Ганди, Библия, Эмерсон, лорд Эвбери и Конфуций — и перевел их на тамильский язык. Эта книга должна была, несомненно, возвысить юные умы, но я бы почувствовал одно раздражение, если бы меня ежеминутно поучали, что я должен делать, говорить и думать. Мне бы очень скоро надоело всегда быть добродетельным — и днем и ночью. Я подумал, что в этой рукописи собрано множество изречений о чувствах, совершенно не известных Васу,— неплохо было бы ему усвоить парочку.

— Я уверен, что вы с удовольствием просмотрите рукопись, если у нашего друга не будет времени выправить ее перед набором,— сказал я ему.

— Конечно, конечно,— без особого восторга откликнулся Васу.

Теперь я уже не сомневался, что мне удастся, на время по крайней мере, отвертеться от почетной задачи печатать Золотую книгу, но надолго ли — сказать было трудно. Если я соглашусь, Васу, живущий прямо над моей головой, будет осаждать типографию буквально днем и ночью — как только человек в хаки скроется из виду, он тут же утратит свою мягкость. Денег я за эту работу не получу — в этом я был совершенно уверен. Вся сделка была мне ясна как на ладони: Васу хотел использовать меня, чтобы расположить к себе лесничего. До сих пор я регулярно поставлял Васу визитные карточки и почтовую бумагу, но он и не думал расплачиваться со мной.

Я подал лесничему рукопись и сказал:

— Прошу вас, пройдитесь еще раз по тексту и сделайте последние дополнения и поправки. Это очень полезно. Мне не хотелось бы, чтобы вы несли потом ненужные издержки — изменения в гранках очень дорого стоят. Не жалейте времени — позже оно с лихвой окупится.

Снова меня спасло знание авторской психологии: авторам всегда приятно думать, что они трудятся не покладая рук, чтобы достичь совершенства.

Васу растерялся — он не мог понять, хорошо или плохо то, что произошло: рукопись слишком быстро перешла из рук в руки. Он посмотрел на меня, потом на лесничего. Я не первый год имел дело с авторами. Я знал, насколько важно отделаться от рукописи тут же, не теряя ни минуты. Стоило рукописи на минуту задержаться у тебя — и ты терял независимость: власть переходила к писателю. Все же Васу сказал:

— Как можно требовать, чтобы он приехал сюда еще раз? Знаете, откуда ему придется ехать? С самой вершины Мемпи, у него там сейчас разбит лагерь.

«Очень приятно! В шестидесяти милях отсюда! Вряд ли он сможет часто спускаться — у него не будет ни времени, ни транспорта».

— Зачем же ему приезжать? Привезти рукопись сможете и вы,— сказал я, и Васу с готовностью согласился.

— Верно, верно, как это мне не пришло в голову! Я ведь всегда буду там где-нибудь поблизости.

Неделю спустя Васу получил коричневый пакет из департамента лесов и заповедников. Он просиял, увидев его.

— Должно быть, разрешение на охоту! Без него все-таки неудобно отправляться в джунгли... Свиньи! — воскликнул он, прочитав письмо.— Они, видно, думают, что я туда для удовольствия еду! Разрешают мне отстрел уток и оленей. Больно они мне нужны!

Он задумался.

— Что ж, теперь они увидят, на что я способен!

И он небрежно засунул письмо в карман.

Глава 4

Как-то, месяц спустя, Васу остановился перед моим домом и просигналил, не вылезая из-за руля и не выключая мотора. Я поднял глаза от гранок приглашения на свадьбу, которые я просматривал. Напротив меня сидел специалист по отсрочкам: через две недели дочь его выходила замуж, и он заказал тысячу приглашений. Уж этот заказ я должен был сдать вовремя! Мне не хотелось отрываться от работы. Я крикнул Васу:

— Что-нибудь срочное?

— Йес,— сказал он, явно усвоив этот стиль из заокеанских фильмов и детективов.

— Я занят,— ответил я.

— Выходи,— приказал он с угрозой в голосе.

Я положил на гранки пресс-папье, чтобы листы не разлетелись от ветра, и вышел.

— Садись,— сказал он, когда я остановился у джипа.

— Нет, правда, не могу, этот человек ждет меня.

— Не дури, садись.

— Куда вы едете?

— Я привезу тебя назад через десять минут. Неужели тебе жалко потратить на меня десять минут?

— Нет, десять минут не могу.

— Ну, хорошо, тогда пять.

Я сел в джип, и мы поехали.

Вскоре я понял, что он и не думает останавливаться. Мы миновали Наллаппскую рощу и проехали уже миль десять по шоссе, а он все гнал и гнал. Я спросил его, куда мы едем.

— Я думаю, ты с удовольствием прокатишься в горы.

— Что? Что вы говорите? — вскричал я с гневом.

— Я вижу, тебе не нравится мое общество! О'кей! Остановить машину? Можешь выходить и идти обратно пешком.

Сердиться было бесполезно, это только позабавило бы его. Я скрыл свои чувства и лишь заметил:

— Конечно, я с радостью пройду пешком эти десять миль, жаль только, что я не успел захватить запонки перед отъездом.

Я в самом деле не мог найти утром запонок — рубашка у меня была распахнута на груди.

Он бросил на меня быстрый взгляд.

— В джунглях ты этим никого не оскорбишь,— сказал он, громко расхохотавшись.

Я был в его власти. Что ж, решил я, остается подчиниться! Если бы не специалист по отсрочкам, которого я оставил в кресле у себя в гостиной! Сколько он там просидит? И что будет со свадьбой его дочери? Я принял небрежный вид и заметил:

— Мне надо было срочно напечатать приглашения на свадьбу.

— Когда свадьба? — спросил он.

— Через пятнадцать дней, но им нужно успеть разослать приглашения. На моих плечах большая ответственность!

— Если мужчина согласен и женщина согласна, они и сами поженятся. При чем тут ты? Тебя это не касается. К чему же тогда беспокоиться?

Я решил молчать — он все равно не обращал внимания на мои слова. Он чувствовал себя хозяином вселенной — зачем прислушиваться к чужим речам?

— Что тебе беспокоиться? — повторял он снова и снова.

Вся эта поездка была до того бессмысленна и некстати, что я и не пытался ничего объяснять.

Я заметил, что стрелка спидометра не сходит с 60.

— Осторожнее,— предупредил я его, увидев цепочку крестьян, идущих по краю дороги. Джип пронесся мимо, едва не задев посторонившихся людей. Грузовики и автобусы сворачивали перед джипом на обочину, шоферы бормотали проклятия. Васу наслаждался их гневом и громко хохотал. Внезапно он принял значительный вид и сказал:

— Надо, чтобы больше народу гибло на дорогах, тогда, может быть, в стране станут серьезнее относиться к транспорту.

На обочине дороги сидела крестьянка и искала в голове у девочки. Он издали заметил эту группу, направил машину прямо на них и свернул лишь в последнюю минуту, когда они в ужасе попадали друг на друга.

— Бедняжки! — воскликнул я.— Надеюсь, они не ушиблись!

— Ну, что ты, ушиблись! Эти женщины очень крепки. Такие передряги для них одно удовольствие. Разве ты не слышал, как они смеялись?

«Лучше оставить его слова без ответа»,— подумал я. Но мое молчание раздражало его. Мы проехали еще мили две, и он спросил:

— Почему ты молчишь? О чем ты думаешь? Все беспокоишься об этих приглашениях?

— Да,— ответил я кратко, чтобы не сердить его.

— Женятся только дураки, так и поделом им! Не понимаю, зачем это люди женятся? Нравится тебе какая-нибудь женщина — бери ее на здоровье. Совсем не обязательно содержать кофейные плантации, если любишь иногда пропустить чашечку кофе!

Он улыбнулся, наслаждаясь собственным остроумием.

Я никогда не видел его в таком возбуждении. Приходя в типографию, он не стеснял себя в выражениях. Но теперь, когда мы очутились в

джипе на открытой дороге, он превзошел самого себя. «Уж не пьян ли он?» — подумалось мне на мгновенье. Я строго спросил его:

— А что вы думаете о сухом законе? О нем сейчас так много говорят...

— Почему ты спрашиваешь?

Я не знал, что ответить. Пока я искал, что сказать, он заметил:

— По мне, что пить, что жениться — все одно. Если кому-нибудь нравится, что ж, его дело! Я как-то пробовал пить виски, но перестал... Невкусно...

Он мрачно склонился над рулем и, помолчав, добавил:

— Не понимаю, зачем это люди пьют...

Последняя моя надежда, что он пьян, не оправдалась. Подумать только, что он мог так вести себя в совершенно трезвом виде! Я содрогнулся. С каким удовольствием выпрыгнул я из джипа, когда мы остановились в деревне Мемпи! Ехать в джипе было нелегко — в нем сильно трясло, да и сидеть было неудобно: одна нога все время свисала наружу, а от быстрой езды у меня слегка кружилась голова.

Деревня Мемпи, расположенная у подножия гор, состояла из одной-единственной улицы, которая полмили кружила по равнине, а потом вдруг круто поднималась в гору. По обе стороны дороги расположились хижины из бамбука и пальмовых листьев; была там еще чайная, где с потолка свисали связки бананов,— около нее останавливались автобусы и грузовики — и передвижная киноустановка с рекламой, на которой красовалась волоокая девица, любующаяся природой. По склонам гор к деревне подступали джунгли. Там, где дорога в горы подходила к шоссе, стоял небольшой храм, и, прежде чем двинуться дальше, шоферы возлагали на алтарь кокосовые орехи и зажигали светильники.

Перед чайной Васу затормозил.

— Что нового? — спросил он хозяина.

— Хорошие новости,— отвечал тот.— Говорят, прошлой ночью здесь прошел зверь. Мы видели следы на песке, а овцы блеяли, как безумные. Не там, где я живу. Но я слышал, как Ранга рассказывал сегодня об этом.

— А он что-нибудь видел? — живо спросил Васу.— Что он видел?

В чайной кто-то сидел. Хозяин подал ему булку и, не прерывая разговора, налил стакан крепкого чаю из пышащего жаром бака. У меня засосало под ложечкой. Я с вожделением поглядывал на румяные булки, лежащие на полке, хотя при обычных обстоятельствах мне бы и в голову не пришло есть здесь. Мухи кружили над сахаром и едой, все стояло открытым и невымытым, дорожная пыль взлетала столбом, как только мимо проезжали машины, и оседала на хлебе, булках, фруктах, сахаре и молоке. В чайной все время толпился народ; автобусы и грузовики, направляющиеся в горы, к кофейным плантациям, караваны повозок, запряженных быками, пешеходы — все останавливались здесь, чтобы можно было закусить и выпить чашку чаю.

Я сунул руку в карман, но не нашел там ни одной монеты — ничего, кроме огрызка карандаша, которым я правил корректуру. Жалобно, словно ребенок, тянущий отца за рукав на ярмарке, я позвал:

— Васу!

Он был занят разговором о звериных следах, вокруг него все прибавлялось народу. Продавец кокосовых орехов, деревенский дурачок, какой-то бездельник, портной и мужчина со связкой табачных листьев на голове — у всех находилось, что сказать о появлении тигра. Каждый считал своим долгом прибавить новую живописную деталь к рассказу предшественника.

Васу не слышал меня. Я крикнул:

— Васу, одолжите мне немного денег, я хочу попробовать, какой здесь чай.

Он замолчал.

— Чай? Зачем?

Я смутился, к тому же рубашка у меня была распахнута на груди, а дхоти повязано небрежно.

— Я проголодался — не успел сегодня утром позавтракать.

Он уставился на меня, а потом вернулся к разговору о звериных следах. Я оскорбился. Голод еще больше ожесточил меня. Мало того, что он так бесцеремонно меня увез, так теперь еще вот как со мной обращается!

— Есть у вас какая-нибудь мелочь в кармане? Я отдам вам долг, как только вернусь домой.

— Так ты, значит, думаешь вернуться домой? — внезапно спросил он.

Меня охватил ужас: может, этот человек решил похитить меня? Затащит в тигриное логово и потребует от моей жены выкуп. Что она будет делать, если с нее вдруг потребуют пятьдесят тысяч рупий за мое освобождение? Придется ей продать дом и все свои драгоценности. А ведь я все еще не сделал последнего взноса за золотое ожерелье, которое ей захотелось купить только потому, что у кого-то из ее приятельниц было такое же. Бедняжка, за все годы нашей совместной жизни она ничего не просила так настойчиво — разве я мог ей отказать? К счастью, я напечатал в те дни годовой отчет Кооперативного банка и выплатил за ожерелье половину. И все же... все же ожерелье стоит только семьсот рупий... Откуда ей взять пятьдесят тысяч? Конечно, можно продать типографский станок. Правда, он уже старый и больше чем тысяч тринадцать за него не дадут. Но что я буду делать после освобождения без своей техники? А что будет с Састри? Он останется без работы — или, может, он перейдет к соседу и будет печатать на «гейдельберге»? Если жена обратится к нему за помощью, сообразит ли он вызвать полицейских и повести их к тигриному логову, где меня будет сторожить этот ужасный человек с черным ореолом над головой? А если тигр вернется в свое логово, хватит ли у него ума сожрать Васу первым, а потом, отрыгнув от отвращения, оставить меня в покое?

Все это с быстротой молнии промелькнуло у меня в голове: я заискивающе улыбнулся Васу — это возымело бóльший успех, чем угрозы. Он смягчился и сказал:

— Понимаешь, когда я занят делом, я совсем не думаю о еде...

«Немудрено! — подумал я.— Ты ведь не постесняешься обобрать как липку любого глупца, который сдуру пойдет с тобой».

Тут он отвернулся от меня, влез в джип, позвал кого-то из толпы и уехал.

Я почувствовал облегчение, но закричал ему вслед, словно потерянный ребенок:

— Когда?.. Когда?..

Он помахал мне рукой и ответил:

— Подожди меня здесь, я скоро вернусь.

Джип быстро поднялся по дороге в гору и исчез за поворотом.

Я посмотрел на свою грудь, раскрытую навстречу солнцу. Чувствовал я себя преглупо. Почему я вдруг оказался здесь? Конечно, вокруг было очень красиво — горы и извилистая деревенская дорога, шоссе, теряющееся вдали, и все же зачем я здесь? И без копейки денег к тому же! Горы, конечно, совсем голубые, а далекие вершины ярко сверкают на солнце, но это же не может служить оправданием для таких вольностей с моей персоной! Я уселся на доску, положенную на две пустые консервные банки, которая служила в чайной скамейкой.

— Идет отсюда автобус в Мальгуди? — спросил я хозяина чайной.

— Да; в два часа он спускается с гор.

Хорошо бы сесть в этот автобус и уехать домой, но как заплатить за билет? У меня даже запонок с собой не было. Я проклинал себя за то, что принял Васу под свой кров и поощрял его. Но в то же время я испытывал облегчение при мысли, что он уехал, так и не заикнувшись о выкупе. Я рассказал о своем положении хозяину чайной. Он очень обрадовался, услышав, что я владелец типографии, и с волнением произнес:

— Я так счастлив познакомиться с вами, господин. Не могли бы вы напечатать мне объявление?

— С удовольствием,— сказал я.— Для того я и существую, чтобы служить публике. Могу вам напечатать все, что ни пожелаете, а если хотите, чтобы ваш заказ был выполнен на немецкой машине, я и это берусь устроить. У моего соседа есть настоящий «гейдельберг», а мы с ним словно братья.

— Я не могу уехать отсюда,— пояснил хозяин чайной,— чтобы заняться делами в городе. А я давно уже думаю, как бы мне кое-что напечатать.

— Пока я жив, вам больше об этом не придется беспокоиться. Объявления будут доставлены к вашим дверям — так я обслуживаю своих заказчиков. У меня большая клиентура, я доставляю им заказы автобусом или поездом, как быстрее.

— Это как раз то, что мне нужно,— сказал он и принялся излагать свою биографию.

Он сам пробил себе дорогу в жизни. Двенадцати лет он покинул отчий дом и приехал в Мемпи в поисках работы. Здесь он никого не знал и пошел на чайные плантации в горы, был рабочим, сборщиком чая, грузил машины, делал все, в чем была нужда. В августе 1947 года, когда Индия стала независимой, плантации, которыми владела английская компания, перешли в другие руки, и он спустился в долину в поисках новой работы. Он открыл лавочку и стал торговать бетелевыми орехами, леденцами, табаком и всякой мелочью. Позже он присоединил к ней чайную. Дела его пошли хорошо, так как милях в десяти в долине началось строительство плотины, и инженеры, министры, репортеры, строители и рабочие то и дело ездили мимо в джипах, на грузовиках и в приличных машинах. В лавке день и ночь толпился народ. Чайная расширилась. Он выстроил один дом, а потом второй, в двух шагах от лавки.

— Пять минут — и я дома, можно поесть и отдохнуть,— похвастался он.

Тут он вспомнил о храме у подножия гор.

— Сотни машин поднимаются к этим вершинам, и до сегодняшнего дня не было ни одного несчастного случая, хотя дороги здесь подчас очень узкие и крутые и, если не остеречься, можно скатиться вниз... Но ни одного несчастного случая до сих пор, и знаете почему?

Он указал на верхушку храма, выглядывавшую из-за деревьев.

— Потому что мы находимся под покровительством Богини. Я перестроил храм на собственные средства. У меня здесь бывают настоящие богослужения. И знаете, у нас при храме есть свой слон. Он сам спустился к нам с гор вместе со скотом, который возвращался домой с горных пастбищ. Тогда ему было около полугода, и ростом он был не больше молодого буйвола. Мы устроили его при храме. Зовут его Кумар. Взрослые и дети обожают его, кормят кокосовыми орехами, сахарным тростником и рисом круглые сутки.

После всей этой бессвязной болтовни он наконец заговорил о деле. Он собирался торжественно отпраздновать освящение храма. Праздничная процессия, возглавляемая слоном, должна была вынести Богиню из храма под звуки флейт и всяких других инструментов. И вот он решил

напечатать тысячу объявлений о предстоящем торжестве, чтобы собрать побольше народу.

Я охотно взялся сделать это для него и спросил:

— Когда вам это нужно?

Он растерялся:

— Не знаю... Надо будет поговорить на собрании храмового комитета...

Я с облегчением подумал, что, значит, ничего еще не решено, и сказал:

— Напишите мне, как только ваши планы определятся. Я сделаю все, что смогу. Напечатаю вам все, что ни пожелаете. Кстати, предложили бы мне чаю с булочками. Кто вам их печет? Неплохо они подрумянились!

Он заварил для меня особенно крепкое пойло и подал мне на обрывке старой газеты две румяные булочки. Подкрепившись, я почувствовал, что могу смотреть на свое положение уже с меньшим отчаянием. Правда, где-то в глубине души таилось беспокойство: а что, если специалист по отсрочкам все еще ждет меня в гостиной? Вернуться домой? Об этом нечего было и думать. Нужно было составить завещание, прежде чем выезжать из дому с Васу.

— Я заплачу вам в следующий раз, когда приеду сюда,— сказал я,— может быть, когда привезу объявления. Видите ли, мне пришлось быстро собраться в путь, и я не знал, что заеду так далеко.

Помолчав, я обратился к нему со второй просьбой:

— Скажите, вы не знакомы с кондуктором автобуса? Что он за человек?

— Все они останавливаются здесь и пьют чай,— похвастался он.

— Я так и знал,— сказал я.— Не окажете ли вы мне услугу? Не попросите ли вы этого кондуктора отвезти меня в город и взять с меня деньги по приезде туда? Автобус проходит мимо моей типографии, я мог бы забежать и...

— Зачем вам уезжать? Разве вы не подождете Васу?

Меня охватило отчаяние. Может, этот человек в заговоре с Васу? Они, должно быть, решили утащить меня в логово ночью — все гангстеры, промышляющие похищением людей. действуют только по ночам. Вероятно, они приберегали меня для своих ночных похождений.

— Я должен сегодня же вернуться в типографию,— сказал я.— Меня ждет адвокат, понимаете? Приглашение на свадьбу... Вы же знаете, как это важно.

— Но как же Васу? Он ведь может спросить, почему я не задержал вас. Я его знаю — он иногда бывает очень суров, вам это тоже известно...

— Он парень неплохой,— заметил я небрежно,— хотя иногда и грубоват. Мы с ним очень дружны, и он знает об этой свадьбе. Он поймет. К тому же он мой добрый приятель. Вся беда в том, что я уехал, не захватив с собой ни запонок, ни денег.

Я засмеялся, стараясь придать всей этой истории юмористический оттенок.

— Интересно, когда же Васу вернется?

— О-о, этого вам никто не скажет. Стоит ему услышать про тигра, как он все забывает. Теперь он, наверное, уже в джунглях — идет по следу...

— Бесстрашный!— воскликнул я, желая расположить к себе лавочника.— А вас как зовут?

— Муту,— отвечал он.— У меня четверо детей и дочь на выданье...

— А-а! Так вы должны понять, почему этот адвокат так волнуется...

— Какой адвокат? — спросил он.

— Наш специалист по отсрочкам, которого я оставил у себя в конторе...

— Я уверен, что вы поможете мне найти хорошего жениха для моей дочери.

Он понизил голос:

— Моя жена хочет выдать ее за сына своего брата. Но у меня другие планы. Я хочу, чтобы она вышла замуж за юношу образованного.

— Она должна выйти замуж, по крайней мере, за бакалавра,— сказал я.

Ему это так понравилось, что он дал мне еще булочку и налил еще стакан чаю.

— Я вас угощаю. За этот стакан чаю вам не надо платить,— сказал он.

Вскоре появились его завсегдатаи: это были большей частью рабочие с мотыгами, ломами и лопатами, направлявшиеся к загадочному строительству за горами. Около чайной остановились повозки, груженные лесом и топливом. Из палатки доносилась громкая музыка — это механик кинопередвижки снова и снова проверял звук, проигрывая чудовищно исковерканную мелодию Элвиса Пресли, переделанную на индийский лад досужим режиссером. Все вели себя так, будто меня тут и не было: тянулись прямо над моей головой за стаканами с чаем, иногда проливая немного крепкого чаю прямо на меня. Я не огорчался, хотя в другое время пришел бы в ярость, если бы кто-либо осмелился пролить мне на одежду чай. В тот день я мирился со всем — только бы мне добраться до дому с помощью доброй воли и щедрот окружающих. Я посмотрел на потемневший циферблат старенького будильника, стоявшего на деревянной полке в чайной. Он был такой старый, что на нем почти не было видно цифр. Еще час до автобуса. С тех пор как уехал Васу, прошло уже два часа. Я только боялся, как бы он не вернулся до появления автобуса. Я молил бога, чтобы этого не случилось. Снова и снова, перекрывая шум в чайной, я спрашивал Муту, знает ли он, когда вернется Васу, и он повторял свой ответ. Это был единственный луч надежды на моем горизонте, затянутом в тот день мрачными тучами. И все же при мысли, что явится Васу и осуществит свой гнусный план похищения, сердце мое начинало учащенно биться. Он мог подхватить меня двумя пальцами и швырнуть, куда ему заблагорассудится. Если принять во внимание его огромную силу, приходилось только удивляться, почему он до сих пор жалел окружающих...

Я сидел и, трепеща от страха, наблюдал, как входили и уходили люди, как они покупали табак, листья бетеля, сигареты и булочки с чаем. Мне даже не удавалось поболтать с Муту. Я с ужасом думал о том, что мне предстоит услышать от Састри и моей жены, когда я вернусь домой... Вернусь! Эти слова звучали так странно и неосуществимо! Город, фонтан, мой дом в Кабирском переулке казались далеким сном, привидевшимся мне давно-давно...

Немного спустя чайная опустела. Я уселся на скамью и задремал. Горы и долы, ослепительно синее небо были, конечно, очень красивы, но не мог же я без конца наслаждаться их видом! Я не был поэтом. Если бы мой немногословный друг был сейчас здесь, может, он и смог бы любоваться пейзажем вечно, но я был человек дела, печатник со множеством заказов... Я почувствовал слабость — съешь я хоть гору булочек, я все равно не буду сыт. Горсть риса и соус, который готовит моя жена, вот что мне нужно!

Воздух задрожал от далекого гула мотора.

— Автобус прибывает через десять минут! — провозгласил Муту.

— Потрясающий человек! А какой слух! — сказал я. Мне хотелось всячески польстить этому человеку, которого в другое время я бы и не

заметил. Мало ли на свете торговцев, разливающих чай по немытым стаканам!

Наконец автобус подъехал. На переднем стекле у него значилось: «Мемпийский автобусно-транспортный трест», хотя это был старенький автобус, подобранный на послевоенной свалке, обтянутый новым брезентом и выкрашенный в желтый и красный цвет. Определить, сколько в нем сидело пассажиров, было невозможно, пока он не остановился у чайной и они не стали выпрыгивать и вываливаться оттуда, словно собирались брать ее штурмом. Они окружили чайную толпой, их было даже больше, чем мух. Кондуктор, изможденный мужчина в остроконечной шапке, рубашке цвета хаки и шортах, вышел из автобуса, неся через плечо сумку с деньгами. Спрыгнул со своего сиденья и шофер. Мужчины, женщины и дети осаждали чайную. Шофер и кондуктор перебросились парой фраз, посмотрели на сумку и вынули оттуда несколько монет.

— Я здесь останавливаюсь не больше чем на пять минут,— объявил во всеуслышанье кондуктор.— Если кто-нибудь отстанет, я его подбирать не буду, так и знайте! Я всех предупредил, потом меня не вините.

Он оглянулся, словно учитель среди школяров, и вошел в чайную. Ему предоставили почетное место у самой стойки. Он заказал себе стакан чаю и булочки и закурил сигарету. Выждав, пока он устроится, я пошел показаться Муту, опасаясь, как бы в упоении успехом своего предприятия он не забыл обо мне. Я поступил правильно — увидев меня, он воскликнул:

— Вот хорошо, а то ведь я совсем забыл о нашем печатном мастере!— И обратился к кондуктору:— Братец, довезите его до города. Он заплатит по приезде.

Братец не сразу понял, о чем идет речь. Он взглянул на меня с нескрываемым подозрением.

— А почему бы ему не заплатить сейчас?

— Он забыл деньги в городе.

— Зачем же он сюда приехал? Знаешь, сколько раз на день я выслушиваю эту историю?

Он облизнул верхнюю губу и выпустил дым из ноздрей. «Еще одно чудовище в сговоре с Васу»,— подумал я с отчаянием. Он сделал жест, словно сворачивал кому-то шею.

— Вот что мне хотелось бы сделать с тем, кто приходит ко мне с таким предложением. Если нас остановит контролер, я потеряю работу, и тогда мне и всей моей семье придется взять нищенскую миску в руки и пойти по домам.

У этого человека было богатое воображение! Прожив всю жизнь под защитой своей типографии, я, очевидно, не имел никакого представления о человеческой природе, лишенной какого бы то ни было участия, злобной, подозрительной, мстительной, и без всякого к тому основания, заметьте!

Я подошел к нему, расправил плечи и надменно произнес:

— Ручаюсь, что вам не придется ходить с нищенской миской. Сегодня я здесь, конечно, застрял, но вообще-то я никогда не езжу автобусом. У меня есть машина — если не своя, так моего друга, а это одно и то же!

— Какая у вас модель?

— Гм...— сказал я, подумав.— «Моррис», конечно.

Я назвал первое, что пришло мне в голову.

— Какого года? — продолжал он, не отступаясь.

— Пятьдесят первого, кажется.

— Четыре дверцы?

— Да.

— Вам повезло, эти машины ценятся на вес золота. Я знаю многих,

кто с удовольствием пожертвовал бы всем за такую машину. Может, вы согласились бы продать ее?

Я покачал головой.

— Меня об этом просят каждый день десятки людей, но я хочу сохранить ее, пока она не развалится на куски. Я не хочу ее продавать.

Теперь он стал относиться ко мне с глубоким почтением, как к члену автомобильного братства. Он уже не придавал значения моей расстегнутой рубахе, растерзанному виду и отсутствию денег на проезд. Я только жалел, что не поднабрался больше автомобильного жаргона, чтобы произвести на него впечатление посильнее. Приходилось обходиться тем, что осталось в памяти от разговоров с Раму из «Таксомоторной стоянки Раму», который забегал иногда поболтать о положении в автомобильном мире.

Кондуктор сказал:

— Если когда-нибудь вы захотите отделаться от своего «морриса», скажите об этом мне.

Он повернулся к Муту и доверительно сообщил:

— Рано или поздно я брошу пробивать пассажирские билеты и заведу себе такси-малютку. Я знаю человека, который на таком такси зарабатывает в день чистых пятьдесят рупий. Я подкопил деньжат, так что могу уже купить такую машину.

Муту ткнул его в бок и понимающе пробормотал:

— Уж я-то знаю!

И они обменялись улыбкой. Я сразу понял, что они намекают на деньги, которые кондуктор присваивает из кассы. Чтобы поддержать разговор в нужном направлении, я заметил:

— Надо ловить момент, пока есть время. А то, когда состаришься и будешь ни на что не годен, кто даст тебе хоть грош?

Когда спустя полчаса кондуктор вышел из чайной, я царственно проследовал с ним прямо в автобус. Прощание с Муту было кратким, но трогательным: он заверил меня, что напишет, как только ему понадобится помощь. Я уселся рядом с шофером. Кондуктор наклонился ко мне и сказал:

— На следующей остановке вам придется потесниться — мы ждем Районного.

«Районный» в данных обстоятельствах означал полицейского инспектора этого района, для которого всегда оставляли место впереди. Если на этом месте кто-нибудь сидел, полагалось освободить его или, по крайней мере, подвинуться поближе к шоферу, чтобы Районный мог сесть третьим. Историческое нарушение этого обычая случилось много лет назад, когда какой-то плантатор, возвращавшийся к себе в поместье, отказался подвинуться, что повело к самым неприятным последствиям. Районному пришлось ехать сзади, в окружении черни, в результате на следующей же остановке он задержал автобус вместе со всеми пассажирами под предлогом перегрузки.

Автобус шел уже целый час. Я был счастлив, что мне удалось в конце концов ускользнуть от Васу. Раза два я оглянулся, желая проверить, не идет ли за нами джип. Вернувшись с охоты на тигра, Васу, возможно, захочет отправиться на еще более захватывающую охоту за печатником, убежавшим из чайной.

Автобус остановился под деревом на дороге. Кондуктор предупредил пассажиров:

— Делаем остановку не больше чем на минуту. Если кому-нибудь не терпится выйти, пусть выходит и остается. Только меня потом не вините.

Несмотря на угрозы, несколько человек выбрались наружу и скрылись за придорожными кустами. Вдали показался полицейский в фор-

ме — он шел через кукурузное поле, обливаясь потом от палящего солнца, под мышкой он нес огромную пачку папок и бумаг. Он помахал рукой, чтобы привлечь внимание шофера. Войдя в автобус, он положил бумаги на сиденье рядом со мной. Я подвинулся поближе к шоферу, освобождая место для Районного. Делать было нечего — мне самому, в конце концов, предоставили место только из любезности.

Полицейский сказал шоферу:

— Районный сейчас будет. Придется подождать.

— Долго? — спросил кондуктор.

Полицейский взялся за поручень и ступил на подножку, не удостоив вопрос вниманием. Вместо ответа он сказал:

— Дай-ка мне закурить.

Шофер вынул табак и спички из кармана.

Полицейский закурил, едкий дым от табака заглушил запах бензина. Лицо полицейского блестело от пота.

— Я боялся пропустить автобус,— заметил он.— Районный мне бы голову отрубил.

В автобусе заплакал ребенок, женщина запела тихонько монотонную колыбельную, кто-то громко зевнул, кто-то выругался, двое крестьян заговорили о земельной тяжбе, кто-то устало спросил:

— Мы когда-нибудь поедем?

Кто-то пошутил в ответ. Я с тревогой смотрел назад — не вынырнет ли из-за поворота знакомый джип? Мне тошен был и полицейский с лоснящимся лицом, и белеющая впереди дорога, и все на свете. Я снова почувствовал голод, от булочек осталось одно воспоминание. Пассажиры, отчаявшись, принялись терпеливо и безнадежно ждать. Наконец появился Районный — темнолицый мужчина в форме цвета хаки: он словно вынырнул откуда-то на своем велосипеде. Как только он спрыгнул на землю, полицейский принял у него велосипед и кондуктор водрузил его на крышу. Районный сел на свое место и молвил:

— Поехали.

Кондуктор нажал на резиновую грушу гудка, огласив окрестности коротким хриплым ревом. На звук гудка сбежались пассажиры, которые, выбравшись из душного автобуса, разбрелись по полям. Минуту царила суматоха — люди пытались пробиться к своим местам. Кто-то ворчал:

— Я здесь сидел...

Кто-то протестовал против этих притязаний. Наконец кондуктор, кивнув на Районного, приказал:

— А ну-ка, замолчите, вы, там...

Районный, однако, сидел, глядя прямо перед собой, словно не замечая, что в автобусе больше народу, чем полагается: видно, не хотел смущать кондуктора.

Близость этого значительного лица волновала меня, я сидел, не шевелясь, вдыхая запах солнца, пота и кожаных ремней. Я боялся, как бы Районный не принял меня за заключенного, только что вышедшего из тюрьмы, и не приказал бы мне выйти. Верхнюю губу его украшали аккуратные усики. Нос у него был заостренный и крючком, глаза притаились за темными очками, кадык сильно выдавался вперед. Шофер теперь вел автобус с величайшей осторожностью. Еще совсем недавно он то и дело резко сворачивал в сторону, чтобы избежать столкновений (к такой езде меня уже приучил Васу), а теперь ни разу не превысил скорости в двадцать миль в час, тормозил, стоило ему завидеть обрывок газеты, и добродушно журил крестьян, если они шли по самой середине дороги. «Если так и дальше будет продолжаться,— подумал я,— раньше полуночи мы в город не приедем». Скорость нашего движения зависела от того, где сойдет Районный. Мне не терпелось узнать, куда он едет.

— Я полагаю, вы едете в город?— спросил я Районного.

Почему бы мне и не задать ему такой вопрос? Это законом не воспрещается.

Он повернул в мою сторону свои темные очки и ответил:

— Я сойду в Талапуре.

— Вы там живете? — спросил я.

— Нет. Я еду туда для расследования одного дела,— сказал он.

Я содрогнулся при мысли о несчастном, которому предстоит попасть к нему на допрос. Районный принялся рассказывать о преступности в его районе.

— В этих местах частенько угоняют скот, но, когда его обнаружишь, довольно трудно бывает его опознать. Они калечат животных. Что же остается делать? Приходится прекращать дело, и все труды, затраченные на обвинительный акт, идут прахом. У нас и убийства бывают, и бутлегерство в зоне сухого закона...

Несмотря на свой мрачный вид, он оказался, на мой взгляд, очень приятным человеком.

— Да, район наш трудный,— сказал он в заключение.— Преступники часто уходят в джунгли, и приходится порой много дней подряд выслеживать их в горах.

В Талапуре на остановке, расположенной также под деревом вблизи чайной, как две капли воды похожей на заведение Муту, нас поджидал полицейский, который помог Районному выйти и снял велосипед с крыши автобуса. Районный уселся на велосипед и укатил. Талапур чуть побольше Мемпи, хоть и считается важным пунктом на этой дороге. На его единственной улице немного больше лавок. Кондуктор произнес свое обычное предупреждение и исчез в чайной. Большинство пассажиров последовало за ним, остальные разбрелись кто куда. Я остался в автобусе, молча страдая от голода — в этом месте кредита у меня не было.

Когда мы наконец снова тронулись в путь, все говорило о том, что Районный не связывал больше свободу действий шофера. Он мчался с бесшабашной скоростью и каждые десять минут резко тормозил, чтобы подобрать путника, уныло бредущего по обочине. Кондуктор никому не отказывал.

— Бедняги! — говорил он мне.— Они же погибнут на дороге, если мы их не подберем. Они ведь тоже люди!

Из сострадания он набивал карманы деньгами этих бедняг, не выдавая им билетов. «Почему бы ему не купить себе «роллс-ройс», а не малютку «моррис»? — подумал я. Автобус покинул шоссе и в поисках пассажиров зарыскал по полям. Он останавливался в самых неожиданных местах, шофер гудел и кричал:

— А ну, торопись, торопись, последний автобус в Мальгуди!

Он не пропустил ни одного хутора, как бы далеко от дороги тот ни спрятался, и все пассажиры сидели и терпеливо наблюдали за проделками кондуктора и шофера. Казалось, эти двое наметили себе определенный план дохода на день и не могли успокоиться, пока его не выполнят. Вот как случилось, что утренняя трехчасовая прогулка в джипе превратилась на обратном пути в восьмичасовое путешествие. Было одиннадцать часов ночи, когда автобус остановился на площади за рынком в Мальгуди.

На следующий день в восемь часов утра я сидел и правил гранки свадебного приглашения специалиста по отсрочкам. Через полчаса после того, как я открыл двери типографии, вошел Састри. При виде меня он остановился как вкопанный и сказал:

— Мы все ждали вас вчера до девяти часов вечера.

— Я всегда говорил вам, чтобы вы запирали типографию в обычное время — здесь я или нет,— отвечал я величественно.— У меня иногда бывает слишком много других дел.

— Но адвокат никак не хотел уходить. Он все время говорил, что вы обещали вернуться через пять минут, через пять минут... А потом эти этикетки для фруктовой воды... Он очень сердился и сказал...

— Ах, перестаньте же, Састри,— нетерпеливо сказал я.

Мне не нравился его осуждающий тон. Хватит с меня и того, что я выслушал вчера от жены, когда ей пришлось встать в полночь, чтобы разогреть мне еду. Захотел и исчез! Почему я должен перед всеми отчитываться?

— Перестаньте, Састри. Если газировщик хочет забрать свой заказ, пусть забирает! Не могу я всем угождать — вот и все. Пусть поищет по всей Южной Индии, кто ему еще так отпечатает красный цвет...

Господин Састри не дослушал моей речи до конца, повернулся и, как мне показалось, высокомерно прошел за синюю занавеску. Я снова засел за гранки — я нашел их в том же состоянии, в каком оставил накануне. «Господин ... просит Вас почтить своим обществом...» Не тот шрифт и ошибка в имени жениха. Вместо «обществом» напечатано «обжестомв». Никогда не перестану удивляться той чертовщине, которая получается после набора. Увидев «обжестомв», я громко рассмеялся. На сердце у меня было легко. Мне больше не надо было побираться у чайной, голодать и ходить без единой запонки в рубашке. У меня было такое чувство, будто в жизни мне необычайно повезло, я застрахован от всяких случайностей, могу отмахнуться от Састри и от кого угодно. Жизнь на Рыночной улице шла своим чередом. Приятно было снова сидеть и смотреть, как повозки и велосипеды кружат по площади и как городские бездельники сидят у фонтана и плюют в него. Это зрелище вселяло мне в душу покой и уверенность в будущем. Впрочем, ненадолго. Через несколько минут в дверях появился специалист по отсрочкам — еще более небритый, чем обычно, закутанный в грязную шаль, в задранных до колен дхоти, с болтающимся на руке зонтиком и с мрачной усмешкой на лице.

— Вы думаете, что..

Достаточно было взглянуть на него, чтобы догадаться, что он сейчас скажет.

— Войдите, пожалуйста. Не присядете ли сначала?

— К чему? — возразил он.— Я больше не намерен зря тратить время.

Я снова предложил ему сесть — на этот раз жестом, но он, казалось, боялся, что стоит ему сесть, как я тут же снова исчезну на целый день.

— Можете не беспокоиться,— отрывисто бросил он,— я отдаю приглашение в другую типографию.

— А я и не беспокоюсь! Мы живем в свободной стране, вы свободный человек, конституция обеспечивает наши права. Разве я могу заставить вас или кого бы то ни было делать что-либо против вашей воли?

Я знал, что он лжет: если вчера он просидел здесь допоздна, а сегодня явился так рано, где ему было найти другую типографию? Во всяком случае, меня это не касалось — мы живем в свободной стране с демократическими законами, и каждый гражданин волен выбирать, где ему печатать приглашения на свадьбу дочери. Но только если у него осталась хоть капля разума, пусть бы он призадумался, где они получатся лучше.

— Састри! — позвал я воинственно.— Принесите черновик заказа этого господина. Свадьба адвокатской дочери.

Састри отозвался из своего потустороннего мира, но выйти не торопился. За это время можно было поостыть — адвокат сделал шаг к стулу.

— Присядьте, пожалуйста. Господин Састри сейчас выйдет.

Адвокат сел, не нарушая враждебного молчания.

— У вас, должно быть, все уже готово? — спросил я.

Он покачал головой и сказал:

— Воистину правы были наши отцы, когда говорили...

И он привел поговорку, которая гласит, что построить дом и устроить свадьбу — две задачи, посильные разве что титану.

К этому я присовокупил изречение, что человек, выдающий замуж дочь, может уже не совершать никаких других достойных поступков, ибо он отдает дочь, свое самое дорогое сокровище. Это так тронуло адвоката, что на глазах у него показались слезы. Он высморкался и сказал:

— Шушила — самая нежная из моих детей. Я так надеюсь, что свекровь не будет ее обижать.

Он глубоко вздохнул.

Я поспешил утешить его:

— Свекровь! Современные девушки их не признают! Недаром ведь они учились в колледжах...

— Я дал ей самое лучшее образование,— сказал он мрачно.— А как же иначе? Учителю музыки я плачу пятнадцать рупий в месяц, за школу еще пятнадцать, да на проезд до школы — десять.

«А для того, чтобы все это оплатить,— подумал я,— тебе приходится добиваться бесконечных отсрочек в слушании дел». Ему же я сказал:

— Да, жизнь сейчас очень дорога.

После этой приятной беседы я неожиданно крикнул:

— Састри! Да где же вы? Господин ждет, он хочет забрать свой заказ, в конце концов, надо же, чтобы он успел напечатать его где-нибудь...

Адвокат вскочил, словно ужаленный.

— Нет-нет,— вскричал он.— Даже если придется отложить свадьбу, я все равно буду печатать только у вас.

— Я здесь для того, чтобы по мере своих скромных сил помогать человечеству,— сказал я.— Я никогда никому не отказываю. Приходите ко мне, не задумываясь, я сделаю для вас все, что захотите.

Он не заставил себя долго упрашивать и быстро сказал:

— Тысяча приглашений! А как, по-вашему, может, хватит и меньше?

Вечером перед моей типографией остановился джип Васу. Шел девятый час, и движение на улице стало заметно меньше. Васу посмотрел на меня, не вылезая из-за руля. Шевелюра у него была покрыта пылью и стояла дыбом, более, чем когда-либо, похожая на ореол. Он помахал мне рукой. Я задержался в типографии, чтобы закончить адвокатские приглашения. Я даже предложил ему надписать конверты и разослать их, если он того пожелает. Он проникся ко мне таким доверием, что решил не сидеть со мной в типографии и отправился домой.

— Почему бы вам не зайти? — крикнул я Васу.

Я чувствовал, что на своей территории мне некого бояться.

— Иди сам сюда! — отозвался он.— Я хочу тебе кое-что показать.

Я вышел к нему, решив ни за что не садиться в джип. Посмотрю издалека, что он там хочет мне показать. Лицо Васу было грязно и блестело от пота, но зубы обнажала торжествующая улыбка, глаза были широко раскрыты, так что виднелись белки. Я осторожно приблизился к джипу, боясь, как бы Васу не протянул руку и, схватив меня, не уехал. Он взял фонарь и посветил на заднее сиденье. Там лежала огромная голова тигра.

— Как это вам удалось? — спросил я.

У человека, который привез голову тигра, ни о чем другом спрашивать было невозможно.

Пара любопытных замедлила шаги. Васу закричал на них:

— Убирайтесь отсюда! Что у вас, своих дел мало?

Он включил мотор, решив въехать в калитку и поставить джип во дворе. Я вернулся к своему креслу и к своей работе. До меня донеслись его шаги на деревянной лестнице. Когда со двора долетал ветерок, он доносил до меня запах крови — впрочем, мне это, возможно, только казалось.

Откинулась занавеска — он вошел и уселся. Закурил сигарету и спросил:

— Знаете, какой он величины? От носа до кончика хвоста — десять с половиной футов, а голова почти восемнадцать дюймов шириной! Понимаете, я накрыл его в заповеднике. В следующий раз, когда станут проверять поголовье тигров в заповеднике, их ждет хорошенький сюрприз!

Затем он поведал мне, как получил сведения о звере от различных людей, как шел по следу от одного места к другому. Ему пришлось пройти по джунглям почти шесть миль, и лишь около двух часов ночи он наконец настиг зверя у водопоя. Он показал мне кровоточащие раны на ногах — следствие того, что ему пришлось продираться сквозь чащу, зная, что в любую минуту тигр может прыгнуть на него из какого-нибудь укрытия.

— В крайнем случае я решил сбить его с ног кулаком и сунуть ружейный приклад ему в глотку! — заявил он.

Он явно не собирался ждать похвал от других и сам осыпал себя ими.

— А как же разрешение? Ведь у вас его не было?

— Тигр, во всяком случае, не сказал об этом ни слова.

И он расхохотался над собственной шуткой.

— Этот боров не сдержал своего обещания! Обиделся, должно быть, что вы не напечатали его Золотые Мысли.

Он никогда не упускал случая обвинить меня в чем-нибудь.

Я ничего не ответил. Мне хотелось посмотреть на тигра. Васу провел меня к себе в комнату. Я ни разу не был там, с тех пор как он поселился у меня. Над кроватью была натянута москитная сетка, в углу стоял стол, заваленный письмами и бельем, крышка чемодана была откинута, одежда разбросана по комнате. Он протянул через комнату веревку и повесил на нее одежду. На балконе сушились шкуры, в углу стояла лохань, где вымачивалась шкура тигра. По всей комнате были разбросаны беличьи шкурки, по углам громоздились чучела птиц. Пол был усеян деревянными болванками, дощечками и всяким мусором. С тех пор как я отдал ему чердак, я ни о чем его не спрашивал, не желая казаться навязчивым хозяином. Все это время он окружал себя мертвячиной. В комнате стоял запах гниющего мяса и свежеободранных шкур. Он, видно, неплохо поработал своим ружьем, лежавшим сейчас на кровати.

— Я человек дела, не могу терять время зря. День без работы — для меня потерянный день!

В комнате пахло дубильным раствором, к горлу у меня подступила тошнота. Я не понимал, как можно жить в такой атмосфере. В последнее время Састри не раз жаловался на трупный запах. Мы обыскали все углы в типографии, заглянули в помойные ведра, проверили, не испортился ли клей, который мы употребляли. Я сделал строгое внушение нашему переплетчику: я отругал его за то, что он пользуется отвратительными продуктами бойни, когда переплетает наши заказы. Он извинялся, хотя и заявил, что я неправ. Даже после того, как он обещал улучшить качество своего клея, запах не исчез. Он проникал всюду, и Састри отказывался стоять у наборной кассы. Тогда мы решили, что

где-нибудь лежит дохлая крыса, и обшарили все закоулки в типографии, а когда эти поиски не увенчались успехом, мы стали винить во всем департамент здравоохранения.

— Пусть только этот человек придет сюда снова,— сказал я с горечью.— Я заставлю его стать у наборной кассы и проделать упражнения на вдох и выдох.

Иногда мой «гейдельбергский» сосед спрашивал, не замечал ли я какого-то запаха в нашем квартале. Я от души соглашался с ним и в свою очередь спрашивал, что он думает о местных властях. Я и не подозревал, что источником этого зловония был чердак над моей головой!

Я присел на железный треножник — у меня подкосились ноги. Если этот человек останется здесь (трудно было сказать, как долго он собирается почтить меня своим присутствием), что станет со мной и моими соседями?

Длинной палкой Васу помешал в лохани — зловоние усилилось. Я зажал нос рукой.

— Убери руку,— приказал он.— Будь мужчиной!

Я заколебался. Он подошел и отодрал мои пальцы.

— Какое воображение! — сказал он.— Как ты думаешь, что в этой лохани? Тигриная кровь? Ха-ха! Раствор квасцов — и только!

И он посвятил меня в тонкости разделки туш.

— На деле весь процесс нашей работы гораздо чище и гигиеничнее, чем чистка овощей у вас на кухне.

При этом сравнении я содрогнулся.

— Прежде всего из животного выпускают всю кровь, так что домой привозят только шкуру. Чтобы не допустить никакого просчета, я всем занимаюсь сам. Особенно важно хорошо обработать лапы и голову.

Он поднял лапу мертвого тигра и показал ее мне.

— Стоит только чуть-чуть не так сделать надрез, как потом уже ни за что не стянуть шкуру. Этому меня научил Сулейман — он был настоящий художник, что твой скульптор или хирург! Работал тонко и точно. Тигра я убил прошлой ночью. А как, по-твоему, что я делал целый день?

«Прятался вместе с тушей от лесников»,— подумал я.

— Выпускал кровь, снимал шкуру, чистил ее, чтобы не было жалоб от чувствительных душ! Чтобы все было в полном порядке, мы засыпаем шкуру солью — тоннами соли сразу же после свежевания, вернее, заливаем ее соляным раствором. Как видишь, все делается самым гигиеническим способом.— Он обвел комнату рукой.— Я делаю все сам — мне наплевать, что обо мне скажут...

— Кусочки мяса еще остались,— сказал я, указывая на шкуру тигра.

— Ну и что? Разве у тебя под кожей нет мяса? Или, по-твоему, у тебя там бархат?

Такие шутки казались ему очень смешными, мне нечего было ответить.

Я огляделся. На рабочем столе в углу стояли чучела вороны, орла и кошки. Я узнал кошку — еще совсем недавно она бегала по моей типографии и охотилась за мышами.

— Зачем вы ее застрелили? Это была моя кошка! — вскричал я, содрогнувшись.

Мне казалось, что я снова слышу ее ласковое мяуканье, когда она, бывало, терлась спиной о мои ноги.

— Откуда мне было знать? — спросил он.— Мне она просто нужна была для пробы — в конце концов, то же семейство, что и тигр. Я пытаюсь подготовить болванку для тигра. Тут есть кое-какие особенности, характерные для семейства Felis в этом районе, и мне нужна была ми-

ниатюра для занятий и исследований. Без постоянной практики в нашем деле не добьешься успеха.

— А эта ворона что вам сделала?

— Пусть ее судьба послужит предупреждением другим воронам. Пора им оставить мои шкуры в покое! Только я их выставлю сушить, а они уже тут как тут.

— А орел?

— Он кружил вон над той крышей четыре дня назад! Уже пятый день он стоит у меня здесь. Ну как, есть от него запах? — спросил он, бросив на меня победоносный взгляд.

У него был такой самодовольный и самоуверенный вид, что я не мог удержаться.

— Конечно есть!

— Вот еще неженка! Не притворяйся, пожалуйста, будто нюх у тебя лучше нашего! Нечего задаваться! Мы живем во времена демократии, не забывай!

Его представление о демократии — все должны одинаково ощущать и принимать зловоние — ужаснуло меня.

— Что вам сделал этот бедный орел? — повторил я. Мне тяжко было видеть этот застывший, остекленевший взор.— Как он смотрит!

— Ага! — вскричал он.

Он схватил чучело и поднес его поближе ко мне.

— Так, значит, тебе кажется, что он смотрит на тебя своими собственными глазами?

Расширенные черные зрачки, окруженные белым ободком, казалось, обвиняюще взирали на нас. Васу затрясся от смеха и радостно заорал:

— Ты ошибся! Бедняга! Эти глаза ему дал я, а не бог. Теперь ты понимаешь, почему я называю свою работу искусством?

Он открыл сундучок и вынул оттуда картонную коробку.

— Посмотри!

Он высыпал из нее полную пригоршню глаз — большие, круглые, маленькие, красные в черном ободке; ярость, дикость и кровожадность тигра, удивленное высокомерие совы, мягкость и нежность оленя — взгляд на любой вкус!

— Это все из Германии,— сказал он.— Мы получали их до войны. Теперь их ни за какие деньги не достанешь. Настоящие линзы! Иногда я слегка подрисовываю их с обратной стороны для большей выразительности. Когда убьешь животное, первым делом удаляешь глаза, потому что с них начинается разложение. А потом подбираешь ему, словно окулист, новые глазки. Надеюсь, теперь ты оценишь труд, который тратится на изготовление этих вещей? Мы постоянно соревнуемся в умении с природой. Поза, взгляд, неповторимое выражение — все приходится создавать заново!

Этот человек вообразил себя соперником природы и все это время вел с ней беспощадную борьбу.

— Безусловно, вы проявили большое умение, но увы! Умение ваше приложено не к живым существам, а к мертвым. Взгляните на этого орла. Разве вы не видите, что это гаруда?

— Ну и что?

— Неужели вам неизвестно, что он священен? Бог Вишну ездит на нем...

— Попробую заставить Вишну передвигаться иногда пешком.

— Вам это, может быть, безразлично, но неужели вы не видели, как мужчины и женщины останавливаются на дорогах и приветствуют эту птицу, едва завидев, как она кружит в небе?

Я нарочно выражался старомодно и поэтично.

Он на секунду задумался и ответил:

— Ты подал мне хорошую мысль. Я могу продавать им орлиные чучела — пятьдесят рупий за штуку. Каждый может получить священную птицу себе в дом, с гарантией, что она не улетит. Могут не напрягать зрения, глядя в небо. Я хочу быть полезным нашим верующим, на свой лад, конечно.

Дрожь пробежала у меня по спине — ну и человек, ну и мысли у него. Казалось, его ничто не трогало. Ни одно существо не было гарантировано от опасности, если оно попадалось ему на глаза. Я совершил ошибку, приняв его под свой кров. Надо избавиться от него, и как можно скорее. Его присутствие оскорбляло мой дом. Мой ум заработал — как бы побыстрее от него отделаться. А он ничего не замечал: уселся в кресло и вытянул ноги, приготовившись к долгой приятной беседе.

— Это все пустяки! Меня это мало волнует. Вот подожди, я сделаю тигра. Пока что ты видишь только голову и шкуру в растворе квасцов. Но я покажу тебе, на что я способен!

Глава 5

Он был человеком слова. Он говорил, что зря не тратит времени. Теперь я видел, что он зря не тратит ни времени, ни пуль. Что ни день, он подкатывал в своем джипе и вынимал из него окровавленную жертву — большую или маленькую. Стоило мне посмотреть в окно, и я неизменно видел одну и ту же картину. Правда, теперь я старался, по возможности, не смотреть в окно. Я закрыл глаза на все, что он творил. С меня было довольно! Мог ли я когда-нибудь подумать, что моя типография в один прекрасный день станет склепом? Между тем дело к тому и шло, а я беспомощно молчал. Иногда меня охватывала злость. Почему я не прикажу ему убираться восвояси? Это был мой дом, долгие годы я копил на него деньги, отказывая себе во всем, да и то вряд ли я смог бы купить его, если бы не один старый друг — мусульманин, который уехал в Пакистан и уступил мне его задешево. Стоило мне открыть черный ход — и я выходил в Кабирский переулок; перешел улицу — и я дома! И все для того, чтобы укрывать у себя убийцу невинных тварей!

Я вырос в семье, где нас учили никого не убивать. Если нам случалось прихлопнуть муху, мы никогда не рассказывали об этом старшим. Особенно хорошо помню я брата моего дедушки, комната которого выходила на галерею. Каждое утро он выдавал мне монетку и посылал купить сахара для муравьев. Он строго следил за тем, чтобы я насыпал его в разных уголках дома, где водились муравьи.

— Никогда не отгоняйте воробьев и ворон, которые прилетают, чтобы разделить с нами трапезу,— говорил он, и все домашние его одобряли.— Они имеют такое же право на хлеб в поле, как и мы с вами.

Он с восторгом следил, как белки, мыши и птицы деловито опустошали наш амбар. Амбар был не бетонный, какими их делают теперь, а из сплетенного бамбука, обмазанного глиной. По форме амбар напоминал цилиндр — в отверстие этого цилиндра ссыпали зерно, когда его привозили с полей в доверху нагруженных повозках, в которые были запряжены быки. Это было еще до того, как мои дяди поссорились и решили разъехаться...

Да, о чем это я? Так вот, меня ужасала мысль о том, что я пригрел убийцу. По правде говоря, у меня не хватало мужества подойти к нему и сказать:

«Убирайся отсюда вон, вместе со своим музеем!»

От него всего можно было ждать — угроз, насмешек, ударов. В его присутствии я весь сжимался и терял дар речи. К тому же встретиться с ним теперь было не так-то просто: он уезжал и приезжал по ночам,

а иногда отсутствовал по три дня подряд. Возвращался он поздно потому, что не хотел, чтобы видели его добычу. А когда он был дома, то сидел себе наверху и занимался своим делом, оттуда доносился стук молотка, визг пилы и всякие другие звуки, свидетельствующие о его деятельности. Иногда днем он стаскивал вниз забитые ящики и отвозил их на железнодорожную станцию. Я смотрел на него со своего места в типографии и думал: из нашего скромного городка Мальгуди во все четыре стороны света расходится набитая стружками мертвечина!

Все работы он выполнял сам, без чьей-либо помощи. Это вызывало во мне восхищение, пока я не сообразил, что ведь я тоже делаю все сам. Правда, со мной был Састри, но Васу в его гнусном промысле, наверно, помогали все мемпийские бандиты. Не знаю, почему мне пришло в голову сравнить себя с ним, но тут уж ничего не поделаешь: мало-помалу я терял душевное равновесие. Мне некому было все это рассказать, не у кого просить поддержки; я привык сам выступать в роли советчика. Как всегда, меня навещали журналист и поэт — от них дельного совета не дождешься! И все же я сделал попытку выяснить их мнение.

Журналист пришел в совершенное замешательство, поняв, что тут нет никаких оснований обрушиться на правительство. Он накинулся на меня:

— Как вы можете мириться с этим? Мы стали тем, чем теперь являемся, благодаря нашей неспособности взять все в свои руки. Мы не знаем, куда мы идем и зачем. Это все наше проклятие — политика наименьшего сопротивления.

Я оставил его в покое. Видно, пора научиться нести свою ношу. Однако спустя два дня мне стало до того тяжело, что я отвел в уголок поэта, мучившегося в поте лица своего над началом Седьмой песни «Сказания о Вишну». Я спросил, что бы он сделал на моем месте, и тут же испугался, как бы он не предложил почитать вслух стихи в качестве возможного средства избавления от убийцы. Он не сразу понял мой вопрос. Да и сам я, чем больше пытался объяснить его, тем сильнее запутывался. Под конец я уже и сам не знал, не слишком ли я усложняю очень простую ситуацию. Когда же поэт сообразил, что к чему, он спросил:

— Почему бы вам не повысить квартирную плату?

Я махнул рукой.

— Святая простота! Неужели мне нужно вам говорить, что я с него гроша не беру! Я пустил его как друга, а не как жильца. Похож я на человека, который станет брать деньги за свой чердак?

Поэт растерялся.

— Тогда, конечно, вы вправе попросить его уехать. Почему бы и нет?

Я ничего не мог объяснить.

Жена говорила мне то же самое. Хоть я и редко обсуждал с ней свои затруднения, но тут я совсем растерялся и обратился с отчаяния к ней. Я слишком много думал о Васу. У меня начинало бешено колотиться сердце, стоило мне заслышать его шаги на лестнице. Я знал, что меня душит гнев. Я ничего не мог поделать с собой. Жена, подавая мне ужин, сказала спокойно и просто:

— Попроси его уехать, вот и все. Бабу его боится и не идет к тебе, когда я его посылаю.

Все это не давало мне покоя. Я ждал случая поговорить с этим человеком. Так, бывало, в детстве я проводил долгие часы в ожидании, пока у отца наступит хорошее настроение и можно будет попросить у него что-нибудь существенное — немного денег на покупку биты или мяча или разрешение на вылазку в горы. Он был всегда занят какими-то срочными делами, а у меня кусок не лез в горло, пока я не поговорю

с ним. Я во всем признавался дедушке, и он спасал меня: в подходящий момент, когда отец после сытного обеда благодушно жевал бетель, он заводил беседу на нужную тему. Но если отец пытался расспросить, я смущался, терял дар речи и не мог сказать в свою защиту ни одного слова. Сейчас я снова оказался в том же положении — с той только разницей, что теперь со мной не было дедушки. Я вспомнил, как в тот день, когда я увидел его тело, распростертое на похоронных дрогах, моей первой мыслью было: «Боже, кто же теперь заступится за меня?»

Пока Васу не было, я приколол к его двери записку: «Можно мне побеседовать с вами, когда у вас будет время?» — и стал ждать результатов. На утро четвертого дня он откинул занавеску и заглянул ко мне как раз в ту минуту, когда я печатал односложные вирши. Обрезками железа я забаррикадировал проход от чердачной лестницы к своему станку, так что теперь Васу приходилось пользоваться парадным входом, если ему хотелось видеть меня.

— Я вынужден добираться к тебе в обход! Ты это специально сделал, да?

Таковы были его первые слова.

При виде Васу у меня упало сердце. Лицо у него было хмурое. «Может, он промахнулся или его ружье дало осечку?» — подумал я. Разговор с ним, очевидно, будет куда опаснее, чем с отцом в детстве. Он помахал перед моим носом запиской и спросил:

— Это мне?

Видно, он был одарен шестым чувством. Взгляд у него был мрачный и враждебный. «Уж не наговорили ли ему чего-нибудь обо мне?» — мелькнуло у меня в голове. Куда девалась веселая грубоватость этого человека? Мне так ее не хватало в этот момент. Я поднял глаза от гранок и сказал:

— Ничего срочного. Мы можем встретиться и позже, если вы сейчас заняты.

— Если ты сейчас занят, тогда другое дело. А я всегда занят!

«Ну конечно,— добавил я про себя,— в лесах пока еще зверья хватает».

— Мне некогда бездельничать,— добавил он,— если вам понятно это слово. Везло бы мне так же, как вашим друзьям, которые только и делают, что толкутся в типографии, читают стихи да критикуют правительство, я бы уже...

Все было ясно: он рвался в бой. Я подавил последние угрызения совести и сказал:

— Будьте добры, присядьте, пожалуйста. Я выйду к вам через минуту.

Когда спустя две минуты, убрав бумаги, лежавшие на моем рабочем столе, я вышел в гостиную, он встретил меня словами:

— Ты просто помешан на том, что все должны сидеть в этой комнате!

— Я лишь считаю необходимым соблюдать приличия,— ответил я.

— Видимо, ты хочешь сказать, что другие этого не делают? — спросил он, сморщившись. Я понял, что на него снова нашло привычное настроение дьявольской насмешки и вызова. Мне сразу стало легче. Я чуть было не справился о его жертвах, но вовремя остановился: я испытывал отвращение при одной мысли об этом.

— Васу,— сказал я,— я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно, но скажите, удалось вам найти себе дом?

— А что? — спросил он, внезапно застыв.

— Я просто решил спросить вас об этом, вот и все.

— Люди, считающие себя гостеприимными хозяевами, не задают таких вопросов своим гостям. Это оскорбление!

Я подавил язвительный ответ, рвавшийся у меня с губ, и небрежно заметил:

— Просто чердак мне нужен для...

— Для чего?

— Один человек приезжает ко мне погостить. Он хочет...

— Разве у вас в доме нет свободной комнаты?

— Стоит ли сейчас вдаваться в подробности?

— Безусловно стоит. Меня это очень интересует,— сказал он.— Иначе не все ли мне равно — пусть хоть все ваши чертовы родственники приезжают и гостят у вас...

Ответ на этот выпад сам собой просился на язык, но я сдержался. Воинственные речи ведут лишь к умножению воинственных речей. Махатма Ганди предписывал нам полное непротивление и в помыслах и в речах, хотя бы для того, чтобы пресечь перебранки. Я ответил деловито и холодно:

— Мой гость любит жить в тишине.

— Какого дьявола ему тогда эта шумная типография?

На это мне нечего было ответить. Подумав, он сказал:

— Ведь вы годами о чердаке не вспоминали, только складывали туда старый хлам. Но стоило мне немного его обжить, как вы тут же начали выдумывать всякую ерунду. А знаете, сколько я в него труда вложил? Стоит проявить малейшую оплошность, как на тебя набрасываются москиты и прочие паразиты. Головой все время стукаешься о потолок! А паутина, дым! Летом жарко, словно в печке. Только такой дурак, как я, согласится там жить.

Я мог бы ответить прописными истинами: «Так вот как вы платите мне за то, что я пригрел вас!», или: «В конце концов, вы же сами решили здесь поселиться!», или еще: «Ну, знаете, хватит злоупотреблять моим гостеприимством! Убирайтесь, если вам здесь не нравится!» Я проглотил все эти ответы. Взамен я грустно произнес.

— Не думал я, что вы так расстроитесь!

— Кто вам сказал, что я расстроился? Не придумывайте! Меня не так-то легко расстроить!

Он поднялся.

— Еще что-нибудь?

Только когда его джип тронулся с места, я понял, что он не ответил на мой вопрос. Он отнесся к нему спокойно, злобно и равнодушно, но ничего определенного не сказал. Он уехал; мне же ничуть не стало легче, только еще хуже, потому что я его рассердил! Оленьи головы, тигриные шкуры и птичьи перья будут вечно окружать меня. Мой дом превратится в Ноев ковчег, о котором я читал на уроках закона божьего в школе миссии Альберта. Помощи ждать было неоткуда. Никто, видно, не хотел войти в мое трудное положение. Все сходились в одном: «В конце концов, вы же сами его пригласили!» Я ничего не мог придумать.

Один только Састри понимал и время от времени подбадривал меня:

— Так долго продолжаться не может, верно?

Иногда же он набирался храбрости и, подбирая шрифт, говорил:

— А что он может сделать, в конце-то концов, если вы действительно хотите, чтобы он уехал?

Он чувствовал, что меня нужно подбодрить, так как теперь и ему приходилось принимать участие в улаживании бесконечных недоразумений с нашими клиентами. Годовой отчет кооперативного общества и счета все еще не были готовы, так как я не мог собраться с духом и проверить длинные колонки цифр. По этой же причине счета отеля «Ананд Бхаван» были готовы только наполовину. Выдерживать натиск заказчи-

ков и придумывать для них убедительные отговорки приходилось Састри. Он был хоть каким-то утешением в мире, который, казалось, был лишен начисто утешений.

Я примирился с судьбой. Васу все реже и реже попадался мне на глаза. Я только слышал, как он, громко топоча, взбегает по лестнице. В этом топоте мне чудился вызов и утверждение его прав на чердак. Стоило мне заслышать его шаги, как меня охватывала ярость. Я знал, что друга я в нем потерял. Отныне между нами возможны только самые холодные отношения. И я буду счастлив, если он оставит меня в покое и не будет совать свой огромный кулак мне в лицо.

Скоро стало ясно, что он не терял времени зря. Незаметно прошло пять дней. На шестой судебный исполнитель принес мне коричневый конверт. Я машинально принял его и расписался. Вскрыв конверт, я прочитал: «Настоящим уведомляем, что вам надлежит дать объяснения...» Письмо было подписано контролером по квартирной плате, самым страшным человеком в городе. Против меня выдвигались следующие обвинения: во-первых, я сдал часть своей типографии некоему господину Васу, не получив на то соответствующего разрешения; во-вторых, я пытался отделаться от своего жильца незаконными способами. Я не сразу понял, что все это значит. Васу написал на меня жалобу, как на своего квартирного хозяина. Он также жаловался на то, что я не содержу дом в приличном состоянии и «это причиняет большие убытки вышеозначенному жильцу».

Пришлось мне заняться новой для меня деятельностью. До сих пор я не знал, что такое вызов в суд. Я просто не представлял себе, что делать. Сутяжничество мне претило, я всегда его избегал. Я до дрожи боялся суда и адвокатов. Может быть, это осталось у меня с тех пор, когда дядья напустили судейских на моего отца и в доме месяцами ни о чем другом не было речи. Я отложил вызов в сторону. Мне давалось три дня на размышления. Я ничего никому не сказал, даже Састри. Что толку? Все равно никто меня не поймет. Будут смотреть на меня так, будто я в самом деле тайком совершил незаконный поступок и теперь пойман с поличным. Или начнут снова твердить: «В конце концов, вы же сами согласились пустить этого человека! Вините только себя!» Положение казалось настолько безнадежным, что я на все махнул рукой. И даже опять стал самим собой: начал работать, смеялся, отшучивался. Я считал часы — еще семьдесят два, шестьдесят, двадцать четыре... Завтра, наверно, меня отведут из суда прямо в тюрьму, все удивятся, а Васу быстро выгонит из дома Састри и всех моих клиентов и развернет в гостиной и по всей типографии выставку своих художественных изделий. Со временем люди привыкнут к ней и станут называть мой дом не типографией, а музеем. Жена моя и ребенок станут сами зарабатывать себе на пропитание и навещать меня в тюрьме в установленные дни. Люди, конечно, будут жалеть меня, но в заключение будут всегда прибавлять: «Кто его просил поощрять этого человека? Он все это сам на себя навлек. Пусть других не винит!»

В последний день моей свободы я, как всегда, отправился на рассвете к реке и в половине шестого возвращался домой. Здесь я обычно встречал нашего специалиста по отсрочкам. И вдруг меня осенило: почему я не сообразил обратиться к нему? Для меня он всегда был только клиентом, не более. Как только я напечатал ему приглашения, он начал меня избегать — из-за неоплаченного счета. Свадьба давно уже была позади, а он все не думал рассчитываться, хотя я потребовал с него каких-нибудь девяносто рупий за тысячу приглашений. Теперь я совсем не встречал его, даже когда возвращался по утрам с реки. Должно быть, он

изменил свой маршрут — лишь бы не попадаться мне на глаза. Но сегодня мне повезло — мы столкнулись с ним нос к носу.

Я почувствовал огромное облегчение.

— Друг мой!— воскликнул я.— Вас-то я и надеялся встретить.

На лице его отразилось отчаяние. К счастью, я встретил его в том месте Кабирского переулка, где дом цирюльника сильно выдается на тротуар, с другой стороны которого пролегает сточная канава, так что, если преградить человеку путь, ускользнуть ему нелегко.

— Как раз сегодня я собирался зайти к вам в типографию,— сказал он смущенно.— Знаете, после свадьбы моей дочери то одно, то другое...

Я был в восторге, что встретил его.

— Как она поживает?— спросил я весело.— Уже уехала к своему супругу? А как поживает ваш зять? Нравится вам быть тестем?

— Многие думают,— отвечал он,— что после свадьбы беспокоиться не о чем. Но свадьба — это только половина сражения. Ха-ха!

Я тоже засмеялся, чтобы расположить его к себе. Пусть не думает, что я набросился на него так рано из-за неоплаченного счета.

— Только после свадьбы понимаешь,— продолжал он,— как могут распоясаться родственники. Подавай им одно, подавай им другое! Конца-края этому не видно! О боже!

— Да, это верно,— согласился я.— Одни поездки молодой к свекрови чего стоят...

— Это что! — возразил он.— В конце концов, она моя дочка. Я должен обеспечить ей удобства во время поездок.

— Конечно, конечно,— поддакнул я, соображая, чем же он может быть недоволен.

Он не заставил меня долго ждать:

— Подавай им одно, подавай другое...

Первые лучи солнца озарили утренним блеском обиталище цирюльника. Воробьи и вороны залетали в поисках зерна и червей. Глядя на них, я подумал: им посчастливилось, что они не летают перед окном моего чердака, где поселился Васу.

А адвокат все говорил — ведь он привык не ставить точки, пока суд не отправится обедать.

— Они таких требуют подарков, что можно с ума сойти. Зятя, видно, нужно ублажать круглый год,— говорил он с мрачном юмором.— Ему надо сделать подарки на шестой месяц после свадьбы, в месяц Ади, на Дипавали, в один день, в другой день! Стоит вам вспомнить об этом великом человеке, как нужно тотчас выкладывать сотню рупий — можно дарить одежду, а можно и чистоганом давать! А все старые, глупые обычаи! Наши женщины их чтут, это они виноваты! А молодого человека я не виню — что он может сделать? Его мать стоит горой за обычаи, а мать молодой только рада, что можно мужа обругать. Женщины знают: если мужчину как следует обругать, он в конце концов достанет деньги!

«Ах, вот как! — подумал я.— Интересно, можно ли сделать так, чтобы эта милая женщина заинтересовалась оплатой моего счета?»

Адвокат словно читал мои мысли.

— Теперь вы знаете,— сказал он,— почему я не мог зайти к вам. Как ни стараешься, а мелкие долги всегда приходится оставлять напоследок. На свадьбу мне пришлось доставать десять тысяч рупий — я истратил все сбережения, занял, заложил все, что мог. Одно меня успокаивает — сейчас все уже позади. Теперь, по крайней мере, лет десять ничто подобное мне не грозит. Второй моей дочери исполнилось всего шесть лет.

— Да, времени у вас достаточно,— сказал я в надежде, что теперь смогу вставить слово о своей беде.

Но он продолжал:

— Простите, что я так сильно задержал расплату с вами, но я както забыл об этом.

— Ничего,— успокоил я его.— Я понял, что вы, должно быть, заняты. Некоторые клиенты для меня словно сберегательная касса. Я могу получить с них деньги, когда они мне понадобятся. Не беспокойтесь, господин, я о вас плохого не подумаю. Не приходите ко мне в типографию, к чему вам утруждать себя? Я всегда могу прислать к вам за деньгами Састри.

Последнюю фразу я добавил, испугавшись, как бы он не решил, что я простил ему долг. Солнце светило все ярче, а я еще ничего не сказал ему о своем несчастье. Я не знал, как начать. Он уже собрался уходить, сказав все, что ему хотелось, и не оставив ничего в запасе.

— Мне нужно поговорить с вами по судебному делу,— пролепетал я.

Он гордо выпрямился. Теперь он почувствовал себя хозяином положения.

— Какие-нибудь осложнения в связи с наследством? — спросил он деловито.— Мне кажется, все было улажено раз и навсегда.

— Нет-нет, это совсем другое...— начал я.

— Может быть, вы подумываете о партнере? Многие, знаете ли, сейчас так поступают.

— Нет-нет, для этого у меня слишком маленькое дело.

— Налог на землю — неприятности в этой связи?

Я засмеялся:

— К счастью, мне он не грозит.

— Налог на персонал? Налог на проданный товар? Знаете, половина неприятностей с этим налогом возникает из-за недостаточной четкости формулировок. Тут я могу любому налоговому чиновнику дать фору — пусть только подойдет к моему клиенту с этим неразжеванным законопроектом.

— Меня вызывает инспектор по квартирной плате.

— Зачем? — спросил он.— Вам известно, что многие...

Я вырвал инициативу из его рук и сказал:

— Вы сейчас увидите, что оснований для вызова нет никаких. Могу я зайти к вам домой?

— Нет,— сказал он.— Приходите ко мне в контору.

Его контора помещалась над складом хлопка или, вернее, над матрасной мастерской; там всегда стояла такая пыль, что клиент, однажды зайдя к нему, больше уже никогда не возвращался: он либо начинал безостановочно чихать, либо простужался насмерть. Особенно плохо приходилось больным астмой — они неделями болели после каждой юридической консультации. Клиенты предпочитали видеться с ним в здании местного суда, где он торчал часами в надежде получить какое-нибудь дело и давал им советы, стоя на веранде суда или в тени тамариндового дерева во дворе.

Но новичков он любил заманить к себе в контору, чтобы они как следует простудились. Я попробовал отвести его предложение, но он был неумолим: мне надлежало встретиться с ним в комнатке над матрасной мастерской.

Чихая, я поднялся по деревянным ступенькам. Лестница здесь была еще уже, чем та, которая вела на мой чердак, занятый звериными экспонатами, и скрипела так, что заглушала чихание посетителей. Хоть я родился и вырос в этом районе, я впервые попал на улицу Абу; она находилась в приятном удалении от шумных зрелищ Базарной улицы, всего за четыре квартала от моей типографии. На столбе у входа висела

дощечка адвоката, выцветшая от времени и непогоды: «Господин ... , защитник», а вывеска рядом вызывающе гласила: «Хлопковая корпорация Нанди». Поначалу я не увидел ничего, кроме бесконечных тюков с хлопком, а приглядевшись, разобрал каких-то женщин в углу, занятых превращением хлопка в вату для набивки матрасов. Это-то и порождало туберкулез и астму у незадачливых сутяг.

Адвокатская обитель находилась тут же, на лестничной площадке, от которой ее, видимо, отгородили, чтобы получилась комната. В ней стоял стол, стул и шкаф, набитый юридическими справочниками. Во время разговора клиентам приходилось стоять. На столе лежали запыленные связки бумаг, древние судебные протоколы, чернильница с высохшими чернилами и ржавое перо; черная, замшелая адвокатская мантия висела на стене. Снизу доносились ритмичные удары. За спиной у адвоката было забранное решеткой оконце, в нем виднелось кокосовое дерево в соседнем дворе, дым из кухонной трубы и покатые черепичные крыши, пыльные, прокопченные, на которых кое-где блестели в лучах солнца пустые консервные банки.

— Аллергия? — вскричал он, увидев меня.

Шум, который я учинил, расчихавшись на лестнице, подготовил его к моему появлению. Я вошел, сморкаясь и вытирая глаза. На лице у него заиграла улыбка, обнажившая его единственный зуб. Он сел к столу и пояснил:

— Некоторые страдают аллергией от пыли и хлопка. Но я к этому отношусь спокойно.

Он, видимо, гордился превосходным здоровьем, дарованным ему господом богом, словно на то была чуть ли не специальная между ними договоренность; признаки аллергии в других радовали его, преисполняя уверенности, что небеса к нему особенно милостивы.

— Говорят, аллергия — это нервы, и только,— сказал он величественно.— От нее нужно лечиться самому, усилием воли...

Я подошел к его столу, словно бедный проситель, и положил перед ним коричневый конверт. Он надел очки, вынул из конверта письмо, развернул его, расправил ладонью, придавил его бутылкой из-под чернил, откинул голову, чтобы лучше видеть, и начал читать. Его острый подбородок и щеки блестели, словно присыпанные серебряной пылью.

Он глубоко вздохнул:

— Надеюсь, вы не давали ему никаких расписок?

— Расписок? В чем? — спросил я.

— В получении квартирной платы, конечно. И я надеюсь, у вас хватило сообразительности не брать от него чек?

Меня охватил ужас. Этот человек впадал в ту же ошибку, что и моя жена и все остальные.

— Я ничего не сдавал ему,— заявил я.

— Он откупил у вас часть дома?

— Послушайте, он же не жилец мой.

— Чей же он тогда жилец? — спросил он, ловя меня на слове.

— Не знаю. Откуда мне знать?

Спокойствие покидало меня. Почему люди так упорно отказывались понять мое положение? После подъема на лестницу ноги у меня устали, а этот человек и не думает предложить мне сесть. Ему, видно, приятно мучить своих посетителей. Голос у меня охрип от хлопковой пыли, я сам не узнавал его.

Адвокат же продолжал свой допрос:

— Если он не жилец ваш, тогда кто же он?

— Он не жилец, а... а.. друг,— сказал я, так и не придумав иного ответа.

Он ухватился за это слово.

— Друг! Ну и ну! Какой же это друг, если он подает на вас жалобу? Согласно ныне действующему положению о домовладельцах, это очень серьезное обвинение. Почему вы не оформили все как полагается и...

— Стойте! Стойте!— вскричал я.— Клянусь вам, что я отдал этому человеку чердак бесплатно, совершенно бесплатно, потому что он попросил меня.

— Если бы я был судьей, я бы вам не поверил. К чему он вам в доме? Он вам родственник?

— Слава богу, нет. Это для меня единственное утешение.

— Вы ему чем-нибудь обязаны?

— Нет. Наоборот, он должен был бы чувствовать себя мне обязанным. Но он, видно, решил загнать меня в петлю! — вскричал я.

Я подробно объяснил адвокату, как Васу явился ко мне и как все произошло. Решив, что адвокат что-то уж слишком защищает моего врага, я попытался завоевать его расположение.

— Помните, как вы пришли ко мне печатать приглашение на свадьбу, а он вытащил меня из дому и увез? Он все так делает! Теперь вы понимаете, на что он способен.

Это лишь ожесточило его.

— Я тогда целый день просидел у вас без толку!— с горечью заметил он.

Потом он растолковал мне все юридические тонкости дела и забрал письмо. Вынув из стола чистый лист бумаги, он попросил меня расписаться и наконец вздохнул с облегчением.

— Я займусь этим делом. Не беспокойтесь больше ни о чем. Сколько у вас при себе денег?

— Ни одной аны,— сказал я и вывернул карман.

Он помрачнел при виде моего банкротства.

— Я с вас ни гроша лишнего не возьму, только самый минимум. Надо, как всегда, заплатить за марки, за кофе секретарю. Он может быть нам очень полезен.

— Да? Каким образом?

— Не задавайте вопросов. Дайте подумать — как же заплатить за все это? По номинальной цене, конечно. Если бы у вас нашлось пять рупий...

— Я думал... так как вы... я мог бы вычесть из вашего счета...

Он в ужасе всплеснул руками:

— Нет-нет, никогда не смешивайте разные счета! Две совершенно разные вещи, совершенно разные ситуации. Не смешивайте счета! Все что угодно, только не это! Беды потом не оберешься. А почему бы вам не послать кого-нибудь в типографию за кошельком.

Мне хотелось стукнуть кулаком по столу и потребовать, чтобы он немедленно заплатил мне по моему счету, но обстоятельства заставили меня сдержаться: адвокат ведь должен был спасти меня от тюрьмы.

— Если вы сегодня как-нибудь обойдетесь,— сказал я,— я пришлю деньги вам домой, как только вернусь в типографию.

— Сейчас я домой не пойду. Если я пойду домой, то не успею в суд. Я не хочу быть слишком настойчивым, просто я подумал, что нельзя начинать такое дело без денег.

— Я пришел только посоветоваться с вами,— сказал я.

— Надеюсь, вы удовлетворены? — спросил он церемонно.

— Да, конечно.

Я чувствовал себя как нищий, просящий милостыню. Сколько он еще продержит меня на ногах? Но критиковать его сейчас я не мог.

— Что же теперь надо делать? — осведомился я.

— Сначала самое важное.

Он напряженно уставился на письмо.

— Вас вызывают завтра, во вторник, двадцать четвертого, на один-

надцать часов утра. Сегодня понедельник, двадцать третье. Сейчас половина одиннадцатого. Я должен сейчас же подать прошение о неявке. По правилам вы должны предупредить о неявке за двадцать четыре часа. Если бы вы не взяли повестки, все было бы значительно проще. Вы расписались на маленькой квитанции, когда вам вручали повестку?

— Да, конечно.

— Ах, неопытность, неопытность! — вскричал он.— Прежде чем прикасаться к ней или смотреть на нее, надо было посоветоваться со мной.

— Я и понятия не имел, что это такое,— сказал я с жаром, вкладывая в эти слова всю боль, которую испытал, узнав о предательстве Васу.

— Верно, верно,— согласился он.— Вы, должно быть, подумали, что вас просят напечатать что-нибудь для суда, а?

— Это все?— спросил я.

— Гм... пожалуй,— ответил он.— Я могу положиться на секретаря — он мне поможет. Сделаю что смогу. Счастье, если вас не будет в завтрашнем списке. Мне придется заявить, что вы уехали и что впредь вас нужно вызывать заранее.

— Но меня же могут увидеть в типографии,— заметил я.

— Ах да, верно, верно. Впрочем, откуда суду знать, там вы или нет? Во всяком случае, хорошо бы вам не слишком попадаться людям на глаза в часы судебного заседания.

— Если меня не вызывают, я большей частью сижу за синей занавеской,— сказал я.

— Вот и хорошо, это очень полезно.

— А что дальше?

— Можете считать себя свободным по крайней мере на четыре недели. Суд по квартирным делам сейчас очень перегружен. Раньше чем через четыре недели они вам повестки не пошлют,— сказал он.

Я был благодарен этому человеку — он спас меня от петли на четыре недели. Но он тут же с сомнением произнес:

— Истец, правда, может возражать.

— Он всегда может сказать, что я никуда не уехал: ведь он живет у меня над головой.

— Но суд вовсе не обязан принимать во внимание его слова. Таким образом он не сможет установить вашу mala fide *.

Я не понял, что он хотел этим сказать.

— Меня ждет работа,— извинился я.

Мне не хотелось обижать его даже отдаленным намеком на то, что мне надоело стоя выслушивать его речи, хотя, говоря по правде, ноги у меня ныли.

— Можете идти,— выспренно сказал он.— Домой я вернусь около трех. Что-нибудь придумаю. Если вы решите прислать ко мне человека, положите в конверт десять рупий. Можете не беспокоиться: когда все кончится, я полностью с вами рассчитаюсь.

И вот доказательства его трудов: назавтра после судного дня я спокойно сидел в своей типографии и печатал трехцветные этикетки. Через посредство Састри я с радостью отправил адвокату десять рупий. Мы рассчитаемся потом. Не надо смешивать счета. Мудрейшие слова! Вот какие мысли бродили в моем лихорадочном мозгу.

Глава 6

Следующие пятнадцать дней прошли без происшествий. Мы оставили друг друга в покое. Я слышал, как Васу приезжал и уезжал. Его джип заворачивал во двор, одним ударом могучего кулака он включал

---

* Недобросовестность *(лат.)*.

тормоза, громко стуча ногами, поднимался наверх. При всех своих чудовищных привычках Васу обладал одной добродетелью: он не пытался зайти на мою половину дома, а просто приезжал и уезжал, когда ему вздумается. Запах освежеванных шкур, выставленных для просушки, все усиливался. Он беспокоил соседей. В один прекрасный день ко мне явился человек в одежде цвета хаки — чиновник из отдела здравоохранения. Это был санитарный инспектор, главной заботой которого было содержать город в чистоте — нелегкая задача в таком месте, как Мальгуди, где каждый ревностно оберегает свое право на независимость.

Санитарный инспектор, бывало, и раньше изредка навещал мою типографию. Устав от бесконечной ходьбы по Базарной улице, он тихо сидел у меня в кресле. Инспектор снимал свой пробковый шлем (по-моему, во всем городе только у него одного был такой головной убор — он приобрел его на распродаже армейского обмундирования), клал его на соседнее кресло, вытирал лоб ярким клетчатым платком, вздыхал и просил дать ему стакан воды. Он не принадлежал к числу моих друзей, хотя держался вполне дружелюбно.

На этот раз он оставил велосипед у входа, вошел в типографию и сказал:

— На вас жалоба!

Вытащил из кармана конверт, вынул из него лист бумаги и протянул мне.

При виде коричневого конверта меня пробрала дрожь. Это была совместная петиция, поданная в муниципалитет моими соседями,— под ней стояло с десяток подписей. Они жаловались, что на моей террасе творятся странные вещи — вымачиваются звериные шкуры. Соседи писали, что обработка шкур в жилых кварталах не разрешается, ибо она порождает зловоние и создает антисанитарные условия. Еще они жаловались на стервятников, день и ночь круживших над моим балконом. Где-то в глубине души я восхищался соседями за то, что они так заботились о санитарии, но в то же время я тихо холодел от отчаяния.

Я предложил инспектору сесть и спросил, что мне делать. Он сказал:

— Дайте стакан воды.

Я крикнул Састри, чтобы он принес воду. Выпив воду одним глотком, санитарный инспектор (за всю свою жизнь я не видел более высохшего и обезвоженного человека) сказал:

— Статья такая-то местного законодательства категорически запрещает обработку шкур во всех жилых кварталах без исключения. В статье такой-то указывается, где именно ею можно заниматься. Я не знал, что вы принялись за этот промысел. Зачем он вам? Разве типография вам мало дает?

В отчаянии я схватился за голову.

— Я не стал кожевником! — вскричал я.— Я все еще печатник. С чего это вы взяли?

— А почему бы и нет? — спросил инспектор.— Каждая профессия достойна уважения. Стыдиться тут нечего, только нужно заниматься этим в должном месте, не нарушая законов.

— Хорошо, так я и сделаю,— сказал я покорно.

— Как приятно, что вы обещаете сотрудничать с нами! Вот что значит образованный человек! Вы тут же вошли в наше положение. Конечно, люди часто совершают проступки просто по незнанию. Откуда всем знать местное законодательство? Я никогда не виню людей за то, что они не знают правил, но всегда огорчаюсь, если они не исправляются даже после предупреждения. Можно мне попросить еще стакан воды?

— Конечно, сколько угодно. Господин Састри, еще стакан воды!

Я слышал, как Састри отложил срочную работу, которой он был занят, и пошел за водой.

Инспектор залпом осушил второе поступление влаги и поднялся. Прощаясь, он заметил:

— Я отвечу им что-нибудь — только чтобы они замолчали.

— Что же вы им напишете? — спросил я с внезапно проснувшимся любопытством.

— У нас есть стандартные бланки: мол, поступивший сигнал принят к сведению. Обычно этого бывает достаточно. А не то они начинают забрасывать нас напоминаниями.

Я вышел с ним на ступени дома. Он взялся за руль велосипеда, задумался на минуту и сказал:

— Не торопитесь переезжать, но и не задерживайтесь слишком долго. Если вы получите предупреждение, пошлите, пожалуйста, ответ, что вы переводите свою кожевенную мастерскую в другое место, и попросите отсрочки.

— Хорошо, господин,— сказал я,— я сделаю все так, как вы сказали.

Понемногу до меня стало доходить, что говорить с кем бы то ни было о чем бы то ни было — бессмысленно. У каждого свои представления, человек редко прислушается к тому, что ему говорят. Пусть себе остается при своих глупостях!

Как-то, стуча палкой, у типографии появился мой семидесятилетний знакомый. Он остановился на улице, посмотрел в открытую дверь, прикрывая глаза от солнца, и спросил сварливо:

— Натарадж здесь?

В гостиной сидела все та же компания. Поэт принес очередную песнь своего творения и готовился изложить ее содержание.

Старик снова спросил:

— Натарадж здесь?

Солнце светило так ослепительно, что он не видел, что происходит в доме.

— Да-да, я здесь,— крикнул я и вышел, чтобы помочь ему подняться по ступенькам.

Он уселся и посмотрел на поэта и журналиста.

— Ваши друзья? Надеюсь, я могу говорить свободно?

Я их представил. Он принялся распространяться о достоинствах поэтов, их долге и общественном положении, а потом заговорил со мной о том, что его ко мне привело.

— Вы знаете, Натарадж, у моего внука был пес, он жил у нас целых два года. Мальчик его очень любил — бывало, только вернется из школы, тотчас же принимался играть с ним.

Я уже знал, что будет дальше.

— Прошлой ночью кто-то убил нашего пса. Мы нашли его под уличным фонарем — убит выстрелом в сердце. Кто-то застрелил его из ружья, понимаете? У кого в нашем городе есть ружье? Я думал, ружья есть только у полицейских.

— Зачем вы его выпустили?

— Зачем? Не знаю. Он всегда перепрыгивает через забор и бегает по улицам. Безобидный был пес — конечно, лаял ночи напролет, сидя под этим фонарем. Интересно, почему это собаки лают по ночам? Говорят, они видят духов. Это правда? Вы верите в духов?

— Я их никогда не видел...— начал я.

— О-о, это ничего не значит. Их почти никто не видит. Да и зачем? Впрочем, о чем это я говорил? — жалобно спросил он, забыв, с чего начал.

Мне не хотелось напоминать ему. Я медлил, надеясь, что он забудет о мертвом псе и сосредоточится на духах.

Но журналист сказал:

— Вы говорили о псе, господин.

— А-а, да-да... Мне тяжело было видеть его труп, и я попросил мусорщика унести его. Не знаю, как называется эта порода. Мы звали его Том — он был весь черный и лохматый, очень красивый. Кто-то привез его из Бомбея и подарил моему сыну, а тот отдал его малышу. Очень умный был пес, а какой сторож! Такой поднимал лай, если кто-нибудь хотел войти к нам в калитку. Дожидался, пока я кончу утреннюю молитву — знал, что получит от меня немножко хлеба. Последние три года врачи предписали мне есть только хлеб — один кусочек хлеба. Раньше-то я каждый день ел досыта, но они считают, что это мне вредно. Отец мой дожил до ста лет и ни одного дня не пропустил без плотного завтрака...

Он замолчал, задумавшись о тех далеких днях.

Я радовался, что он не просит напомнить ему, зачем он пришел сюда. Может, он встанет и уйдет? Все сидели в почтительном и мрачном молчании. Затянись оно еще на минуту, он бы поднялся и я помог бы ему спуститься по ступенькам. Но в этот критический момент вошел Састри — он принес гранки на утверждение. Ему бы подать мне гранки и удалиться, но, выйдя из-за занавески, он встал как вкопанный и уставился на старика.

— Что это за шум был сегодня утром у вашей калитки? Я торопился в типографию и не мог остановиться и спросить. Но я видел, что ваш внук плакал.

— А-а, это ты, Састри,— произнес старик, щуря глаза, чтобы получше разглядеть его лицо.— Как поживаешь, Састри? Давно я тебя не видел... Что поделываешь? Ах, да, я же знаю, ты работаешь у Натараджа. Как он работает, Натарадж? Хорошо? Должно быть, хорошо. Я учился в одном классе с его дядей, он женился потом на третьей дочери... гм... как бишь его... Он, бывало, приходил поиграть с моим племянником. Где ты живешь, Састри?

Састри назвал свой адрес.

— О-о, это далеко, улица Винаяка, я там целый век не был. Навести меня, мне это будет очень приятно.

Састри, казалось, было еще приятнее получить приглашение.

— Я обязательно, обязательно приду!

— Сколько у тебя детей?

Састри ответил.

Услышав внушительную цифру, старик просветлел и сказал:

— Приведи их с собой, когда соберешься ко мне. Мне б хотелось на них посмотреть.

Састри бы пообещать и умолкнуть, но он сказал:

— Даже сегодня утром я мог бы зайти на минутку, но у вашей калитки была такая толпа.

«Какой же ты болван, Састри! — пробормотал я про себя.— Оставь его в покое, пусть он забудет про утреннюю толпу!»

Но дело было сделано.

— И ты не знаешь, почему там было столько народу?

— Нет, я только видел, что ваш внук плакал.

Напоминание о внуке чуть не добило старика. Мне почудилось, что он всхлипнул.

— Мальчик никак не может успокоиться. Больно видеть, что малыш так страдает...

— Но почему, почему? Что случилось?

— Кто-то застрелил его пса,— сказал журналист.

— Застрелил! Застрелил! — завопил Састри, будто его огрели прикладом.— Когда? Насмерть? Ах, бедный пес! Я часто видел его у вашей калитки, такой черный!

Кто его просит лить масло в огонь?

— А вы узнали,— спросил Састри зловеще,— кто его убил?

— Зачем? — сказал старик.— Этим делу не поможешь. Разве это воскресит Тома?

Но Састри стоял на своем. Он сообщил старику имя убийцы и его адрес.

— Он один на это способен,— добавил он.

Старик ударил палкой об пол и закричал на меня:

— А вы мне ничего не сказали? Почему? Почему?

— Право же, как-то не догадался, вот и все!

В моем голосе не было уверенности.

Старик застучал палкой и закричал:

— Где он? Я ему покажу! Я его передам в руки полиции за стрельбу. А какое он к вам имеет отношение? Он что вам — родственник? Или друг?

Я постарался успокоить старика. Но он и слушать ничего не желал.

— За все семьдесят лет моей жизни ни разу не было, чтобы на нашей улице стреляли. Кто этот человек? Почему вы его прикрываете? Завтра он повернет свое ружье против детей, играющих на улице!

Зная, как Васу обходится с детьми, я в душе согласился со стариком. У него дрожали руки и ноги, лицо покрылось ярким румянцем. Я испугался, как бы его не хватил удар у меня в типографии... Здесь все было возможно. Я сказал:

— Успокойтесь, господин, не надо волноваться. Вам это вредно.

— Ну и дайте мне умереть, раз мне это вредно! Что мне теперь не вредно? Лучше смерть, чем видеть несчастье внука.

— Я ему достану другого пса, господин. Пожалуйста, передайте ему — чудесного черного пса. Я вам обещаю.

— Правда? — спросил старик, внезапно успокаиваясь.— Вы в этом уверены? Вы знаете, где его можно достать?

— Ну конечно,— сказал я.— Это пара пустяков! Я знаю многих плантаторов, у которых есть собаки. У них можно взять щенка для нашего маленького друга.

— Пойдемте со мной и скажите ему сами об этом.

— С удовольствием,— сказал я и встал.

В эту самую минуту Састри сунул мне под нос гранки и спросил:

— Пускать в производство?

Мне хотелось, чтобы старик поскорее встал и ушел, и я сказал:

— Подождите немного, я скоро вернусь.

Но Састри не отпускал меня.

— Если вы утвердите эти гранки, мы можем сейчас же начать печатать, все уже готово. Сегодня в одиннадцать часов выключат электричество. Если мы не сдадим...

— Да перестаньте же, Састри! Мне все равно, что будет с этими гранками. Я должен пойти к мальчику и утешить его.

Я ужасно боялся, что, если старик тотчас же не уйдет, кто-нибудь вызовется показать ему Васу.

По мере того как Васу отдалялся от меня, он все меньше и меньше со мной считался. Все, что он делал, я расценивал как вызов. По-видимому, сам я находился в состоянии необычайной настороженности и раздражения — даже в звуках его шагов мне чудилась непримиримость судебных законов. Он вел себя так, будто меня и не существовало. Он

шумно появлялся и исчезал, словно хотел сказать: «Что ж, может, ты сейчас и добился отсрочки, но от петли тебе все равно не уйти». С каждым днем он привозил все больше и больше убитых животных; ему уже не хватало ни комнаты, ни балкона. Должно быть, все там было завалено ящиками, гвоздями, шкурами, болванками. Узкая лестница, на которую, стоя у станка, я время от времени бросал взгляд, заполнилась чучелами до самой верхней ступеньки; он оставил себе лишь небольшой проход, чтобы можно было спускаться по ней и подниматься. В эти дни он развил бешеную деятельность: уезжал, возвращался, тащил что-то наверх, спускал вниз ящики; все это он делал сам, без чьей-либо помощи.

Я не знаю, куда он рассылал свои изделия. В другое время я мог бы спросить его, но теперь мы были злейшими врагами. Я восхищался его трудоспособностью: со всеми своими ужасными делами он справлялся один. Если бы мы разговаривали, я бы принес ему свои поздравления в связи с успехом в чучельном ремесле: его наставник Сулейман был, судя по всему, настоящим мастером этого дела. Своему любимому ученику он дал совершенные познания во всех областях этого искусства. Васу делал с животными все, что хотел,— только не воскрешал их.

Васу был прекрасным врагом. Если ему случалось встретиться со мной взглядом, когда я стоял у станка, он тут же отворачивался и проходил, топая ногами и бормоча проклятия. Дела его шли блестяще. «Почему бы ему не заплатить мне за визитные карточки и почтовую бумагу?»—думал я. Но как сказать ему об этом? Мне не хотелось сердить его.

Понемногу я начал чувствовать, что мне недостает его общества. Я стал задумываться, как бы намекнуть ему, что ничего особенного не случилось, что надо забыть о том, что произошло между нами, и что он может жить у меня, сколько захочет (только, пожалуйста, не привозите сюда слишком много мертвых туш и не держите их здесь слишком долго: тут, знаете ли, очень требовательные соседи). Я никогда не умел быть хорошим врагом. Поссорившись, я не знал покоя ни днем, ни ночью. Еще в школе я не отходил ни на шаг от того школьника, с которым, как полагали, я враждовал или находился в плохих отношениях. Я тяжело переживал ссору. Когда мы шли из школы домой, я держался поближе к мальчику, который провозгласил себя моим врагом. Я усаживался за парту, стоявшую сразу же за ним, и старался привлечь его внимание — я кашлял, чихал или как бы случайно толкал его, поднимая специально оброненный на пол карандаш. Мне было все равно, что обо мне подумают, только бы он взглянул на меня с одобрением или сказал что-нибудь; я ловил случай, чтобы шепнуть ему, что я хочу с ним подружиться. Эти чувства были мучительны, как зубная боль.

Сейчас меня одолевали такие же желания. Я жаждал перекинуться словечком с Васу. Словно ребенок, я стоял у станка в надежде, что он взглянет на меня, кивнет — и все снова наладится. Конечно, он был чудовищным представителем человеческой расы, но мне надоело молчание. Это было сложное состояние. Не то чтобы он мне нравился или я одобрял его речи и поступки, просто мне не хотелось, чтобы от меня отворачивались. В голове у меня роилось множество планов, как восстановить с ним сердечные отношения. Я разрывался между желанием сделать какой-нибудь великолепный жест (например, простить ему долг) и своей неспособностью осуществить этот план, ибо я не одобрял таких поступков. Мне нравилось тешить себя мыслью, будто я строго слежу за уплатой долгов и никому еще не удавалось меня обойти. Я решил не заговаривать с Васу об оплате счета до тех пор, пока между нами не восстановятся приятельские отношения. Тогда я смогу упомянуть об этом в шутливом тоне.

И вот, когда я находился в состоянии такой душевной растерянности, Састри начал мучить меня новой проблемой. У нижней ступени

лестницы стояла гиена — это мешало ему печатать экзаменационные билеты для школы миссии Альберта. Я сидел на своем обычном месте, когда он отдернул занавеску и воскликнул:

— Могу я работать, когда на меня уставился волк и еще какая-то нечисть? А с перил лестницы свисает удав...

В гостиной, кроме меня, никого не было.

— Састри, это не волк, а гиена! Я ее видел. Не правда ли, удивительно, что вся эта живность водится вокруг Мальгуди? И так близко! Они, должно быть, приходят с Мемпийских гор!

Састри не оценил общеобразовательной ценности этого соображения.

— Может, оно и удивительно, но только зачем они здесь? Неужели вы ничего не можете сделать? Ведь это отвратительно! И такое вокруг зловоние! Всю свою жизнь я пытался поддерживать чистоту в этой типографии!

Сомнений быть не могло — Састри был сильно расстроен. Бесполезно было шутить или пытаться успокоить его. Я боялся, что он решится на какой-нибудь отчаянный поступок, если я не предприму каких-либо шагов. Он мог позвать Васу через решетку, которая разделяла нас, и приказать ему убираться вон вместе со своим волком. Я не хотел, чтобы он рисковал своей жизнью.

— Састри, вы же знаете старую мудрость,— произнес я примирительно,— если зацепился за колючий куст, высвобождайся осторожно и потихоньку, а не то разорвешь одежду.

Састри, будучи почитателем традиций и недоучившимся знатоком санскрита, по достоинству оценил мое высказывание (ему понравилась и сама мысль и ее образность) и присовокупил к нему еще более глубокое санскритское изречение: чтобы победить злого духа, ракшасу, нужно обладать меткостью охотника, умом пандита и хитростью куртизанки.

— К несчастью, меткостью обладает он, а не мы. Ну, ничего — скоро он очистит лес от всей живности, тогда поневоле придется ему остепениться, а наша лестница станет опять свободной.

— Он ракшаса, с какой стороны ни посмотри,— настаивал Састри и принялся перечислять свойства этих демонических существ, которые обладают огромной силой, необычайными познаниями и талантами, но не признают над собой ни людской, ни божеской власти.— Каждый ракшаса уверен в своем величии. Он мнит себя непобедимым, не подвластным никаким законам. Но рано или поздно, так или иначе ему приходит конец.

Он стоял и распространялся о различных демонах в доказательство своей мысли. Он проявил огромную осведомленность и высокое ораторское искусство. Слушать его было очень интересно, и все же мне хотелось, чтобы он вернулся к печатанию экзаменационных билетов, которые нужно было сдать через семьдесят два часа. Однако у меня не хватало духу напомнить ему о таких низменных вещах.

А он все говорил и говорил; знания его были поистине энциклопедическими. Он снял очки в серебряной оправе и спрятал их в карман рубашки, чтобы они не мешали потоку его красноречия.

— А еще был Равана, о котором говорится в Рамайяне, с десятью головами, двадцатью руками, необычайно сильный и физически и духовно — боги обещали ему, что он никогда не будет побежден. Земля дрожала под его тиранией. И все же он плохо кончил. Или возьмите асуру * Махишу, который предавался размышлениям и обрел дар бессмертия и непобедимости: ему было обещано, что каждая капля крови, пролитая врагом из его тела, превратится в демона по его образу и подобию.

---

* Демон.

Однако и он был уничтожен. Сразиться с ним пришла шестирукая богиня—в руках она держала различное оружие, а сидела она на льве, который слизывал каждую каплю крови, падавшую из тела демона. А еще был Бхасмасура, которому было даровано особое свойство: все, чего он касался, сгорало дотла, а сам он был непобедим. Человечество много выстрадало от него. Бог Вишну перевоплотился тогда в танцовщицу дивной красоты по имени Мохини; асура увлекся ею, а она пообещала отдаться ему, если он повторит все жесты и движения ее танца. Танец начался: демон проявил большое искусство; в какой-то момент Мохини дотронулась до своей головы, а демон в забывчивости повторил ее жест — и в то же мгновение превратился в кучку пепла. Страшная сила его прикосновения обратилась против него самого. Каждый может думать, что он велик и будет жить вечно, но никто не знает, откуда придет его погибель.

Васу, как видно, настроил Састри на философские размышления. Под занавес он рассказал мне еще одну историю.

— Или возьмите Дакшу, которому была предсказана смерть от укуса змеи; он выстроил себе крепость на острове, надеясь избежать своей судьбы, и все же в конце концов...

Он никак не мог остановиться, но меня подбодрили его речи — я понял, что все в этом мире преходяще и что мой чердак когда-нибудь освободится от Васу. Я надеялся, что мы расстанемся друзьями, но, по мнению Састри, в этом не было необходимости. Я радовался, что он путем собственных раздумий и размышлений нашел выход из положения, вместо того чтобы просить меня выкинуть гиену из дому. Он исчез за занавеской, вспомнив внезапно, что станок бездействует, а краска на литерах сохнет.

Теперь я думал только о том, как бы устроить, чтобы положение не ухудшалось и чтобы понемногу начать хотя бы снова здороваться с Васу. Однако этому не суждено было сбыться. В одно прекрасное утро в типографии появился лесничий и спросил, здесь ли еще Васу. Я решил, что он пришел, чтобы напечатать свою книгу, и сказал:

— Я не забыл о моем обещании. Как только я освобожусь...

Он не проявил никакого интереса к моим словам.

— Ничего, я не тороплюсь,— сказал он.— Но сейчас я пришел по служебному делу. Васу все еще здесь? Если да, то я хотел бы поговорить с ним.

«К чему мне вмешиваться в их отношения»,— подумал я. Лесничий мог приехать сюда и как друг и как недруг. Я уклонился от прямого ответа.

— Сейчас я редко вижу Васу, хоть он и живет здесь. Он, наверное, очень занят...

— Чем?

Я насторожился.

— Не знаю. Вижу только, как он приходит и уходит. У него свои дела...

— Вот как? Это меня и интересует. Не ответите ли вы мне на кое-какие вопросы?

— Нет,— сказал я прямо.— Я не желаю иметь ничего общего с тем, что связано с ним.

— Очень странно! — заявил он.

Всего несколько месяцев назад, когда он впервые пришел ко мне, он казался безобидным чудаком. Я очень удивился, когда он принял такой суровый тон.

— Он ваш жилец,— продолжал он,— всем об этом известно, и он утверждает, что вы друзья. Почему же вы говорите, что ничего о нем не знаете? Разве этому можно поверить?

— Да. Вы должны верить тому, что я говорю. Может быть, вы присядете и мы поговорим?

— Нет. Сейчас мое время принадлежит правительству, а не мне. Я здесь по долгу службы, мне платят не за то, чтобы я рассиживался в ваших креслах. Пора перейти к делу, из-за которого я сюда прибыл.

Этот худой человек был похож на труп; его шея торчала из воротника, словно тонкая цилиндрическая трубка. Он был непримирим.

— Всякий, кто нарушает законы по охране зверей,— мой враг,— заявил он.— Я без колебаний застрелил бы его, если бы мне представился случай. Из наших лесов исчезло множество зверей, и даже тигры пропадают из заповедника. Куда они деваются?

— Может быть, для разнообразия уходят в другие леса? — сказал я.

Он засмеялся: шутка показалась ему неплохой. Я надеялся, что это юмористическое высказывание поможет нам найти общий язык.

— Видно, вы ничего не знаете о зверях.

Я почувствовал облегчение: значит, он признает мое невежество. А раз так, это заставит его отнестись ко мне с большей терпимостью и освободит меня от всякой ответственности за поступки Васу. Он снова принял серьезный вид, как бы сообразив, что не следует баловать меня улыбками, плотно сжал губы и нахмурился.

— Шутки в сторону! — сказал он.— Я потеряю место, если не прекращу эти безобразия в Мемпийском заповеднике. Кто-то там ходит с ружьем!

— Что же вы не сторожите? — спросил я.

— Когда в лесу сотни миль, невозможно уследить за каждым дюймом, особенно если нарушитель орудует по ночам. В некоторых случаях мы полагаемся на местных жителей, но они не очень-то надежны. Я должен прежде всего переговорить с вашим жильцом.

— Он у меня не жилец. Я с него денег не беру.

— Тогда он ваш друг,— сказал лесничий, и я узнал приемы, с помощью которых этот человек, как и все другие до него, пытался поймать меня в ловушку.

Я сказал:

— Он мне не друг. Я с ним и познакомился-то недавно.

Это звучало совсем уж плохо — лучше считаться его другом или квартирохозяином, чем компаньоном. Я видел, как на мертвенно-бледном лице застыло подозрение.

Он замолчал на минуту, а потом спросил:

— Почему вы отказываетесь мне помочь?

— В каком смысле?

— Я хочу добраться до этого человека. Вы ничего не можете мне подсказать?

Мы снова вернулись к тому, с чего начали.

— Я не хочу иметь ничего общего с этим делом. Оставьте меня в покое. С чего это вы взяли, что я с ним связан?

— Если он вам не друг, почему вы отказываетесь мне помочь?

— Вы мне тоже не друг,— сказал я.

Дико было вести такой разговор поутру, когда с Базарной улицы доносился шум уличного движения, а станок мерно отстукивал экзаменационные билеты,— бессмысленный разговор о дружбе с упрямым трупом! Чтобы положить этому конец, я решительно сказал:

— Если хотите отдохнуть, зайдите и посидите.

— Отсюда можно пройти в его комнату?

— Нет, здесь загорожено. У него своя дверь...

Не говоря ни слова, он спустился по ступенькам. Я знал, что́ он думает. Теперь он не сомневался, что я совладелец браконьеро-чучельного предприятия. «Придет время, и я накрою всю эту шайку!» — вот что было написано у него на лице.

Я слышал, как он поднялся по лестнице и постучал в дверь. Васу не привык к посетителям. Он закричал из комнаты:

— Кто там?

Лесничий ответил:

— Вы мне нужны на минутку. Откройте, пожалуйста, дверь.

— Я спросил: кто там? Как вас зовут?

— Рамасвами. Мне нужно видеть вас.

— Рамасвами? Не знаю, кто вы такой. Спуститесь вниз и подождите около моего джипа. Я скоро выйду.

— Почему вы меня не впускаете?

— Что вы там стоите и спорите? — закричал Васу из-за двери.— Убирайтесь отсюда и ждите!

Мне было слышно, как лесничий спустился по лестнице, задержавшись на секунду перед гиеной. Через полчаса по лестнице снова загромыхали шаги, и со двора, где стоял джип, донеслись голоса:

— Так это, значит, вы Рамасвами. Чему я обязан честью?..

Однако труп не испугался. Он что-то сказал, но я не разобрал его слов. Мне приходилось слушать через стену: реплики в низком регистре не проходили через нее. Я встал на стул и приоткрыл отдушину, чтобы лучше был слышен их разговор.

Труп повторил свое заявление о пропаже зверей в Мемпийском лесу. Васу только ответил:

— Ну и что же?

— Предполагается, что звери должны сохраняться в заповедниках.

— Они и сохранятся, если вы возьмете себе в помощь чучельника, который знает свое дело,— сказал Васу шутливо.

— Что ж, взять-то мы возьмем, только не в помощь!

Васу влез в свой джип, лесничий стоял возле. Какой контраст с тем первым днем, когда Васу привез его ко мне в типографию, усаживал в кресло и называл благородным писателем!

— Мы будем настороже, а когда нам попадется человек, который опустошает наши заповедники, что ж, закон тут один...

— Если вашему департаменту понадобится в чем-либо моя помощь, не смущайтесь и обратитесь ко мне,— сказал Васу с тем грубым цинизмом, на который он был способен. Лесничий на это ничего не ответил.

— А откуда у вас на лестнице эта гиена? — спросил он.

— Она разыскала меня. Я уложил ее на том месте, где вы сейчас стоите.

— Ну, а?..

— Что? Ничего больше не скажу, вот и все. Я вам не обязан отвечать.

— Из какого леса она у вас?

— Не из вашего! Подите и посмотрите, нет ли на ней ярлыка, доказывающего, что она из Мемпийского заповедника. Индия — большая страна, в ней всюду джунгли, и всюду водятся всякие звери. К вашему сведению, у меня есть несколько тигриных шкур. Может, они тоже ваши? Попробуйте докажите! Я голоден и еду завтракать. Не могу терять больше времени... Не беспокойте меня — разве только у вас будет какое-нибудь разумное предложение!

И он уехал. Лесничий постоял с минуту и отправился восвояси.

Два дня прошли спокойно. Однажды я сидел по обыкновению в своем кресле, как вдруг перед моей дверью остановился знакомый джип. У меня забилось сердце. Сидя в джипе, Васу позвал:

— Натарадж, пойди сюда!

Меня подмывало бросить все, чем я был занят, и подбежать к нему, чтобы не упустить возможности помириться с этим чудовищем. Но гордость взяла верх. Внезапно я рассердился — ведь он причинил мне столько неприятностей!

— Зайдите сюда, если хотите мне что-то сказать.

Он усмехнулся.

— Ого! Наконец-то ты заговорил! Что ж, это хорошо...

Мне не понравился его покровительственный тон. Я сказал:

— Какое у вас ко мне дело? Я очень занят.

— Конечно, конечно,— отвечал он насмешливо.— Я вижу. Приятно, когда человек честно трудится, а не болтает с друзьями, которые приходят к нему в контору, как в свой клуб.

Он повысил голос и продолжал, не выходя из джипа:

— Я ценю твою выдержку, Натарадж. Раньше я думал, что у тебя нет характера. Теперь я знаю, что характер у тебя есть. Кто бы мог подумать, что ты натравишь на меня этого призрака в хаки? Неглупо придумано! Значит, это твой ход. А хочешь знать, чем я на него отвечу?

— Нет, меня это не интересует. Я занят.

— Ты показал ему, как пройти ко мне в комнату. Что ж, он увидел все, что там было! Теперь попроси своего друга навесить ярлыки на всех зверей в Мемпийском лесу. Тогда он сможет потом опознать их и не поставит в дурацкое положение ни себя, ни тебя!

И он уехал.

Сен сказал:

— Не завидую вам: иметь такого человека у себя в доме!

Я задумался над угрозами Васу. Он уже подстроил мне судебную ловушку: специалист по отсрочкам то и дело являлся ко мне и требовал то пять, то десять рупий. Правда, я знал, что он удовлетворится и двумя, если я буду хранить молчание по поводу его долга. По-моему, Васу уже сделал худшее, на что он был способен. Что же теперь? Только бы он не задумал украсть моего сына и спрятать его до получения выкупа. От него всего можно было ждать. В тот же вечер я сказал жене:

— Как бы срочно я ни был тебе нужен, жди, пока я не вернусь домой. Не присылай за мной малыша.

Она взволновалась и спросила:

— Но почему? Почему?

Я не стал ей ничего объяснять, а просто сказал:

— Незачем ему туда приходить и мешать мне, вот и все.

— Ты так мало его видишь,— сетовала она.— Утром ты уходишь, когда он еще не проснулся, а возвращаешься, когда он уже спит. Значит, если он хочет повидаться с отцом, он уже и в типографию не должен приходить?

Тут мне пришлось ей все рассказать, и она сильно испугалась. Ею овладела паника. Она стала запирать дверь на ключ и совершенно теряла голову, если мальчишка не возвращался из школы ровно в шесть. Она вела себя так, словно стоит только открыть боковую дверь в типографии, как оттуда выскочит чудовище и бросится к нам в дом, чтобы пожрать все семейство. Мой сын, по-видимому, наслаждался этой волнующей ситуацией, пока на улице было светло. Он рассказал своим друзьям об опасностях, которые подстерегали его на каждом шагу, и вскоре я увидел вокруг типографии группки школьников: задрав головы, они смотрели на чердачное окошко. Они простаивали так всю большую перемену. Заинтересовавшись, я поманил двух ребятишек.

— Что вы тут делаете?

— Ничего,— ответил один из них.— Идем домой из школы.

— Кого вы высматриваете? — спросил я.

— Бабу сказал, здесь живет... живет великан.

— Хотите посмотреть на него?

Они кивнули.

— Лучше не надо. Бегите домой, мальчики. Здесь нет никакого великана.

Я боялся, как бы они не увидели Васу — они бы окружили его и стали кричать и привели бы его в ярость. Зная о его чувствах к детям, я не хотел, чтобы эта встреча состоялась.

Один из них хитро спросил:

— А правда, он ест собак?

— Нет,— отвечал я, не задумываясь.— Он ест рис и всякое другое, как и мы. Это все выдумки.

— А почему же он тогда застрелил пса Раму?

— Ах вот вы о чем? Это произошло по ошибке. Он ждал бурого медведя и приготовился стрелять, и как раз в эту минуту появился пес...

— Собачку звали Лили,— сказал один мальчик.

— Нет, Том,— поправил его второй.

— Нет, Лили,— стоял на своем первый.— Спорим, что Лили? Пойдем спросим Раму.

— Пойдем!

И они упорхнули, словно две птички, что на минуту присели на подоконник и тут же полетели дальше. Остальные, издали наблюдавшие за этой сценой, весело побежали за ними.

— Пойдем спросим Раму! — кричали они.

Через два дня мой сынишка привел ко мне Раму. Раму пробормотал:

— Дедушка сказал, чтоб я зашел к вам.

Мой сын прибавил:

— Он хочет попросить собаку.

Прошло уже несколько недель с тех пор, как я обещал старику достать его внуку другую собаку. В то время мне казалось, что это очень просто, но по мере того, как проходили дни, задача представлялась мне все трудней и трудней. Я дал обещание в минуту душевного волнения, а теперь, по зрелом размышлении, увидел, что это трудная, практически невыполнимая задача. Я не знал, как достать щенка и где вообще их берут! Правда, я ссылался на какого-то плантатора. Я думал тогда об Ачаппе, владельце кофейной плантации в Мемпийских горах, для которого раньше я кое-что печатал. Я вспомнил, как он говорил мне, что у его сенбернаров родилось девять щенков — не нужен ли мне один? Это было много лет назад. Ачаппа в городе не появлялся; лишь время от времени его управляющий заглядывал в типографию к моему соседу.

Я зашел в «Звезду» и сказал:

— Если вы увидите кого-нибудь из «Объединенных поместий», пожалуйста, позовите меня.

Мой сосед ответил, что вот уже несколько месяцев, как никто из них к нему носа не кажет,— он подозревает, что Ачаппа печатает все, что ему нужно, в Мадрасе. Что было делать? Собачьи источники высыхали на глазах. Мне нужна была квалифицированная помощь в этом вопросе. Я искренне хотел достать мальчику другую собаку, но ничего не мог придумать. К тому же у меня не было времени.

Каждый день мальчик приходил ко мне в типографию и говорил:

— Дедушка сказал, чтобы я зашел к вам.

И каждый день я говорил ему что-нибудь и отсылал его домой. Это уже вошло в привычку. Что бы я ни говорил, мальчик уходил довольный. У меня были честные намерения, но в типографии в это время накопилось много работы, и у меня не было ни одной свободной минутки. Вдобавок Сен приносил мне свои манифесты, а поэт с необычайной быстротой сочинял все новые и новые песни своего эпоса. За этими за-

нятиями дни пролетали, как мгновение. Мне приходилось трудиться изо всех сил: надо было заработать хотя бы на адвоката; каждый раз, как он протягивал руку, в нее следовало класть деньги. Я все еще не терял надежды получить с него долг, но повиновался его наказу не смешивать счета.

У меня совершенно не было времени, чтобы отправиться на поиски щенка, но мысленно я разработал несколько планов. Я составлю список всех своих друзей, у которых есть собаки, помечу их породы, запишу, когда они щенятся, буду наносить им всем визиты каждое воскресенье и в конце концов выберу щенка для мальчика. Мой сын, прижимаясь ко мне по ночам (с наступлением темноты его страх перед чудовищем возрастал, и он отказывался спать один в своей постели), просил меня, словно зная, о чем я думал:

— Папа, достань мне тоже щеночка, когда будешь брать для Раму...

— Хорошо, хорошо,— говорил я.— Почему бы и нет?

Однажды Састри услышал позвякиванье ножных браслетов у гиениной ступеньки, повернулся и увидел женщину; она спустилась по лестнице и вышла из дома. Састри стоял у станка. Я сидел в гостиной. Внезапно распахнулась занавеска, и он вошел в гостиную. Я взглянул на него и тут же понял: что-то случилось! Что-то связанное с Васу! Лицо его покрывал румянец, очки сползли на нос, и он поминутно опускал и поднимал голову.

В предисловиях необходимости не было — я прямо спросил:

— Что там еще стряслось?

Он судорожно глотнул и ответил:

— В этой типографии стали теперь появляться всякие непристойные женщины...

— Где? Кто?

Он воздел руки; я понял, что он имеет в виду не небеса, а Васу. Мне не хотелось продолжать разговор на эту тему, так как у меня сидели посетители, пришедшие поговорить о заказе.

— Састри, я зайду к вам через минуту.

Он понял мой намек и скрылся за занавеской. Убедив заказчиков, что они должны печататься на «гейдельберге», я заглянул за кулисы, чтобы вместе с Састри заняться расследованием.

Он мрачно печатал листы бухгалтерской книги. Никогда раньше не видел я такого беспокойства на его лице! Даже испуг при виде гиены на лестнице не шел ни в какое сравнение с тем, что, казалось, открылось ему сейчас. Я остановился возле него и сказал по-хозяйски:

— Слишком много краски! Осторожно с краской...

Он не обратил внимания на мой совет.

— Если так будет продолжаться,— сказал он,— нашей репутации конец. Я видел Ранги — она шла по лестнице. Разве таких людей можно пускать в дом? Здесь типография или еще что-нибудь?

— Кто такая Ранги?

Казалось, мой вопрос поставил его в тупик, на лице его отразились гнев и стыд. Я от всей души наслаждался его смятением.

— Как будто вы сами не знаете!

— Откуда мне знать о Ранги, Састри? У меня своих дел хватает!

— Можно подумать, что я бездельничаю!

— Я ничего не знаю об этих людях.

— Тем лучше для вас... Такую женщину у нас видеть не должны, вот и все!

— Не понимаю, о чем вы говорите, Састри? В чем дело?

— Этот человек начал приводить сюда всякий сброд. Что нам теперь делать?

Мало-помалу я вытащил из него всю правду. Ранги пользовалась в городе дурной славой. Она жила в подозрительном месте — переулок Абу. Ее матерью была Падма, старая танцовщица при храме бога Кришны за четыре квартала от нас — старинном храме нашего города! Сама Падма была типичной женщиной при храме — умела петь и танцевать и находилась на содержании одного-двух богатых мужчин; сейчас она постарела и осталась ни с чем. Ранги была ее дочерью. Састри мрачно намекнул на то, что ему-то известно, кто произвел ее на свет,— я только понадеялся, что не он сам! Его глубокая и разносторонняя осведомленность о семье танцовщицы пугала меня. Мне пришлось попросить у него разъяснений — откуда он столько знает?

Сначала он слегка смутился, а потом объяснил:

— Вы помните, где находится мой дом? Прямо за углом начинается переулок Абу, так что мы всегда знаем, что там творится. Если говорить начистоту, я занимаю лишь часть дома, а в другой части живет Дамодар, он продает оптом зерно на базаре. Эта женщина в течение многих лет была у него на содержании, но после того, как у нее родилась дочь, он усомнился в ее верности и оставил ее. Она грозилась пойти в суд и доказать, что он отец ребенка, так что в конце концов ему пришлось смириться и выплатить ей большую сумму, чтобы вырваться из ее когтей. Мы были друзьями в школе — он своих подвигов никогда от меня не скрывает.

Састри рассказал мне, что Падма сейчас не занимается своим промыслом — она стала старой, толстой и уродливой, как демоны, что сторожили гарем у Раваны. Ранги сменила ее в храме. Перед этим она поучилась немного в школе, а потом поступила в бродячий театр, который ездил по деревням, и, наконец, вернулась в город, предварительно соблазнив всех мужчин, которые попадались ей на глаза. Если верить Састри, худшей женщины в Мальгуди не бывало. Не знаю, что он под этим подразумевал, только о ней постоянно судачили в переулке Абу.

На следующее утро я стоял за станком — Састри я услал за чем-то к переплетчику. Звякнули ножные браслеты, и я увидал Ранги: она пробиралась между гиеной и мангустой к выходу. Она была черна, широкоплеча и соблазнительна, руки у нее были полные и округлые, ноги грузные, на ней было яркое розовое сари и множество драгоценностей; цветы в волосах были смяты, одежда в беспорядке. Верно, ее не заботило, как она сейчас выглядит — эти часы принадлежали ей. Ни одна женщина, по-моему, не согласилась бы выйти на улицу в таком неприбранном виде! Интересно, как она выглядит вечером? Должно быть, напудрит лицо, пудра потечет по ее черной сверкающей коже... впрочем, стоило взглянуть на нее, чтобы понять, что она собой представляет — великолепное животное, самка... Когда же она пришла? И как она доберется домой? Пешком? С какой уверенностью занимается она своим ремеслом! Приходит и уходит, словно почтальон! В голове моей зароились всякие мысли. Может, Васу привез ее в джипе в глухой полуночный час? Вряд ли... Ну и мужчина — спокойно выставил свою любовницу из дому, как только настало утро!

Дальнейшие мои размышления о похоти людской были прерваны появлением Састри, который объявил:

— Переплетчик говорит: у его подручного свинка, так что он не сможет сшить листы до пятницы.

Он произнес эти слова тоном безграничного отчаяния.

— Ну что ж, небеса на нас не обрушатся, если он отложит это до пятницы!

— Если счетная книга для банка не будет готова, они нам этого не простят!

Почему это Састри так всегда волновался из-за того, что мы можем подвести наших заказчиков? Он не верил в мое умение улаживать дела. У него не было ко мне никакого уважения. Я вознегодовал. Никаких оснований для паники! Сколько лет уже я хозяин этой типографии? Удается же мне как-то существовать и даже получать доходы. До сих пор я ведь еще ни разу не попадал впросак! Так почему же он так волнуется? Больше мне ничего не приходило в голову. А раз так, нечего и начинать с ним разговор. Перед моим внутренним взором неотступно стояли округлые формы Ранги — может, я сердился потому, что меня отвлекли от приятных мыслей?!

Я полагал, что дело ограничивалось одной Ранги, но я ошибался. Убедиться в этом было нетрудно: стоило только занять наблюдательный пост у лестницы часов в семь или восемь утра и загадать: кто сейчас выйдет? Иногда это была стройная девушка, то светлолицая, то смуглая; иногда женщина с растрепанными волосами, то одна, то другая; порой какая-нибудь модница, приводившая себя в порядок, прежде чем выйти на люди; но в большинстве случаев это была Ранги, с кем-нибудь из них или одна. На лестнице не прекращалось оживленное движение. Очевидно, после угрозы мертвеца в хаки Мемпийский заповедник тщательно охранялся, деятельность Васу там была прервана, и ему пришлось направить свои охотничьи инстинкты по другому руслу. Я никогда и не подозревал, что в нашем городе такой богатый выбор женщин!

Глава 7

Я не сразу узнал этого человека. Лицо его было мне знакомо. Я где-то видел эти большие уши, похожие на рыбьи плавники, и круглые глаза. Он появился на пороге моей типографии, сложил руки и воскликнул:

— Намаскарам! *

А-а, этот звучный голос — я знал его! Время было полуденное. Сонный зной стоял над Базарной улицей. У фонтана осел рассеянно жевал старую газету, черная корова и ее дружок — городской бык — устроились на отдых прямо посреди улицы, преградив путь городскому транспорту. Два запоздавших школьника брели по краю мостовой, с увлечением вглядываясь в сточную канаву. Солнце палило немилосердно. Сидя под акацией, продавщица тыкв помахивала время от времени палочкой над разрезанными на золотые ломти плодами, чтобы отогнать круживший над ними рой мух. По мостовой, засыпанной гравием, прогрохотала повозка. Душный, сонный час!

После обеда я снова уселся на свое место. Састри еще не возвращался. Мозг мой находился в состоянии наименьшей работоспособности, я с большим трудом удерживался от сна. Работы у меня было уйма. Я удобно устроился в кресле королевы Анны, чтобы хоть как-нибудь вознаградить себя за отказ от послеобеденного сна, положил ноги на дряхлый столик.

— Входите, входите,— пригласил я. Кто бы ни здоровался со мной, проходя мимо типографии, я всегда любезно его приглашал войти.

Он вошел и, не выпуская из рук зонта, неуверенно и с опаской опустился в ближайшее кресло.

---

* Мир дому твоему — традиционное индийское приветствие.

— Я приехал утренним автобусом. Не тем, которым вы возвращались, а пораньше...

Меня словно молнией озарило.

— Муту! — вскричал я, кидаясь к нему с распростертыми объятиями.— Кого же вы оставили в лавке?

— Ну, этих мальчиков, они справятся... Я вернусь вечерним автобусом.

— Как ваши дела?

— Благодарю вас, все в порядке.

— А как детки? Нашли жениха для дочери?

Лицо его омрачилось. Я никогда не стал бы напоминать ему о свадьбе дочери, но теперь, чтобы хоть как-то загладить свою забывчивость, решил показать, как хорошо я все помню. Впрочем, немудрено, что я его не узнал. В чайной на голове у него ничего не было — сейчас на ней красовалась гандистская шапочка, а одет он был в длинную муслиновую рубаху и дхоти, через плечо была перекинута шаль с бахромой. Видно, он принарядился для поездки в город. Я был очень рад ему. Ведь в тот день он спас меня от Васу! Я не раз думал, что надо бы нам встретиться, хотя бы для того, чтобы я мог отдать ему долг. Я открыл ящик стола и, вынув рупию, протянул ему. Меня вдохновил урок, преподанный мне адвокатом,— счета не следует смешивать.

Он с удивлением взглянул на рупию и спросил:

— Это за что?

Я удивился, но сказал:

— Так нужно, знаете ли... Хотите кофе или еще чего-нибудь?

Он покачал головой.

— Если я куда-нибудь еду, никогда не ем в пути — вот почему я никогда не болею. Зато когда возвращаюсь домой, наверстываю упущенное!

Неловкость, возникшая в первые минуты нашей встречи, рассеялась, и я сказал:

— Ну, а теперь распоряжайтесь мною. Скажите, что я могу для вас сделать?

И тут меня охватил страх: а вдруг он потребует, чтобы я поднялся наверх и известил Васу о приезде его старого друга. На всякий случай я сказал:

— А Васу уже уехал в своем джипе, я сам видел...

— Мы тоже видим его в Мемпи время от времени — он проезжает мимо в горы; но теперь он не останавливается, чтобы поговорить с нами.

Я вздохнул с облегчением.

— Почему?

— Какое нам до него дело? Он человек с ружьем. К чему о нем говорить? Мы ему разонравились, вот и все...

— Может, вы ему больше просто не нужны,— сказал я, подливая масла в огонь.

— У него есть другие друзья, более подходящие ему по характеру,— сказал он, намекая на огромную армию проходимцев, которые шли за этим человеком в надежде чем-нибудь поживиться.

Мне не хотелось больше говорить на эту тему. Чтобы закончить разговор, я сказал:

— Он и их бросит, как только найдет себе кого-либо понужнее.

Он и с этим согласился. И заключил:

— Может, оно и к лучшему... Пусть он о нас забудет. С этим человеком лучше не иметь никакого дела.

Для иллюстрации этой мысли я рассказал о том, что произошло со мной с тех пор, как он переступил порог моего дома.

— Он стоял на том же месте, что и вы. Я пригласил его войти,

усадил в это кресло, в котором вы сейчас сидите. Для меня все люди одинаковы.

Муту вскочил как ужаленный.

— Я не такой,— заявил он.

— Знаю, знаю,— сказал я.— Мне ли не знать? Вы всегда готовы прийти на помощь. Вы не можете видеть человека в беде. Уж я-то знаю...

Ему было приятно это слышать.

— Мы так много сделали для этого человека. А он думает, что мы на него донесли. Приехал и устроил скандал в моей лавке, грозил нам ружьем...

Он засмеялся.

— Можно подумать, мы не знаем, что в таких случаях надо делать! Так мы и позволим в себя стрелять! Не желаем больше о нем думать — вот мы и оставили его в покое! Он все ездит мимо, но в чайную не заходит, да и из лесу ничего не привозит. Он уверен, что в этом виноваты мы! Но ведь сотни людей ездят по этой дороге на строительство или еще куда-нибудь — они же видели, чем он занимается...

— Если ракшаса перестает тебя замечать, это уже хорошо,— сказал я, положив тем самым конец разговору о Васу.

Я обрадовался, узнав, что Муту больше не признает Васу. Мои враги должны быть врагами и моих друзей — вот вам моя мудрость, если хотите!

Покончив со вступлением, Муту заговорил о том, что́ его сюда привело.

— Вы помните нашего храмового слона? Я вам о нем рассказывал... Вы не смогли увидеть его в тот день, он был тогда в джунглях. Так вот, он заболел, и мы хотим, чтобы вы достали нам доктора.

Интересно, что сказал бы наш врач, доктор Рао из городской больницы, если бы к нему в клинику привели слона?

— Боюсь, что наш врач не очень-то разбирается в слоновых болезнях,— сказал я с сомнением.

— Конечно нет,— сказал он.— Но мы слышали, что недавно правительство открыло здесь ветеринарную лечебницу. Мы хотим, чтобы вы помогли нам устроить туда Кумара.

Я чувствовал, что меня подхватывает волна новых событий. Я никогда раньше не слышал о ветеринарной лечебнице. Конечно, я мог бы просто сказать: «Я ничего об этом не знаю!» Тем бы все и кончилось. Но это было не в моем характере. Я не мог оставаться в стороне. Поэтому я сказал:

— Что ж, посмотрим, что можно сделать для бедняжки Кумара... Что с ним?

— Он ничего не ест. Отказывается от пищи.

Какую тяжелую задачу взваливал я на свои плечи! У меня прямо дух захватило при мысли об этом. Тут уж так просто не отделаешься! Не предложишь взглянуть на «гейдельберг»! В то же время я чувствовал себя польщенным. Мне оказали честь, решив, что я подхожу для такого титанического труда, и я гордился этим. Не мог же я сказать, что ничего не знаю о слоновьих врачах: ведь Муту приехал издалека, он верил, что я сумею что-то сделать. Скрыв свое удивление — как это я влип в такую историю? — я спросил:

— Стоит ли торопиться? Разве слон не может подождать?

Муту с сомнением покачал головой.

— Я пришел к вам потому, что знаю: вы мне поможете скорее, чем кто-либо другой. Вы были так добры в тот день и сказали, что я могу рассчитывать на вашу помощь в любом деле. Бедный Кумар! Он был такой веселый, играл со всеми ребятишками! А теперь!.. Вот уже десять

дней, как он отказывается от пищи и мучается... Не знаю, видно, с ним что-то не так... Там у нас в горах есть один человек, он присматривает за слонами, которые работают на лесопилке, но и он не может понять, что с ним такое...

— Ну, хорошо! Я сделаю все, что смогу. А теперь опишите мне, по крайней мере, симптомы его болезни.

Он на минуту задумался, а потом сказал:

— У него, видно, бывают судороги, тогда он ложится на живот и кричит. Вы когда-нибудь видали, чтобы слон ложился? Я — никогда! А сколько приходится его уговаривать и убеждать, чтобы он съел хоть горсточку риса.

Теперь и я начал беспокоиться о бедняжке Кумаре. Я сказал:

— Я поговорю с врачом, о котором вы мне сказали, посмотрим, что тут можно сделать. Как мне связаться с вами?

— Пожалуйста, бросьте мне открытку или пошлите записку с любым автобусом. Я тут же приеду.

Я тщательно записал все подробности. Прощаясь, он сказал:

— Для меня это самое главное, господин...

Мне пришлось отложить все дела. Здоровье Кумара не шло ни с чем в сравнение. Визитные карточки, которые я должен был напечатать, могли подождать, но Кумар ждать не мог.

Днем я спросил Састри:

— Где находится новая ветеринарная лечебница?

— Понятия не имею. Потерял всякий интерес к животным. Пять лет тому назад, когда умерла моя корова, я поклялся никогда больше не заводить другой. Я первым в нашей семье начал покупать молоко у разносчиков! Родные смеются надо мной.

Я стал наводить справки. Чувство вины все росло. С каждым днем, с каждым часом я все больше нервничал. Вдруг меня осенило — я отправился к своему другу Сену, который снимал гараж во дворе одного дома по улице Лоули и жил там в совершенном одиночестве. Для этой экспедиции мне пришлось взять напрокат велосипед. Сен обрадовался, увидев меня в своем сарае. Кипы газет покрывали пол. Он сидел на тростниковом коврике и что-то писал при свете керосиновой лампы.

Я ворвался к нему около семи часов вечера. Перед ним в наклонном положении стояла доска, к которой был прикреплен лист писчей бумаги. Погода стояла жаркая, на Сене было одно только дхоти. При виде меня он пришел в восторг. Я уселся на коврик.

— Я не могу предложить вам кофе, да и угостить мне вас нечем, но если хотите, пойдем в ресторан. Здесь есть один недалеко...

Он не скрывал своей радости. До сих пор он сам наносил визиты, сегодня же — редкий случай! — был хозяином.

Я сказал:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я не хочу кофе. Я пришел к вам за информацией. Как журналист, вы можете мне помочь...

Он любил, когда его называли журналистом, и я искренне надеялся, что когда-нибудь он сможет изложить свои взгляды в печати. По его словам, он должен был вот-вот получить капитал, чтобы основать газету,— вопрос решится со дня на день,— но в последнюю минуту всегда что-нибудь случалось, он умолкал, писал свои передовые и ждал, когда появится следующий финансист. Все же он непрестанно имел в виду эту высокую цель. Он собирал материалы обо всех событиях в городе — нынешних и минувших. Я спросил его насчет ветеринарной лечебницы.

— Да-да, что-то такое было... Дайте припомнить...

Он на мгновение нахмурился, мысленно обозревая события, уже отошедшие в прошлое, встал, вытащил какие-то старые подшивки, полистал их, сдувая мне пыль в лицо. Наконец он сунул мне под нос старую газету и ткнул пальцем в колонку, где сообщались последние новости. В статье описывалось, как заместитель министра заложил фундамент для здания ветеринарного колледжа и лечебницы на том берегу Сарайи, причем муниципалитет пожертвовал для этого десять акров земли, а какая-то организация дала для начала доллары и оборудование, правительство же обещало принять их под свое покровительство в третьей пятилетке. Газета воспроизводила длиннущую речь заместителя министра, разглагольствовавшего о любви ко всему живому и о роли животных в экономике человеческого общества, а потом ему преподнесли цветы и провели по красному ковру. Интересно, как это я пропустил такое событие.

— Знаете, почему вас там не было? — спросил Сен.— Потому же, почему и всех остальных. Во всем виноваты организаторы. Типография не напечатала приглашения к сроку, и в большинстве случаев они попали к адресатам на следующий день.

— Интересно, где их печатали? — сказал я на всякий случай, чтобы отвести от себя подозрение.

— В результате на открытие никто не явился, кроме организаторов и заместителя министра — он был в ярости. Соорудили сцену, все украсили, приготовили великолепный чай, а публики собралось несколько человек. Заместитель министра все-таки произнес свою речь. В газете, правда, все выглядит очень достойно и солидно...

И он с любовью взглянул на колонку убористой печати.

— Доктор, во всяком случае, уже прибыл, хотя больше ничего и не готово.

На следующий день, взяв велосипед, я отправился искать врачевателя животных. Я проехал Наллаппскую рощу. Было около часа дня, и от земли веяло жаром. По песчаной дороге медленно брели запряженные в повозку быки. Манговые деревья бросали легкую тень на дорогу, воздух был напоен благоуханием их цветов. Ласково журчала река. Вокруг стояла такая тишина, что мне захотелось поставить велосипед под дерево и растянуться в тени прямо на земле. Однако чувство долга гнало меня вперед. По узенькой тропинке я поднялся на другой берег, и тут глазам моим предстал пустырь, обнесенный колючей проволокой. Две толстые бамбуковые палки преграждали вход. На низенькой кирпичной стене была приделана дощечка в память о закладке фундамента. С юга пустырь примыкал к стене крематория, где среди дымящихся костров возились какие-то люди. Ветер с воем гулял по полям. В центре этой пустыни стояла одинокая пальма, а через дорогу видны были покачивающиеся на ветру колосья пшеницы.

Я оставил велосипед у ворот и мимо колючей проволоки прошел к входу, над которым значилось: Департамент здравоохранения животных, Всемирная ЛПЧ (Лига Помощи Четвероногим). Блеснула на солнце крыша хижины, я повернулся в ту сторону и закричал:

— Ого-го! Есть тут кто-нибудь?

Мне нравились эти поиски. Я крикнул, не надеясь на ответ: думал, что услышу только эхо, звучно отраженное Мемпийскими горами. Но мне ответили.

— Кто там? — послышался голос из дома.

— Мне нужен врач,— ответил я.

Глупо было требовать врача из пустоты. И тем не менее врач появился. Из хижины вышел человек и замахал руками:

— Идите сюда!

— Ворота заперты,— закричал я.

— Лезьте через забор! — ответил он.

Я перепрыгнул через забор — колючая проволока слегка поцарапала мне руку и разорвала дхоти. Я выругался — впрочем, за правое дело и кровь пролить не жалко. Человек подал мне руку.

— Я доктор Джоши.

— Меня зовут Натарадж,— сказал я, стараясь перекричать воющий ветер.

Доктор Джоши оказался человеком небольшого роста, с маленькой головой и глубокомысленно нахмуренным лбом; одет он был в белые брюки и рубашку навыпуск.

— Входите,— пригласил он и провел меня в домик. Жестяная крыша служила потолком, внутри стоял бамбуковый стол, пара складных стульев и походная кровать, на которой лежала подушка. На маленькой полке выстроились книги; керосиновая лампа, печка и кое-какие кухонные принадлежности дополняли обстановку. Сомнений быть не могло — передо мной человек, полностью посвятивший себя своему делу. Он усадил меня на стул, сел сам и, подвинувшись поближе, сказал:

— Слушаю, господин Натарадж. Чем могу быть полезен, господин Натарадж?

Я оглянулся — все это было так непохоже на лечебницу, поликлинику или колледж. Я рассказал ему про слона. Он выслушал меня до конца, терпеливо, как и подобает врачу, а потом сказал:

— Гм... Хорошо бы за ним понаблюдать, а там будет видно, что можно сделать...

Этого я не ожидал. Я думал, что он поедет и осмотрит слона на месте. Я так и предложил ему поступить. Но он сказал:

— Это невозможно. Все оборудование для анализов находится здесь.

— Но он болен и все время ложится на землю. Как его приведешь в такую даль?

Задача казалась невыполнимой, но он отнесся к ней с завидной легкостью, отмахнувшись от всех моих страхов.

— У него ведь есть погонщик, да? Скажите ему, что он должен привести слона сюда, и он заставит его идти... Животные всегда так — стоит им понять, что лежать приятно, как они ложатся. Это ничего не значит. Наш долг — их подталкивать и поднимать на ноги. Слон должен быть здесь, иначе я не смогу ни понаблюдать его, ни сделать анализы. Посмотрите...

Он подошел к шкафу и распахнул дверцы — шкаф был доверху набит сверкающими инструментами, пробирками, бутылками. В глубине стоял микроскоп.

— В каждый медпункт Лига отправляет такой набор инструментов. Тут есть все, что только может понадобиться ветеринару. Но, понимаете, сейчас мы этим почти не пользуемся...

— Почему же? — спросил я.

— Наша Лига выделяет оборудование и минимальное жалованье для врача, вроде вот меня, остальное должны делать местные организации. Для того чтобы мы могли работать по-настоящему, нужно выстроить колледж и лечебницу.

— Как, по-вашему, когда она будет готова?

— Откуда мне знать? Идут бесконечные интриги — здесь, мол, все это ни к чему, а нужно еще где-то... Заместитель министра в этом строительстве не заинтересован, вот он и не торопится. Департамент общественных работ должен выстроить нам здание и навесы для животных, но дальше смет и планов они все никак не двинутся. Я даже представить себе не могу, когда же, наконец, мы начнем... А что можно сделать? Один только я готов приступить к работе хоть завтра, потому что мне платит

Лига. К тому же здесь куча инструментов — пока что я выполняю роль сторожа. Я креплюсь, потому что знаю: стоит мне уехать, и здесь ничего не останется. Я не теряю надежды, что все еще наладится! Только бы сдвинуть дело с мертвой точки. Я засыпаю начальство письмами и прошениями... Мне так приятно, что вы о нас услышали и обратились за помощью.

— О вас писали в газетах,— сказал я с видом знатока.

— Приводите своего слона, я сделаю для бедняги все, что смогу. Мне всегда хотелось попробовать полечить слона...

— Как вы думаете, что с ним такое?

— Трудно сказать... Колики или заворот кишок, а может быть, он проглотил сахарный тростник, не разжевав его хорошенько. Иногда бывает и так...

— Вам обо всех животных все известно?

— Да, почти обо всех. Центр нашей Лиги в Калифорнии располагает одним из самых больших в мире собраний животных, я там учился четыре года. Основная наша задача — лечить скот у себя в стране, но мы готовы прийти на помощь любому животному. Люди и животные во многом схожи, только дозировка лекарств разная...

Он был абсолютно серьезен и полностью поглощен животными, их недомоганиями и болезнями.

Мой приезд в Мемпи вызвал всеобщее волнение. Деревенские старейшины собрались перед чайной и долго дебатировали вопрос о слоне. Муту настаивал на том, чтобы отправить слона к ветеринару. Закончив обсуждение, все собравшиеся повалили к храму. Мимо пролетали легковые машины и грузовики. Вместе с крестьянами я прошел к маленькому святилищу на перекрестке. Четырехрукая богиня невозмутимо взирала на наше шествие из своего убежища. В двух шагах от храма в тени большого дерева был привязан за заднюю ногу к колышку слон. Он растянулся на животе, вытянув все четыре ноги, как собака. Хобот его, словно старая тряпка, лежал на земле, глаза равнодушно взирали на мир. Хвост был покрыт пылью, клыки утратили блеск. Муту погладил его по голове и сказал:

— Вот уже много дней, как он такой...

Вид у Муту был несчастный. За спинами взрослых стояли мальчишки, они смотрели на слона и шептались.

На меня все поглядывали неодобрительно, можно было подумать, что я собирался похитить слона и все окончательно испортить.

Я сказал:

— Если вы не отправите слона, то что вы будете с ним делать?

— Нужно привезти врача сюда,— сказал портной, который установил свою швейную машину около чайной. Он также был членом храмового комитета. Еще там был школьный учитель — у него не было никаких предложений, тем не менее он никому не давал говорить, порываясь поделиться с присутствующими своими воспоминаниями.

— А вот, помню, был слон...— начал он.

И рассказал длиннейшую историю, к которой все отнеслись неодобрительно, ибо она заканчивалась тем, что слон умирал.

— О господи! — вскричал Муту.— Мне ли учить мудреца, что́ следует говорить и когда, а что́ нет?

Я снова повторил свои соображения:

— Самая важная наша задача сейчас — сделать так, чтобы слон Кумар выздоровел.

Это было единственное положение моей речи, с которым все соглашались — оно вызвало всеобщее одобрение.

— Поэтому,— продолжал я,— самое главное сейчас, чтобы он поднялся на ноги и стал двигаться.

Это была та же мысль, только в слегка измененном виде. Они заколебались, но, поразмыслив, приняли ее, решив, что в ней нет подвоха. Тогда я подошел к самому опасному месту.

— Поэтому надо заставить его встать и пойти к доктору.

— Нет,— заявил упрямый портной.—Доктор должен приехать сюда. Жалости у вас нет! Разве может больное животное пройти пятьдесят миль? Это было бы жестоко!

Все согласились с портным. Мы снова вернулись к тому, с чего начали. Портной победил. Он огляделся с упрямым торжеством и отошел в сторону.

Я был в отчаянии. Ни слона, ни врача нельзя было сдвинуть с места, но и комитет стоял на своем. Оставалось только молиться за бедное животное. Я понимал, что сдвинуть с места комитет не так-то легко, и не настаивал на своем. Не будет же портной вечно здесь торчать—рано или поздно его потребует какой-нибудь заказчик, пришедший за своим платьем. Так мы и проводили время — мрачно смотрели на распростертого у наших ног слона и молчали. Круг ребятишек редел — им надоело смотреть на озабоченных взрослых, рассуждающих на общие темы, и тихо хихикать (они подавляли смех, боясь взрослых, которые то и дело оглядывались и одергивали их). В храмовом комитете было пять человек, но, кроме Муту и портного, никто из них не имел веса. Они только что-то бормотали и избегали выражать свою точку зрения. Времени оставалось мало. Я приехал утренним автобусом, последний автобус отходил в шесть часов. В четыре часа не было еще и намека на какое-либо решение. И все-таки я надеялся, что портного отзовут. И вдруг действительно, будто мысли мои передались на расстояние кому-то из его заказчиков, из мастерской примчался гонец:

— Этот негодяй опять пришел! Он говорит, что не уйдет, пока не поговорит с вами!

Услышав о негодяе (кто бы он ни был, да благословит его бог!), портной заволновался:

— Что ему, делать нечего? Только и знает, что ходит и ходит из-за этих несчастных блузок для своей жены! Пятый раз он ко мне является!

— Должно быть, жена сказала, что не пустит его на порог, пока он их не принесет! — пробормотал я про себя.

— Отдайте ему материю! Швырните ее ему в физиономию! — кричал разбушевавшийся портной.

— Но вы ее заперли в сундук,— отвечал посыльный серьезно.

— Ничего не поделаешь... Придется идти,— сказал портной и в гневе удалился.

Я почувствовал облегчение, словно гора свалилась с плеч. Именно этого я и ждал. Теперь комитет был в моих руках. Я торопливо сказал Муту:

— Нужно поднять слона до прихода последнего автобуса. Остальное обсудим после...

— Как же его поднять? Кумар! — позвал он.— Пожалуйста, прошу тебя, встань!

Мальчишка, праздно сосавший палец поодаль, вынул его изо рта и сказал:

— А я знаю, как заставить его встать!

— Как? Как? Ну, иди же сюда,— сказал я с жаром, хватая его за руку и подталкивая к слону.

Он усмехнулся, обнажив передние десны, где не хватало зубов, и заявил:

— Достаньте мне жабу, и я вам его живо подниму!

— Что? Как ты это сделаешь?

— Подложу жабу под слона, она подпрыгнет, и слон вместе с нею!

Я готов был достать лом и поднять Кумара методом рычага, но в этот критический момент на сцене появился погонщик. Он работал на лесопильне в джунглях, в пяти милях от Мемпи. Четыре дня назад ему передали с шофером попутного грузовика отчаянную просьбу приехать как можно скорее, но он явился только сегодня. Это случилось в тот самый миг, когда мы решали, как поднимать Кумара — с помощью жабы или рычага? — торопясь принять меры до возвращения портного. На погонщике был вязаный жилет, красный джемпер и белое дхоти до колен — наряд, долженствующий вселять ужас в сердца взбунтовавшихся слонов. Он протиснулся сквозь толпу зевак и вопросительно смерил нас взглядом.

— Почему он лежит? — спросил погонщик.

— Вот и мы спрашиваем: почему? — ответил Муту.— Уже четыре дня, как он не встает.

Погонщик с недоумением взглянул на Кумара, наклонился к нему и тихо спросил:

— Что с тобой?

Он повернулся к нам.

— Отойдите в сторону! Он не любит говорить при народе, понятно? Отойдите подальше, и он мне все скажет.

Мы отошли. Он нагнулся к самому хоботу слона и что-то зашептал. Немного спустя мы услышали щелканье и, оглянувшись, увидели, что он ударил слона по животу тоненьким зеленым прутиком. Мгновение — еще удар — и слон был на ногах. Погонщик повертел прутиком — самый обыкновенный прутик, ничего в нем особенного! — и сказал:

— Это...— Тут он назвал какой-то странный кустарник, растущий в горных чащах.— Он оказал мне больше услуг, чем единоутробные братья. Не было еще такого животного, которое бы не послушалось его!

И он снова взмахнул прутиком. Слон моргнул и испустил громкий вопль. Я испугался, как бы на рев слона не прибежал портной. А слон все ревел и ревел.

Погонщик облокотился о слона, словно позировал фотографу, и, поигрывая прутиком, улыбнулся собравшимся. Казалось, он понемногу впадал в мистическое забытье.

— Теперь принесите мне кокосовый орех, немного пальмового сахару и сладкого тростника.

Мы послали мальчишку исполнять заказ, велев ему бежать со всех ног. В ожидании, пока он вернется, погонщик прислонился к слону и ударился в воспоминания: он поведал нам о всех слонах, которых он укротил и отвел в различные зоопарки страны, а также о том, как однажды ему представился случай сопровождать слона в Токио или Нью-Йорк и как этому помешали братья, которым не нравилась девушка, взятая им в жены. Они решили проучить его за то, что он не послушался их совета. Погонщик привез девушку из Кералы — из далекой Кералы! — чтобы жениться на ней, но братья посоветовали предложить ей откупного и собрали для этой цели двести рупий. Погонщик отнес ей деньги и попросил ее вернуться в Кералу. Но она спокойно ответила: «Оставь себе эти деньги, а мне скажи, где здесь поблизости глубокий колодец или озеро, чтобы я могла утопиться. Я хочу, чтобы ты знал, что я приехала к тебе не из-за денег... Если я недостойна быть твоей женой, я предпочитаю умереть у твоих ног, а не возвращаться к себе в деревню с двумястами рупий».

— Нет, вы только подумайте! — восклицал погонщик.— Ведь ей предлагали не две, а двести рупий! Я тут же дал братьям понять, что и не подумаю их слушать, пусть что хотят, то и делают! И женился на ней.

Вы думаете, я взял себе их деньги? Как бы не так! Я вернул им эти деньги, я вышвырнул их за дверь — пусть подбирают, если хотят! — а сам занял сто рупий, чтобы сыграть на них свадьбу. И до сих пор выплачиваю по ним проценты — пять рупий в месяц. Чудесная женщина! Если меня дома нет, она ни крошки в рот не возьмет, ждет хоть до полуночи. Что тут поделаешь? Иногда я по нескольку дней не возвращаюсь, и что же? Ничего не ест — хоть ты что! Покорная жена!

Мы так и не узнали, что помешало ему поехать в Токио или Нью-Йорк, потому что в эту минуту слон обхватил его за пояс хоботом. Погонщик похлопал его и сказал:

— Теперь мы с ним друзья. Он хочет, чтобы я сел ему на спину.

С этими словами он постучал слона по колену, ухватился руками за его ухо и взобрался ему на спину. Тут мальчишка принес кокосовый орех и сахар. Погонщик наклонился, взял угощение и протянул слону, шепча ему что-то на ухо. В ответ слон схватил бамбуковый поднос, на котором лежала принесенная еда, поднял его и швырнул на другой конец поля.

На Муту было больно смотреть.

— Вот как он поступает с едой!

— Ничего! — сказал погонщик.— Он просто не голоден, вот и все! Я сам бы швырнул тарелку жене в лицо, если б мне не хотелось есть, а она бы настаивала. Что ж, я готов! Куда его надо вести?

— В город,— отвечал я, не задумываясь.— Я встречу вас у шлагбаума.

Мы и опомниться не успели, как погонщик взмахнул своим зеленым прутиком и тронулся в путь в сопровождении всех зевак. Ребятишки завопили от счастья и побежали за слоном. Меня не очень обрадовало всеобщее ликование по поводу этого знаменательного события. Я боялся, как бы на сцене снова не появился портной. Муту шел рядом со слоном с торжествующей улыбкой на лице. Я тоже торжествовал, впрочем, весьма умеренно. Погонщик наклонился и сказал (видно, наша радость его раздражала):

— Он, конечно, идет, но только не думайте, что он здоров. Он очень болен. У меня-то от этой болезни есть свое лекарство, но вы хотите показать его английскому доктору... Что ж, показывайте, а потом приходите ко мне. Я никогда никому не мешаю, хотя мне-то известно, на что способны английские доктора... Рано или поздно они всегда обращаются за помощью к людям вроде меня...

Муту снова заволновался. Внезапно он вспомнил, что ушел, не поблагодарив богиню. Он побежал назад к храму, зажег кусочек камфары перед алтарем и присоединился к нашей процессии. Когда мы проходили мимо лавки, он попросил погонщика остановиться на минутку и забежал в чайную. Погонщик сказал:

— Если можно, подайте мне чашку чаю сюда. Я не могу слезть. Если я слезу, Кумар тут же ляжет — такой уж у него характер.

Кумар, по-моему, понял, о чем идет речь: его красные глазки блеснули, и он замотал головой в знак согласия с этим высказыванием. Муту вынес заваленный булочками поднос, на котором стоял высокий стакан с чаем, и протянул его погонщику. Мухи, которым надоело толкаться в чайной, вылетели густым роем на улицу и уселись на спину слона, предвкушая веселую прогулку. Погонщик устроился поудобнее на своем сиденье, пристроил перед собой поднос и принялся пить чай. Тут из лавочки выскочил портной и закричал:

— А ну, разойдись! Что здесь происходит?

Погонщик счел для себя унизительным отвечать на этот вопрос и равнодушно взирал на происходящее с высоты своего положения. Портной пришел в ярость.

— Это наш слон, — заявил он. — Куда вы его уводите?

Это было комично, и все засмеялись. Муту, вернувшийся на свое место за прилавком, сказал:

— Не беспокойтесь, он знает, как нужно обращаться со слоном. Он уводит слона, чтобы ему же было лучше...

— Как? В город? Я этого не допущу. Ни за что! Ни за что!

Погонщик смешался. На лице его отразилось недоумение. Он повязал голову мохнатым полотенцем, словно тюрбаном, и спросил:

— В чем дело? Можно подумать, что я краду вашего слона.

Муту вышел из чайной, обнял портного за талию и сказал:

— Пойдем выпьем чаю...

И, не делая паузы, бросил погонщику:

— А вы идите. Уже поздно... Помните, где вас будут встречать. Все остальное мы уладим...

Погонщик легонько взмахнул зеленым хлыстиком, и слон снова тронулся в путь, сопровождаемый ребятишками. Вскоре зеленый тюрбан погонщика скрылся за поворотом.

Портной был вне себя от горя, но тут Муту, чтоб искупить свою вину, принялся поить его чаем. Портной опустошал стакан за стаканом, хоть они и не блистали чистотой. «Если так дальше пойдет, — подумал я про себя,— Муту скоро разорится. Шутка ли, поить чаем всех, кто имеет отношение к слону! Придется ему прикрыть свою лавочку, а кто тогда будет платить слоновьему доктору?»

Я уселся на доску, лежавшую перед лавочкой Муту на двух пустых жестянках из-под керосина, и спокойно огляделся. Слон был в пути — мне больше не о чем волноваться. Пусть себе портной говорит и думает что захочет! Подкрепившись чаем с булочками, он вышел из чайной и прошествовал мимо меня, не сказав ни слова. Правда, одного взгляда, который он бросил в мою сторону, было достаточно, чтобы понять, что он обо мне думает. Похититель слонов! — было написано у него на лице. Он вытер рот рукавом и скрылся в собственном заведении, четвертая дверь от Муту. Я слышал, как он сказал кому-то:

— Если вы не можете ждать, забирайте свою материю. Я говорил вам, что блузки будут готовы только к концу недели...

Конец разговора я пропустил: передо мной возник страшный джип. Это Васу спустился с гор. Не выпуская из рук руля, он посмотрел на меня и сказал:

— Подвезти? Я еду в город.

Я колебался только с минуту. Вот уже полтора часа, как я ждал автобус, а его и в помине не было. Но разве мог я ехать с этим человеком? Мне не хотелось рассказывать ему о себе и о своей миссии в этих краях. А стоило мне сесть в джип, как я попадал в его власть. Я сказал:

— Я еще не еду.

— Почему? — не унимался он. — Что тебе тут делать? Или ты собираешься здесь ночевать?

Он загородил дорогу своим джипом. Подкатил грузовик, шофер нетерпеливо погудел, Васу отмахнулся.

— Там можно проехать.

— Здесь канава...

— Ну и что? Поезжай в канаву. Не мешай мне! Разве не видишь, что я разговариваю с господином?

Грузовик осторожно проехал по самой обочине и скрылся из виду. Васу сказал:

— Я отвезу тебя домой.

— Вы можете ехать, — ответил я.

Он указал на заднее сиденье:

— У меня там сегодня пусто. Я знаю, ты падаешь в обморок при виде крови. Поэтому сегодня у меня там ничего и нет...

Откуда он знал о моей поездке? Может, он все время следил за мной? Во всяком случае, говорить с ним на эту тему мне не хотелось. Я просто сказал:

— Меня подвезут. Спасибо, вы можете ехать...

— Кто тебя подвезет? — настаивал он. — Твой автобус сломался в десяти милях отсюда — от оси ничего не осталось. Мужчины, женщины, дети — все сидят на обочине. Не знаю, сколько они там пробудут. Если у кого-нибудь из них есть ружье, он сможет подстрелить тигра или дикого слона, когда они станут ночью бродить вокруг. Если тебе так уж хочется ехать на автобусе, я могу отвезти тебя туда и оставить с этой компанией.

Я задумался, не зная, верить ему или нет. Увидев мои колебания, он саркастически заявил:

— Чего ты ждешь? Конечно, если тебе хочется провести ночь с этими чаевниками, отправляйся к ним, тебя никто не держит. С твоего позволенья, у меня своих дел хватает.

Сначала я рассердился, но потом вдруг сообразил, что мне представляется прекрасный случай восстановить отношения с этим человеком. Он поступал со мной как хотел: то отшвыривал прочь, то снова подбирал... Конечно, мысль об этом была мне не слишком приятна, но все же лучше так, чем ничего. Не говоря ни слова, я залез в джип. Васу дал газ. Некоторое время мы молчали. Он, как всегда, гнал что было мочи, ругая попадавшиеся ему навстречу повозки, грозясь стереть их в порошок и осыпая всех прохожих страшными проклятиями. Он огорчался, если не встречал никакого сопротивления; но когда кто-нибудь из крестьян, сидевших в повозке, оборачивался, нахмурив брови, или отвечал ругательством, он приходил в восторг, подталкивал меня и говорил:

— Вот какими я люблю видеть своих соотечественников! Они должны быть более волевыми. А они слишком покорны — немудрено, что мы попадали в лапы к любому захватчику, которому случалось здесь появиться...

Я не мог согласиться с такой точкой зрения на своих соотечественников.

— Вы, видно, хотите, чтобы все в стране были буянами и драчунами?

— Да, — отвечал он просто.

Он был в удивительно хорошем настроении. «Хоть бы оно не испортилось!» — подумал я. Темнело, в деревнях зажигались огни.

— Ты очень сейчас занят? — спросил он.

— Работы много, как всегда.

— И болтовни много, как всегда?

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я резко.

— Я не желал тебя обидеть, — ответил он с насмешливой кротостью. — Это просто шутка, ничего более. Я имел в виду этих бездельников, которые вечно торчат в твоих креслах.

— Почему вы никак не можете оставить их в покое? — спросил я.— Они о вас и не вспоминают. Зачем же вы все время о них беспокоитесь?

— Не желал тебя обидеть, — повторил он с необычайно кротким видом.— Просто поинтересовался, ничего более! Я им всегда желал только добра, вот мне и захотелось узнать, как они поживают. Только и всего!

— Послушайте, Васу,— решительно заявил я вдруг.— Вы должны оставить людей в покое. От этого всем будет только лучше.

— Я не могу с тобой согласиться, — сказал он. — Мы ведь не отшельники, которые живут в Сахаре и могут думать только о себе. Мы члены общества и не должны жить затворниками, отгородившись от всех.

Спорить с этим человеком было бесполезно. Я почувствовал, как мною снова овладевает раздражение, и постарался взять себя в руки. Смягчив тон, я сказал:

— Между прочим, поэт великолепно описал жизнь Кришны. Сейчас он заканчивает «Радха Кальян», то есть женитьбу Кришны и Радхи. Его книга скоро выйдет в свет...

— Да? — спросил Васу равнодушно. — А второй что поделывает?

Васу имел в виду журналиста, которого он всегда с таким удовольствием донимал.

— Что ж, — отвечал я с неприкрытой гордостью, — он почти осуществил свои планы по изданию небольшой газеты в нашем городе. Время от времени он публикует уже небольшие манифесты.

Казалось, все эти успехи произвели на него должное впечатление. Он задумался на минуту, а потом произнес:

— Хорошо, когда люди чем-то заняты, что бы это ни было...

«Значит, поэт и журналист добились наконец одобрения со стороны этого человека»,— подумал я. Мне хотелось сказать ему (но я не мог на это решиться), что с его стороны крайне самонадеянно думать, будто мир только и делает, что ждет его одобрения. Он, видимо, тешил себя мыслью, что человечество может развиваться только с его позволения. Спорить с ним было бесполезно: он принадлежал к числу тех сильных людей, которые никогда не сомневаются в собственных умозаключениях. Внезапно он спросил:

— Мне хотелось бы знать, согласишься ли ты напечатать книгу, которую я пишу. Вот уже несколько недель, как я работаю над ней.

— Да ну? — невольно вырвалось у меня. Этот человек и литература — невероятно! Заметив, какой интерес пробудили у меня его слова, он оживился:

— Это монография о диких зверях. Каждый день наши газеты печатают статьи и речи о сохранении животного мира, но все эти люди ничего в нем не понимают. У меня есть на этот счет кое-какие важные соображения, и я решил изложить их в книжке. Болтают всякий вздор, какой только придет в голову. В моей книге много важных мыслей, и я хочу, чтобы она вышла к концу года, когда состоится конференция о животном мире.

— Но ведь эта конференция будет посвящена сохранению животного мира? — заметил я.

— Ну и что же? В моей книге тоже разбирается, как лучше сохранять животный мир. Дело не в том, чтобы отказывать в охотничьих лицензиях честным людям или бегать за животными с изъявлениями симпатии...

Я воздержался от расспросов. Мне расхотелось иметь с ним дело. При мысли о том, что он снова будет торчать в моей гостиной и практиковаться в остроумии за счет поэта и других посетителей, мне стало не по себе. Всю остальную часть пути, пока джип мчался в темноте по дороге, я хранил сдержанное молчание.

Глава 8

Поэт ликовал. Он закончил ту часть поэмы, где Кришна встречает свою будущую жену Радху и собирается отпраздновать свадьбу. Он написал несколько сот строк — кристально-чистым моносиллабическим стихом, выдержанным в изобретенной им самим просодии. Рукопись была готова: несколько тетрадок, сшитых его собственными руками и обернутых в коричневую бумагу, были мелко исписаны зелеными чернилами. Прошлой ночью он засиделся над рукописью. Глаза его покраснели от бессонницы, но лицо сияло торжеством. Вместе со свадьбой в книге бу-

дет страниц девяносто шесть. Долгое время Састри печатал книгу со скоростью четыре страницы в месяц, теперь наконец-то она приобретала вид настоящего тома. Састри тоже был взволнован завершением работы. Он принес гранки последних страниц и остановился у двери. Это означало, что он собирается что-то сказать, и я смутно надеялся, что он уйдет, если я не обернусь и не встречусь с ним взглядом. Я склонился над листами, чувствуя за спиной его тень.

— В чем дело, Састри? — спросил я резко.

Он взглянул на поэта, и оба они улыбнулись. Я понял, что новость была хорошая, и вздохнул с облегчением.

— Когда поэт доходит до описания свадьбы богов, такое счастливое событие полагается отпраздновать...— сказал Састри и принялся объяснять, как это надо сделать.

Я любил поэта и радовался всему, что могло укрепить его положение в обществе.

Начались торжественные приготовления. Снова обычная моя работа в типографии была забыта. Дела газировщика процветали, и он заказал еще четыре тысячи цветных этикеток, но я не мог ими заниматься. Я успел напечатать только основной тон, положил этикетки сушиться, и каждый раз, когда от продавца фруктовой воды приходил посыльный, говорил, что они еще не готовы. Пусть попробует напечатать их в какой-нибудь другой типографии, я, мол, ничего против не имею. Но где еще он найдет такой малиновый цвет, который вызывает у людей жажду и побуждает их раскупать его бутылки, где бы он их ни выставил?

Когда я в шестой раз отправил мальчишку с пустыми руками, в типографию явился сам К. Дж. и принялся кричать на Састри, не заходя, правда, за занавеску. Ему было невдомек, что и я сидел там: я помогал Састри набирать обращение по поводу предстоящего торжества. Нам нужны были средства. К тому же за занавеской у нас находился астролог, которого мы пригласили на совещание. Мы не хотели, чтобы нам мешали: перед решеткой теперь висела толстая бамбуковая циновка, скрывавшая от наших глаз все, что происходило по ту сторону. Пусть Васу выставит там хоть весь свой зверинец, нас это больше не смутит. Пусть хоть все городские проститутки бегают там по лестнице, ни Састри, ни меня это не касается. Мы слышали шаги, но нам они не мешали, мы продолжали работать. Если же меня начинало одолевать любопытство, я всегда мог заглянуть в дырочку в бамбуковой циновке и, словно в круглом зеркальце, увидеть прелестную ухмылку гиены, или бедра какой-нибудь женщины, или, наконец, ножищи самого Васу, тяжело поднимающегося по ступенькам. Я редко позволял себе эту роскошь, разве что при каких-нибудь совершенно особых обстоятельствах. В присутствии Састри я никогда этого не делал — мне не хотелось подавать ему дурной пример. По-моему, он и не подозревал о существовании этой дырочки.

Астролог сидел на полу около самого станка. В руках он держал звездный календарь, раскрытый на нужной странице. Отставив его подальше, чтобы лучше было видно, он объяснял:

— В полнолуние луна находится в шестой фазе, это наилучшее положение для луны, а ведущая звезда в этот день такая-то, что значит...

Он скользнул глазами вниз по колонке цифр и пробормотал:

— Очки забыл дома...

Састри быстро снял с носа очки и подал их астрологу. Тот надел их и сказал:

— Видите, вот здесь... Какое здесь число?

Теперь наступил черед Састри; он выхватил календарь из рук астролога и отставил его подальше, чтобы лучше видеть. Это не помогло, и он

протянул руку за очками; астролог снял их и подал ему. Састри нашел нужное число и назвал его; астролог, желая убедиться, что он не напутал, протянул руку за очками, и очки в серебряной оправе снова перешли из рук в руки. Совещание продолжалось — я не принимал в нем участия, ведь я был жалким невеждой среди знатоков! Задача заключалась в том, чтобы назначить день, благоприятный для поэта, который также совпадал бы с весенним праздником в храме Кришны.

За занавеской раздался громкий голос:

— Састри!

Меня обидел повелительный тон. Я знаком попросил Састри выяснить, кто там пришел, но не успел он и шага сделать, как голос продолжал:

— Вы когда-нибудь собираетесь сдавать этикетки или нет? Если нет, так и скажите! Зачем же заставлять нашего мальчика бегать к вам десять раз?

Теперь я знал, кто это был. Он продолжал бушевать: перечислял свои обиды и наши прегрешения, грозил страшными карами. У Састри и астролога вид был испуганный. На лице Састри я увидел тень удовлетворения — ведь он предупреждал меня, что так случится, а я не послушался. Надо было брать положение в свои руки.

— Кто это? — спросил я.— Это вы, К. Дж.?

Последовала пауза, затем он сказал из-за занавески:

— Господин Натарадж, вы меня ставите в ужасное положение. Как же мы можем торговать, если на наших бутылках...

Я знал наизусть, что он сейчас скажет. Все его доводы были мне знакомы. Я не дал ему договорить:

— Почему вы не присядете, дружок? Я сейчас выйду.

Я чуть было не пригласил его зайти за занавеску, в знак особого расположения, но вовремя остановился, боясь создать ненужный прецедент. Занавеска вызывала уважение — пусть так и будет. Один Васу ступил за запретную черту, и ничего хорошего из этого не вышло. Я не хотел повторений, потому-то и сказал сердитому газировщику:

— Устраивайтесь поудобнее в большом кресле, через минуту я к вам выйду.

Наступила тишина. Я услышал, как он двинул креслом, и понял, что он, очевидно, последовал моему совету, угрюмо покорившись обстоятельствам. Я дал ему время остыть. Мы продолжали совещаться с астрологом, который по-прежнему занимался движением светил, нимало не смущаясь происходящими вокруг событиями. Просидев в молчании полчаса за своими расчетами, астролог слегка поднял голову, но не произнес ни слова. Он вел себя так, словно все еще не вышел из забытья. Я знал, что газировщик в соседней комнате терял терпение. Он постукивал ногой по полу и откашливался, пытаясь привлечь мое внимание. Я рад был, что мне удалось обезвредить разъяренного клиента. Астролог сидел у станка и по-прежнему молчал. Састри стоял у стены, мечтательно глядя на него. Я спросил:

— Чего мы ждем?

Астролог взглянул на меня и продолжал молчать. Газировщик в соседней комнате снова откашлялся. Састри сказал:

— Ему может понадобиться еще четверть часа.

Я решил отделаться от посетителя и вышел за занавеску.

Продавец фруктовой воды сидел в кресле королевы Анны, поджав под себя ноги; сандалии лежали под креслом на полу. Он был человеком старой школы и твердых традиций; на лбу у него багровел знак касты. Сомнений быть не могло: он пришел ко мне, чтобы добиться своего, и сейчас рвался в бой. Захватить инициативу в свои руки — значило на-

половину обеспечить победу в этой битве; он и рта раскрыть не успел, как я заметил с необычайно грустным видом:

— К чему моим друзьям терять здесь терпение? Я никогда ничего не задерживаю, если у меня нет на то важных причин.

— Интересно, что вы скажете на этот раз? — цинично возразил К. Дж. — Формы не готовы? Краска кончилась? Ведь я специально послал вам банку краски, полученную из Мадраса.

— Можете не беспокоиться, она здесь в совершенной безопасности, — отвечал я, доставая банку из ящика своего бюро. Я повертел банку в руках, изучая этикетку, и подал ее газировщику.— Эта краска не подходит. Если бы я пустил ее в ход, покупатели бежали бы от ваших бутылок, как от чумы. На что похожа эта краска, когда высохнет? На выцветший бумажный змей, выуженный из сточной канавы.

— Я выписал ее из Мадраса. Тот сорт, который вы советовали.

— Но я работаю только с импортной краской. А эта делийского разлива. Вы разве не заметили?

Дело принимало неплохой оборот. К. Дж. оказался в положении глупого и заносчивого невежды и совершенно растерялся. Я сказал:

— Такую краску для вашего заказа я ни за что не пустил бы в ход, даже если бы мне приставили дуло к виску. Я должен помнить о своей ответственности.

Он спросил, словно ребенок:

— Что же нам теперь делать?

— Конечно, я вас не подведу. Как можно! Старый, испытанный заказчик. Если только вы положитесь на меня, я никогда вас не подведу,— заявил я, словно божество, снисходящее до грешника.— Састри! — закричал я.— Принесите сюда малиновую краску!

И, повернувшись к К. Дж., заметил:

— Можете сами убедиться, в чем разница...

За занавеской послышалось какое-то движение. Я знал, что Састри и не подумает явиться, если я не повторю своей просьбы. К. Дж. оживился и спросил:

— Разве Састри здесь?

— Да, а что? — удивился я.

— Он не откликнулся, когда я его звал, — сказал он.

— Он человек занятой. У него сотня всяких дел в голове.

— Только не мой заказ, — заметил К. Дж. с невеселым смехом.

— Не вините его, у него сотня всяких поручений.

— Могу я поинтересоваться, что же это за поручения?

Я мог бы прикрикнуть на него, но я терпеливо сказал:

— Скоро мир узнает о новом поэте, и Састри занят приготовлениями к этому событию.

Я давно знал, что правда всегда бывает более убедительна и верна, чем любое придуманное объяснение. К. Дж. принял оскорбленный вид.

— Вы хотите сказать, что моими этикетками вы и не думали заниматься?

— Да, — отвечал я. — В основном из-за того, что ваша краска нам не подходит и мы вынуждены ждать, когда придет заказанная нами краска. Но также еще и потому, что неожиданно возникло это дело с поэтом. Нам нужно выбрать благоприятный день для праздника. Как только день будет назначен, мы придем к вам. Это хорошее дело, каждый должен постараться принять в нем участие.

— Как? Какое дело? Чего вы от меня хотите? Денег?

— Конечно, это было бы очень неплохо, но уж вы решайте сами. Главное же, чтобы такой хороший человек, как вы, разделил с нами честь, приняв участие в благородном деле. Как это сделать, мы предоставляем решать вам самим...

Он боялся расспрашивать дальше, не желая давать обещаний, но в то же время его мучило любопытство.

— А я-то тут при чем? Что вы хотите, чтобы я сделал? — все-таки поинтересовался он.

Я видел, что он напуган. Он был не из тех, кто легко расстается с деньгами или имеет мужество отказать, не вдаваясь в подробности. Он был серединка на половинку. Я сказал:

—. Кое-кто дает сто рупий, некоторые даже больше. Разве в таких делах можно указывать людям?

Он еле слышно повторил:

— Сто рупий! Я не так богат, господин.

— Что такое сто рупий для вас? — возразил я. — За один час вы получаете сто рупий дохода. Разве я не знаю, как расходится ваш товар?

К. Дж. совершенно растерялся. Он горько сожалел, что пришел сюда и попался в ловушку. Вид у него был такой, словно перед ним стоял налоговый инспектор.

— Никто вас ни к чему не принуждает, — сказал я. — Решительно ни к чему! Каждое даяние должно быть добровольным, иначе оно не имеет никакой цены. К тому же мы принимаем пожертвования далеко не у всех. Мало ли кому придет в голову лезть к нам со своими деньгами. Дело ведь не только в деньгах. Я все это говорю вам потому, что ваше имя стоит первым в нашем списке, и вы пришли как раз, когда мы вспоминали о вас.

Он заерзал в кресле — ему не терпелось встать и убраться подобру-поздорову. Но я не собирался отпускать его так легко. Я прижал его к ногтю и наслаждался этим.

— Что бы вы хотели для нас сделать? В таких вещах договориться не сложно, и мне не хотелось бы без нужды вас затруднять. Что именно вам хотелось бы для нас сделать?

— Я сейчас очень занят. Я езжу по деревням и налаживаю торговлю нашим товаром, так как у нас там есть конкуренты. Появилась целая армия фальсификаторов...

— Конечно, конечно. Мы не хотели вас беспокоить. Нам нужна только поддержка таких людей, как вы. В конце концов, вы видный человек в городе; для нас большая честь, что такие люди, как вы, нас поддерживают.

Я льстил ему без удержу, пока не привел его в совершенное отчаяние. Он вдруг вскочил и выбежал из типографии, бормоча, что мы еще увидимся.

Как только он ушел, астролог и Састри вышли из своего укрытия. В правой руке астролог крепко держал лист бумаги и календарь, в левой были зажаты очки в серебряной оправе.

— Я выбрал для вас день — вернее, целых три: хороший, неплохой и так себе, — сказал он. — Можете решать, какой вам больше подходит. Каждый должен выбирать, что ему больше нравится.

До хорошего дня нужно было ждать пять месяцев. Поэт не переживет такой отсрочки. Я знал его. Он рвался оповестить весь мир о своем творении в ближайшие двадцать четыре часа. Мы отвергли и неплохой день; оставался только так себе, который наступал через четыре недели, когда над башней ратуши вторично взойдет полная луна, и совпадал с празднеством в храме. Астролог сказал:

— Этот день не хуже первого. Но знаете, почему он менее ценен? Видите, Юпитер здесь слегка затемнен, а поэт родился вот под этой звездой, так что этот день может, в конце концов, оказаться не таким уж хорошим. Юпитер находится в этом положении четыре с половиной

часа, то есть до без четверти шесть, это может означать некоторые препятствия для исполнения задуманного, вот и все.

— Какие препятствия? — спросил я в тревоге.

— Трудно сказать. Какие-нибудь пустяки — например, наступит кто-нибудь на палец. Или скиснет молоко, приготовленное для кофе. Вы собираетесь угощать гостей кофе?

— И не подумаем, — сказал я.

Он не знал, как определить возможные препятствия.

— Может, вода перестанет течь из крана...

— Или ее окажется слишком много в бутылках К. Дж.,— сказал я.— Он тут у меня был; возможно, он предложит обеспечить всех гостей фруктовой водой — нальет в бутылки воды, и все!

— Вполне возможно,— подхватил астролог.— Или еще что-нибудь в этом же духе.

Састри пояснил:

— Понимаете, в астрологии любое событие может быть препятствием. Если в решительный момент вам на нос сядет муха и вы рассердитесь, можете считать, что это и есть то самое препятствие, о котором вас предупреждали...

Он засмеялся, и астролог тоже засмеялся, и оба в один голос сказали:

— Если случится — значит, случится, а нет — так нет, но все же лучше знать заранее.

— А может, чернила кончатся в ручке,— добавил астролог.— Или...

Они принялись придумывать, какие еще неприятности могут произойти. Положение Юпитера означало всяческое беспокойство. Но тут астролог, видно, подумал, что он слишком уж принизил значение этой планеты; внезапно он принял серьезный вид и пояснил:

— Юпитер может быть очень жестоким, когда это от него зависит. Может человеку всю жизнь испортить, искалечить ему руки и ноги. Но если основная планета — Сатурн, Юпитер ему уступает. Вы меня понимаете? Сатурн сильнее Юпитера, хотя прямо на него и не влияет.

Теперь уж мне ничего не оставалось делать, как передавать все заказы на «гейдельберг», ибо ни у меня, ни у Састри не было ни одной свободной минуты. Я направлял заказчиков к соседу, а они все шли и шли. Целый день я был в бегах и почти не видел жены и сына. Домой я возвращался поздно вечером. Мы печатали обращение с просьбой о пожертвованиях — нечто вроде письма, ратующего за культурное наследие и прочее. Нам пришлось изрядно повозиться со станком, прежде чем мы смогли все напечатать для торжественного дня. Я ходил по горожанам, собирая деньги для нашего празднества — нелегкая задача! — ибо все они похожи на К. Дж.: отказать боятся, но и раскошеливаться не хотят. А денег нужно было много!

Мы запланировали торжественную церемонию посвящения, процессию и пиршество на тысячу гостей. Кое-кто, когда мы обратились за пожертвованиями, спросил нас прямо, зачем мы все это затеяли, раз у нас нет денег. Вопрос был по существу, но нам и в голову не пришло отступать. Об этом теперь не могло быть и речи. Мы наводнили город нашим обращением. Составить его текст любезно вызвался Сен; он написал несколько сот слов, начав с сотворения мира и перейдя затем к долгу писателя перед обществом, величию предания о Кришне, нашим культурным традициям и достоинствам моносиллабического стиха. В заключительной части он не удержался от едких выпадов в адрес правительства Неру и его отношения к поэзии, но Састри решительно выкинул эту часть, перед тем как отправить письмо в набор.

— Пусть Сен напишет отдельную книгу о Неру, если ему невтерпеж... Зачем же умничать за наш счет?

Наше обращение разошлось по всему городу, в результате на горизонте снова появился Васу. Он поймал меня поздно вечером на пороге типографии, когда я собирался пройти к боковой двери. Он остановил свой джип у входа и зашел вслед за мной в типографию. Я даже не включил свет, мне хотелось поскорее уйти. Войдя за мной в гостиную, он спросил:

— Торопишься?

— Да. Я...

— Тогда притормози немного. Спешка дурно влияет на сердце. Успокойся, передохни. К чему стоять и разговаривать в темноте? Включи свет. Где у тебя выключатель?

Он пошарил по стене и нашел выключатель. Затем опустился в свое кресло и велел мне сесть. Я сказал:

— Я голоден, меня ждут обедать.

— Я тоже голоден,— отвечал он.— По-твоему, никто больше на свете не ест?

Я нехотя присел на краешек бюро.

— Ну, в чем дело? — спросил я.

— Послушай, Натарадж, я стараюсь быть с тобой любезным. Брось этот презрительный тон. Я не люблю, когда со мною так разговаривают.

— Разве нельзя встретиться завтра? Я просто очень устал.

— Что это тебя так утомило? Чужие дела? Думаешь, я не знаю, что происходит?

— Что вы знаете?

Он вынул из кармана экземпляр нашего обращения и помахал им у меня под носом.

— Я ничем не хуже других. Вы обо мне позабыли, но раздобыть эту бумажку не так уж трудно! Вы печатаете ее у меня под полом (я вздрогнул, услышав это «у меня под полом»), и никому из вас в голову не придет послать мне экземпляр. Странные люди!

Мне нечего было ему отвечать. Мы разослали уже несколько сот приглашений, но я нарочно ничего не послал ему. При мысли о нем мне становилось не по себе, и хотя наши сдержанные отношения стали несколько лучше, я не мог заставить себя отправить ему приглашение. Мне почему-то казалось, что этого не нужно делать, что произойдет какая-нибудь неприятность, если мы пригласим этого человека с ружьем. Но он был не из тех, кто ждет приглашения.

— Я знал, что вы его достанете,— сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.— Мне казалось это не очень...

— Важно? — спросил он, когда я запнулся, не находя нужного слова.— Почему ты решил, что я не соглашусь дать вам деньги? Или, может, ты думал, что у меня их нет?

Это уже было слишком. Зачем ему со мной ссориться?

— Вы ищете повод для ссоры? — спросил я.

— Я ни с кем не собираюсь ссориться,— заявил он.— А уж если придется, то пощады не ждите. Не поздоровится тому, кто на это напросится! Хочешь поссориться?

Он задал этот вопрос, словно осведомлялся: «Хочешь умыться?», «Хочешь чашку кофе?»

Я решил быть дипломатом и сказал:

— Я не торопился прийти к вам с приглашением, так как знал, что вы тут, рядом.

— Вот это лучше,— сказал он.— Гораздо лучше! Гм, я и не знал, что поэт так преуспел. Работяга! — одобрил он, вынул бумажник и протянул мне десять рупий, небрежно держа их кончиками пальцев.

— Что же, вот мой вклад, хотя вы его и не просили.

С минуту я тупо смотрел на бумажку, потом сказал:

— Так мало? Я собирался попросить у вас сто...

— Сотню? Гм, интересно... Если бы мои дела шли так же хорошо, как раньше... Эти негодяи пытаются преградить все подходы к зверям,— сказал он, вспомнив о целой армии лесников.— Очень неприятно. Но ничего, так просто меня не возьмешь! Все лишь немного усложнилось, и только! Кто они такие, чтобы говорить мне, в кого стрелять и когда?

— В некотором роде вы правы,— сказал я, чтобы сделать ему приятное. Я не подумал, что я говорю, не подумал о реках звериной крови, которые бы потекли, если бы ему удалось добиться своего.

Он поглядел на меня.

— Натарадж! Ты действительно так думаешь? Вообще-то я легко могу обойтись без одобрения и поддержки... Я прекрасно могу прожить и один.

Бумажка в десять рупий все еще трепетала в его пальцах.

— Так что же, берешь ты ее или нет? — спросил он с внезапной воинственностью.

Это вызвало у меня обычную реакцию.

— Я же говорил, что мне нужно от вас сто рупий, не меньше.

— Хорошо,— сказал он и положил деньги в карман.— Ну, говори, сколько людей дали вам по сто рупий?

Это был вызов, и я ответил на него:

— Пока что пятьдесят человек.

Это заставило его призадуматься.

— Значит, пять тысяч рупий! Сколько из этих денег у вас на руках?

Он смотрел в самый корень. Я сказал:

— Сейчас я еще не хочу их брать. Ближе к празднику... К чему нам обременять себя? Опасно держать столько денег в доме.

Он презрительно щелкнул языком и сказал:

— Подумаешь, сумма! Ведь это пять тысяч, а не пятьсот!

— Для нас и это много,— сказал я.— Чужие деньги всегда большая ответственность.

— Вы смотрите на жизнь не по-философски. Деньги — лишь средство обмена, сами по себе они не имеют ценности, так что такой вещи, как «мои деньги» или «твои деньги», не существует. Они, словно воздух, принадлежат всем.

— Тогда почему бы вам не отдать мне свой бумажник?

— Действительно, почему бы и нет!

С этими словами он вынул из кармана бумажник и бросил его мне на колени. Потом он встал, вышел на улицу и уехал.

Я сидел сам не свой. Бумажник был большой, словно дамская сумочка, и туго набитый. Некоторое время я не двигался, размышляя, что же мне с ним делать. Положение было совершенно необычное. Я никогда не думал, что бумажник этого человека окажется у меня. Чтобы закрыть его, нужно было нажать на старомодный металлический запор. Стоило подсунуть палец под язычок и потянуть за него, как он открывался. В бумажнике было несколько отделений. Он был туго набит письмами и деньгами. В нем лежала фотография, завернутая в прозрачный хлорвинил,— мускулистый юноша с волнистыми волосами, стоящими, словно ореол, от уха до уха, и густыми бровями. Если вглядеться повнимательнее, можно было узнать в нем Васу; ему в то время было, наверно, лет восемнадцать или двадцать, но шея у него и тогда была как у быка. В боковом отделении лежали деньги, неоплаченные счета и письмо в голубом конверте. Голубая бумага и голубые конверты неизменно возбуждали мое любопытство; кому бы они ни были адресованы, мне всегда хотелось прочесть их. Я вынул письмо, поразмыслил, не пробежать ли

мне его глазами, и снова сунул в конверт. Мне не хватало смелости. Что, если Васу вернется и застанет меня за чтением письма? Он может сломать мне позвоночник, а не то поднимет меня вверх ногами в воздух и будет трясти, пока все зубы не вылетят!

Мне не терпелось узнать, сколько в бумажнике денег и что это за счета на его имя. Но я боялся заняться этим расследованием сейчас. Я быстро закрыл бумажник, осторожно сунул его в ящик бюро и запер на ключ. Затем закрыл дверь и отправился домой.

Спустя три дня Васу пришел за бумажником и заглянул в список обещанных пожертвований, который я просматривал, стоя за своим бюро. Он выхватил список у меня из рук, пробежал его глазами и спросил:

— Сколько денег вы думаете собрать?

Я открыл зеленую папку, в которой лежали счета, квитанции и полученные деньги, просмотрел их и назвал цифру.

— А ну-ка, давай ее сюда,— сказал он и схватил зеленую папку.— Я тебе удвою эту сумму. А ты занимайся всем остальным.

— Но... но...— пробормотал я, протягивая за папкой руку. Он оттолкнул ее.

— Это я беру на себя, а ты занимайся остальным.

Я попытался возразить, но он меня и слушать не стал. Быстро вышел, сел в свой джип и укатил.

Спустя неделю он вошел в типографию с торжествующим видом. Помахал зеленой папкой и спросил:

— Попробуй догадайся, сколько я выжал из местных скряг?

Я назвал какую-то сумму.

— Ошибаешься! Попробуй еще раз...— сказал он и вышел.

Когда после этого я отправился в обход, мне говорили:

— Какого вы наняли сборщика! Продашь все горшки из кухни, только бы от него отделаться. Ну и тип!

Сомнений быть не могло: он развил бешеную деятельность. Разные люди отзывались о нем по-разному.

Мне нужно было точно знать, что он задумал. Я терпеливо ждал. Когда он зашел ко мне как-то днем, я спросил его в лоб:

— Где зеленая папка?

— Заперта в железном сейфе,— отвечал он.

Я церемонно указал ему на кресло эпохи королевы Анны и начал:

— Мы все благодарны вам за вашу помощь. Поэт, знаете ли...

— Не надо, не надо! — вскричал он.— Я не выношу всех этих глупых благодарностей.

— Вы так много делаете для нас,— продолжал я, пропуская оскорбление мимо ушей.— Часть сборов мы употребим на покрытие расходов, связанных с празднеством, а то, что останется....

— Зачем ты мне все это говоришь? — прервал он меня.

Я сказал:

— Нам нужны средства, чтобы сделать кое-какие взносы.

— Ну и что? — взревел он.

Потом внезапно успокоился и спросил:

— Ну, ладно. Сколько вам нужно?

— По крайней мере пятьсот рупий,— ответил я.

— Хорошо, вы их получите,— сказал он, но с места не сдвинулся.

— Но когда? Когда? — вскричал я.

Вооружившись куском картона, он охотился на мух.

— Что когда? — спросил он и добавил:— Почему ты развел здесь столько мух? Что у тебя там в ящике — конфеты для любимого поэта?

— Нам очень важно знать, сколько вы смогли собрать денег и от кого,— сказал я твердо.

— Все в свое время,— ответил он.— А пока что не забывайтесь и не очень сорите деньгами. Не думайте, что вы миллионеры.

Он порывисто встал, обжег меня взглядом и вышел.

Глава 9

В тот вечер наше трио хранило угрюмое молчание. Никогда еще я не работал так много в типографии. Мы настолько были поглощены приготовлениями к торжеству, что я не мог заняться главным — книгой, которую мы должны были возложить на алтарь во время весеннего праздника в храме. Надо было иметь хотя бы один экземпляр первого тома в особом переплете из домотканой материи. До конечного эпизода бракосочетания бога Кришны с Радхой осталось напечатать тысячу строк. Поэт отдал нам последнюю часть своей рукописи несколько недель назад, но мы к ней и не притронулись. У меня не было времени даже заглянуть в нее. Поэт терпеливо ждал. Он не мог торопить меня, ибо я работал безвозмездно. Он говорил, что, если книга не будет готова, всегда можно использовать для церемонии рукопись. Но для меня, как печатника, было делом чести закончить ее и иметь хотя бы один переплетенный экземпляр.

Вот почему мы трудились не покладая рук в тот вечер — я, Састри и поэт. Састри набирал страницу, поэт читал корректуру, а я печатал, как только она попадала в мои руки. Мы выпили огромное количество кофе, но все же чувствовали себя вконец измученными. Никто не произнес ни слова. В начале вечера мы обсуждали различные детали предстоящего торжества и даже шутили, но теперь, когда до полуночи оставался всего час, мы начали действовать друг другу на нервы. Ноги у меня болели от усталости, глаза слезились, и я мечтал о постели. Были минуты, когда я спрашивал себя, зачем мне заниматься этим, когда я мог бы с пользой потратить время на фруктовые этикетки К. Дж. Поэт сидел в кресле королевы Анны и клевал носом. Это зрелище пробудило во мне зверя. Мне захотелось выплеснуть ему в лицо стакан холодной воды. Меня бесило, что он дремлет. Я уселся в кресло напротив. «Мы все это делаем для тебя,— подумал я.— Как же ты смеешь спать?» И я радостно заорал ему в ухо:

— Скажите, что лучше — так или так?

О, все что угодно — вопрос, недоумение, только бы его разбудить! Глядя на его доброе лицо, трудно было представить себе, что он способен хоть в чем-то проявить фанатизм. Но он был беспощадным врагом всех двухсложных слов: при виде их он приходил в исступление и начинал рубить и крушить, чтобы втиснуть их в прокрустово ложе своей схемы. В результате возник новый синтаксис, который совершенно измучил Састри. Не проходило и двух-трех минут, чтобы он не позвал меня для выяснения тех или иных недоумений, а я в свою очередь требовал разъяснений у поэта.

Нас одолевали странные проблемы. Поэт употребил в своем сочинении слишком много К и Р, и все наши литеры ушли на первые двадцать строк его поэмы; в результате мне пришлось попросить его подумать, не может ли он, чтобы облегчить нам работу, заменить их какими-либо другими буквами алфавита. Порой он шел нам навстречу, но порой наотрез отказывался выполнить нашу просьбу. В таких случаях мы ставили звездочку вместо К или Р и печатали дальше. При виде звездочки поэт каждый раз приходил в бешенство и спрашивал:

— Что это значит?

Я сварливо заверял его:

— Не беспокойтесь, мы это исправим при печатании. Или сделаем сноску для читателей, что звездочка означает...

Все это очень огорчало поэта и мешало ему заснуть.

Бросая на колени поэта очередной лист корректуры, усыпанной звездочками и всякими знаками, я с удовлетворением наблюдал за ним из своего кресла. Каждый раз я говорил ему, повторяя себя слово в слово:

— Править корректуру — все равно что рожать. Сделать это можете только вы, вы один. Тут вам никто уже не поможет...

Я немного съезжал вниз, клал голову на высокую спинку кресла эпохи королевы Анны и смотрел на поэта. Он был человеком немногословным, вероятно, потому, что большинство слов казались ему слишком длинными; он бросал на меня взгляд и принимался за корректуру. В руке он держал чрезвычайно маленький карандаш, жевал его кончик и чесал им щеку. Меня это почему-то раздражало, и я говорил:

— Вы что, точите свой карандаш о щеку?

— Я всегда так делаю, когда думаю.

— Выключите свой думающий аппарат, когда читаете корректуру. Следите за ошибками только взором, не пропускайте ни одного слова, ни одной буквы, ни одного знака. Если вы начнете думать, мы никогда не кончим с исправлениями.

Внезапно мне показалось, что я говорю совсем как Васу, и я мягко добавил:

— Если бы у нас было больше времени, я бы ничего не имел против, вы же знаете...

— Вот поэтому я и говорю...— начал он, но я оборвал его на полуслове.

— Давайте не терять времени, и так уже полночь. Читайте, читайте корректуру. Только когда вы ее выправите, я смогу ее напечатать.

Я смотрел, как он работал под двадцатипятисвечовой лампочкой, пока у меня не потемнело в глазах. Я уже ничего не различал. Вокруг него возникло сияние, отделившее его от нас, словно он находился в ярко освещенной капсуле или коконе. Я не видел больше его обтрепанной рубашки и дхоти, идиотской сумки из мешковины, в которой он носил бумаги,— все это расплылось и смазалось в моих глазах. Только кончик носа был ярко освещен; все остальное скрывалось в тени.

Где-то далеко прозвучал свисток полицейского; все способствовало оцепенению, в которое я впадал. Я почувствовал легкость; и вот я уже парил и плыл во сне, забыв на мгновение обо всем — о Састри, храме, поэте, празднике, деньгах, застрявших у Васу, о флейтах и барабанах, об угощении и гирляндах. Словно кинжал, меня пронзили слова:

— Я кончаю этой строкой на этой странице?

Какой-то глупый вопрос... Над головой у меня с криком появился Састри, и тончайшая ткань моего сна распалась, разорванная безжалостной рукой. Видно, Састри позавидовал моему сну и придумал предлог для того, чтобы нарушить его.

Потом наступила очередь Састри скрыться в укромный уголок. Он великолепно устроился: подтащил кресло в угол, повернул его к стене и свернулся в нем клубочком. Такая тщательная подготовка ко сну меня расстроила, но делать было нечего: он имел непреложное право на сон. Настал мой черед работать; пока я не освобожу литеры, ему нечем будет набирать следующую страницу: поэма была необычайно обширна — на нее ушло все содержимое наших наборных касс. Пока я не кончу, Састри нечего было делать; он мог спать. А поэту, конечно, спать сам бог велел, потому что пока Састри не отпечатает лист... Как мне хотелось заставить их что-нибудь делать, только бы они не спали! Но в этот пол-

ночный час изобретательность моя притупилась: я слишком устал и не мог ничего придумать. Я вложил форму в станок, подогнал ее и нажал педаль... За занавеской в гостиной послышался дружный храп. Вылить бы на них ведро воды... Да, но как его поднять? Об этом даже страшно было подумать. Станок мерно погромыхивал всеми своими частями. Я вслушался в эти звуки, пытаясь их объяснить. Налил немного кофе в крышку от кофейника и на мгновение остановился, прежде чем выпить его. Сквозь мерный стук станка мне послышался новый звук. Кто-то дважды постучал в решетку, отделявшую меня от лестницы Васу. Уж не ожило ли чучело гиены? Я не ответил на стук и продолжал печатать.

Тук-тук, раздалось снова.

Я заглянул в потайную дырочку. В темноте что-то шевелилось.

— Дух гиены вернулся! — вскричал я.

От ужаса волосы зашевелились у меня на голове, по рукам пошла гусиная кожа. Уж не разбудить ли мне тех двух — предлог достаточно основательный. Пусть испугаются вместе со мной!

— Господин, господин,— прошептала ожившая гиена.— Это очень важно.

Я приподнял край бамбуковой занавески. Свет от станка упал на лестницу, и я увидел Ранги. Волосы у меня стали дыбом. Ранги! Женщина, которую надо избегать! Я обрадовался, что Састри сидел в эту минуту по ту сторону занавески, лицом к стене. Я не верил своим глазам — неужели это та самая женщина, которую я видел по утрам на лестнице со смятыми цветами в волосах, ужасная женщина с пышными формами, на которую и смотреть-то, если верить Састри, грешно?! А вдруг я стал жертвой галлюцинации? Возможно, переутомление и напряженность последних недель сделали свое дело... «Ну и ну! — подумал я.— Что только человеку не привидится! Ранги? Что ей здесь делать?!» И я повернулся к станку, снисходительно посмеиваясь над причудами собственного воображения.

Но видение хрипло окликнуло меня:

— Послушайте!

Неужели эта женщина решила меня совратить? И в такой поздний час? Я огляделся. Если моей жене придет в голову заглянуть сюда, конец моей семейной жизни! Хотя Ранги была черна, как уголь, и груба, она обладала физической привлекательностью, против которой невозможно было устоять, и я боялся поддаться ее чарам. К счастью, нас разделяла железная решетка.

Я спросил с бессмысленной строгостью в голосе:

— Зачем ты беспокоишь меня в такой поздний час? Ты, видно, не...

— Ш-ш-ш! — прошептала она, прикрывая рот рукой.— Вы разбудите его, если станете говорить так громко. Послушайте, господин. Я должна вам кое-что срочно сказать.

— Что именно? Неужели ты не могла выбрать времени пораньше?

Если всмотреться в нее поближе, она была не такой уж грубой. Свет упал на ее высокие скулы. «Недурна, недурна»,— отметил я про себя. Груди у нее напоминали две большие волны, как у старинных статуй в храмах. Бедра тоже были классические; как может это грубое существо обладать такой притягательной силой? На ней было тонкое красноватое сари. Ее голос прервал мои полночные мечты.

— Я должна вернуться, пока он не проснулся. Послушайте: он хочет застрелить завтра вашего Кумара. Будьте осторожны!

До меня не сразу дошел смысл ее слов. Имя Кумара вызвало в моей памяти многое: первый день, когда нам удалось заставить его подняться на ноги, все старания вылечить его и, наконец, последние дни, когда Кумар, весело качая головой, пожирал сахарный тростник, который при-

носили ему ребятишки со всей округи. Доктор Джоши справился со своей задачей.

Погонщик благополучно доставил Кумара в город; я отвел их на ту сторону реки к Всемирной Лиге Помощи Четвероногим, и доктор Джоши тут же приступил к лечению. На время своего выздоровления Кумар стал нашим храмовым слоном и жил во дворе при храме. Он должен был придать особую торжественность нашему празднику, после чего мы собирались отправить его Муту.

— Я ведь тоже принадлежу к нашему храму,— продолжала Ранги.— И я полюбила этого слона. Нельзя допустить, чтобы его убили. Пожалуйста, господин, сделайте что-нибудь, чтобы этого не случилось. Прошу вас, спасите слона.

— Но как? Как я могу защитить слона? Какую кольчугу нам достать для него? — спросил я.

Внезапно меня одолели сомнения.

— Да ты в своем уме? — вскричал я.— Может, ты накурилась опиума или еще чего-нибудь в этом роде?

Она гневно сверкнула глазами.

— Господин, я всего лишь публичная женщина, такова уж моя судьба. Может, вам я и кажусь грешницей. Но я занимаюсь тем же, чем и многие порядочные женщины — так, кажется, их называют? Однако у меня есть правила. Что бы я ни делала, опиума я не курю!

Мне стало стыдно, что я обидел ее.

— Все это так невероятно!

Она с опаской взглянула наверх — там послышалось легкое движение.

— Если он проснется...— прошептала она.— Подождите здесь, не уходите.

И она взбежала по лестнице. Кровь у меня бурлила самым неподобающим образом. В воображении возникали самые фантастические картины совращения и страсти. Я забыл о жене, о сыне. Я вел себя как мальчишка, размечтавшийся над фотографией обнаженной женщины. Я знал, что ни за что не поддамся, если она вздумает делать мне соблазнительные предложения, и все же... и все же я надеялся, что устою... В то же время я лихорадочно размышлял, как быть с решеткой, разделяющей нас, если дойдет до дела. Она была заперта, ключ от нее лежал в ящике бюро в другой комнате. Я шагнул к занавеске, приподнял ее и с облегчением увидел, что Састри лежит все в том же положении и крепко спит. Поэт тоже спал непробудным сном; правда, он свернулся клубочком в кресле эпохи королевы Анны. Если бы я пошел к бюро за ключом, я обязательно разбудил бы их. На время я отказался от этой мысли, решив заняться ею, когда настанет нужный момент.

Я пробрался на цыпочках обратно к своему месту возле решетки; она уже ждала там, готовая, как мне казалось, проглотить меня живьем, растворив в своих могучих объятиях всю чистоту единобрачия, которого я придерживался столько лет.

Мне она казалась неотразимой. Она стояла на нижней ступеньке, словно богиня, вырубленная из угля. Вокруг нее играли тени, отбрасываемые слабенькой лампочкой под потолком; вся она сияла, словно окруженная ореолом. Я ухватился руками за решетку, прижался к ней лицом и голосом человека, готового поддаться искушению, промолвил:

— А, ты вернулась!

Я постарался вложить в голос всю сладость этой минуты, обещавшей блаженство.

Она равнодушно посмотрела на меня и сказала:

— Только сбегала наверх посмотреть, спит ли он. Он просто повернулся на другой бок; до пяти он не встанет, я уж знаю.

Она уселась на нижнюю ступеньку, вынула из складок своего сари кисет, достала из него лист бетеля и табак и принялась жевать. Снедаемый лихорадкой, я чуть не спросил у нее, знает ли она, что решетка заперта, а ключ лежит там, где спит Састри.

— Вы будете спасать слона или нет? — сказала она.

— Зачем ты спрашиваешь? Лучше расскажи мне все, что тебе известно об этом.

— Он убьет меня, если узнает, что я проболталась. Но мне все равно. Он рассказал мне о своих планах. Завтра ночью — в какое время ваше шествие пройдет здесь?

— Разве ты не знаешь? Ты ведь тоже принимаешь в нем участие.

Она должна была выступить в своей изначальной роли женщины, посвященной храму, и танцевать перед изображением божества во время шествия, хотя танец ее теперь сводился к скупым жестам рук. Она была, наверно, самой плохой танцовщицей в Индии; правда, никто ничего особенного от нее и не ждал. Люди привыкли видеть ее перед изображением божества, а как она танцует, всем было безразлично. Она должна была занять место между разукрашенной колесницей и группой барабанщиков и флейтистов.

— Он не хочет, чтобы я шла завтра в шествии,— сказала она.— Он говорит: это небезопасно для меня.

Она тихонько захихикала и прикрыла лицо краем сари, внезапно смутившись при мысли о заботливости Васу.

Я в панике спросил:

— Значит, ты не примешь участия в шествии?

— Нет, я приду. Это мой долг.

— Но... как же Васу?

— Ах, пусть говорит что хочет! Нет такого мужчины, который помешал бы мне делать то, что я хочу,— гордо сказала она.

— Почему он не хочет, чтобы ты там была?

— Он не хочет, чтобы я была там, когда это случится.

— Что случится?

— Когда он выстрелит в слона из своего окна.

— Я не думал, что Васу привязан к кому-либо...

— Да, он ко мне очень привязан, хотя иногда он приходит в ярость и приводит к себе всяких женщин — думает, что я буду с ними ругаться. Не на такую напал! Каждый может вести себя по своему усмотрению. Мне все равно, пусть только не пытается мне указывать, что я должна делать.

Она с удовлетворением пожевала табак.

— Он собирается забрать меня с собой в Бомбей, вот почему он не хочет, чтобы я была завтра в толпе.

— Что тебе делать в Бомбее? — спросил я с любопытством.

— Стряпать для него. Он любит мой плов, вот почему он решил взять меня с собой. Мне тоже хотелось бы, пока не поздно, посмотреть новые места. Через год или два кому придет в голову позвать меня с собой?

Не беспокойся, чуть не воскликнул я в ослеплении, ты еще не потеряешь своих чар! Но я сдержался. Она обращалась ко мне так почтительно, называла меня «господин»; если б я вдруг заговорил языком влюбленного, это бы ее испугало.

Мне радостно думать, что даже в этот безумный час я не совсем потерял голову.

— Хороший человек! — сказал я.— Так о тебе заботится!

— Он говорит, что ему надоела еда в ресторанах. И он не хочет, чтобы я рисковала жизнью в толпе, когда он будет стрелять в слона.

— Зачем же убивать бедняжку? — допытывался я и добавил напыщенно: — Кто ему это позволит? Я предупрежу полицию.

— О, господин,— взмолилась она.— Не делайте этого. Разве этим поможешь? Полицейские сами могут попросить, чтобы он стрелял. Им может понадобиться человек, умеющий это делать.

Она пояснила:

— Когда слон будет идти по нашей улице, он может взбеситься и начать топтать людей.

— Господи! Но почему?

— Слоны ведь легко возбуждаются... Тогда он прицелится из окна и выстрелит в него. Он уверен, что прикончит слона с одного выстрела, вы же знаете, какой он меткий стрелок...

— Если он такой хороший стрелок, пусть демонстрирует свое искусство где-нибудь в другом месте, а не здесь,— сказал я гневно.

— Господин,— взмолилась она,— не сердитесь. Обдумайте спокойно, что нужно сделать, и действуйте, пока не поздно.

— И все же, почему он хочет застрелить слона? — спросил я.

— Он говорил: от мертвого слона больше пользы. Он может убить меня за то, что я проговорилась, но мне все равно. Я хочу спасти бедняжку Кумара.

— Ни тебе, ни Кумару нечего бояться! — заявил я торжественно.— Настало время действовать: я передам этого дьявола в руки полиции!

Все это я произнес самым решительным и выспренним тоном, на какой только был способен; однако я совершенно не представлял себе, что же я могу сделать.

Я кончил печатать выправленные страницы; разбудил Састри, чтобы он набирал дальше; разбудил поэта, чтобы он правил дальше корректуру; напечатал еще четыре страницы; и вот к девяти часам утра была напечатана последняя строфа, а на столе появились две стопочки страниц, готовых для переплета. Книга, которую мы собирались посвятить богине, будет переплетена в бенаресский шелк и останется в храме. Я сказал поэту:

— Ну что ж, все в порядке. Идите домой, умойтесь и возвращайтесь обратно вовремя. Мы должны до трех успеть в храм.

Он зевнул, почесал затылок и пробормотал:

— Я скоро вернусь. Если еще что-нибудь надо сделать, скажите.

И побрел по улице домой.

Я отправил Састри с двумя экземплярами книги к переплетчику.

Он нерешительно сказал:

— А нельзя мне сбегать домой на полчасика, помыться?

Я рассердился.

— А обо мне вы не думаете? Я тоже мог бы отправиться домой, поспать, помыться, отдохнуть...

Не успел я договорить, как мой сынишка перебежал через улицу.

— Папа, мама сказала...

Я прервал его:

— Скажи маме, чтобы она не ждала меня сегодня. Скажи ей, что даже Састри сегодня не идет домой. Мы все очень заняты.

Я дал ему пачку цветных объявлений. Я знал, как заставить его забыть о своих обязанностях: он любил собирать объявления.

— Дай одно маме, а остальные раздай своим друзьям или кому захочешь. Пусть все они приходят в храм Кришны. Мы там встретимся. Скажи маме, что я приду домой, только не знаю когда.

В эту минуту я вспомнил про Ранги и удивился, почему не велел жене и сыну держаться подальше от толпы. «Проклятие! — воскликнул

я про себя.— А впрочем, ничего не случится! Я добьюсь, чтобы Ранги и ее повелителя заперли в кутузку!» Эта мысль придала мне храбрости, хоть я и не представлял себе, что я могу предпринять. Вряд ли полицейские меня послушаются, если я просто скажу: «За решетку этого человека!» Да и зачем им меня слушаться?

В тот день часы летели, словно секунды,— так много было событий, так быстро они сменяли друг друга. Отправив всех по делам, я присел, чтобы сообразить, что еще надо сделать. Голова у меня шла кругом. Я не знал, с чего начать. Все представлялось мне необычайно важным и срочным. Теперь я понимал, почему на столах у чиновников лежат папки с надписями: «Срочно», «Безотлагательно», «В первую очередь». Избежать этого было невозможно. В гуще таких срочных дел любому стало бы не по себе. Сегодня все нужно было делать «в первую очередь». Хоть мы и трудились изо всех сил вот уже несколько недель, в последнюю минуту забот оказалось тьма-тьмущая.

Прежде всего надо было напомнить садовнику, чтобы к одиннадцати часам он нам прислал первые порции цветов для украшения колесницы. Мы наняли двух братьев из Талапура, специалистов по украшению колесниц, которые пользовались большой известностью по всей Южной Индии. Если дать им вдоволь зелени и хризантем, они создадут настоящий шедевр, но для этого им потребуется не меньше восьми часов на работу. Колесница должна быть готова к восьми часам вечера, значит, они должны приступить к украшению в одиннадцать. Десять дней назад я нанес им визит в Талапуре. Они приняли приглашение только потому, что в дело вмешался инспектор полиции, на которого мне удалось повлиять; иначе они уехали бы в Мадрас, где им предлагали гораздо большую сумму. Я выплатил братьям аванс в пятьдесят рупий и записал все, что им потребуется для украшения колесницы: пять тысяч желтых хризантем; четыре тысячи зеленых кустиков; две тысячи красных олеандров; двести тонких бамбуков, расщепленных особым образом, чтобы можно было укрепить их вокруг возвышения, на котором будет стоять фигура Кришны, и воткнуть в них цветы; и семнадцать охапок банановых листьев, разрезанных на тончайшие полосы, чтобы привязывать ими цветы. Кроме того, братья просили еще тысячу роз, двадцать мер жасминных бутонов и готовые букеты и гирлянды, которые надлежало разместить согласно их указаниям. Последние можно было прислать к шести часам, но хризантемы должны быть доставлены к одиннадцати. Братья приезжали десятичасовым автобусом, который останавливался у базара; будучи знаменитостями, они рассчитывали, что их будут встречать. Я один знал их в лицо; это означало, что мне предстояло ждать их на остановке.

Кроме того, мне надо было зайти в цветочный магазин в дальней части Базарной улицы и поговорить с его владельцем, который поддавался только моему влиянию. Он, в свою очередь, зависел от поставщиков из ближайших садов. Мы забирали все цветы, какие привезут в город в этот день; цена на цветы для обычных покупателей резко подскочила.

Я должен был убедиться в том, что флейтист и барабанщик, живущие недалеко от типографии, появятся вовремя. Наш главный флейтист играл на флейте, богато инкрустированной серебром, а барабанщик носил на шее золотое ожерелье и бил в барабан наконечниками из слоновой кости. Они тоже были знаменитостями и рассчитывали на внимание со стороны устроителей, которых представлял я. Их приглашали во все города Южной Индии на свадьбы и храмовые праздники; они снизошли до нас, потому что в нашем городе празднество такого размаха устраивалось впервые. Они жили на самой окраине города, в последнем

доме по Элламанской улице, но так как они состояли в родстве с цирюльником, чей дом выдавался на Кабирский переулок, нам удалось оказать на них давление и заручиться обещанием, что в три часа дня он доставит их в храм.

Мы готовили угощение для гостей на широкую ногу. Богу Кришне мы собирались предложить рис, приправленный кардамоном и кокосовым орехом, а потом раздать его толпе, которая пойдет за процессией. Один из торговцев пожертвовал нам нужное количество риса, а также кокосовые орехи, кардамон и все прочее. Взамен он просил только об одном: если перед собравшимися будут произносить речь, пусть упомянут в ней его лавку. При храме была кухня; туда притащили огромный котел и взгромоздили его на очаг, в котором пылало с полтонны дров. У огня хлопотали четыре профессиональных повара; из банановых листьев было приготовлено несколько тысяч тарелок — в них будет разложен сладкий рис и роздан собравшимся. А потом — фонари и керосиновые лампы для освещения храма и процессии, не говоря уже о факелах, пропитанных маслом. И еще фейерверк...

Весь город был вовлечен в нашу затею. Глава муниципалитета согласился председательствовать на празднике, в результате чего все городские власти стали к нам чрезвычайно внимательны. Улицы были подметены и политы, и разрешение на шествие нам выдали без промедления. Напротив крытого дворика храма мы воздвигли навес и сцену, на которую поднимется наш мэр (он любил, когда его звали мэром), чтобы поразглагольствовать перед посвящением. Все эти сложные задачи подготовки общественности и храма к торжеству взял на себя Сен; целую неделю он ни на минуту не покидал территории храма, работая там днем и ночью. Ему удалось получить себе в помощь юных добровольцев из школы и колледжа миссии Альберта, которых он гонял по всяким поручениям. Навес был сделан из листьев кокосовой пальмы и бамбука; Сен проследил за тем, чтобы он был украшен как следует; мэра он крепко держал в руках, написав для него заранее речь.

Сен также позаботился о том, чтобы на празднике были фотографы и газетные репортеры. К. Дж., наш специалист по газированной воде, открыл киоск у ворот храма и сказал, что откупорит тысячу бутылок бесплатно, а дальше будет продавать свой напиток всем собравшимся в храме за полцены. Три человека пожертвовали нам каждый по пятьсот рупий и ждали, что я заеду за ними на машине, хотя один из них жил в Новом районе, другой в парке Ганди, а третий на улице Лоули. К счастью, я заручился поддержкой Гаффура, который превратил свой «шевроле» выпуска 1927 года в такси и вечно стоял у фонтана.

— В любое время, в любое место,— заверил он меня.— Эта машина ваша.

Я должен был только залить в бак бензин и заплатить ему десять рупий в конце дня.

— Начнем с самого важного,— сказал я.— К тому же я должен быть в храме в три часа.

Доктор Джоши, врачеватель нашего слона, живущий за Наллаппской рощей, просил меня прислать за ним машину. Не забыть бы взять шесть бутылок розовой воды и мазь из сандалового дерева, напомнил я сам себе. Словно волны, набегающие на песок, возникали в моем уме все новые и новые дела. Да, нужно оставить кого-нибудь у автобусной остановки, чтобы, когда приедет Муту со своими односельчанами, проводить их в храм. Все было важно, все требовало немедленного исполнения.

Я бросил все, промчался через типографию, открыл черный ход, перешел улицу и вошел в свой дом. Сегодня сходить к реке я не успею. Я направился прямо в ванную, разделся и стал лить себе на голову холодную воду из бака, приказав через дверь жене:

— Принеси мне полотенце и чистую одежду.

Она просунула полотенце в полуоткрытую дверь. Спустя минуту я закричал:

— Я забыл побриться, принеси мне бритву и зеркало. Я побреюсь здесь.

Она убежала исполнять мою просьбу. Вскоре в ванную вошел мой сын, держа в руках зеркало и бритву. Я набросился на него:

— Я не позволяю тебе брать бритву в руки.

— Меня мама попросила.

Мне нечего было ему на это возразить. Я позвал жену и сказал ей:

— Больше никогда не позволяй малышу брать бритву.

— Ему очень хотелось отнести ее тебе.

— Это не оправдание,— сказал я.— Ты должна следить за ним.

— А что я, по-твоему, делаю? — спросила она.— Но сейчас я разогреваю тебе завтрак; ты ведь знаешь, какой ты поднимешь шум, как только выйдешь из ванной.

— Сегодня у меня нет времени для ссор.

Через четверть часа я уже выскочил из дома, преображенный после еды и мытья.

— Постарайся прийти в храм к пяти,— сказал я, прощаясь с женой.— Возьми с собой Бабу. Я оставлю вам хорошие места. Вы сможете вернуться домой, а потом снова выйти перед шествием. Украшено все будет великолепно... Приходите и приводите с собой соседей.

И я убежал. Перешел через улицу — и уже я в типографии. Приглашал жену я без энтузиазма — не лучше ли ей оставаться дома ввиду предупреждения Ранги? Итак, начнем... Если я займусь делами по очереди и буду уделять каждому не больше четырех минут, тогда я смогу их все закончить и поспею в храм к приходу мэра. Но... но сначала нужно выяснить, что там затеял Васу, а тут, кроме него, мне никто не поможет. Я задержался на мгновение, чтобы просмотреть образцы, принесенные из переплетной мастерской, и, не давая себе времени на размышления, направился к Васу. Я знал, что стоит мне задуматься, и я найду какой-нибудь предлог избежать встречи; а между тем от моего разговора с Васу зависит жизнь тысяч мужчин и женщин, превыше всего — жизнь бедного Кумара, который был утехой всей нашей округи!

Мне нужно было подготовиться к этой встрече. Я забежал на минутку домой и попросил жену упаковать мне кое-какую еду, которую она приготовила, а затем отправился к Васу. Я торопился, чтобы не дать себе остыть. Я обошел типографию с улицы. Пока я не завернул за угол, меня не покидала надежда, что джипа у дома не будет. Но он стоял во дворе. Я на минуту замедлил шаги у входа на лестницу, заметив, что штукатурка на стенах облупилась. Нужно этим заняться, подумал я, и мне стало больно при мысли, что эта часть дома практически мне уже не принадлежит. На нижней ступеньке все еще стояло чучело гиены. На гиен сейчас никакого спроса, отметил я про себя. Удава на перилах не было, но на ступеньках стоял крокодил, гигантская ящерица и еще какие-то существа, в мертвом виде удивительно похожие друг на друга. Я поднялся по лестнице, стараясь производить как можно больше шума. Было около одиннадцати часов утра, и я знал, что Ранги там уже нет. Я остановился на площадке и крикнул:

— Васу, можно войти?

Я не постучал в дверь, так как боялся, что это может рассердить его. Где мне взять на это сегодня время? Надеюсь, они не забудут про розовую воду... Все эти мысли пробежали у меня в голове, пока я ждал ответа Васу.

Дверь отворилась...

— Какая честь! — воскликнул он саркастически.

Я вошел, уселся на железный стул и приступил к разговору, хотя где-то в голове у меня стучало: разве у меня есть на это время? Розовая вода и мазь из сандалового дерева... Новый район и парк Ганди... и прочее, и прочее.

Мы избегали друг друга с тех пор, как я попросил у него отчета в собранных средствах. Сейчас мы вступили во вторую фазу нашей ссоры. В прошлый раз он сам искал примирения; теперь этим занялся я. Сердце мое преисполнилось гордости: я приносил эту жертву во имя бога и родины. Если мое смирение и покорность могли спасти человечество от уничтожения...

Я сказал:

— Васу, у меня сегодня ни на что нет времени. Как вам известно, забот сегодня уйма, но я пришел, чтобы лично пригласить вас на наш праздник.

Он принял мои слова холодно и даже не поблагодарил за приглашение. Он ничего не отвечал. Я огляделся: комната снова была завалена шкурами, чучелами, упаковочными материалами и мешковиной. В углу я заметил маленького тигренка.

Я постарался смягчить Васу и сказал:

— Какой хороший тигренок!

Он взял его в руки и поднес ко мне.

— Кто-то нашел его прямо посередине дороги, он убежал от...

— ...своей матери?

— Будет искать его, конечно. Я был занят другими делами и смог им заняться только на прошлой неделе.

— Вы могли бы оставить его в живых и вырастить...

Мне хотелось польстить ему.

— Кто? Я? Нет. Всю жизнь я пытаюсь показать вам разницу между директором зоопарка и чучельных дел мастером, а вы все не понимаете!

Он произнес это с обидой, будто я хотел причислить его к низшей категории людей. Во всяком случае, с мертвыми животными справляться легче. Никаких осложнений с домовладельцем...

Я почувствовал гордость от того, что он все еще признает меня хозяином этого дома и участка земли, на котором он стоит. Васу и без тигра был тяжелым жильцом; я высказал такое предположение только для того, чтобы порадовать его. Надеясь еще больше польстить ему, я сказал:

— Детеныши всегда так милы. Мне тоже хотелось бы иметь такого малютку дома.

— Это была самка,— поправил он меня.

— До какого возраста они безопасны?

— Что?

— До какого возраста тигра можно держать дома?

— Пока он не начнет слизывать кожу с рук,— сказал он.— Откуда мне знать? Я ведь не директор зоопарка.

Мне захотелось сказать что-нибудь неприятное о директорах зоопарка, этой чудовищной разновидности людей, которых он так ненавидел.

— Очень странная профессия... Я бы ни за какие богатства не согласился на такую должность.

Он поставил тигренка на табуретку передо мной. При мысли о том, что у него поднялась рука на такого малыша, я содрогнулся.

— Правда, милашка? Сделать его было потруднее, чем взрослых. Как ты думаешь, сколько я за него прошу?

Задача была нелегкой. Если я назову слишком маленькую сумму, он может разозлиться. Если же заломлю фантастическую цену, он может догадаться, что я хитрю. Я задумался. Пока мозг мой лихорадочно

искал выхода, я искоса бросил взгляд в окошко, выходящее на улицу. Да, фонтан легко можно взять на мушку. От фонтана дальше по улице — поворот к Лоули, он мог целиться куда захочет в этом периметре.

— Куда это ты смотришь? — внезапно спросил он.

— Никуда. Я всегда смотрю вдаль, когда считаю в уме... Я размышлял над вашим вопросом. Если вы запросите пять тысяч рупий, как вы мне однажды говорили...

— А-а, это я просто так спросил... Не думай об этом,— сказал он и, отнеся тигренка на прежнее место, прикрыл его лоскутом.

Но от меня отделаться было не так-то легко. Я не обратил внимания на его слова.

— Около двух тысяч? С ним ведь пришлось как следует повозиться...

— Ты прав. Немножко меньше. Я никогда не назначаю круглых цен. Потребую за него тысячу восемьсот двадцать пять рупий, не считая упаковки.

Я должным образом выразил свое восхищение его деловой смекалкой и, поговорив еще немного в том же духе, перешел к делу.

— Почему бы вам не пойти со мной в храм к трем часам?

— На ваш дивный праздник? Нет уж, хватит с меня всех этих глупостей.

— Совсем недавно вы с удовольствием предвкушали его!

— Вот поэтому-то я и хочу позабыть о нем. Оставь меня в покое и веселитесь там без меня.

Он все еще ни словом не упомянул о собранных деньгах. Нет, это ему так просто не пройдет. Впрочем, сейчас заниматься такими вопросами было не время. Позже времени будет достаточно — после сегодняшней ночи, когда слон благополучно вернется к Муту. По правде говоря, мне хотелось заверить его, что я пришел к нему не за деньгами.

— Все будут спрашивать, почему вас нет на празднике,— сказал я.— Вы так много для нас сделали.

— Мне пришлось выложить две тысячи рупий из своего кармана. Ты и понятия не имеешь, от скольких заказов я из-за вас отказался. Время — деньги. Я не могу жить, как кое-кто из твоих друзей.

— Не будем говорить об этом,— сказал я.

— Кто ты такой, чтобы приказывать мне молчать? — вскричал он.

Над нами нависла опасность новой ссоры. Я не хотел терять голову, а вместе с ней и возможность привести его на праздник и тем самым спасти слона. Как мне казалось, это была единственно возможная тактика. Однако сколько я ни повторял приглашение, он снова и снова отвергал его. Наконец он сказал:

— Меня тошнит от всей вашей компании! Ты никак не хочешь этого понять. Не знаю, почему ты приходишь в восторг от стихоплета, одержимого моносиллабической манией? Подумать только: собрать такую толпу и выбросить на ветер столько денег и времени! Будь у меня в руках власть, я бы запретил такие праздники, как бесполезную трату национальной энергии!

Мне хотелось сказать ему, что он может не показываться на празднике, если ему он не нравится, но я не мог себе этого позволить. Во имя бога и своей страны я решил до конца испытать свое терпение. Он сердился и вел себя оскорбительно. Я же все думал о том, как бы заверить его, что в ближайшее время никто и не собирается говорить о собранных им деньгах. Я сказал:

— Васу, я пришел к вам как к другу. Я думал: вот будет весело, если вы пойдете с нами на праздник. Мы вместе на все посмотрим и посмеемся — словом, вы понимаете... Может, вы боитесь, что мы спросим вас о деньгах...

— Кто? Я? Боюсь? — он захохотал дьявольским смехом.— Нужна сотня таких, как ты, чтобы я испугался...

Не знаю, что он имел в виду, но я засмеялся, сделав вид, что шутка мне очень понравилась. Я взглянул на часы. Наша беседа продолжалась уже три четверти часа, а я все еще не упомянул о самом главном. Но как это сделать? Как заговорить с ним об этом, как взять с него обещание, что он не станет стрелять в слона?

Я вынул из портфеля рисовый пирог и сладости и положил пакет перед ним.

— Да, чуть было не забыл,— сказал я.— Я принес вам угощение. Увидел дома и подумал, что вам это может понравиться.

— Что это? — спросил он. Открыл пакет и поднял брови.— Решил взять меня добром?! Что ж, давно пора. В первый раз от тебя такое вижу. Что ж, пока ты не передумал...

Он положил кусок пирога в рот, пожевал с критическим видом и сказал:

— Неплохо, но скажи тому, кто готовил, что перец надо жарить подольше, прежде чем класть его в рис... Во всяком случае, лучше, чем ничего...

Он сунул в рот весь кусок и разом проглотил его, как нечто, полагающееся ему по праву.

Я немного расстроился оттого, что он так спокойно принял мое угощение. Правда, сейчас не время было об этом думать. Особенно обидно было то, что он не счел даже нужным, хотя бы из приличия, похвалить мою жену. Он только сказал:

— Если хочешь попробовать настоящую стряпню, пойди...

И он назвал какое-то место, о котором, кроме него самого, никто, конечно, не знал.

— Это приготовила моя жена,— произнес я, стараясь предупредить какую-нибудь гадость, которую он мог сказать.

— Современные женщины не умеют готовить,— отвечал он.— Они, собственно, ничего не умеют...

Мне не хотелось, чтобы он развивал эту тему — того и гляди, скажет еще что-нибудь о моей жене. В отчаянии я искал, на что бы перевести разговор. Внезапно я решился:

— Васу, я пришел к вам с просьбой: не причиняйте вреда нашему слону.

— Как можно причинить вред слону? Разве ты не знаешь, что даже если ткнуть его шилом, оно сломается, и только? А вообще, что это ты мне говоришь?

Это был уже вызов. Он вскочил с койки: моя просьба взволновала его. Он старался сохранить спокойствие, но я видел, что он рассердился.

— Интересно, кто это тебе наболтал.

Он зашагал по комнате, на секунду задержался у окна, глядя, как мне показалось, на фонтан у базара.

— Может, эта сука тебя предупредила?

— Какая сука?

— Эта женщина, Ранги,— сказал он с сердцем.

— Кто такая Ранги? — спросил я.

— Нечего притворяться, что ты ее не знаешь! — закричал он.— К чему этот цирк? Я ей голову сверну, если выяснится...— Он не докончил фразы.— Хорошо, предположим, я решил застрелить этого слона. Что ты можешь сделать?

Отвечать было нечего. Я только спросил:

— Что вам этот бедный слон сделал?

— Тебе никогда не приходило в голову, насколько повышается ценность слона, если он мертв? Во-первых, его не надо кормить. Во-вторых,

на нем можно заработать тысяч десять. Клыки, если я не ошибся в расчетах, должны весить фунтов сорок, это, значит, восемьсот рупий. У меня уже есть заказ на ноги, отделанные в виде подставки для зонтиков. А каждый волосок из его хвоста можно продать за двенадцать ан на кольца и браслеты. Сейчас они в моде, не будем спорить с женщинами. Прежде всего придется выдернуть волосы и сложить их отдельно, пока кровь не остыла; потом клыки и ноги с когтями — прекрасное животное в этом отношении! Что ни возьми, все у него ценно. У меня уже есть запросы из Франции, Германии и один из Гонконга. Что еще человеку надо? Один слон — а потом я целый год могу ничего не делать!

— Почему бы вам не застрелить какого-нибудь слона в джунглях?

— В джунглях! Я им покажу, что буду стрелять где хочу. Я проучу этих лесников!

«Странный он выбрал способ проучить лесников»,— подумал я.

— Застрелите дикого слона,— неуверенно предложил я,— никто вам и слова не скажет.

— Не беспокойся, этот будет достаточно дикий...

— На что вы намекаете?

— Вот посмотришь,— сказал он.— Вы еще меня поблагодарите за услугу. Этот ваш Кумар уже взбесился, только никто из вас этого не замечает. Ты видел его глаза? Они у него красные, глазки-то! А это значит, что при малейшей неосторожности он может выйти из себя...

— Какой неосторожности? — спросил я.

— Откуда я знаю? Слоны опасные животные. Все что угодно, любая малейшая неосторожность...

Я забеспокоился. Что это он задумал? Как он собирается его рассердить?

— Вы что, хотите его раздразнить? — спросил я прямо.

Он только насмешливо захохотал мне в ответ.

— Мой мальчик, ты слишком любопытен. Подожди и все узнаешь! Ждите и когда-нибудь обрящете,— добавил он на библейский манер.

— Какие бы ужасные вещи вы ни задумали,— сказал я,— помните, что там будут тысячи людей: мужчины, женщины и дети, впряженные в колесницу.

— Пусть разойдутся по домам в полночь, как сознательные граждане. До полуночи им хватит времени на веселье.

— Кто вы такой, чтобы указывать, когда им разойтись по домам?

— Успокойся, успокойся, не надо сердиться. Пусть уходят или остаются, это их дело. Но если слон взбесится...

Он задумался.

— В панике могут погибнуть люди,— сказал я.

— Это ты говоришь, а не я. Я над этим и не задумываюсь. У тебя мрачный взгляд на жизнь.

Спустя минуту он добавил:

— Слона мне обещали, когда он умрет. У меня есть письменное обещание.

— Кто вам его обещал?

— Почему я должен перед тобой отчитываться? Ты к этому делу вообще никакого отношения не имеешь. Что для тебя этот слон? Он тебе не принадлежит. Я не обязан тебе все рассказывать. Я человек независимый. Уведи его, запри, если хочешь, меня это не касается. Зачем ты пришел ко мне с разговорами? Убирайся отсюда! Займись своим делом!

Отвечать было нечего. Я весь дрожал от волнения и беспомощности. Я не решался настаивать, боясь, как бы он не ударил меня.

— Васу, вы ведь живой человек,— взмолился я.— У вас, как и у всех, есть сердце. Я уверен, что вы только пугаете нас.

Он засмеялся, видимо, наслаждаясь моим унижением.

— Хорошо, думай обо мне что хочешь. Я не возражаю... Сказать тебе, в чем твое горе? Ты сентиментален. Меня тошнит, когда я вижу мужчину, разводящего, словно старая баба, сентименты. Я люблю людей с научным мировоззрением.

— Что в вашем ужасном плане научного?

— А-а, видишь? Стоит тебе произнести слово «ужасный», и ты уже ничего больше не помнишь. Собственные слова закрывают от тебя суть дела. В стрельбе нет ничего ужасного. Спускаешь курок, из ружья вылетает пуля, а на другом конце ее принимает какой-то объект. Все очень просто: прием и посылка. Когда-то я был такой же щепетильный, как и ты, но Хуссейн просветил меня. Он, бывало, говорил: для того чтобы приобрести широту взглядов, нужно сначала полюбить что-то, чего не любишь. Это обязательно для научного мировоззрения.

— Может, это и наука, но только объект на другом конце вовсе не желает падать. Вам это никогда в голову не приходило?

— Откуда ты знаешь? А что прикажешь делать со взбесившимся животным? Разве публику не надо защищать?

— Кумар не такой,— возразил я слабо, чувствуя, как бессмысленно пытаться переубедить этого человека. Но я все еще не хотел сдаваться.

— Ненаучно! Ненаучно! — закричал он.

— Какие у вас основания для такого заключения?

— Обычное поведение животного — это одно, а необычнсе — совсем другое. Когда именно животное перейдет границы, известно только тем, кто специально занимался этим предметом. Если бы ты напечатал мою книгу о диких зверях, ты бы кое-чему научился. Я посвятил две главы вопросу о поведении животных... Но ты предпочел заниматься моносиллабическим вздором.

Я проглотил просившуюся мне на язык фразу о «гейдельберге» и примирительно сказал:

— Я возьму ее завтра и напечатаю.

— Не верю я твоим обещаниям,— заявил он.— Ты что, думал, я буду ждать до бесконечности! Я отдал ее в другое место.

Я почувствовал укол ревности.

— Здесь, в нашем городе? Не знаю, кто здесь может ее напечатать.

Он засмеялся и сказал:

— Послушай, я уделил тебе массу времени, больше не могу. Придется тебе уйти. Сегодня у меня много дел.

Я содрогнулся, поняв, что под этим таится.

Разговор с Васу зачеркнул всю радость, которую я испытывал при мысли о празднике. Я ждал его долгие дни и недели, а теперь у меня было такое чувство, будто я накликал беду на свою голову, да и на головы множества людей. Я охотно отменил бы торжество, если бы это было возможно. Но мы уже катились под гору, и остановить это движение было невозможно.

Я добрался до храма на Винаякской улице только в четыре часа. Мужчины, женщины и дети заполняли улицу и двор храма. Кое-где Сен отгородил бамбуковым барьером проход, чтобы мэр и его свита могли пробраться сквозь толпу. Он был одет в парадное дхоти, плечи его окутывал алый шелк, а лоб был разукрашен священным пеплом, сандалом и киноварью. В этом священном гриме он был почти неузнаваем. Поэт же по случаю торжества нацепил на себя ярко-розовую рубаху навыпуск, на которую было больно смотреть — она напоминала мне об этикетках напитка К. Дж.

К. Дж. расставил бутылки со своей подкрашенной водичкой на деревянном возвышении; их раскупали нарасхват. Поскольку он не оговорил заранее, когда будет бесплатное угощение, он мог со спокойной совестью

загребать барыши. Шум стоял оглушительный. У входа в храм выросло несколько лавочек, на подносах лежали бумажные игрушки, жареные орехи, красные и зеленые петушки на палочках.

Вся задняя половина храма была наполнена дымом, проникавшим сюда из кухни, где готовилось гигантское угощение. Несколько жрецов копошились в алтаре, украшая изображение Кришны цветами и зажигая светильники. Кумар был привязан цепью к колышку под деревом в конце крытого входа в храм. Вокруг него стояла толпа ребятишек, а он с молниеносной быстротой пожирал груды сахарного тростника, которым его угощали. На спине у Кумара примостился погонщик с мемпийской вершины; к вящему удовольствию ребятишек он расписывал лоб слона красными, белыми и зелеными узорами. Погонщик уговаривал их:

— Перестаньте шуметь! Вы нам мешаете. Кумар не услышит меня, если вы будете шуметь...

Он так отмыл и натер клыки Кумара, что они сверкали на солнце. Он украсил их медными кольцами и с радостью сообщил мне, что ему обещали дать на этот вечер золотые налобные украшения для слона и парчовое покрывало. Слон, казалось, наслаждался всем этим и был в отличном расположении духа.

Сердце мое упало при виде этого счастливого животного. Возле него стоял доктор Джоши и поглаживал его по хоботу. В спешке я забыл о своем обещании прислать за ним машину, но он все же как-то приехал. Я протолкался через толпу зевак и подошел к нему. Мне хотелось извиниться за свою забывчивость. Однако, завидев меня, он сказал:

— Простите, что я не дождался вас. Мне надо было приехать в город по делу, и я не стал возвращаться обратно.

— Ничего, ничего, доктор. Я очень рад видеть вас. Как вы находите Кумара?

— Он в отличной форме, по-моему...

— Вынесет ли он эту толпу и шум?

— Конечно. А на что еще он, по-вашему, годен? Вот увидите, он будет чувствовать себя великолепно в этом окружении.

— Я боялся, не испугают ли его фейерверк и оркестр.

— Ну, что вы! Только надо следить, чтобы искры от факелов или фейерверка не попали на него. Некоторые слоны пугаются, когда огонь подступает к ним слишком близко. Следите за факельщиками, а об остальном не беспокойтесь.

— Как вы думаете, он может взбеситься, если что-нибудь случится?

— Почему вы об этом спрашиваете? — удивился доктор.

— Я слышал, что слон может броситься на толпу...

Он посмеялся над моими страхами.

— Не говорите никому о своих опасениях. Люди могут испугаться, а в такой толпе это будет действительно страшно.

Мы поглядели на окружавшее нас столпотворение. Малейшего слуха было бы достаточно, чтобы началась свалка. Раздачу жертвоприношений предполагалось провести после шествия, когда мы вернемся в храм. Значит, большинство останется до конца. Был только один способ избавиться от толпы: как можно скорее раздать сладкий рис. Я нашел главного жреца храма и спросил, можно ли это устроить.

Он, не задумываясь, ответил.

— Нет. Жертвоприношения будут сделаны после службы, в одиннадцать часов. Как можно раздавать до этого рис?

Я был в смятении. Меня мучила мысль, как спасти жизнь этих людей, пришедших сюда поразвлечься. Маленькие девочки были наряжены в яркие юбочки, женщины украсили волосы цветами и драгоценностями, мужчины надели свои парадные рубашки, дхоти и шелка. Все они погибнут сегодня ночью, когда разъяренный слон начнет топтать толпу. Моя

жена и сын тоже были где-то среди этих людей. Я не мог предупредить даже их. Воздух был напоен запахом тысяч роз и жасмина, украшавших колесницу.

Несмотря на микрофон и громкоговорители, речь мэра потонула в шуме голосов. Этой частью торжества занимался журналист, а я держался подальше от сцены. Издалека я видел, как поднялась ярко-розовая фигура поэта и с почтением преподнесла переплетенную в шелк книгу жрецу. Толпа недвусмысленно давала понять, что собралась сюда не для того, чтобы слушать речи. Флейтист и барабанщик устроили оглушительный концерт. Жрец возлагал приношения у ног золотых изображений Кришны и Радхи; Ранги танцевала. Она закуталась в потускневшую парчу, на голову и шею надела блестящие украшения и размахивала руками перед золотыми статуями богов. Мне хотелось поговорить с ней. Нужно было спешить. Однако было бы непристойно подойти к ней, толпа могла меня освистать. Я подумал, не подослать ли к ней какого-нибудь мальчишку, но отказался от этой затеи: если ему захочется позабавиться, он может выставить меня на посмешище перед всей толпой. Все это сборище только и высматривало, за счет кого бы поразвлечься.

Да и о чем мне было с ней говорить? Я и сам не очень-то себе это представлял. Мне не подобало иметь с ней общие тайны. Если об этом узнает Састри... Не знаю, что бы он сделал; возможно, отказался бы от меня и работы в типографии. И все же мне хотелось привлечь к себе ее внимание и что-то предпринять. А что именно, я не знал. Лишь временами я видел ее в просветы между головами. Она так трясла руками и ногами, что встретиться с ней взглядом было решительно невозможно. Все же я протиснулся через толпу вперед, чтобы стать к ней поближе. Запах благовоний и камфары, мерный голос жреца, шум толпы внезапно ударили мне в голову. Я не спал всю ночь, печатая последние страницы. После всего этого напряжения наша затея показалась мне совершенно пустячной. Я вспомнил про поэта, нарядившегося в ярко-розовую рубаху... Дурак, неужели он не мог выбрать наряда, более подходящего для такого случая?.. Почему-то мне было неприятно думать о поэте и волнениях, которые я из-за него претерпел.

Бог Кришна был великолепно разукрашен. На шее у него висела гирлянда цветов, а на груди сверкал бриллиантовый подвесок. Он был закутан в шелк и золотые кружева, в руках он держал флейту. Рядом с ним стояла его молодая жена — золотая статуя, облаченная в синий шелк и сверкающая бриллиантами. Робкая новобрачная... Флейтист надул щеки, в воздухе зазвучала «Калиани Раг» — мелодия, так прелестно звучащая в этот час.

Храм был старый; его построили на пожертвования общины почти столетие назад, когда мой дед и разные другие люди основали здесь поселение; за храмом до самой реки шел тогда лес. Сейчас от леса ничего не осталось, на его месте беспорядочно толпились жалкие лачуги с крышами, поврежденными ветром и временем. В них жили, в основном, ткачи, ткацкие станки стояли вдоль всей улицы... Но храм, с его башней, золотым шпилем и резными колоннами, все еще получал пожертвования.

Группа мужчин пела; невнятно и вразброд повествовали они об истории Кришны и Радхи, сопровождая своим пением танец Ранги, поясняя ее жесты и покачивания. Несмотря на все несовершенство исполнения, песнопение и благовония успокоили и убаюкали меня: на минуту я забыл про все свои волнения. Мне даже странно было вспомнить о Васу. Ему здесь не было места. И мне сразу стало легче от этой мысли. Справа и слева, сзади и спереди ко мне прижимались люди, которых я

ни разу в жизни не видел. Я вел уединенный образ жизни, мне и в голову никогда не приходило, что в нашем городе столько разных людей — бородатых, бритых, опрятных, грязных; женщин — элегантных, соблазнительных, толстых, как бочки, грубых; и детей — тысячи детей, одетых, раздетых, растрепанных; они играли в прятки, вертелись под ногами взрослых, визжали от радости, пробивались вперед и хватали фрукты, приготовленные для жертвоприношения богам. С полдюжины взрослых пытались отогнать ребятишек и выставить их за пределы главного зала храма. Их оттеснили на веранду и крытый двор, но и тут от них решили избавиться, так как они мешали слушать разглагольствования мэра. А потому их решительно отправили обратно в храм; ребятишки с шумом вбежали туда, наслаждаясь погоней.

Все это время сквозь шум звучала музыка. Впрочем, я ничего не слышал: на время я обрел спокойствие духа. Вид статуи Кришны, звуки музыки, ритмический гул цимбал, запах жасмина и благовоний сделали меня равнодушным ко всему. Слон? Кто может убить слона? Мне вспомнилась легенда о мифическом слоне Гаджендре: он вошел в озеро, где его схватил за ногу огромный крокодил. Слон затрубил в отчаянии, попытался вырваться и, наконец, воззвал из последних сил к богу Вишну, который немедленно явился и дал ему силы освободиться из челюстей крокодила и выбраться на берег... Так вот, сказал я себе, еще наши предки доказали нам, что жизнь слона охраняется и никто не может причинить ей вреда. На сердце у меня стало легче. Придет время, и слон обретет нужную силу. Жрец помахивал камфарным светильником перед золотыми изображениями; дрожащие отсветы оживляли их лица; ведь бог Кришна в самом деле был воплощением Вишну, который спас Гаджендру; он снова придет на помощь животному, если от его имени я...

Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я испустил пронзительный вопль, заглушивший крики детей, музыку и шум.

— О, Вишну! — заорал я.— Спаси нашего слона! Спаси этих невинных мужчин и женщин, которые потащат колесницу. Ты должен прийти нам на помощь!

Оказывается, я так вопил, что вся толпа в храме и на улице замерла. Мэр прервал свою речь, так как мой голос перекрыл даже громкоговорители. Ранги застыла в разгаре своей пляски. Меня тут же окружила толпа сочувствующих. У меня потемнело в глазах от духоты и давки.

— Это вы так закричали? Речь мэра...

Это был Сен — видно, он ни о чем не мог думать, кроме речи мэра... Он был взволнован и рассержен. Я услышал, как кто-то заметил:

— Этот человек одержим, прислушайтесь к его словам.

На мой вопль сбежались все друзья, которых я тщетно искал в толпе. Муту, владелец чайной, заботливо склонился надо мной.

— Вам лучше? — спросил он.

Мне было не так уж и плохо, только неловко оттого, что я привлек к себе всеобщее внимание.

— Где вы были? — спросил я.— Я вас всюду искал.

Но мне не дали сказать и слова. Какие-то бездельники схватили меня за руки и за ноги, потащили на открытую веранду и принялись обмахивать мне лицо. Ветеринарный врач пощупал мне пульс и сделал укол в вену. Поэт положил мою голову себе на колени.

— Доктор, только не давайте мне слоновую дозу. Я еще ни разу не видел, чтобы вы лечили людей...

Вокруг столпилось множество народу — куда ни погляди, всюду лица: справа, слева, вверху, сбоку; дышащая, сопящая, шумящая людская масса заполнила каждый дюйм свободного пространства. Журналист внезапно рассвирепел и ринулся в толпу с криком:

— Если вы не оставите его в покое, он просто задохнется.

То, что мэр не кончил своей речи, видно, совсем доконало его. Люди расступились.

Мэр с достоинством подошел ко мне. Он наклонился надо мной и спросил:

— Ну как, вам немного полегчало?

— Я совершенно здоров, со мной ничего не произошло. Вы можете вернуться на сцену и продолжать свою речь. Прошу вас, ни в коем случае не прерывайте ее.

Мэр счастлив был услышать, что его словесам придается такое значение. Он зарделся, словно смущенный подросток. Председатель муниципалитета был хозяином конфетной лавочки и только упорным трудом поднялся до своего теперешнего положения. Говорили, что начал он свою карьеру слугой, а только потом купил лавку. Он всегда носил белую гандистскую шапочку, ибо был преданным членом партии Конгресса. Ходили слухи, что он не расставался с нею даже во сне. Полнолицый и розовощекий, он, наверно, поглощал большую часть сластей в своей лавке. Увидев его лицо так близко, я почувствовал облегчение. Вот человек, который может спасти слона!

Я сказал:

— Вы должны защитить слона.

— Какого слона? — спросил он, вздрогнув.

Я объяснил. И подняв голову с розовых колен, сказал поэту:

— Отведите его туда, где привязан слон.

Поэт заколебался. Мэр пропустил мое предложение мимо ушей. Но я не унимался. Мэр, чувствуя на себе взоры всей толпы, решил не ссориться со мной; он быстро повернулся и ушел. Поэт тоже обрадовался, что на него перестали обращать внимание.

Теперь я уже мог сесть. Я понял, что, как ни странно, я получил известную власть над людьми. Они готовы были сделать все, что бы я ни сказал. Мне стало лучше. В эту минуту на сцене появилась моя жена в сопровождении сынишки. Она кинулась ко мне со страшными криками. Мне не понравилась эта волнующая сцена. Я сказал жене:

— Что случилось? Почему ты так себя ведешь? Мне стало немного душно, вот я и пришел посидеть здесь.

— Ты лежал на коленях у дяденьки,— сказал мой сын.

— Просто потому, что они не давали мне встать.

Услышав это, жена разрыдалась и долго всхлипывала.

— Ну, перестань, успокойся, это же смешно... Над нами все будут смеяться. Не надо портить людям праздник... Идите и веселитесь.

Я поднялся на ноги и отошел подальше от толпы, чтобы не мешать празднику. Мне было не по себе оттого, что привлек всеобщее внимание. Я быстро вышел из храма через боковую дверь и зашагал домой. Жена и сын шли за мной следом. Мне горько было, что я лишил их удовольствия, ради которого они пришли в храм. Мой сын не скрывал своих чувств.

— Почему мы так рано ушли домой? Я хочу остаться и посмотреть на праздник.

По дороге мы встретили его учителя, который направлялся к храму, и я вручил ему сына со словами:

— Пожалуйста, не разрешайте ему участвовать в шествии. Он должен к ужину вернуться домой.

— Я приведу его,— сказал учитель.

Мы отошли совсем недалеко, а флейтист уже снова заиграл, и громкоговоритель загудел, перекрывая шум толпы. Я обрадовался. В храме все снова пошло своим чередом.

Глава 10

Придя домой, жена развернула коврик, положила на него мягкую подушку и заставила меня лечь; сколько я ни уверял ее, что совершенно здоров, она и слушать ничего не желала. Она вышла на кухню, чтобы приготовить мне еду и кофе.

— Не ест, не спит, не отдыхает как полагается,— ворчала она.— Бог знает, зачем тебе так себя изматывать!

Разве я мог рассказать ей о Ранги! Это было бы неловко, совершенно невозможно! Объяснить что-либо, умолчав о Ранги, тоже было невозможно. А если жена спросит: «Где и когда Ранги подошла к тебе?» — мне нечего будет ей ответить.

Я решил, что лучше всего ни о чем не думать, дать покой усталым членам и уничтожить все, что поставят передо мной. Во всяком случае, без меня там обойдутся. Из-за того что меня там не будет, ничто в программе вечера не изменится. Все так хорошо налажено и пущено в ход, что остановить события уже невозможно. В том-то и беда: ни Васу, ни жрецы из храма не собирались ничего менять в своих планах. И тот и другие двигались в своих твердо очерченных орбитах так, словно ничто более не существовало и не имело значения.

Подкрепившись пищей, которую мне приготовила жена, я задремал. Видно, я сильно устал от недостатка еды и сна; теперь же, вкусив от этих благ, я начал приходить в себя. Как только я закрыл глаза, меня охватило чувство блаженства: мне казалось, что я плавно плыву по воздуху, словно лежа на мягкой перине. Жена сидела сбоку и обмахивала меня. Она была очень взволнована. Не знаю, что ей там рассказали. Сам я не мог понять, что со мной произошло, когда я так ужасно завопил. На жене было шелковое сари цвета гелиотропа, которое она надевала только в торжественных случаях; очевидно, праздник в храме представлялся ей чрезвычайно важным. Меня очень огорчало, что ей пришлось отказаться от участия в нем.

— Пожалуйста, пойди и повеселись в храме,— сказал я.— Я ведь могу и один побыть. Не беспокойся обо мне.

Но она весело ответила:

— Я пошла только потому, что ты был там.

Мне было приятно услышать это.

— К тому же,— добавила она,— я не люблю, когда собирается столько народу. Бабу это обожает. Он вынул все деньги из копилки, чтобы купить сладостей и игрушек.

— Как жалко, что меня с ним нет. Я мог бы доставить ему массу удовольствия,— сказал я с раскаянием.

— Мы все будем тебе очень благодарны, если ты будешь держаться подальше от толпы,— сказала она.— А теперь поспи немного.

— Почему ты обращаешься со мной, словно с младенцем? — возразил я.

Она не ответила, и я заснул. Проснулся я оттого, что кто-то тихо стучал у меня над головой. Стук прекратился, и я услышал голоса. Потом надо мной склонилась жена.

Через отдушину в столовой пробивался луч вечернего солнца, в нем плясали сверкающие пылинки. Когда я был мальчиком, в отдушине было красное стекло; помню, как меня мутило, когда я видел кроваво-красный отсвет солнца на стене. К счастью, в один прекрасный день красное стекло разбилось — какой-то мальчишка швырнул камень, целясь в поспевавшие в нашем саду манго, но промахнулся. С тех пор стекло так и не заменили.

Жена сказала:

— Это к тебе.

Она была недовольна, что меня побеспокоили. В голосе ее звучало явное неодобрение.

— Какой-то Муту. Похоже, что он из деревни.

Я вскочил.

— А-а, это вы, Муту! Пожалуйста, входите.

Как всегда, на руке у него висел зонт.

— Я хотел узнать, как вы себя чувствуете, и потому пришел. Я сказал хозяйке дома, что подожду, пока вы проснетесь. Зачем вы беспокоитесь? Ложитесь и отдыхайте. Я подожду.

Я запротестовал, но он был непреклонен, и мне ничего не оставалось, как вернуться на свое место.

Я покорно улегся, а он сел на краешек моего коврика, осторожно положив зонт на пол возле своих ног. Он одобрительно огляделся и воскликнул:

— Какой у вас большой дом! Вы занимаете его весь целиком или сдаете часть?

Я откинулся на подушку и с жаром отверг это предположение:

— Никогда не хотел заниматься сбором квартирной платы с жильцов и сейчас не хочу! Гостям мы всегда рады, но не жильцам!

В эту фразу я постарался вложить всю горечь, которую вызывала во мне память о Васу.

— Как сказать,— заявил Муту.— Вреда не будет, если вы немного заработаете на площади, которая вам не нужна.

— Как сказать,— повторил я.— Мне жена не позволит, даже если б я и захотел.

— Вот уж тут ничего не поделаешь,— сказал он.— Лучше всегда следовать советам жены, потому что рано или поздно все мы к этому приходим. Даже злейшие грубияны, мой дядя, например,— худшего грубияна я за сорок лет не видал! — даже он в шестьдесят лет оказался в полном рабстве у своей жены. Если не до шестидесяти, так после шестидесяти в рабство все равно угодишь.

Он пытался меня развлечь — ведь я был больным. И старательно обходил опасные темы, связанные с шествием и праздником в храме.

— Теперь он на все спрашивает у нее разрешения, даже садится и встает по ее команде,— сказал он и захохотал.

Мне стало смешно: я представил себе шестидесятилетнего дядюшку-грубияна, пресмыкающегося перед своей супругой. Я крикнул жене:

— Кофе моему другу!

Услышав это, он запротестовал:

— Достойнейшая, не надо, не утруждайте себя! Я не хочу кофе!

— Не слушай его. Принеси кофе или, если он не готов, свари его,— крикнул я.

Он тоже закричал:

— Достойнейшая, если уж вам приходится утруждать себя, дайте мне стакан холодной воды, просто стакан холодной воды.

— Неужели вы ничего не съедите? — воскликнул я.

— Нет-нет, я ничего не хочу. Я же говорил вам, что ничего не ем вне дома.

— А хотите, чтобы другие пили чай у вас в деревне! — пожаловался я.

— Я никогда к этому не принуждаю,— сказал он.

В дверь снова постучали, жена отворила и вернулась в сопровождении Сена.

— Еще чашку кофе! — закричал я ей вслед.

— Как я рад снова видеть вас здоровым! — воскликнул Сен.— Речь имела успех, несмотря на то что ее прервали. Ну и закричали же вы! Небесам стало жарко!

— К чему вспоминать об этом? — заметил Муту.

— А почему бы и нет? — вскричал журналист воинственно.— Он совершенно здоров. Он и был совершенно здоров. Почему бы человеку и не закричать, если ему хочется? Это свободная страна, хотя наше правительство и пытается опутать нас всякими глупыми правилами и постановлениями!

Когда жена внесла две чашки кофе, в дверь постучали в третий раз и тут же в четвертый — вошел поэт в своем ярко-розовом наряде, а за ним ветеринарный врач. Итак, вся компания была в сборе. Жена приготовила еще кофе. Она не роптала: только бы я был спокоен и не уходил из дому. Ветеринар пощупал мой пульс и воскликнул:

— Превосходно, лучшего и пожелать нельзя! По-видимому, у вас было временное переутомление или еще что-нибудь в этом роде. Может, нервы разыгрались...

— Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо,— сказал я, хоть меня и мучила мысль, что ветеринар незаконно вторгается в область человеческих недугов, заказанную ему.

— Разве вы никогда не замечали: случается, собака вдруг завоет или слон затрубит без всяких, казалось бы, на то оснований? Та же механика у всех живых существ. В нашем институте преподают в течение полугода курс сравнительной анатомии и психологии. У животных и у людей! Только возбудители болезни и дозы лекарств разные, а все остальное одно и то же!

Пока мы беседовали, со стены исчез луч света и над двориком нависли хмурые сумерки. После долгих приготовлений всех этих недель глупо было сидеть на коврике в четырех стенах, когда в храме столько дела. Какая разница между тем, как я себе представлял этот день, и тем, что получилось! Я вздохнул и заметил:

— Всем нам сейчас место в храме!

— Там сейчас нечего делать,— сказал журналист.— Наступил, так сказать, перерыв. Главная служба уже закончилась, стихи прочитаны и посвящены.

— А я все это пропустил,— сказал я горестно.

— Вы немного потеряли,— заметил поэт.— Я так нервничал, боюсь, что никто ничего не понял.

— Все сошло хорошо,— успокоил его Сен.— Кое-кто подошел ко мне, чтобы узнать, где можно достать эту книгу.

— Должно быть, надеялись получить бесплатно!

— Бесплатно или нет, но им придется подождать, пока я снова смогу печатать.

— Пожалуйста, дайте и мне тогда экземпляр,— попросил Муту.

Я пообещал выполнить его просьбу, хотя и не был уверен, читает ли он вообще что-нибудь.

Поэт, немногословный и скромный по натуре, что-то хмыкнул и замолчал. Говорил за него журналист.

— Первым делом я пошлю завтра утром отчет о празднике в тридцать газет, специальный экземпляр в Литературную академию в Дели. Сколько денег они потратили зря: награждали кого попало! Впервые им представится случай воздать должное настоящей литературе. У нашего правительства денег хватает, только они не знают, куда их девать, вот в чем дело! Я им объясню, как это исправить. Я это вписал в речь мэра в весьма сильных выражениях, а он так все и произнес, хоть и конгрессист!

Он засмеялся, вспомнив об этом трюке.

Настала ночь. Мы включили свет. Жена начала готовить ужин. На кухне раздалось позвякивание посуды. Я вспомнил обо всех своих делах и спросил:

— А как цветы?

Меня волновало множество вещей, но они заверили меня, что все в порядке. Затем они спросили, что меня так расстроило. Мне пришлось поведать им о планах Васу.

Они пришли в ярость.

— Кто он такой, этот наглец, чтобы портить нам жизнь? Мы вызовем полицейских, чтобы они отобрали у него ружье!

— Мы вышвырнем его из города!

— Если на то пошло, я собью его с ног молотком!

— А может быть, нам изменить маршрут? — предложил я.

— Зачем? Мы ничего не будем менять из-за этого человека! Мы свернем ему шею, чтобы он смотрел в другую сторону!

— Это невозможно. Маршрут утвержден, мы получили на него разрешение. Сейчас уже ничего нельзя менять.

— А может быть, отменить шествие вовсе?

— Обмануть ожидания тысяч людей, и все из-за этого болвана?

— Нет! Никогда! Мы им займемся. Мы слишком долго терпели!

— Или обойтись без слона?

— Невозможно! Что такое праздничное шествие без слона? Вы же знаете, сколько мы потратили на него!

— Я сам пойду с Кумаром! Посмотрим, что произойдет. Он разумнее любого человека в этом городе.

— Нет-нет, не будем никого хулить,— сказал Сен.

Он выругался, и все с ним согласились.

— Мы пойдем по установленному маршруту. Ничего менять не будем.

Муту вдруг разволновался — он беспокоился за слона. Понизив голос, он сказал:

— Я знал, что тут что-то нечисто. Началось это давно. Помните того портного? Он приятель Васу. Воображает себя совладельцем слона. Я слышал — не знаю, верно ли это,— что он уже получил от Васу деньги и дал ему письмо, где отказывается от своих прав на слона. Ходят слухи, что отравить Кумара пытался Васу.

— Ага! — сказал доктор.— Я подозревал что-то в этом роде.

В великом гневе они вскочили со своих мест, решив взяться всем вместе за Васу. Я не мог их остановить.

Они были решительными людьми. Силу свою они черпали в том, что их было четверо. Сначала, возглавляемые журналистом, они нанесли визит старшему инспектору полиции в его доме на улице Лоули, для чего сели у фонтана в такси Гаффура и подкатили к его дверям. Как выяснилось, он только что вернулся из длительной поездки и собирался расставить на веранде шезлонг, чтобы отдохнуть в нем с газетой. Сен был с ним знаком. Он прошел прямо на террасу и обратился к нему.

Выслушав их жалобу, старший инспектор сказал:

— Откуда вам известно, что он собирается нарушить порядок? Откуда вам известно, что он станет стрелять из ружья, как вы говорите? У него ведь есть разрешение на оружие, не так ли?

— Значит, если у человека есть разрешение на оружие, он может стрелять в кого захочет? Чудесные законы!

Инспектору не понравилось презрительное отношение к законам, и он возразил:

— Как сказать. Не можем же мы отобрать разрешение просто потому, что кто-то боится, как бы он не стал стрелять.

— Значит, вы будете ждать, пока не случится беда?

— Мы ничего не можем предпринять, если у нас нет конкретных доказательств или последствий.

— Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы избежать опасности, угрожающей жизни и собственности?

— Это может сделать только судья, но и он побоится вызвать человека без достаточных на то оснований.

Старший инспектор был человек знающий, сведущий во всех тонкостях закона. Он отказался поехать с ними к Васу, но позвонил начальнику городской полиции.

— У вас все готово к вечернему шествию? Вызовите побольше полицейских для поддержания порядка на улицах. Нигде не должно быть никаких инцидентов и жалоб. Ко мне тут пришли: боятся буйства. Пойдите с ними и поговорите с человеком, который грозится нарушить порядок. Они вас проведут. Встретитесь у фонтана через пять минут.

Он дал подробные инструкции начальнику городской полиции и распрощался с делегацией. Они снова втиснулись в такси и подъехали к фонтану, где их уже ждал начальник полиции в полной форме. Они выскочили из такси, окружили его и поведали о нависшей над городом опасности.

Начальник полиции был человек высокий и тощий, весь перепоясанный ремнями, с серьезным, изборожденным морщинами лицом. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы тут же понять: это человек решительный и суровый, он не потерпит никаких бесчинств.

Он повторил те же доводы, что и его начальник.

— Если у этого человека есть разрешение, он может держать оружие где захочет. Кто у него потребует отчета?

— Но разве ему разрешается стрелять из окна?

— Зачем ему это делать? Какие у вас основания для таких опасений?

Они молчали, а он продолжал:

— Ну, хорошо, посмотрим, что можно предпринять.

Инспектор остался внизу. Предводительствуемые Сеном, они смело поднялись по лестнице (поэт в своей розовой рубахе замыкал шествие) и постучались в дверь Васу. Им было значительно легче от сознания, что внизу находится настоящий, живой начальник полиции, готовый по первому зову прийти им на помощь. Дверь отворилась, из-за нее показалась голова Васу в ореоле темных волос, казавшихся еще темнее на фоне освещенной комнаты.

— Вы хотите меня сейчас видеть?

— Да,— отвечал журналист.— У нас довольно срочное дело.

Васу поднял брови:

— Срочное дело? И все вы ко мне?

Он сосчитал их:

— Раз, два, три, четыре! Четыре человека, и все ко мне!.. Сейчас я никого не хочу видеть. Попробуйте зайдите завтра.

С этими словами он повернулся, намереваясь захлопнуть перед их носом дверь. Дверь отворялась наружу, журналист ухватился за ручку и придержал ее. Васу развеселился.

— А знаете, что я могу схватить всю вашу четверку в охапку и бросить вниз? Вот что я могу сделать, если вас это действительно интересует. Я ведь ясно сказал, что не хочу разговаривать. Зачем же вы настаиваете? Ну, хорошо... Даю каждому по минуте, и еще минуту в придачу. Будьте кратки. В чем дело?

В комнату он не собирался их впускать. Он встал на пороге, преграждая им путь. Они столпились на площадке.

Журналист сказал без всяких околичностей:

— Нам известно, что могут быть неприятности, когда шествие будет проходить по этой улице.

— Если вам это известно, почему вы не пойдете другим путем?

— Это вас не касается. Мы ничего такого не потерпим!

— О-о, мужчины с железной волей! Очень хорошо. Я с вами согласен. Не надо терпеть никаких неприятностей!

— Этот слон принадлежит не нам, а богине из горного храма. Если кто-то попытается ему повредить...— начал Муту.

Но Васу прервал его:

— Знал бы свою чайную, гонял бы в ней мух, а этим делом предоставил бы заниматься другим! Что ты все лезешь защищать слонов?

— Мы знаем, что вы хотите сделать. Не думайте, что мы будем терпеть это безобразие,— сказал ветеринарный врач.— Я Кумара осматривал и знаю его наизусть. Он в прекрасной форме, разумнее любого из нас.

— Ну и что? — спросил Васу.

— Если кто-нибудь попробует его разъярить, ему это не удастся,— вот что я хочу сказать.

— Ах, доктор, может, у вас и есть американский диплом, только вы ничего не понимаете в животных. Разве в Америке есть слоны? Постарайтесь стать государственным служащим, отсчитывайте тридцать дней и получайте свои денежки. К чему вам беспокоиться обо всем этом? Поэт, скажите что-нибудь такое, моносиллабическое... Почему вы молчите? Нехорошо чужими руками жар загребать. Продайте мне книжку ваших виршей, когда она будет готова... Это все? А теперь убирайтесь! Все вместе!

— Нам нет до вас никакого дела. Мы оставим вас в покое. Но и вы,— предупредил его журналист,— оставьте в покое шествие. Это священный праздник. Люди соберутся, чтобы побыть со своим богом...

— Если бог вездесущ, зачем идти к нему шествием?

Журналист пропустил эти слова мимо ушей и продолжал:

— Сотни мужчин, женщин и детей у колесницы...

— При чем тут женщины и дети? Вы все такие рыцари, да? Если мужчины попадут в свалку, почему не могут попасть женщины и дети? Если ты настоящий философ и веришь в переселение душ, тогда тебе все равно, что́ бы ни произошло. Сейчас ты погибнешь, но через мгновение ты снова родишься, тебе будет дано новое — с иголочки! — тело. Кстати, вы знаете, почему у нас так много всяких праздников в стране? Чтобы держать прирост населения в разумных границах. Вы никогда этого не замечали? Например, на праздник Кумбхмэла* собираются тысячи и тысячи людей. Домой же возвращаются далеко не все— глядишь, там холера или оспа или просто потопчут друг друга. Сколько раз храмовые колесницы давили зевак во время празднеств. Вы никогда не задумывались, почему это происходит?

Васу не удалось закончить свои философские разглагольствования, ибо в эту минуту на лестнице показался начальник полиции. Он оттолкнул их в сторону и взялся за Васу.

— У вас есть ружье? — спросил начальник.

— У меня их два,— ответил Васу.

— Покажите разрешение.

Васу открыл шкаф, вынул коричневый конверт и бросил его начальнику. Тот посмотрел его и спросил:

— Где ваши ружья?

Васу указал на ружье на стуле и револьвер на столе. Начальник подошел к столу, взял оружие в руки и внимательно осмотрел.

— Они заряжены? — спросил он.

— Конечно заряжены. Это вам не игрушки.

— Где ваше разрешение на патроны?

---

* Индийский религиозный праздник.

— В том же конверте.

— Когда вы в последний раз произвели выстрел?

— Перестаньте, инспектор, и убирайтесь отсюда. Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Кто дал вам право являться сюда и допрашивать меня?

— Приказ старшего инспектора полиции.

— Ну, а я вам приказываю: убирайтесь отсюда и заберите с собой этих бездельников.

Журналист запротестовал. Муту запрыгал от гнева. Васу сказал:

— Инспектор, вы незаконно ворвались в мой дом. Где приказ, необходимый для входа в частные владения? А ну-ка, давайте сюда приказ! А не то я буду жаловаться на вас, и эти люди будут моими свидетелями. Я дам телеграмму старшему инспектору полиции и министру внутренних дел. Вы думаете, меня можно провести, как всяких там деревенщин и оборванцев, которых вы ловите и запугиваете? С кем вы, по-вашему, разговариваете?

— Успокойтесь, успокойтесь. Я пришел сюда только как друг.

— Нечего сказать, друг! Я вас никогда и не видал!

— Я пришел к вам с просьбой, вот и все.

— С какой просьбой? Не тяните!

— Я хотел предложить: почему бы вам не отдать мне свои ружья на хранение? Завтра вы сможете забрать их из нашего участка.

— Что это вы играете с моим ружьем? — сказал Васу. — Положите его откуда взяли. А ну, живо! Хватит с ним играть...

— Я арестую вас за нарушение общественного спокойствия, посажу под замок на целую ночь, а то и подольше, согласно Указу об охране населения.

Он вытащил свисток и хотел было засвистеть, чтобы вызвать полицейских, которые как раз шли с обходом по нашей улице. Никто из нас не успел и опомниться, как Васу вырвал у него изо рта свисток и швырнул его в дверь. Он пролетел мимо лестничной площадки и упал внизу между удавами и прочими тварями.

Начальник полиции пришел в ярость. Он замахнулся, чтобы дать Васу пощечину. Но Васу вовремя уклонился и прикрыл ладонью лицо, а потом резким, режущим движением тыльной стороны ладони отбил руку начальника и вывихнул ее в кисти. Начальник завопил и отпрыгнул в сторону, словно его обожгло огнем. В другой руке он все еще держал ружье.

— Я сказал вам положить ружье на место. Сделаете вы это или нет?

— Вы мне приказываете! — вскричал начальник полиции.

От боли у него показались слезы.

Васу взял его за плечо, подтолкнул к койке и усадил.

— Отдохните, бедняжка... Нечего браться за дела, в которых вы ничего не понимаете.

Он выхватил у него из руки ружье и отложил его в сторону. Начальник полиции корчился от боли. Васу посмотрел на него, а потом сказал с циничной усмешкой:

— Вы сами ушибли себе руку. Я ничего не делал. Я ни за что никого не ударю. Много лет тому назад я дал клятву этого не делать. Если бы я вас ударил, хотите посмотреть, что было бы?

Он ударил ладонью по железной раме кровати и сломал ее.

Начальник полиции молча смотрел на него.

— Вы знаете, что полагается за нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей? — спросил Сен.

— А вы знаете, что бывает за незаконное вторжение? Не беспокойтесь, мой адвокат этим займется. Ну, а теперь уходите. Я не хочу никого ударить, вы знаете почему. Ах, инспектор, как это вы так ушиблись?

Он еще смеялся над страданиями этого человека!

Ветеринар подошел к начальнику и сказал:

— Вам надо немедленно сделать перевязку. Пойдемте в больницу.

Они все торопились поскорее убраться из этой комнаты.

— Если с людьми или с процессией что-нибудь случится... — сказал Сен.

— Мы знаем, что вы хотите сделать со слоном. Если что-нибудь случится... — сказал Муту.

Все это только развеселило Васу. Начальник поднялся на ноги, бросил на Васу уничтожающий взгляд и сказал:

— Вы у меня за это ответите.

Один поэт постарался улизнуть, не сказав ни слова. Васу схватил его за шиворот, повернул к себе лицом и спросил:

— А где же ваш ангел-хранитель? Пришлите теперь его сюда. Это он направил вас ко мне с вашими дурацкими разговорами. Я знаю...

Пока все это происходило (подробный отчет был позднее представлен мне Сеном), жена уговаривала меня остаться в постели. Я решил, что должен отправиться в храм и взять руководство процессией в свои руки. Услышав об этом, жена пришла в ужас. Она принялась твердить:

— Доктор сказал, что тебе нельзя...

— Какой он доктор! Он может лечить только животных! — возразил я. — Разве можно принимать его слова всерьез?

Но она не унималась.

— Неужели ты не можешь побыть дома хоть один день в году? — молила она.

Она приготовила роскошный ужин. Ей хорошо были известны мои любимые блюда: картофельное пюре с луком, рисовые пирожки, жаренные в масле, соус из баклажан, приправленный кокосовой мукой, огурцы, нарезанные ломтиками, посоленные и приправленные перцем, и многое другое.

Она с таким жаром готовила все это, что я едва-едва остановил ее на десятом блюде. Соблазнительные запахи из кухни распространялись по всему дому. Все это пиршество было своеобразной компенсацией за великолепные украшения из цветов, музыку, огни и праздничные толпы. Сынишка вернулся со своим учителем домой, полный впечатлений от увиденного.

— Колесница вся сделана из жасминовых бутонов, а между ними вставлены электрические лампочки... Папа, папа, я купил тростник для слона! Он прямо выхватил его у меня и съел быстро-быстро! Я купил ему еще, и у меня осталось всего шесть ан. Тогда я купил вот этот свисток.

Он вынул из кармана свисток из тростника и пронзительно засвистел.

— А погонщик обещал прокатить меня на слоне. Раму, мой приятель, говорит, что слона нам только одолжили, а завтра его заберут... Это правда, папа? Давай заведем своего слона для нашего храма. Погонщик показал мне, как надо брать из корзины гирлянду и посвящать ее богу. Он очень умный, папа... Папочка, можно я пойду и посмотрю на процессию?

Жена добавила из кухни:

— Если наши соседи пойдут и если ты обещаешь остаться дома и лежать, я бы тоже хотела посмотреть начало шествия. Потом мы тут же вернемся домой. Мальчик так этого хочет... Неизвестно, когда еще у нас будет такой случай.

— Ну, хорошо, только почему бы и мне не пойти с вами?

— Нет-нет, я не хочу идти,— тут же заявила она.— Это неважно.

Мне было приятно сознавать, что я для нее важнее процессии. Такое случается нечасто: раз в десять лет заболеешь или свалишься с лестницы, и поднимается суета. Неплохо для разнообразия! Ведь устаешь всегда обо всех беспокоиться, все решать и руководить хозяйством.

Я растянулся на коврике, взял книжку с картинками и попробовал почитать Бабу, но он не желал ничего слушать: все болтал и болтал о слоне и о процессии. Рассказам его не было конца: кого он встретил, кто свалился со ступенек, ведущих к башне храма, почему барабанщик внезапно остановился в середине вдохновенной игры — оказывается, он почувствовал, как по спине у него крадется кузнечик. Бабу знал, как это случилось: он сам, оказывается, принимал участие в ловле кузнечика. Потом он поведал мне, как со своим товарищем стащил из-под самого носа жреца бананы, лежавшие на подносе для приношения богу Кришне, и как никто не мог понять, куда они девались. Он торжествующе посмотрел на меня, ожидая, что я оценю его подвиги. Он рассказал мне, как играл с приятелями в прятки под ногами у собравшихся в храме; пока те молились, закрыв глаза, мальчишки проползали у них между ног и щекотали им икры. Я понял, как он мешал тем людям, которые с утра пытались выгнать мальчишек из храма... Еще он рассказал мне, что один из его приятелей ждет удобного случая, чтобы воткнуть слону в бок иголку.

— Никогда этого не делайте,— строго сказал я ему.— Слон запомнит, кто это сделал, и...

Я решил отвлечь его от этих опасных мыслей, взял одну из его книжек с картинками и принялся читать.

— Жил-был однажды...

Но он не слушал. Внезапно он вскочил и убежал в кухню, сказав мне, что проголодался.

Немного спустя жена позвала меня ужинать. Она положила передо мной большой лист банановой пальмы и стала накладывать мне на него блюдо за блюдом, словно я был редким гостем в доме. Она поставила низенькую скамеечку, чтобы я сел на нее, и с удовольствием смотрела, как я готовился воздать должное ее стряпне.

— Почему ты не положишь и себе? Поели бы вдвоем,— предложил я.

Но она отклонила мое предложение. Она решила играть роль хозяйки и угощать меня по всем правилам. Ни одно из моих предложений в тот день не принималось.

Я с удовольствием ел и хвалил ее мастерство. В дверь постучали. Бабу, уже кончивший ужинать, побежал и открыл ее.

— Пришла какая-то тетя, — сказал он.

— Тетя! — вскричала жена, подававшая мне еду. — Должно быть, это наша соседка. Зашла узнать, иду ли я посмотреть на шествие. Скажи ей: пусть войдет и присядет. Я сейчас выйду.

Мальчик холодно возразил:

— Она не тебя спрашивает. Она спрашивает папу.

— Что? Кто она такая? — заинтересовалась жена, внезапно нахмурившись.

Я затрепетал и пробормотал с наигранным удивлением:

— Спрашивает меня? Ха-ха-ха! Это, наверное, ошибка.

Жена поставила сковородку на пол и вышла из кухни.

— Посмотрим... — прошептала она.

Бабу побежал было за ней, но я остановил его:

— Мальчик, подай мне воды.

Когда он поднес мне кувшин, я спросил его шепотом:

— Кто там? Какая она?

— Не знаю. Она танцевала в храме.

Так я и знал! Мои худшие страхи подтвердились. Все самые приятные минуты этого вечера, вкусная еда — все было отравлено. Я знал свою жену. Я знал, что она способна на бешеную ревность, хотя до сих пор у меня и не было случая проверить это. Не успел я решить, что и как мне сказать, как она уже вернулась и встала передо мной.

— Эта женщина хочет тебя видеть. Какие у тебя с ней отношения?

— Какая женщина? — спросил я с притворным удивлением.

Я кончил есть, вымыл в ванной руки, вытер их полотенцем и вернулся в комнату.

— Принеси мне бетель и орехи.

Я не спешил и разыгрывал безразличие, хотя и знал, что все это время Ранги стоит у дверей. Я пожевал листья бетеля и вернулся в кухню. Жена собиралась ужинать и накладывала себе еду. Она не посмотрела на меня.

— Тебе что-нибудь осталось или я все съел? — спросил я. — Сама виновата, если ничего не осталось, — сегодня ты превзошла себя!

Она слабо улыбнулась; такая похвала, вполне искренняя к тому же, не могла не произвести на нее впечатления. Склонив голову, она медленно ела. Затем взглянула на меня и сказала:

— Я попросила ее подождать в коридоре. Мне не хотелось, чтобы соседи видели ее у нашей двери.

Ей пришлось понизить голос, чтобы не услышала та, о ком мы говорили.

— Ты правильно поступила, — прошептал я. — Да, правильно.

И добавил:

— Ты могла бы спросить ее, зачем она пришла.

— Зачем? Если у тебя с нею дела, ты и спрашивай. Меня это не интересует.

Я раздраженно хмыкнул и сказал:

— Как нехорошо! Должно быть, что-нибудь, связанное с храмом. Нельзя даже дня отдохнуть...

Пробормотав эти слова, я направился в коридор. А вон и она, стоит себе у стены! Она сняла свои яркие украшения и переоделась в простое сари. Даже в темноте коридора видны были контуры ее пышного тела. Я остановился на безопасном расстоянии, подальше от нее, прямо у порога комнаты и громко спросил:

— В чем дело?

Мне не хотелось шептаться с нею.

Но она отвечала шепотом:

— Я хотела узнать, как вы себя чувствуете, господин.

Я был тронут ее вниманием.

— Пустяки. Все в порядке! Ничего особенного и не было!

— Я все видела, но не могла подойти. Я должна была оставаться возле божества.

— Вот как? — сказал я, польщенный.— Ну, а теперь ты свободна? А как же шествие?

— Оно начнется в девять часов. К тому времени мне придется вернуться.

— Вот как! — повторил я.

— А вы не пойдете с процессией? — спросила она.

Мой сын смущенно вертелся возле меня, но, застыдившись в присутствии танцовщицы, убежал и спрятался в кухне.

Ранги зашептала еще более хрипло и тихо:

— Он приходил ко мне домой сегодня днем, когда я была в храме, и приказал, чтобы я явилась к нему.

Я взволновался.

— Не ходи. Возвращайся домой и иди в храм. Будь на людях!

— Он может снова прийти к нам в дом и поджечь его. Там сейчас одна моя мать, а она глуха и слепа.

— Зачем ему поджигать твой дом?

— Он на меня сердит и хочет поговорить со мной!

— Поговорить с тобой! Он тебя может убить!

Она задумалась. Я спросил:

— Почему ты не предупредишь полицию?

Она покачала головой.

— Он полиции не боится. Он ничего не боится. Полицейские только посмеются надо мной. Что они могут сделать? Он никого и ничего не боится — вот он какой.

— Не ходи к нему, — просил я.

Жена кончила ужинать и то и дело проходила темным коридором по каким-то делам, искоса поглядывая на нас. Ранги всхлипнула при мысли о том, что ее ждет.

— Не знаю, что он со мной сделает... Он меня позвал к себе. Он мне доверился. А я обманула его доверие. Я не могла иначе... Надеюсь, вы приняли меры предосторожности?

— Ну конечно, — сказал я уверенно и решительно. — Нельзя же спускать таким личностям все с рук!

— Вы его плохо знаете. Он ничего не боится ни на земле, ни в небесах, ни в аду.

— У нас есть свой способ обращения с такими личностями. Мы им ни в чем не уступим, — сказал я.

— Он такой сильный и такой упрямый. Если ему что придет в голову, он обязательно должен это сделать. Он никогда не изменит своих планов!

Эта женщина, видно, была одержима идеей величия и непобедимости Васу. Мне это надоело.

— Ранги, не позволяй своим фантазиям себя увлечь. Он самый простой и обыкновенный буян. Мы знаем, как с ним поступить!

— Что же мне теперь делать, господин? Я пришла к вам, потому что не знаю, что делать. Я подумала: пойду попробую его успокоить, может, настроение у него улучшится, и он послушает меня. Я приготовила его любимый плов, вот он здесь у меня.

И она кивнула на корзину с едой.

— Но ты же сама сказала, что его невозможно заставить переменить свои планы.

— Я постараюсь, — прошептала она с соблазнительной улыбкой.— У такой женщины, как я, есть свои способы.

Не знаю, что она имела в виду. Слова ее прозвучали таинственно.

— Он может не отпустить тебя к началу процессии, — сказал я. — Не ходи к нему. Иди домой.

— Если я не явлюсь по его вызову, он может поджечь мой дом. Моя слепая мать даже не поймет, что происходит.

— Я договорюсь, чтобы твой дом охраняли достойные люди. Не слушай его угроз, не ходи к нему. Он тебя не отпустит. Он может даже связать тебя по рукам и ногам. Я найду достойных людей охранять твой дом,— повторил я величественно, не имея ни малейшего представления о том, как я это сделаю. Она сложила ладони в знак прощания, повернулась и ушла по залитой луной улице.

Я вернулся к жене. Она прихорашивалась перед зеркалом в темной передней. Я прямо сказал:

— Ты знаешь, что с этой женщиной?

— Почему ты думаешь, что это меня интересует? — ответила она.

Меня поразил ее холодный, равнодушный тон.

— Я не знаю, кто она такая, и мне все равно.

Она поправила сари и позвала:
— Бабу!
Он тут же подбежал к ней.
— Ты готов?
Ну, еще бы! Он уже стоял у двери на улицу.
Я спросил:
— Ты идешь в храм?
— Да, — односложно ответила она.
— Но ты же сказала, что не пойдешь!
— А теперь говорю, что иду, вот и весь разговор, — заявила она. Даже в сумраке прихожей было видно, как у нее горели уши.
— Я хотел поговорить с тобой. Я думал, что ты останешься и мы поговорим.

Она промолчала. Я шел за ней, бормоча:

— Ты сама хотела, чтобы я остался дома, а теперь уходишь!

Голос у меня звучал жалобно.

— Уйдешь ты или останешься, мне все равно,— сказала она, спустилась по ступенькам и пошла по улице. Бабу важно шагал с ней рядом. Она даже не дала мне времени накричать на нее и вызвать ссору.

Мне не хотелось возвращаться в дом. Я уселся на веранде, глядя ей вслед. Что пользы? Глупо было надеяться, что она раскается и вернется домой, чтобы помириться. Я остался один, только в канаве лежал, свернувшись клубком, бродячий пес.

Все ушли в храм. Нигде не осталось ни души, за исключением астматика в доме через улицу — я слышал, как он кашлял и отхаркивался. Я сидел, погруженный в размышления; у меня было достаточно времени, чтобы все хорошенько обдумать. Все дело в том, что я никому ни в чем не могу отказать — в результате я попадал в бесконечные истории, начиная с храмовой проститутки и кончая чучельником. Я повторил про себя все ядовитые возражения, которые должен был бы швырнуть в лицо жене. Надо было мне поступить так, как один из моих предков, о котором часто вспоминала Тетушка. Он, бывало, приводил в дом свою наложницу и заставлял жену подавать ей обед.

Моя жена спросила:

— Какое ты имеешь отношение к этой женщине?

Я должен был бы тут же сказать:

— Да, ты правильно догадалась. Я хочу соблазнить Ранги или быть соблазненным ею.

Если бы жена сказала:

— Ты не мог найти никого получше?

Я бы ответил:

— Ну, знаешь, ты ослеплена ревностью. Конечно, она груба и жует табак, но в ней что-то есть. Это чувствуется, даже когда она говорит с тобой шепотом. Разве может мужчина устоять перед ней? Мне тебя жаль, но что поделаешь? Тебе следовало больше мне угождать. Что толку выходить из себя, дуться или отвечать резкостью? Если бы я так поступал, ты бы не вытерпела ни секунды. У меня, как у мужчины, хватает сил, конечно, терпеть весь этот вздор. Но ты не должна заходить слишком далеко. Вот пока и все. Смотри не поступай так больше.

Над черепичными крышами взошла круглая и яркая луна. От храма, находившегося в полумиле от нас, доносился глухой шум голосов. Мне было грустно — я не участвовал в празднике. Я чувствовал себя словно инфекционный больной, которого держат в изоляции. Я чуть было не решил отправиться в храм в отместку жене, чтобы принять участие в организации шествия. Не создавая паники, я бы тихонько направил колесницу по другому маршруту. Или, может быть, если бы я поторопился,

я бы нашел районного инспектора полиции и переменил маршрут шествия. Во всем этом сборище не было ни единого человека, который сумел бы организовать и направить шествие. Меня распирало от гордости. Я один мог добиться каких-то результатов. Но я был отверженным. Я боялся снова предстать перед толпой. Я не был уверен в себе. Если, очутившись среди толпы, я снова закричу... Тогда мне конец! Правда, жена моя, может, и раскается в своей строптивости, но будет поздно — первым же поездом меня отправят в Мадрас, в больницу для душевнобольных.

Я вспомнил юношу (как он хорошо учился, когда мы были в третьем классе!), который как-то ходил по нашему переулку днем и ночью, беспрерывно распевая сочинения Тьягарайи*, пока не пропел почти все, что написал этот вдохновенный святой. Если бы его оставили в покое еще на день, у него кончился бы репертуар; но его схватили и отправили пятичасовым скорым в Мадрас. Вернулся он через год, с бритой головой, но просветленный и тихий. Мы дружили, когда были школьниками, и он мне признался, что пел сочинения Тьягарайи только потому, что жаждал познакомить публику с многосторонностью великого поэта; теперь он боялся даже мурлыкать, лежа в ванне. В Кабирском переулке были строгие представления о душевном здоровье. Мне не хотелось, чтобы меня схватили и отправили в Мадрас.

Впрочем, даже если я и не устрою сцены, все будут глазеть на меня так, словно я встал после припадка падучей. Мне не разрешат присоединиться к шествию. Притихшие было страхи снова поднимут голову.

Я попытался трезво оценить положение. Почему, собственно, я так успокоился? Я ничего не сделал, чтобы изменить ход процессии; я ничего не предпринял, чтобы разоружить или переубедить Васу; бог его знает, что он там задумал. Самое большее, что он сможет сделать, это швырнуть из окна шутиху или подкупить одного из факельщиков, чтобы он поднес факел к ноге слона. Весь вечер мы обсуждали различные способы, с помощью которых можно разъярить слона: спрятать иголку в кокосе или банане и дать ему проглотить; муравья в ухо пустить или бросить песок в глаза. Разъярить слона нетрудно, и, если повезет, можно успеть убежать, а если нет, тогда он кое-кого потопчет насмерть, особенно если возникнет паника на узком повороте Базарной улицы, где с одной стороны проходит широкая сточная канава, а с другой — лежит куча строительных материалов, которые привезли сюда в 1945 году для ремонта мостовой, да так с тех пор и не тронули. Если кто-нибудь застрелит слона в этот момент, его только поблагодарят за это. Бедный слон! Как он веселился сегодня — весь разукрашенный, счастливый, — как он играл с ребятишками! Нет, он должен вернуться в деревенский храм на дороге, должен пастись в лесах возле голубых гор и снова радовать ребятишек из окрестных деревень. Муту надеялся, что, давая слона для шествий, он сможет заработать достаточно денег, чтобы построить башню при храме, которую было бы видно за пятьдесят миль в округе. Трудно было представить себе, что Кумара могут разъять на части, натянуть кожу на каркас и сделать из него подставку для зонтов или корзину для бумаг в каком-либо модном доме западного или восточного полушария.

Надо было что-то предпринять. Жена ушла, надеясь, по-видимому, что я буду сторожить дом. Чудесная ей пришла в голову мысль! Хорошо бы бросить дом и уйти — пусть поймет, что нечего полагаться на мою доброту! Или еще лучше — запереть дверь, а ключ забрать с собой, чтобы, вернувшись домой после полуночи, она не могла попасть в собственную постель. Время шло к десяти, шествие, должно быть, уже тронулось в путь. По дороге флейтист может заиграть торжественную

---

* Поэт-мистик XVIII в.

алапану *, и, пока он не достигнет высот известной мелодии и не вернется на землю, никто с места не двинется, играй он хоть целый час. Со всеми остановками и задержками в пути шествию может потребоваться несколько часов, чтобы дойти от храма до фонтана.

Уже час, как шествие должно бы начаться, но музыки не было слышно. Только гул голосов означал, что толпа все еще стоит на месте. Если б они уже двинулись в путь, я бы услышал приближающиеся голоса и музыку; кроме того, жена бы вернулась домой. Как ни была она сердита, я знал, что она не пойдет вместе со всей толпой. У нее хватит разума прийти домой вовремя.

Меня злило то, что я был привязан к дому. Пойду, смешаюсь с толпой, разузнаю под покровом темноты, что происходит. Я прикрыл за собой дверь и спустился на улицу. Увидев двух мужчин, идущих мне навстречу, я остановил их и спросил:

— Шествие началось?

— Нет. Ждут украшений для слона. Кто-то поехал за ними в Талапурский храм. Налобные украшения из чистого золота. Вот их и ждут.

Десять миль туда, десять миль обратно и, вероятно, час на то, чтобы достать украшения из храмовых подвалов. Шествие не начнется до двух часов ночи... Какое безумие! Неужели жена будет ждать у храма до двух? С сыном? В то же время я почувствовал и некоторое облегчение: каждый час задержки означал лишний час жизни. Я вернулся домой; если шествие запаздывает, к чему мне толочься у ворот храма? Придя домой, я улегся на веранде. Если уж сторожить, то надо делать это как следует, не шутя! Я не хотел, чтобы наш дом разграбили; а ведь воры только и ждут такого случая, когда все целыми семьями уйдут на праздник!

Лежа на веранде на коврике и глядя на залитую лунным светом улицу, я не заметил, как заснул. Проснулся я спустя целую вечность; меня разбудили барабаны и звуки флейты, доносившиеся все отчетливее. Я понял, что шествие идет по Базарной улице, параллельно нашему дому. Я забеспокоился о жене и сыне, думая, что они все еще не вернулись домой. Однако, поразмыслив, я вошел в дом и увидел, что жена крепко спит в своей постели; мальчик тоже спал. Видно, я действительно крепко уснул, если не слышал, как они вернулись! Очевидно, она пришла уже давно и легла спать. Ей бы разбудить меня, а, впрочем, зачем ей это делать, если она решила быть со мной холодна. Чтобы отплатить ей той же монетой, я вернулся на веранду.

Мне не лежалось. Издалека доносились звуки флейты. Я прислушался, представляя себе весь путь процессии. Сейчас она проходит мимо начальной школы, расположенной над лавочкой мэра,— шаткая терраса, того и гляди, рухнет, но ничего не поделаешь: дом принадлежит председателю муниципалитета, если верить бумагам, терраса не представляет опасности. В один прекрасный день, когда она все-таки рухнет, жизнь сотни школьников и нескольких учителей подвергнется величайшей опасности. Но пока самые радужные надежды муниципальных чиновников оправдываются: большинство воспитанников школы уже выросли и работают в различных областях по всей Индии. Все же Бабу я послал в другую школу. Барабанщик так гремел, что странно было, почему этот ветхий дом не развалится; шествие остановилось перед зданием, чтобы воздать ему дань уважения, и флейтист заиграл свой шедевр — «Бхайрави». Он приступил к самой сложной, самой изысканной вариации этой мелодии; значит, все соберутся вокруг него, бог Кришна будет отдыхать на своей колеснице, а слон покорно стоять во главе процессии со спящим

---

* Один из видов традиционной мелодии.

погонщиком на спине. Люди столпятся вокруг флейтиста, словно забыв, сколько им еще предстоит пройти.

Хорошо еще, что процессия остановилась там, а не у фонтана. Время близилось к полуночи; пока они появятся у фонтана, пройдет еще по крайней мере час. Я решил присоединиться к шествию через час, а до тех пор не грех и поспать. «Бхайрави» можно наслаждаться и отсюда, лежа в полудреме на веранде. Я позволил себя убаюкать, впрочем, «Бхайрави» всегда была моей любимой мелодией. Она напоминала мне детство, когда у нас гостили бродячие музыканты; в нашем доме имелась комната, которая так и называлась «комната для музыкантов», потому что в ней всегда жил какой-нибудь музыкант: мой отец очень гордился своим знакомством со всеми музыкантами Южной Индии и устраивал их выступления в городе. Впоследствии адвокаты противной стороны обвиняли его в том, что он растратил фамильные средства на угощения музыкантов. Сейчас в этой комнате был склад старых бутылок. Помню, в те дни мы шутили: если кто-нибудь спросит, почему мы не убираем бутылки, мы ответим — чтобы мои дядюшки получили свою долю, если вздумают за них судиться. В комнате хранилось также около семидесяти трудов по философии в красивых переплетах — целая библиотека на санскрите и тамили, собранная моим дедом или прадедом, вместе с бронзовыми божествами, используемыми во время молений. По завещанию она принадлежала моему третьему дядюшке, но хранилась у нас: дядюшка служил на железной дороге и никогда не жил на одном месте более трех месяцев. Все знали, что после окончания школы он не открыл ни одной книги, но все же время от времени он присылал нам открытки, в которых справлялся, цела ли фамильная библиотека. Когда моя мать сердилась, она всегда обвиняла отца в том, что он сторожит чужое имущество, и спрашивала, почему он не выбросит весь этот хлам и не отделается от ответственности. Но отец любил своих братьев, что бы они ни делали; он всегда наказывал ей не заглядывать в эту комнату — в доме хватит для нее места.

Должно быть, я заснул. Когда же проснулся, играли уже не «Бхайрави», а какую-то другую мелодию; музыка звучала близко, где-то у Базарной улицы. Если я не ошибался, процессия находилась возле склада шелков. Следующая остановка — у фонтана. Меня охватило волнение. Скоро процессия будет видна из окна Васу. Почему я успокоился? Какое у меня право думать, что Муту и компании удалось обуздать Васу? А что, если им не удалось ничего сделать? Что, если факельщик прижжет слону палец и приведет его в бешенство? Васу только этого и ждет. Мой долг был ясен. Я должен пойти и не пустить шествие к фонтану, завернуть его в какую-нибудь боковую улочку. Что толку лежать здесь и размышлять, когда с каждой минутой множество народу приближалось к своей гибели? Я должен что-то предпринять.

Я быстро встал. Слышно было, как заворочалась жена, разбуженная оркестром и флейтой; она может встать и выйти на улицу, чтобы посмотреть на шествие. Мне не хотелось с ней встречаться. Я пересек улицу, открыл боковую дверь моей гипографии и вошел. Еще одна последняя попытка уговорить Васу. Он не такой уж плохой человек, в конце концов. Он меня послушает. В последнее время он подобрел. Я посмотрел на чердачное окно. В нем не было света. Ну, конечно, он потушил свет. Он был князем тьмы, и вся его деятельность протекала во тьме. Внезапно множество великолепных планов зароилось у меня в голове. Они были смутные и нечеткие, но я твердо верил, что смогу их осуществить. Если бы меня попросили сказать, что я буду делать, я, вероятно, заколебался бы, но в глубине души я уже все решил. Я прокрадусь в его комнату и тихонько подойду к окну — он, конечно, будет смотреть на улицу. Почему бы не оглушить его сзади? Тогда можно было бы обойтись без

неприятных сцен и волнений. Правда, осуществить этот план не так-то просто. Легко сказать: прикончить кобру одним ударом палки, на деле же гораздо больше шансов, что кобра тебя прикончит. В конце концов, Васу, возможно, смотрит и не в окно, а на дверь. Непротивление — вот самая безопасная политика в борьбе с ним. Махатма Ганди был прав, наказывая людям бороться оружием непротивления — в этом случае меньше шансов пострадать.

Я перелез через решетку, отделяющую лестницу от моей типографии. Сомнений не было — он наверху. Во дворе стоял его джип. Может, поджечь бак с бензином? Придется ему с ним повозиться, а шествие меж тем пройдет мимо. Он может, конечно, стереть меня в порошок, если увидит, чем я занимаюсь, ну и что? Никто теперь обо мне не пожалеет. Жена от меня практически отказалась; оплакивать мою гибель будет некому. Бабу потоскует несколько дней, но дети удивительно легко применяются к новым обстоятельствам. Приятно было подумать, что жене будет преподан хороший урок: когда человек бессмысленно дуется, никому от этого пользы не бывает. Если Ранги пришла ко мне по важному делу, разумно было бы поинтересоваться, что она сказала, и подойти ко всему с научных позиций... Не удивительно, что Васу так злится на мир за отсутствие научного подхода. Если бы люди смотрели на вещи научно, они не делали бы скоропалительных выводов на том только основания, что человек поговорил с Ранги в полутемном коридоре.

Я подошел к лестнице. Гиена все еще стояла там, правда, кто-то отпихнул ее в сторону; зря, видно, Васу над ней трудился, никто ее не покупал. Она была окружена разными тварями — ничего особенного, всякая мелочь: лесная белка, лисица, дикая собака, несколько пресмыкающихся и еще что-то. Васу, видно, последовал примеру нашего правительства и обратил весь свой пыл на мелкое производство. В нос мне ударил запах свежих шкур и ящиков для упаковки. Я поднялся по лестнице. Все это время я не сомневался, что дверь будет открыта. А что, если она заперта? Я постучусь, а там — будь что будет. Я твердо решил помешать ему сорвать шествие; сомнений тут у меня не было никаких, но как это сделать, я все еще не знал. Я готов был расстаться с жизнью, если потребуется.

Дверь я нашел открытой. Я тихонько толкнул ее и заглянул в комнату. Как я и думал, он лежал у окна в кресле. Свет от иллюминации, фонарей и факелов падал в комнату, по стенам шевелились тени. Внизу раздавались звуки музыки, слышались флейты, крики людей, везущих колесницу. Я видел его силуэт на фоне освещенного окна; должно быть, он удобно устроился в кресле, подложил под голову подушку и подставил под ноги табуретку. На маленьком столике сбоку стоял будильник, а возле кресла, на полу лежало ружье. Все это я разглядел в свете отблесков, игравших на стенах. В полутьме виднелись очертания разных предметов — тигренок, несколько чучел, еще что-то. Васу не двигался. Хороший знак! Вероятно, заснул, поджидая процессию. Даже бой барабанов (могли бы, по крайней мере, сообразить, что нужно постараться пройти это место бесшумно!) не произвел на него впечатления. Слава богу, он, видно, спал крепко!

Я решился: нужно побыстрее схватить ружье! Я пополз к ружью; сердце бешено стучало у меня в груди; я прерывисто дышал. Если он проснется до того, как я схвачу ружье, мне конец. Я полз, словно пантера из мемпийских джунглей; между мной и ружьем было всего несколько шагов. Я проделал половину пути — вторая терялась в бесконечности. Я ободрал все колени, что ж, я страдал за правое дело. Он все спал. Когда пальцы мои коснулись холодного приклада, я чуть не упал в обморок от волнения. Никогда раньше я не держал в руках ружья. Мне было страшно. Я поднялся на ноги и взял Васу на мушку. Внизу шествие

проходило довольно быстро — так мне, по крайней мере, казалось. Жаль, что нельзя было выглянуть в окно — он сидел у меня на пути. Пусть спит, это будет наилучшим решением вопроса. Но если он даже и проснется, это ему не поможет: я держал дуло у самого его виска. Я буду действовать, как в кино: прикажу ему не двигаться, пока процессия не пройдет мимо. Пусть только шевельнется — тут же получит пулю в лоб. Я уже держал на курке палец. Хоть у меня и не было никакого опыта, я твердо знал: стоит на него как следует надавить, и в конце концов раздастся выстрел. Дуло я направил прямо в голову Васу, став на таком расстоянии, чтобы он не дотянулся до меня, если вздумает выхватить ружье. Так и буду стоять, пока не пройдет процессия. А что потом? Как все это кончится? Трудно было сказать. Меня это беспокоило, хоть я и торжествовал, что все мои страхи разрешились так просто. Мне хотелось посмотреть на процессию, но я не мог отвести от него глаз. Оттуда, где я стоял, мне видна была лишь верхняя половина шествия: верхушка колесницы, убранной цветами, сверкающий лампочками шпиль, голова слона в ослепительных золотых украшениях из Талапура, сгорбленная фигура погонщика. Проезжая мимо типографии, он бросил взгляд на чердачное окно; вероятно, ему посоветовали торопиться. Минута — и его уже не было; скоро прошла и процессия. Погасли отсветы на стенах, барабаны и флейты затихли вдалеке, остался только легкий запах жасмина и роз. В это мгновение вдруг зазвонил будильник. Я подпрыгнул, выронил ружье и бросился на лестницу. Через секунду я был уже далеко от Васу.

Глава II

На следующее утро жизнь на Базарной улице вернулась в привычное русло; правда, день начался поздно. Город не торопился проснуться. После ночи, полной красок, сияния, многолюдной толпы и песен, трудно было вернуться к будничным занятиям. Базарная улица была вся усыпана мусором: кожура от бананов, кокосовая скорлупа, листья, цветы. Муниципалитет уже прислал подметальщиков. Састри явился только в девять часов и прямо прошел к станку; видно, решил покончить сегодня с этикетками К. Дж. Муту и все остальные рано утром разъехались по домам. Я сел к бюро, положил перед собой карандаш и бумагу, чтобы составить список расходов; часть денег была у нас на руках, а часть еще только обещана. Я никак не мог принудить себя перестроиться на деловой лад.

Первым в тот день меня посетил наш почтальон Танаппа, которого я помнил еще с детства. Он был так стар, что мог бы уже раза два уйти на пенсию, но все почему-то работал. Я помню его еще в те дни, когда почтальоны носили огромные красные тюрбаны, сверкающий пояс, кожаную сумку и форму цвета хаки. Теперь на голове у него была зеленая фуражка. Представительный старик! Он знал не только адреса всех жителей города, но и малейшие изменения в их судьбах. Для него не существовало времени. У него были любимые уголки в городе; он усаживался там на землю, раскладывал вокруг свои сумки с письмами и посылками и погружался в обсуждение семейных и общественных проблем. Он был живым звеном между несколькими семействами, передавая информацию от дома к дому. На все это требовалось время, но его никто не торопил — мы не волновались, если наши письма задерживались. Ему всюду были рады. Когда он приходил ко мне в типографию, то обычно становился на пороге, прислонясь плечом к дверному косяку, и с полчаса обменивался со мной новостями, только перед самым уходом он вспоминал, что должен передать мне письмо или бандероль. Сегодня лицо его

было серьезно, глаза за толстыми стеклами очков растерянно мигали. Он хмурился и задыхался от волнения. Не говоря ни слова, он протянул мне письмо. Я сказал:

— Входите, Танаппа.

И прибавил:

— Как вам понравилось вчерашнее шествие?

Он что-то пробормотал и неуверенно, словно в трансе, зашел в комнату. Он положил передо мной письмо.

— Квитанцию надо подписать.

Письмо было адресовано Васу.

— Это не мне, Танаппа. Отнесите его наверх.

— Я там был, но... но...— Он облизнул пересохшие губы:— Он умер.

Он произнес эти слова тихо и с испугом.

— Я обычно приношу ему почту прямо к постели, хотя и не люблю заходить в его комнату. Я думал, он заснул в кресле и подошел к нему с письмом. Я чуть было не дотронулся до него,— сказал он и вздрогнул от отвращения при мысли о ледяном прикосновении.

Я сказал:

— Танаппа, идите и доставляйте письма, как всегда. Постарайтесь забыть об этом происшествии. Мой вам совет: никому не рассказывайте о нем. Я поднимусь наверх, посмотрю и вернусь.

Танаппа с минуту колебался, но затем решил последовать моему совету.

— А что делать с этим заказным письмом? — спросил он.— Никто не может за него расписаться?

Он поднял свою сумку и вышел.

Я спустился по ступенькам, обошел переулком дом сбоку, прошел через двор и на минуту остановился у лестницы под стеклянным взором гиены, плесневевшей в углу. Я подождал, надеясь, вопреки вероятности, услышать наверху звуки шагов. Но там царило мертвое молчание. Я нехотя поднялся по лестнице.

Он лежал в кресле в той же позе, в какой я оставил его прошлой ночью,— одна рука свесилась до пола. Я подошел поближе и вгляделся в его лицо. Странная мысль! Я хотел удостовериться в том, что он действительно умер. Меня волновала не тайна смерти, но самый факт.

Он настолько приучил нас к неживым существам, что, казалось, по логике вещей, сам принадлежал к ним. Будильник, который так испугал меня ночью, тихонько отстукивал секунды. Его розовый циферблат был, вероятно, свидетелем смерти Васу.

Я огляделся. Рама его железной койки была сломана, должно быть, поэтому ему пришлось лечь в кресло. В эту минуту я все воспринимал спокойно; мне было безразлично, как он встретил свой конец. Я сложил на груди руки, помня, что не надо ничего касаться, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Правда, Танаппа, должно быть, уже оставил здесь свои отпечатки. К чему еще добавлять и мои, усложняя задачу полиции? Мне очень хотелось поискать бумажник Васу и прочитать голубое письмо, но я знал, что не должен до него дотрагиваться. Иначе полиция придет к очень простому выводу.

Я внимательно присмотрелся к Васу — нет ли каких следов насилия. Черные волосы были спутаны и сухи. Глаза его были закрыты. Следов насилия не было видно. Где же твое хвастовство, твоя напористость, твоя драчливость? Где ты — на небе или в аду? Кому ты там делаешь сейчас смотр, кем командуешь?

На табуретке я заметил корзинку с едой, которую я видел в руках Ранги прошлой ночью, когда она пришла ко мне домой. Мне хотелось посмотреть, съел ли он что-нибудь, но медная миска была плотно прикрыта крышкой, и я не желал оставлять на ней отпечатки. Его одежда

была, как всегда, разбросана по койке и всюду, где только возможно. Крышка чемодана была приоткрыта; в нем виднелись знакомые вещи — рубашка в красную клетку и куртка защитного цвета, в которую он наряжался, отправляясь убивать. Я стоял над его чемоданом, не в силах оторвать от него глаз; если бы я мог покопаться в нем, ни к чему не прикасаясь! Я пожалел, что на мне нет перчаток. Впрочем, в этой части света перчатки не в ходу. Несмотря на решение не волноваться, я вздрогнул, увидев, что из-под одежды, лежащей в чемодане, выглядывает зеленая папка. Как он нас мучил из-за нее!

— Ее утащил орангутанг, — говорил он нам. — Поднялся с нею на дерево и скрылся в джунглях. Если я его встречу, я попрошу его вернуть папку законному владельцу, господину Натараджу. Я уверен, что он окажет нам эту любезность; это очень разумный орангутанг.

И он засмеялся, увидев наше отчаяние. Я только сказал:

— А мы и не знали, что в Индии живут орангутанги.

— Вы что, вздумали меня учить? — спросил он вызывающе.

Это случилось до нашей последней ссоры, после которой он вышел из типографии и больше у меня не появлялся, пока я, проглотив свою гордость, не отправился к нему на чердак с просьбой пожалеть слона. Зеленая папка выглядывала из-под полотняной рубашки и полосатого сингапурского ланги *.

Я стал думать, как извлечь ее из чемодана, не тронув ничего остального. Вышел на веранду посмотреть, нет ли какой-нибудь палки, которой можно было бы подцепить ее и вытащить. Меня охватило отчаяние — я понял, что надо торопиться. Меня пугали голоса на улице. Я боялся, что в комнату может неожиданно войти Састри и закричать, сзывая полицию. Необходимо было завладеть зеленой папкой до того, как ее здесь увидят. Я надеялся, что у Танаппы хватит ума держать язык за зубами. Бутылка с дубильным раствором, каркасы, какие-то гвозди — чего-чего там не было, только не изогнутой палки, которой можно было бы вытащить зеленую папку. Я сунул руку себе под рубашку, обернул ее краем пальцы и осторожно потянул к себе папку. Пара разгневанных москитов жужжала у меня над ушами, я не мог их прогнать, так как руки мои были заняты. Теперь папка была у меня. Наконец-то будет разрешена тайна — нет, не его смерти! — но тайна пожертвований для нашего праздника. Я смогу дать поэту если не деньги, то хотя бы отчет о собранных суммах. Я торопливо открыл папку и заглянул в нее; все бумаги были целы — распечатанное письмо, список меценатов, квитанции. Но деньги? Их не было — только тоненькая пачка бумажек в одну рупию. Я сунул папку под мышку и вышел; по дороге я увидел на столике тигренка, накрытого носовым платком. Васу оценил его в две тысячи рупий. Я схватил тигренка вместе с платком и тихонько спустился вниз, оставив дверь открытой настежь. Я свернул в переулок; тигренок, которым Васу так гордился, был до того мал, что спокойно укрылся у меня под мышкой вместе с папкой. Навстречу мне попалось двое прохожих. Я смело шел по улице, опасаясь лишь одного — вдруг меня кто-нибудь ждет в типографии. К счастью, там никого не было. Я быстро открыл крышку бюро, сунул туда тигренка и папку и запер их на ключ.

Полицейские прочно обосновались у меня в типографии. Главный инспектор районной милиции занял кресло королевы Анны. Решетка, которую я установил между типографией и лестницей на чердак, им мешала — приходилось каждый раз обходить дом с улицы Ее открыли, и дом превратился в сплошной проходной двор. Какие-то люди поми-

* Набедренная повязка.

нутно входили и выходили, поднимались и спускались по лестнице. Вскоре в дом набилось столько народу, что я уже не мог стоять у станка, а Састри негде было заниматься набором. Неприкосновенность синей занавески была забыта, она просто канула в вечность. Всякий, кому не лень, мог отдернуть ее и пройти наверх; я не решался требовать объяснений. Бог его знает, что это могли быть за люди — сыщик в штатском, судебный следователь (была создана комиссия из пяти человек, которой надлежало выяснить и обнародовать причину смерти Васу), зеваки или тонконогий полицейский, посланный на чердак следить, чтобы никто не касался вещей. Мертвый Васу причинял еще больше хлопот, чем живой. Всех, кто за последние шесть недель имел ко мне хоть какое-нибудь отношение, вызвали в типографию. Здесь был и Муту (его оторвали от любимой чайной), и поэт, и, конечно, журналист, и слоновий врач, и портной (он, не переставая, стонал, что обещал сшить наряды к свадьбе и должен немедленно вернуться к своей машинке). Всех их доставила сюда полицейская машина.

Састри всех перехитрил. Как только он узнал о мертвеце наверху, он тут же нашел себе путь для отступления. Он задумался на минуту, улыбнулся своим мыслям и заметил:

— Я знал, что с ним что-нибудь случится. Эти люди не умеют умирать нормально.

Он собирался заняться фруктовыми этикетками. Но тут отложил их, вытер руки тряпкой и снял фартук. Я молча следил за ним. Он методично и торжественно, как мне показалось, готовился к отступлению — аккуратно сложил фартук, спрятал его и сказал:

— Так всегда бывает! Правда, я не думал, что все произойдет так быстро, да к тому же здесь! Хлопот теперь не оберешься! У нашей типографии была все эти годы такая незапятнанная репутация.

Он вздохнул и замолчал, словно я был виноват в дурной славе типографии. И в подкрепление своих слов в сотый раз за последние месяцы повторил:

— В первый же день, когда он сюда пришел, вы должны были его выгнать. Но вы этого не сделали.

Я спросил:

— Что вы собираетесь предпринять?

— Я иду домой, а затем сажусь на дневной поезд, идущий в Карайкуди. Я должен поспеть на свадьбу племянницы моей жены...

— Вы ничего мне об этом не говорили! — Я был удивлен и рассержен.

— Зато сейчас говорю, — отвечал Састри спокойно. — Вы были так заняты вчера целый день, что я не успел с вами и словом перебросить.

Он вытащил желтый листок — приглашение на свадьбу — и показал его мне, чтобы я своими глазами убедился в его правоте.

— Когда вы вернетесь? — спросил я.

— Как только свадьба кончится, — отвечал он на ходу. — Наш поезд отходит в час.

— Полиция может потребовать вашего присутствия, — сказал я злорадно.

— Я не имею никакого отношения ни к полиции, ни к Васу, — отвечал он с категоричностью, завидной при данных обстоятельствах.

Он сказал правду. Он самым решительным образом отказывался общаться с Васу. В то время как все мы плясали вокруг него, один Састри высокомерно держался в стороне. Никому бы и в голову не пришло вспомнить о нем в связи с Васу. Я больше не имел над Састри власти. Остановить его я не мог. Он вышел через боковую дверь в Кабирский переулок. На пороге он задержался и произнес:

— Так или иначе, зачем мне оставаться? Работать здесь все равно негде.

С этими словами он удалился.

Как я уже сказал, все мои друзья были в сборе, словно решили сняться для групповой фотографии. Ранги — я забыл сказать о Ранги — стояла в углу, не решаясь сесть в таком многолюдном обществе; после целой ночи жестикуляций и покачиваний перед божественными изображениями она выглядела изнуренной и неприбранной. Тощий начальник городской полиции принадлежал к тем, кому нужно было предложить сесть. Главный инспектор то и дело поглядывал на нас со своего почетного места. Он потребовал себе стол; пришлось попросить своего соседа, владельца «гейдельберга», одолжить мне стол из его типографии. Он рад был оказать любую услугу. Вся эта история повергла его в ужас — убийство, и так близко! Он одолжил мне тиковый стол; дородный инспектор положил на него пачку коричневой бумаги, пододвинул поближе к креслу королевы Анны и принялся записывать все, что мы говорили.

До сего дня мне непонятно, зачем ему понадобилось вести следствие у меня в типографии вместо того, чтобы вызвать нас всех в полицейский участок. Может быть, они хотели задержать нас, пока тело не увезут в морг — крошечный жестяной сарай, расположенный в уголке территории районного госпиталя. Под раскаленной жестяной крышей стоял длинный каменный стол, на который уложат Васу. Грустно было подумать, что человек, который гнул железные прутья и разбивал кулаком двери трехдюймовой толщины, будет покойно лежать на столе, дожидаясь медицинского вскрытия, которое должно будет установить, чем была вызвана его смерть.

В морге комиссия из пяти мудрецов собралась вокруг каменного стола, прочитала заключение патолога и провозгласила: «Господин Васу из Джунагада умер вследствие удара, нанесенного тупым оружием по фронтальной кости правого виска. Хотя внешних показателей повреждения не видно, кости черепа сильно пострадали, что и привело к роковому исходу».

Вдобавок они взяли на анализ содержимое желудка и отправили его в Мадрасский институт, чтобы выяснить, не было ли отравления. Мудрецы воздержались от решения, пока не получат сообщений из Мадраса. Меж тем, в ожидании окончательного выяснения этого дела, они распорядились похоронить тело по индусскому обряду, чтобы облегчить эксгумацию, если в дальнейшем она понадобится.

— Откуда мы знаем, может быть, покойный предпочел бы кремацию?

Так как теперь не представлялось возможности выяснить вкусы заинтересованного лица, они с минуту поразмыслили, а потом председатель пятерки сказал, словно его вдруг осенило:

— Мы не будем возражать против окончательного решения вопроса в пользу кремации. Настоящее мероприятие является временным до тех пор, пока мы не сможем с уверенностью сказать, чем вызвана смерть вышеназванного Васу.

Все ухватились за это предложение.

Собравшись в моей типографии, они всячески старались выяснить происхождение медной миски с едой, найденной в комнате Васу. Они оглядывались и спрашивали:

— Может кто-нибудь осветить вопрос о том, кто принес сюда эту миску? Может кто-нибудь сказать, кому она принадлежит?

Они вертели миску в руках, ища на ней какой-нибудь метки. Но на ней ничего не было. Я видел, как Ранги заерзала в углу, крутя конец своего сари. Она то и дело посматривала на меня и как-то странно жалась; если бы полицейский не был так поглощен своими бумагами, в которых он что-то лихорадочно искал, он мог бы тут же заявить: «Я обвиняю вас в том, что вы являетесь владелицей этой медной посуды»,— и отвел бы ее в каталажку. Стоило мне открыть рот, как она мертвела от страха. Но я лишь заметил со своего места на краешке бюро:

— Я часто видел, что ему присылали еду в этой миске.

— Откуда он получал еду?

Прекрасный случай заставить ближайший ресторан доказывать свою невиновность. Я задумался, какой бы ресторан мне назвать. Может, «Королевский ресторан для индусов»? Владелец его был когда-то моим клиентом, а потом устроил скандал из-за небольшой задержки в напечатании его именной бумаги и ушел, хлопнув дверью. Я отказался от этой недостойной мысли и сказал:

— По правде говоря, понятия не имею. Покойный, вероятно, получал еду из различных источников.

Мой голос звучал спокойно и весело. Главный инспектор холодно посмотрел на меня, словно хотел сказать: «К чему говорить больше, чем нужно?»

Но я был у себя дома, никто не имел права велеть мне замолчать. Я добавил:

— Непохоже, чтобы крышку открывали.

Главный инспектор и это записал и пустил миску по кругу, чтобы комиссия составила свое мнение. Они все изучили ее и сказали:

— Да, похоже, что крышку не открывали.

Главный инспектор записал это и спросил:

— Откроем ее, чтобы удостовериться в том, что пища не тронута?

— Да.

— Да.

— Да.

— Да.

— Да.

Он заставил всех сделать заявление, что крышка была открыта в их присутствии.

С напряженным волнением следили они за тем, как отковыривали крышку. Миску поставили на стол. Все почувствовали сильный запах прокисшей еды. Миска была до краев наполнена куриным пловом, переперченным, пожелтевшим, неаппетитным. Все заглянули в нее, зажав нос.

Пища не тронута.

Решение было единогласным.

— Пошлем пробу в Мадрас?

— Нет.

— Выбросим эту пищу?

— Нет.

— Что же нужно делать?

— Сохраним ее, пока не получим результатов анализа из Мадраса. Если будет подозрение в отравлении, тогда можно будет исследовать эту пищу.

Главный инспектор запротоколировал решение и дал им подписаться. Он приказал опечатать миску, что и было исполнено стоявшим возле вестовым, после чего вся пятерка поставила свои инициалы на коричневой бумаге, в которую ее завернули. Он работал, словно автомат. Он не хотел ни за что брать на себя ответственность, но в то же время не хотел упускать ни единой возможности довести расследование до конца,

возлагая всю ответственность на пятерых мудрецов, выбранных для этой цели. Если бы они сказали: «Положите этого Натараджа в мешок и опечатайте его, он нам может понадобиться для дальнейшего расследования», он повиновался бы не задумываясь. В этот день опечатывали все, что только было возможно. Опечатали комнату Васу, опечатали миску с едой, опечатали все, что попадалось под руку.

Главный инспектор писал до глубокой ночи; должно быть, он написал не одну тысячу слов. Все собравшиеся в типографии должны были сказать, когда и зачем они видели Васу в последний раз и каковы были последние слова этого достойного человека. Ранги решительно заявила, что не видела его в тот вечер, остальные не могли, к несчастью, этого сделать, так как после встречи с главным инспектором они всей компанией посетили Васу. Судя по всему, он умер около одиннадцати часов ночи — а где был я в одиннадцать часов ночи? Дома, спал на веранде, проводив жену в храм. Через боковую дверь ввели мою жену, чтобы она подтвердила мои показания. Мой сын тоже засвидетельствовал точность моих расчетов. К счастью, никто ничего не знал о том, как я в последний раз поднимался на чердак. В голове у меня, словно молотком по гвоздю, стучал наказ специалиста по отсрочкам: «Никогда не говорите больше того, о чем вас спрашивают».

С начальником городской полиции обращались так, словно он был одним из нас: его заставили сесть вместе с нами и отвечать на вопросы комиссии. Только это и доставляло мне удовольствие во всей процедуре. В обычных условиях он сам вел бы расследование, но сейчас положение изменилось — он был пострадавшим. Рука у него была подвязана, а кисть в гипсе — кость дала легкую трещину. Ему пришлось доказывать свою непричастность к смерти Васу. Чрезвычайно неловко! Когда пришла его очередь сделать заявление, он грозно начал:

— Мне было приказано принять меры по соблюдению порядка и спокойствия по Базарной улице в день процессии; позже главный инспектор районной полиции позвонил мне в контрольный пункт и приказал расследовать жалобу по поводу того, что некий Васу из Джунагада угрожает общественной безопасности. Когда я прибыл на место, чтобы допросить вышеназванного и взять на хранение его оружие, он занял угрожающую позицию, а затем напал на офицера, находящегося при исполнении служебных обязанностей, нанеся ему серьезные повреждения.

Он поднял забинтованную часть своего тела в качестве экспоната. Затем, по его словам, он удалился, чтобы принять нужные меры для мирного проведения процессии. Он собирался подать жалобу утром, как только освободится, и призвать к ответственности вышеназванного Васу за нападение на офицера, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Почему-то он ни словом не обмолвился о том, что перед уходом сказал Васу: «Ты у меня за это поплатишься!»

Муту и я обсудили это впоследствии, когда официальное разбирательство было закончено. Стоило кому-либо произнести хотя бы звук, и версия начальника полиции значительно усложнилась бы — ему, безусловно, пришлось бы защищаться. Но все проявили к нему чрезвычайное внимание. Правда, ему пришлось все же дать показание, где он находился в момент смерти Васу, которая произошла спустя два часа после его посещения. Он объяснил, что поручил поддержание порядка своему заместителю, а сам отправился в полицейской машине в дом главного инспектора, чтобы доложить ему о происшествии, а затем — в районный госпиталь для получения медицинской помощи. В качестве свидетелей он мог бы вызвать главного инспектора и дежурного врача в отделении скорой помощи. И все же Муту, как он признался позже, не был удовлетворен:

— А почему ему было не поручить месть кому-нибудь другому? Они могли приехать туда целым отрядом и прикончить Васу. Я не говорю, что это плохо, но они могли это сделать — пробили ему череп тупым оружием, и дело с концом.

Все последующие дни атмосфера подозрительности сгущалась. Стоило нам остаться вдвоем, как начинались признания. Сен, вышедший со мной на улицу подышать свежим воздухом после отъезда полицейских, сказал:

— Этот владелец чайной Муту... Он вызывает у меня подозрения. Народ в деревнях мстительный; они на что угодно способны! Я не говорю, что в данном случае это плохо. Наоборот, кто-то оказал обществу большую услугу. Я никого бы не стал винить...

— Зачем Муту было его убивать?

— Не забывайте, что слон принадлежит ему и что он готов был защищать его жизнь любой ценой. Он мог бы незаметно пробраться наверх. Где он был в одиннадцать часов?

Он принялся припоминать, не мог ли Муту потихоньку покинуть шествие. Но ничего не вышло, все были так поглощены процессией, что не замечали друг друга.

Спустя три дня ко мне пришел поэт.

— Я был сегодня у Сена дома в Новом районе, и, знаете, у него в комнате в углу под старыми газетами заметил тупой предмет — длинный железный болт, которым пользуются на железной дороге. Он смутился, когда я спросил, как он к нему попал. Он вполне мог незаметно пробраться наверх и подкрасться к нему сзади... Очень просто! Я не виню его... Сколько оскорблений вытерпел он от этого человека! Я знал, что рано или поздно Сен сделает что-нибудь ужасное... Я не стал бы его винить...

Я был уверен, что в мое отсутствие они единодушно подозревали меня. Мне ясно слышалось, как они говорили:

— Кто бы мог подумать, что он зайдет так далеко?! Бедняга, он столько от него натерпелся! И все потому, что с самого начала допустил ошибку, предложив ему гостеприимство. Кто знает, снимал он у него чердак или жил просто так? Кто в наши дни сдает квартиру бесплатно? Что бы там ни было, это не наше дело. Но как этот человек мучил бедного Натараджа! Бедняга, его терпение лопнуло! Ловкая работа, а? Что вы скажете? Разбил ему череп, не пролив ни капли крови! Я и не думал, что Натарадж умеет так хорошо работать руками! Хи-хи!

Жена сказала мне то же самое в тот вечер, когда я вернулся домой. Наши отношения наладились, как только она услышала, что в типографии найден труп и что в моей гостиной собрались полицейские. После сцены с Ранги я впервые заговорил с ней, прося ее срочно подтвердить, где она видела меня накануне в одиннадцать часов ночи. Она запричитала, ломая руки в страхе и отчаянии.

— Ах, зачем только ты ввязался в эту историю? Почему ты не занимался своими делами, как сотни других людей?

Настроение у меня было самое покорное, я рад был, что мы протянули друг другу руки, хотя бы и над телом Васу. Меня грыз тайный страх, что мы никогда не помиримся и что между нами все кончено. Она ничего не забыла.

— Эта женщина и все другие — какое они имели к тебе отношение?

У меня не было вразумительного ответа на этот вопрос, поэтому я только сказал:

— Мне некогда тебе это сейчас объяснять, главный инспектор ждет. Ты должна пойти и заявить, где я был вчера в одиннадцать часов ночи.

— Откуда я знаю? — ответила она.— Я скажу им, что не видела тебя.

— Конечно, скажи, пусть меня повесят. Ты тогда, возможно, получишь хорошие страховые за мою голову!

Она вскрикнула и закрыла уши руками: мысль о вдовьей участи расстроила и испугала ее.

— Можешь еще рассказать, как ты оставила меня на веранде, чтобы я сторожил дом, и ушла. Тебе полезно рассказать всю правду. А если ты не забыла, как была в храме, ты, может быть, вспомнишь, что видела там Ранги, так что не вздумай утверждать, будто я ушел с нею.

— Я не видела ее в храме,— сказала моя жена просто.

Отвратительные подозрения, мучившие ее вчера, прошли, но она совсем не собиралась все забывать.

Я сказал:

— Пока мы здесь болтаем, полиция...

— Разве они поверят моим словам? Наверняка подумают, что это ты меня научил так отвечать!

— А-а, это все пустая формальность! Они не снимают серьезных свидетельских показаний. Не глупи! Они запишут все, что ты, или я, или еще кто-нибудь скажет, и пока успокоятся на этом. Идем-ка лучше...

Она очень боялась предстать перед главным инспектором, но не желала и слушать о том, чтобы полицейские пришли к нам домой.

— После долгих лет честной и достойной жизни,— говорила она,— нам ни к чему, чтобы сюда приходила полиция. Даже в худшие дни раздела имущества никто их не приглашал в дом. И сейчас мы не будем этого делать.

Она предпочла перейти улицу, когда поблизости не было соседей, проскользнуть в типографию через боковую дверь и предстать перед полицией.

В тот вечер я вернулся домой в одиннадцать часов. Бабу уже спал. Жена сказала:

— Тише, говори шепотом. Бабу с трудом заснул. Он очень взволнован. Мне удалось его успокоить, сказав, что все это неправда. Но он ужасно взволнован и... очень гордится, что ты убил ракшасу один, без чьей-либо помощи. Что ж, по крайней мере, Бабу тобою восхищается!

— Ради бога, не разрешай ему болтать об этом. Мне может грозить петля...

Она глубоко вздохнула и сказала:

— Многие говорят то же самое. После этого дела в суде...

— Замолчи! — нетерпеливо вскричал я.— Что за вздор!

— Можно запереть свой дом, но разве на людские рты повесишь замки? — ответила она мне пословицей.

Я посмотрел на себя со стороны и почувствовал отвращение.

Глава 12

Сначала я приходил в бешенство при мысли о том, что меня считают убийцей. Но постепенно я начал к ней привыкать. Почему бы и нет? То была странная ночь. Я не помнил, что я сказал или сделал в храме, чем привлек к себе такое внимание. Вполне возможно, что позже я проломил кому-то череп и забыл об этом. Перебирая, шаг за шагом, свои поступки, я вспомнил, как украдкой поднялся по лестнице и открыл дверь, выходящую на площадку. До этого момента все было ясно. Внизу проходила процессия. Васу лежал у окна в кресле. Я подполз к его ружью и выскочил из комнаты, когда зазвонил будильник. Я помнил, что между моим появлением и уходом я держал ружье у его виска, пока не исчезли огни процессии. Возможно, я и пробил ему голову прикладом, пока он

спал. Кто знает? Да, но как насчет времени его смерти? Специалист по трупам заявил, что он умер в одиннадцать часов вечера, то есть задолго до того, как я прокрался на чердак.

Впрочем, это была всего лишь догадка, одно из предположений в длинном списке домыслов!

Я сильно надеялся, что убийцей была Ранги — сначала она отравила Васу, а потом размозжила ему голову, но из Мадраса пришли результаты химического анализа: «Никаких следов отравления». Последний луч надежды исчез с моего горизонта.

Сидя в полном одиночестве в своей типографии, я ловил себя на том, что снова и снова пытаюсь восстановить картину своего полуночного визита на чердак, но каждый раз это становилось все труднее. Когда прохожие смотрели на меня с улицы, я отворачивался. Я знал, что они говорят: «Вон он сидит! Повесить бы его за убийство!»

Мои друзья из деревни больше не показывались в моем доме. Хватит им неприятностей с полицией и всего прочего за один-единственный грех: они знали меня и бывали в моей типографии. Эта типография! О бог наш Шива! Это место проклято, держитесь от него подальше!

Возле меня не было никого, с кем бы я мог посоветоваться. Сен меня избегал. Поэт как сквозь землю провалился. Теперь он ходил в муниципальную школу другим путем. По утрам, когда я шел на реку и обратно, ни одна душа не останавливалась, чтобы перебросится со мною словечком. Специалист по отсрочкам и все остальные убегали, стоило им завидеть меня вдалеке. Все же однажды утром я нагнал адвоката на повороте улицы, возле дома цирюльника. Он сделал вид, что не видит меня, и попробовал пройти мимо.

— Господин! — сказал я, заступая ему дорогу.

Он смутился.

— А-а, Натарадж! Не заметил... О чем-то задумался...

— Я хотел спросить вас... — начал я.

— О чем? О чем? — лихорадочно воскликнул он.— Я, видите ли, уголовными делами не занимаюсь. Вам надо посоветоваться с...

— Посоветоваться? Зачем? У меня нет никаких вопросов.

— Ну да, конечно, я знаю,— вскричал он, в волнении переминаясь с ноги на ногу.— Я помню, что никакого приговора вынесено не было, никаких обвинений, никаких доказательств. Конечно, разве можно быть уверенным.,.

— А-а, забудьте об этом! — сказал я с небрежностью закоренелого убийцы.— Дело совсем в другом. Меня гораздо больше беспокоит, как бы собрать с моих клиентов долги. Когда вы отпраздновали свадьбу своей дочери? Прошло уже несколько месяцев с тех пор! Почему вы не платите мне за пригласительные билеты, которые я печатал? Чего вы ждете?

— Да-да, конечно,— сказал он, пятясь.

— У меня в типографии сейчас никого нет. Даже Састри меня покинул. Так что лучше пришлите мне деньги сами, вместо того чтобы ждать, пока я пришлю к вам человека.

В последнее время в речах моих появилась некоторая воинственность. Я думал: «Пусть будет так! Если я избавил мир от Васу, то я оказал ему услугу. Если люди решили заниматься чистоплюйством, на то их добрая воля! Пусть только не ждут от меня извинений за то, что я сделал». Я старался ожесточить себя такими размышлениями, но в глубине души я страдал. Станок мой безмолвствовал. Типография была открыта в обычные часы. Посетителей было мало. Я коротал время, пытаясь читать «Войну и мир» Толстого, найденную среди семидесяти философских томов на семейной свалке, отвлекая себя от мрачных мыслей злоключениями русской знати на полях брани старой Европы.

Однажды утром я увидел возле фонтана поэта. Не успел он свернуть на другую улицу, ведущую к его школе, как я выбежал из типографии и преградил ему путь. Я умолил его зайти в типографию и усадил в кресло королевы Анны.

— Что со всеми вами случилось?— спросил я.

— Мне добавили восемь часов в неделю, учителей сейчас не хватает.

Ах, невинная душа! Как он научился обманывать за эти несколько недель! И все шито белыми нитками!

Я спросил:

— А что же Сен?

— Не знаю. Он ждал вызова от одной мадрасской газеты.

— Не лгите! — вскричал я, теряя терпение.— Я видел, как он крался к моему соседу, чтобы напечатать там что-то на «гейдельберге». Может, вы скажете, что это был не он? Вы все меня избегаете. Думаете, что я убийца!

Он молчал. Я взял себя в руки, увидев ужас в его глазах. Он беспокойно косился на дверь, заметив маниакальный блеск в моих глазах. Мне хотелось рассказать ему о счетах, погребенных в зеленой папке, о деньгах, собранных его именем и растраченных Васу. Мне хотелось поведать ему о тигренке, которого я схватил в то утро. Но я был способен только на громкие проклятия, направленные против всего человечества. Я понял, что пугаю поэта. Понизив голос до вкрадчивого шепота, я улыбнулся и погладил его по плечу.

— Мне хочется сделать вам подарок в счет денег, собранных для вас,— сказал я.— Что-то реальное, какое-то вознаграждение...

Не отводя от него глаз, чтоб он не вздумал сбежать, я поднял крышку бюро и вынул оттуда чучело тигренка. Я сдернул с него платок и протянул тигренка поэту. Тот затрепетал:

— Тигр! Зачем?

— Это вам. Возьмите его,— сказал я.— *Он* оценил его в две тысячи. Хоть что-то...

Он попятился, глядя на меня с ужасом, словно впервые заметил в моих глазах неизмеримые глубины безумия.

— Нет-нет, я не возьму его,— с отчаянной мольбой в голосе произнес поэт.— Мне он не нужен. Мне ничего не нужно. Спасибо...

Внезапно он вскочил с кресла королевы Анны, выбежал в дверь и вскоре исчез в толпе.

— Поэт! Поэт! — слабо позвал я.

Мало того, что я был убийцей в его глазах, теперь он, должно быть, думает, что я присвоил его деньги и к тому же еще подшучиваю над ним. Это, пожалуй, было самым страшным преступлением Людоеда — он погубил мое доброе имя, лишил меня друзей, самой моей жизни. Я не мог снести этой мысли. Обняв тигренка, я разразился слезами.

В эту минуту занавеска раздвинулась, и в комнату ступил Састри.

— Я вошел через боковую дверь,— кратко сказал он.

— Ах, Састри! — радостно вскричал я.— Я думал, вы уже не вернетесь!

Он отвечал деловито, ничем не показывая, что заметил мое состояние.

— После свадьбы в Карайкуди моя жена настояла, чтобы мы посетили святые места в Рамешвараме. И еще с дюжину других мест. Двое детей заболели по дороге. Я все время рвался назад, но вы же знаете женщин! Больны мы или здоровы, жене все равно: она потащила нас по всем святым местам, о которых слышала в течение жизни! Что ж, утешали мы себя, в конце концов, мы не так-то часто путешествуем...

— Вы могли бы бросить мне открытку.

— Это верно,— согласился он.— Но когда путешествуешь, невозможно присесть и написать письмо, все время откладываешь...

Он вынул из кармана пакетик, в котором лежала щепоть священного пепла и киноварь, и протянул его мне.

— Приношения из всех храмов, смешанные вместе.

Я осыпал свой лоб святым прахом.

Он заметил тигренка у меня на коленях и сказал, словно утешая ребенка:

— А-а, какой крошечный тигренок!

Его очки в серебряной оправе задрожали, лицо покрылось краской. Я знал, что при виде чучела он содрогнулся в душе, и все же он сделал вид, что заинтересовался тигренком, и протянул руку, словно собирался коснуться его. Он хотел сделать мне приятное.

— Вероятно, был прелестным крошкой в лесу, но каким бы он стал чудовищем, если б вырос! — сказал он.

И добавил после паузы:

— Это *он* дал его вам?

Не мог же я сказать, что украл тигренка из комнаты умершего!

— Я хотел подарить его поэту, но он убежал, бросил его и убежал.

Я чуть было снова не расплакался, вспомнив о поэте.

— Может, он никогда не вернется.

— Поэты боятся тигров, это и не удивительно. Во всяком случае, зачем он ему?

— Может, он никогда к нам больше не вернется.

— Тем лучше для нас. Всякого, кто откажется приходить сюда и тратить зря наше время, мы должны считать своим другом. К. Дж. — наш клиент, вы можете быть уверены, что он-то к нам придет.

— Конечно. Даже если б он захотел нас покинуть, где еще он найдет такой малиновый тон?

— Люди, у которых с нами дела, придут и будут всегда приходить.

— Все думают, что хозяин этой типографии — убийца,— мрачно произнес я.

Он тихо засмеялся и сказал:

— Только дураки так думают, но рано или поздно и они узнают правду.

— Ради бога, какую правду? — спросил я.

— Ранги была с ним, когда он умер. Вы знаете, я состою в храмовом комитете; так вот, вчера она пришла ко мне по делу. У меня все время было такое чувство, будто она что-то скрывает. Я сказал, что не буду разговаривать с ней, пока она не расскажет мне всю правду. Против всех своих правил, я позвал ее в дом, усадил на коврик, угостил ее кофе и бетелем и заставил разговориться. Моя жена знала, зачем я ее пригласил, и в общем отнеслась к ней вполне пристойно.

— Что же сказала Ранги? — нетерпеливо спросил я.

— Оказывается, в тот вечер она отнесла ему корзину с едой. Он отказался есть, так как был очень сердит. Возможно, Ранги подмешала в еду снотворное, надеясь, что он будет в беспамятстве, когда процессия появится под его окном. Так хитростью она хотела спасти слона в ту ночь. Но Васу и прикоснуться к пище не пожелал!

— Верно, он не был голоден,— сказал я, вспомнив, какие вкусные вещи я принес ему в тот день незадолго до вечера.

— Возможно, но это ее смутило, потому что она должна была явиться в храм в ту ночь. Она забеспокоилась: как ей уйти от него? Когда он понял, что процессия запаздывает, он завел будильник и прилег в кресле. Он придвинул к креслу стул и приказал ей сесть рядом и отгонять от него веером москитов. Судя по ее словам, он не выносил москитов. И все время ругал полицию: если бы не инспектор, он не сломал бы койку, чтобы доказать свою силу; а теперь ему, мол, пришлось устраиваться в кресле, вместо того чтобы спокойно спать на койке под

москитной сеткой. Вооружившись веером, Ранги отгоняла москитов. Он задремал. Спустя немного задремала и она — как вы знаете, день у нее был нелегкий! — и перестала обмахивать его веером. Во время этой паузы москиты стройными рядами снова пошли в наступление. Ранги проснулась от крика Васу: «Черт бы побрал этих москитов!»

Она увидела, как он, размахивая руками, словно безумный, отбивал их нападение, а они кружились возле ушей, норовя напиться его крови. В следующую минуту она услышала оглушительный звук, словно удар грома. Очевидно, Васу почувствовал, как на лоб ему уселась пара москитов, и со всей силы прихлопнул их ладонью. Она включила свет и увидела двух москитов, расплющенных у него на лбу. Но это был конец и для Васу,— заключил Састри.— Этот кулак привык разносить в щепки толстые тиковые доски и ломать железные брусья...

— Одно у него было достоинство,— сказал я, вспомнив его слова.— Он никогда никого не ударил, как бы его ни сердили.

— Конечно,— сказал Састри задумчиво,— ему надо было сберечь всю свою силу для собственного уничтожения. Каждый демон начинает свою жизнь, уверенный в дарованной ему непобедимости. И все же мир пережил всех ракшас, которые только рождались на свет. Каждый демон, сам того не подозревая, несет в себе зернышко самоуничтожения — в самый неожиданный момент он взлетает на воздух. Так и должно быть, иначе что стало бы с человечеством?

Он снова поведал мне в назидание историю непобедимого Бхасмасуры, который сжигал все, к чему бы ни прикасался, и наконец превратил себя самого в кучку пепла, коснувшись пальцами собственной головы.

Састри с минуту постоял в глубокой задумчивости, а потом повернулся и направился к станку. Он взялся за край занавески, но прежде чем скрыться за нею, сказал:

— Мы должны сдать этикетки К. Дж. по крайней мере на этой неделе. Я сейчас все налажу. Если вы отпечатаете основной тон...

— «...они просохнут, пока вы будете обедать, а вернувшись, вы сможете отпечатать вторую краску». Да, Састри, распоряжайтесь мною, как хотите,— сказал я.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ЛЮДОЕДЕ В МАЛЬГУДИ»

В ряду современных индийских романистов Разипурам Кришнасвами Нарайан (род. в 1906 г.) занимает видное место. Начав свою творческую деятельность около четверти века тому назад, он выдвинулся в первые ряды индийских прогрессивных писателей с выходом в свет романов «В ожидании Махатмы», «Специалист по финансам», «Святой Раджу», «Людоед в Мальгуди», которые были им созданы после освобождения Индии от британского колониального ига. Индийская общественность выразила свое признание выдающихся заслуг писателя, избрав его членом Литературной академии Индии и присудив ему Национальную премию Академии, высшую литературную награду страны.

Читая «Людоеда в Мальгуди», погружаешься в совершенно особый мир Маленький сонный городок Мальгуди где-то на юге Индии, провинция, захолустье, где жизнь течет спокойно и нетерпеливо, где появление нового человека привлекает всеобщее внимание, а болезнь храмового слона вырастает в целое событие.

— Да полно,— воскликнет, пожалуй, иной читатель,— что это за город такой — Мальгуди и где он находится? Неужто это та самая Индия, которая сбросила с себя колониальные цепи и строит новое общество?

Как ни ищи на карте Индии Мальгуди, этого города там не найдешь, ибо Мальгуди — плод творческого вымысла Р. К. Нарайана. В это трудно поверить — настолько живо и реально представляешь себе этот городок: его узкие улочки, носящие подчас

обыденные, а подчас и затейливые названия (откуда, скажем, мог появиться в южноиндийском городке Адамов тупик?), медлительную реку, где по утрам горожане совершают традиционный обряд омовения, жиденькую городскую рощу, бездействующий фонтан, у которого отдыхают священная корова и ее дружок, городской бык... Впрочем, дело не только в том, что писателю удалось с таким мастерством и чувством реальности, невыдуманности, подлинности создать картину Мальгуди и его обитателей. Здесь все гораздо значительнее и важнее, чем может показаться на поверхностный взгляд, ибо Мальгуди, созданный магическим воображением писателя,— это, конечно. общественное явление, чрезвычайно характерное для современной Индии.

— Да,— можно было бы ответить пытливому читателю,— да, вы не ошиблись, это та самая Индия, которая сбросила с себя колониальные цепи и пошла по новому пути, та самая Индия, которая в борьбе за новое общество, за нового человека встречает огромные трудности и препятствия внутри самой страны. Мальгуди потому и становится общественным явлением, что в нем и его обитателях Р. К. Нарайан, как, пожалуй, никто другой в индийской литературе, передал тяжесть инерции, вековых традиций, стародавних заветов и укладов, стоящих на пути нового. Ведь вот тут же, рядом, в нескольких десятках миль от Мальгуди, строится плотина, кипит новая, активная, деятельная жизнь, а Мальгуди все еще не проснулся, все еще грезит в своем вековом сне о священных слонах, о тиранах, погибающих от собственных рук, и о людоедах, от которых спастись можно только чудом. Пробудить Мальгуди к жизни, нарушить его мертвый сон, заставить и его принять участие в строительстве нового — вот задача, от выполнения которой зависят, если вдуматься, судьбы современной Индии. Роман Р. К. Нарайана — при всей внешней незатейливости и простоте,— собственно, и служит этой цели, отличаясь блеском и той кажущейся легкостью, которая всегда бывает мерилом подлинного таланта.

Основа творческого метода Р. К. Нарайана — ирония. Ирония тонкая, пронизывающая всю ткань произведения, ненавязчиво, но ощутимо присутствующая во всех эпизодах романа. Она направлена в первую очередь против главного героя романа Натараджа и его друзей. Все они, в сущности, неплохие люди, но до чего пассивные, до чего неспособные к какому-либо действию! Их пригибает к земле груз старых понятий, и даже когда опасность грозит самому дорогому, они оказываются не в силах сбросить с себя этот груз, принять решительные и действенные меры. Это очень хорошо подметил журналист, заявивший как-то: «Мы стали тем, чем теперь являемся, благодаря нашей неспособности взять все в свои руки».

Однако было бы ошибкой считать, что пассивности прекраснодушных обывателей автор противопоставляет активность Васу. «Магистр и чучельных дел мастер», как гордо пишет на своих визитных карточках Васу, провозгласивший себя борцом против традиций и обычаев старины, на деле оказывается просто авантюристом, насмотревшимся гангстерских фильмов и воспринявшим худшие стороны цивилизации Запада. Это, безусловно, новый тип, совсем недавно появившийся в индийской жизни, а следовательно, и в литературе. Однако «новизна» этого характера и тот факт, что он отрицает старое, не делает его носителем доброго, положительного начала. В его словах много верного и справедливого, с его критикой обывательского прекраснодушия во многом нельзя не согласиться, он человек дела и не тратит лишних слов; однако все это снимается беззастенчивой проповедью силы, которую Васу не оставляет в области теории, но осуществляет на практике. Девиз Васу — действие во имя собственной пользы. Правда, он хорошо понимает необходимость маскировки; и вот то он расписывает бесхитростному Натараджу, как принимал якобы участие в движении гражданского сопротивления и даже сидел по тюрьмам, то подводит «научное» обоснование под свою теорию грубой силы. Он даже присваивает себе звание «магистра исторических, экономических и филологических наук» (не зная, очевидно, какая из этих трех наук может придать ему наибольший вес в его профессии чучельника).

Заключительные сцены романа являются, пожалуй, самым ярким свидетельством обоюдоострой иронии Р. К. Нарайана. Конфликт между Васу и обывателями вступает в свою решительную, завершающую стадию. Замышленное Васу убийство нежно любимого всеми слона переполняет чашу терпения Натараджа. Правда, сначала, узнав о готовящемся преступлении, Натарадж и его друзья пытаются все же отговорить

«людоеда» (как будто с людьми типа Васу возможно справиться уговорами!). После провала отговоров Натараджу и его друзьям становится предельно ясно, что силе, творящей зло, можно противопоставить только силу. Рушится вся та система, которой всю жизнь придерживался Натарадж. Однако от осознания того, что единственный путь спасения — насилие, до претворения этого вывода в жизнь — дистанция огромного размера. И вот Натарадж в течение получаса ползет те несколько шагов, которые отделяют его от ружья, лежащего возле спящего Васу...

Конец «Людоеда в Мальгуди» и закономерен, и несколько загадочен. То, что Васу должен погибнуть, совершенно ясно и Натараджу, и читателю. Однако не менее ясно и то, что Натарадж не способен на сознательное, преднамеренное и неслучайное уничтожение «людоеда». Обстоятельства гибели, или, если угодно, уничтожения, Васу оставлены автором в тени. Вернее, автор описывает все обстоятельства очень подробно — вплоть до самого момента смерти, предоставляя читателям самим сделать выводы. Умер ли «людоед» своей смертью? Или смерть его была насильственной? Не прикончила ли Васу танцовщица Ранги, когда, напуганная угрозами, явилась по его вызову? А может быть, это Натарадж ненароком пробил ему череп, когда держал в дрожащих руках ружье у него над виском? Или, возможно, прав приверженец традиций Састри, утверждающий, что рано или поздно тираны сами себя уничтожают? И можно ли принять всерьез смехотворный эпизод с москитом, который Састри передает Натараджу со слов Ранги? Не слишком ли явно отдает от него желанием найти безобидное объяснение смерти Васу, которое бы всех устроило?

Все эти вопросы возникают в уме читателя, перевернувшего последнюю страницу романа. Р. К. Нарайан сознательно вовлекает читателя в творческий процесс (он не впервые прибегает к этому методу: достаточно вспомнить «Святого Раджу»). Автор не позволяет читателю оставаться в роли пассивного наблюдателя, он заставляет его самого делать выводы из предложенных ему обстоятельств. Такой прием требует от читателя не только вдумчивости и внимания, но и известной доли творческого воображения.

«Нет никакого сомнения в том, что Р. К. Нарайан — лучший романист Индии и, возможно, один из самых блестящих и выдающихся писателей современности,— так оценивает творчество Р. К. Нарайана один из ведущих индийских критиков. А Грэхем Грин, признанный мастер психологического романа, с которым Р. К. Нарайана связывает многолетняя творческая дружба, писал: «Нарайана я считаю одним из лучших романистов нашего времени, пишущих на английском языке...» Грэхему Грину принадлежат и слова о том, что герои Нарайана настолько реальны, что кажется, будто «с последней страницы они уходят прямо в жизнь...»

Среди индийских писателей, пишущих на английском языке (а возможно, и среди всех индийских писателей в целом), Р. К. Нарайана выделяет дар иронического, а зачастую и сатирического смеха. Харинранат Чаттопадхайя, Бхабани Бхаттачария, Камала Маркандайа, Мулк Радж Ананд, Ходжа Ахмад Аббас и многие другие создали правдивые произведения, реалистически изображающие Индию последних десятилетий. Лучшие из них — «Кули», «Неприкасаемый», «Два листа и почка» Ананда, «Нектар в решете» Маркандайи, «Голод», «Оседлавший тигра» Бхаттачарии, «Сын Индии» Аббаса — пользуются заслуженной известностью в Индии и за рубежом. Все эти произведения написаны в патетическом ключе. Р. К. Нарайан, пожалуй, единственный из всех перечисленных писателей владеет секретом иронии и смеха. Нечего и говорить, что это драгоценное свойство дарования Р. К. Нарайана придает особую выразительность всему, что выходит из-под его пера.

Н. Демурова

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

РАССКАЗ

Перевод с английского
Ивана КАШКИНА

В эти дни мы работали в Мадриде в разбитом снарядами доме, который фасадом выходил в парк Каса-дель-Кампо. Внизу шел бой. Нам видно было, как он продвигался по низине и вверх по холмам. Мы чувствовали его запах, вкус его пыли, звук то нараставшей, то стихавшей винтовочной стрельбы напоминал раскатистый треск рвущегося огромного холста, а сквозь него прорывался кашель орудий, гул снарядов с расположенных позади нас батарей, грохот далеких разрывов и сразу же — клубы желтой пыли. Но для съемки все это было слишком далеко. Мы пытались работать ближе, но снайперы засекали киноаппараты, и работу приходилось прекращать.

Из всего нашего снаряжения самым ценным был большой аппарат, и, если бы его разбили, нашей работе пришел бы конец. Фильм мы делали почти без денег, а что имели, то все было всажено в пленку и аппаратуру. Мы не могли себе позволить растрачивать пленку, а аппараты приходилось беречь как зеницу ока.

Накануне снайперы выжили нас с удобной для съемки позиции, и мне пришлось отползать, прижимая маленький аппарат к животу, стараясь держать голову ниже плеч и подтягиваясь на локтях, а пули шмякались о стену за моей спиной и дважды брызнули на меня кирпичной пылью.

Наши главные атаки начинались после полудня, бог весть почему — ведь солнце к этому времени было уже за спиной у фашистов и светило прямо в линзы объективов, и они мигали, как гелиограф, а марокканцы стреляли по этим вспышкам. Еще со времени Риффской кампании им были прекрасно знакомы и гелиографы, и офицерские бинокли, и если вам охота была подставить лоб под пулю, надо было только поднести к глазам бинокль, не затенив его предварительно.

После полудня мы расположились в том же доме. Работать там было удобно, на балконе мы сделали что-то вроде навеса над большим киноаппаратом, но, как я уже говорил, мы были слишком далеко.

Не так далеко, чтобы нельзя было снять холмы, поросшие редкими соснами, озерко и силуэты каменных построек, временами исчезавшие в облаках пыли, в которую превращали кирпич разрывы тяжелых снарядов; не так далеко, чтобы нельзя было снять фонтаны дыма и грязи, вздымавшиеся на гребне холма, когда над ним проплывали бомбарди-

ровщики. Но танки за восемьсот — тысячу ярдов казались бурыми козявками, шнырявшими среди деревьев и извергавшими крошечные облачка, а люди за ними были игрушечными солдатиками, которые то лежали плашмя, то, пригибаясь, перебегали вслед за танками, а то так и оставались лежать на склоне холма, а танки шли дальше. И все же мы не теряли надежды получить общую картину боя. У нас уже было много крупных планов, и мы надеялись заснять еще больше, и если теперь выйдут эти взбросы земли, облачка шрапнели, ползущие завесы дыма и пыли, прорезаемые яркими вспышками и белыми хлопьями ручных гранат,— то у нас получится как раз то, что нужно.

Когда стемнело, мы сволокли большой аппарат вниз по лестнице, отвинтили треногу, разделили весь груз на троих, а потом поодиночке перебежали простреливаемый участок до угла Пасео Росалес под защиту каменной ограды конюшен старых казарм Монтанья. Теперь, когда мы нашли место, пригодное для работы, у нас полегчало на сердце. Мы уверяли друг друга, что это не слишком далеко.

— Зайдем к Чикоте,—сказал я, когда мы поднимались к «Флориде».

Но им надо было чинить поврежденный аппарат, сменять пленку и упаковывать заснятую, так что пошел я туда один. В Испании редко удавалось побыть одному, и для разнообразия это было неплохо.

Шагая по Гран-Виа к бару Чикоте в этот апрельский вечер, я чувствовал себя превосходно, был бодр и возбужден. Досталось нам, но мы хорошо поработали. Однако, пока я один шел по улице, возбуждение мое развеялось. Теперь, когда я остался один и азарт работы схлынул, я сознавал, что мы были чересчур далеко, и к тому же было яснее ясного, что наступление сорвалось. Я знал это весь день, но надежда и оптимизм так часто тебя обманывают. А теперь, вспоминая все как было, я понял, что это просто еще одна кровавая баня вроде Соммы. Народная армия наконец перешла в наступление. Но атаковала она так, что это могло привести ее только к одному — к собственной гибели. И, сопоставляя все то, что слышал за этот день, я чувствовал себя прескверно.

В чаду и дыму бара Чикоте мне было ясно, что наступление сорвалось, и я еще острее ощутил это, когда, пробившись к стойке, сделал первый глоток. Если дела идут хорошо, а плохо только тебе, выпивка помогает. Но если самому хорошо, а дела идут плохо, от выпивки только начинаешь понимать это. В баре было так людно, что приходилось работать локтями, чтобы донести стакан до рта. Не успел я сделать хороший глоток, кто-то толкнул меня так, что мое виски с содовой выплеснулось из стакана. Я сердито оглянулся, а толкнувший меня человек рассмеялся.

— Здорово, Мордан,— сказал он.

— А, это ты, Козел.

— Давай сядем,— сказал он.— А здорово ты разозлился, когда я тебя двинул.

— Откуда ты тут взялся? — спросил я.

Его кожаная куртка была вся в грязи и в масле, глаза провалились, щеки небритые. На боку висел большой автоматический кольт, который уже на моей памяти принадлежал трем другим военным и к которому мы все старались подобрать патроны. Это был человек очень высокого роста. На его потемневшем от дыма лице блестели масляные пятна. На голове у него был кожаный шлем с толстым кожаным гребнем и толстыми кожаными краями.

— Откуда ты взялся?

— Каса-дель-Кампо,— сказал он с насмешливым распевом. Так, нараспев, выкликал когда-то фамилии мальчик-рассыльный в одном из новоорлеанских отелей, и с тех пор мы часто в шутку ему подражали.

— Вон освободились места,— сказал я, видя, что двое солдат со своими девушками встали из-за столика.— Пойдем сядем.

Мы сели за столик посреди комнаты, и, когда он поднимал стакан, я заметил, что руки у него были в смазке, а основания больших пальцев черные, словно натертые графитом,— от пулемета. Рука, державшая стакан, дрожала.

— Погляди-ка,— он протянул и вторую руку. Она тоже дрожала.— Обе такие,— пропел он тем же манером. А потом серьезно: — Ты был там?

— Мы снимаем.

— И хорошо получается?

— Не очень.

— А нас видел?

— Где?

— Когда атаковали ферму. Сегодня в три двадцать пять.

— Видел.

— Понравилось?

— Ничуть.

— Вот и мне тоже,— сказал он.— Все это, понимаешь, хреновое дело. Кому это понадобилось — посылать в лоб на такие позиции? Кому это, черт побери, вздумалось?

— А такому сукиному сыну, по имени Ларго Кабальеро,— сказал маленький человечек в толстых очках, который еще до нас сидел за этим столом.— Как только ему позволили поглядеть в полевой бинокль, он стал генералом. Он сегодня и показывает свое мастерство.

Мы посмотрели на говорившего. Эл Вагнер, танкист, взглянул на меня и поднял остатки обгоревших бровей. Человечек улыбнулся нам.

— Если тут кто-нибудь понимает по-английски, вы, товарищ, рискуете, что вас расстреляют.

— Нет, не меня,— сказал человечек.— Не меня, а Ларго Кабальеро. А его надо расстрелять.

— Послушайте, товарищ,— сказал Эл.— Вы потише. Услышит кто-нибудь, подумает, что и мы с вами.

— Я знаю, что говорю,— сказал человечек в толстых очках. Я пригляделся к нему повнимательней. Он, казалось, действительно знал.

— Все равно, не обо всем, что знаешь, надо говорить,— сказал я.

— Само собой,— сказал он.— С вами-то говорить можно. Я вас знаю. Вы — свой.

— Ну, не настолько,— сказал я.— И потом, тут общественное место.

— А о секретных вещах только и можно говорить в общественном месте. Тут как раз никто и не услышит. Вы какой части, товарищ?

— У меня тут танки минутах в восьми ходу,— сказал ему Эл.— На сегодня отработались, и я до ночи свободен.

— Что же ты не помылся? — спросил я.

— А я собираюсь,— сказал Эл.— У тебя. Вот когда уйдем отсюда. У тебя найдется техническое мыло?

— Нет.

— Ничего,— сказал он.— Я кусочек ношу с собой в кармане.

Человек в толстых очках упорно смотрел на Эла.

— Вы член партии, товарищ? — спросил он.

— Да.

— А вот товарищ Генри — нет,— сказал человечек.

— Ну, тогда я бы ему не доверял,— сказал Эл.— Я таким не доверяю.

— Ах ты негодяй,— сказал я.— Пойдем, что ли?

— Нет,— сказал Эл.— Хочу еще выпить.

— О товарище Генри я все знаю,— сказал человечек.— А вот о Ларго Кабальеро вам еще кое-что не мешает узнать.

— Это обязательно? — сказал Эл.— Вы не забудьте, я в народной армии. Как бы вы не подорвали мое моральное состояние.

— Понимаете, он так занесся, что сходит с ума. Он и премьер, и военный министр, и никого к себе не допускает. В сущности он лишь честный профсоюзный работник, что-то вроде вашего покойного Сэмюеля Гомперса или Джона Льюиса, а выдумал его Аракистайн.

— Вы пореже,— сказал Эл.— Я что-то не услежу.

— Ну да, Аракистайн. Наш посол в Париже. Он его и выдумал. Окрестил испанским Лениным, и бедняга стал пыжиться, а тут кто-то подсунул ему полевой бинокль — он и вообразил себя Клаузевицем.

— Это вы уже говорили,— холодно прервал его Эл.— Но с чего вы все это взяли?

— А как же, три дня назад он выступал в Совете министров по военным вопросам. Обсуждали вот это самое, что сейчас происходит, и Хесус Эрнандес, просто так, шутки ради, спросил его: а в чем разница между стратегией и тактикой. И вы знаете, что этот старикашка ответил?

— Нет, не знаю,— сказал Эл. Я видел, что наш собеседник начинает раздражать его.

— Он сказал: «Тактика — это атака с фронта, а стратегия — это охват с флангов». Здорово, а?

— Хватит об этом, товарищ,— сказал Эл.— Не забывайте о моральном состоянии.

— Но мы все-таки разделаемся с Ларго Кабальеро,— сказал низенький товарищ.— Сейчас же после наступления разделаемся. Эта глупость его и прикончит.

— Ладно, товарищ,— сказал ему Эл.— Мне, знаете, утром атаковать.

— А, так вам опять атаковать?

— Послушайте, товарищ. Можете молоть, что вам вздумается, это даже интересно, я ведь не маленький, понимаю, что к чему. Но вопросов мне больше не задавайте. Чтобы не нажить неприятностей, понятно?

— Да я вас жалею. А так к чему мне.

— Ну, мы не настолько знакомы, чтобы и спрашивать и жалеть,— сказал Эл.— Вы бы, товарищ, лучше отсели за другой столик. Мне с товарищем Генри нужно поговорить.

— Салюд, камарада,— сказал человек, вставая.— Мы еще встретимся.

— Ладно,— сказал Эл.— Как-нибудь в другой раз.

Мы наблюдали, как он перешел за другой столик. Он извинился, сидевшие там солдаты потеснились, и нам видно было, что он сразу с ними заговорил. Они, казалось, слушали с интересом.

— Как тебе нравится этот человечишка? — спросил Эл.

— Право, не знаю, что сказать.

— Вот и я тоже. Насчет наступления-то он прав.— Он взялся за стакан и посмотрел на руку.— Видишь? Теперь все в норме. Я ведь не пьян. Перед атакой я никогда не пью.

— А как сегодня было?

— Ты же видел. Как, по-твоему?

— Ужасно.

— Вот именно. То самое слово. Ужасно. Он, вероятно, сейчас применяет и тактику и стратегию одновременно. Мы атакуем в лоб, а другие с обоих флангов. И как там у остальных?

— Дуран взял новый ипподром. Сузили их перемычку к Университетскому городку. Вышли на Коруньскую дорогу. Но уже со вчерашнего утра топчемся у Серро де Агильяр. Сегодня опять пытались. Дуран положил более половины своей бригады. А как у вас?

— Завтра опять попробуем взять эту ферму и церковь. Главное — церковь, ту, что на вершине холма. А весь склон изрезан оврагами и

насквозь простреливается, по крайней мере с трех пулеметных точек. Они там глубоко зарылись и с умом. А у нас не хватает ни легкой артиллерии, чтобы прижать их, ни тяжелой, чтобы выковырять. У них противотанковые в тех трех домах да еще батарея возле церкви. Словом, мясорубка.

— А на какое время назначено?

— Не спрашивай. Говорить не имею права.

— Да я насчет съемки,— сказал я.— Сбор за картину весь пойдет на санитарные машины. Мы сняли контратаку двенадцатой бригады у Аргандского моста. И ту же двенадцатую мы снимали на прошлой неделе, когда она атаковала Пингаррон. Там удались несколько кадров с танками.

— Танки там были ни к чему,— сказал Эл.

— Знаю,— сказал я.— Но снять удалось. Так когда же завтра?

— Выходите пораньше и ждите,— сказал он.— Но не слишком рано.

— А как самочувствие?

— Чертовски устал,— сказал он.— И голова трещит. Но вообще лучше. Выпьем еще по одной и пойдем к тебе, я приму ванну.

— Может быть, сначала поесть?

— Нет, грязен я, чтобы есть. Ты займи столик, а я пойду выкупаюсь и встретимся в «Гран-Виа».

— Я лучше пойду с тобой.

— Нет, займи там столик, а я скоро приду. — Он уронил голову на стол. — Сил нет, трещит. Это все шум в этих лоханях. Даже когда его уже не слышишь, он словно застрял в ушах.

— А может быть, тебе поспать?

— Нет. Лучше посижу вечер с тобой, а потом сосну на месте. Не хочу два раза просыпаться.

— А что, у тебя кошмары?

— Да нет,— сказал он.— Держусь. Не хочу болтать зря, но знаешь, Хэнк, мне кажется, что завтра меня убьют.

Я трижды коснулся стола кончиками пальцев.

— Это каждому мерещится. И у меня это часто бывало.

— Нет, — сказал он. — Со мной такого не случалось. Но завтрашняя затея бессмысленна. Не знаю даже, удастся ли мне довести своих. Ну как их заставишь, если не захотят? Потом, конечно, можно расстрелять. Но на месте — не захотят они, как их сдвинуть? Расстреливай их — все равно не двинутся.

— А может быть, если так обстоит дело, оно и к лучшему?

— Нет. Пехота у нас завтра будет хорошая. Не то, что сегодняшняя шваль.

— Ну, так, может быть, и все пойдет как надо.

— Нет, — сказал он. — Не пойдет как надо. Но я сделаю все, что от меня зависит. Во всяком случае, развернусь и выведу их туда, где отваливать можно будет только по одному. Может быть, сумею. На троих я могу рассчитывать. Если, конечно, кого-нибудь из них не подобьют с самого начала.

— А кто эти надежные?

— Есть у меня Большой грек из Чикаго, он куда угодно полезет. Он из таких. А еще француз из Марселя. У него левое плечо в гипсе и две незажившие раны, а он потребовал выписать его из госпиталя ради этого дела, его придется привязывать ремнями и не знаю, как он справится. Просто физически. Глядя на него, сердце разрывается. Он был водителем такси. Я слишком много болтаю, останавливай меня.

— А кто третий? — спросил я.

— Третий? Я разве говорил о третьем?

— Говорил.

— А, да, — сказал он. — Это я.

— Ну, а остальные?

— Они водители, но еще не стали солдатами. Не понимают, в чем суть. И все боятся смерти. Я пытался подбадривать их,— сказал он.— Но перед каждой атакой все та же история. Поглядишь, как они стоят возле танков в своих шлемах, — будто танкисты. Танкистами они усаживаются в машины. Но стоит им захлопнуть люки — и конец, пустышка. Никакие они не танкисты. А новых мы еще не успели подготовить.

— Так пойдем, выкупаешься.

— Нет, посидим еще немножко, — сказал он. — Здесь хорошо.

— И хорошо, и забавно: в конце улицы уже воюют. Можно пешком дойти, а потом до свиданья — и прямо сюда.

— А потом — опять туда, — сказал Эл.

— Слушай, ты как насчет девушки? Сейчас у нас во «Флориде» две американки. Корреспондентки. Познакомить?

— Не расположен с ними объясняться. Я слишком устал.

—. Вон там, за столиком в углу, две марокканки из Сеуты.

Он поглядел на них. Обе были смуглые и курчавые. Одна большого роста, другая маленькая, и обе складные и бойкие.

— Нет, — сказал Эл. — Еще нагляжусь на марокканцев завтра, нечего мне сегодня с ними вожжаться.

— Девушек сколько угодно, — сказал я. — Во «Флориде» есть еще Манолита. Тот фрукт из отдела безопасности, с которым она крутит, уехал в Валенсию, и она верна ему с кем попало.

— Послушай, Хэнк, чего ты меня подзуживаешь?

— Да просто хочу тебя развлечь.

— Нашел юнца, — сказал он. — А ну, еще по одной.

— Ладно.

— Умирать не страшно,— сказал он.— Смерть — ерунда. А вот, что зря — это обидно. В завтрашней атаке все глупо и все зря. С танками я теперь управлюсь. Дай мне срок, и я танкистов хороших подготовлю. Были бы только танки побыстроходней, тогда бы противотанковые не хлопали их из-за неповоротливости. Все-таки не оправдали они наших надежд. Помнишь, как мы все вздыхали: ах, нам бы танки.

— А разве не пригодились танки под Гвадалахарой?

— Кто говорит. Но там были настоящие танкисты. Солдаты. И против итальянцев.

— Так что же произошло?

— А очень многое. Понаехали к нам по договору на шесть месяцев. Больше всего французов. Пять месяцев дрались что надо, а теперь хотят одного — дожить свой месяц и до свиданья. Теперь они гроша ломаного не стоят. Русские инструкторы, прибывшие с танками, — вот это были ребята. Но теперь их куда-то отзывают, говорят, в Китай. Среди новичков испанцев есть и хорошие, есть и плохие. Чтобы обучить как следует танкиста, надо шесть месяцев. Чтобы обучить как следует. А для того чтобы понимать, в чем суть, и действовать с умом, для этого вообще нужен талант. Ну, а нам пришлось натаскивать их за шесть недель, и талантливых оказалось не так уж много.

— Летчики из них получаются хорошие.

— И танкисты бы получились. Надо только отбирать их по призванию. Вот как идут в священники. Надо для этого родиться. Особенно теперь, когда развелось столько противотанковых средств.

В баре спустили железные шторы и готовились запирать дверь. Больше никого не впустят. Но сидеть можно еще полчаса до закрытия.

— Мне тут нравится, — сказал Эл. — А теперь и не так шумно. Помнишь, я тебя встретил в Новом Орлеане, я тогда служил на корабле, и мы пошли выпить в Монте-Леоне, и там был парнишка, который сма-

хивал на святого Себастьяна и нараспев выкликал фамилии посетителей, а я еще дал ему четвертак, чтобы он доложил о мистере Лей Сльюни.

— То-то ты пропел «Каса-дель-Кампо».

— Ну да,— сказал он.— Вспомнить не могу без смеха.— И сразу продолжал: — Понимаешь, теперь танков больше не боятся. Никто не боится. И мы не боимся. А они все-таки нужны. Страшно нужны. Но очень уж они, черт их возьми, стали теперь уязвимы. Может, и мне надо было служить где-нибудь еще. Нет, не хочу. Они ведь нужны. Но при том, как теперь обстоят дела, нужно иметь к ним призвание. Чтобы теперь быть хорошим танкистом, надо быть политически сознательным.

— Ты хороший танкист.

— Хотелось бы мне завтра быть кем-нибудь иным,— сказал он.— Это, конечно, нытье, но отчего и не поныть, если это никому не во вред. Я, понимаешь, люблю танки, но мы не умеем ими как следует пользоваться, потому что пехота этому не обучена. Им подавай впереди танк для прикрытия. А так не годится. Они прилепятся к танку и сами без него ни шагу. Иногда не хотят даже развернуться.

— Знаю.

— А вот если бы нам опытных танкистов, они бы вырвались вперед, ведя пулеметный огонь, а потом, пропустив пехоту, продолжали бы стрелять, поддерживая своим огнем атаку пехоты. А другие танки налетали бы на пулеметные точки, как кавалерия. И, оседлав траншею, прометали бы ее продольным огнем. И еще могли бы подвозить пехотные десанты, а потом прикрывать их.

— А вместо этого?

— Вместо этого будет как завтра. У нас до того ничтожно мало артиллерии, что нас используют как ползучие бронированные пушки. А едва только ты остановился и стал малокалиберной пушкой, ты теряешь всякое преимущество подвижности, в которой твое спасение, и за тобой начинают охотиться противотанковые. А не то делают из нас что-то вроде железных детских колясочек для пехоты. С той разницей, что не знаешь, сама ли колясочка покатится или младенцы ее покатят. А усевшись в нее, никогда не можешь быть уверен, что за тобой кто-нибудь идет.

— Сколько вас сейчас в бригаде?

— Шесть в батальоне. Тридцать в бригаде. Но это теоретически.

— Ты бы все-таки сходил выкупался, а потом пойдем обедать.

— Ладно. Только ты не вздумай за мной ухаживать и не воображай, что я всем этим очень встревожен. Нет. Просто я устал и захотелось поговорить. И, пожалуйста, без подбадриваний, на это у нас есть комиссар, и сам я знаю, за что дерусь, и ничуть не встревожен. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы нас применяли с умом и пользой.

— С чего ты вздумал, что я стану тебя подбадривать?

— А у тебя такой вид был.

— Я просто спросил насчет девушек и не хотел слушать твое нытье про то, что тебя завтра убьют.

— Повторяю, девушек мне сегодня не надо, а ныть — это мое право, пока я этим никому не мешаю. Или тебе я мешаю?

— Пойдем, примешь ванну,— сказал я.— И ной сколько тебе угодно.

— А как ты думаешь, кто был этот коротышка, который старался показать, что так много знает?

— Понятия не имею,— сказал я.— Но постараюсь узнать.

— Он на меня тоску навел,— сказал Эл.— Ну, черт с ним. Пойдем.

Лысый старик официант отпер нам дверь, и мы вышли на улицу.

— Ну, как наступление, товарищи? — спросил он, выпуская нас.

— Все хорошо, товарищ,— сказал Эл.— Все в порядке.

— Ну, слава богу,— сказал официант.— Мой сын в сто сорок пятой бригаде. Вам она не попадалась?

— Нет, я танкист,— сказал Эл.— А вот товарищ из кино. Ты не встречал сто сорок пятой?

— Нет,— сказал я.

— Они на Эстремадурской дороге,— сказал старик.— Мой сын комиссар пулеметной роты. Он у меня младший. Ему двадцать лет.

— А в какой вы партии, товарищ? — спросил его Эл.

— Я ни в какой партии,— сказал старик.— А сын коммунист.

— Я тоже коммунист,— сказал Эл.— Наступление, товарищ, еще не развернулось. Наступать сейчас нелегко. У фашистов очень крепкие позиции. Вы, в тылу, должны держаться так же стойко, как и мы на фронте. Может быть, мы сейчас и не возьмем этих позиций, но мы уже доказали, что у нас есть армия, способная наступать, и увидите, она себя еще покажет.

— А эта Эстремадурская дорога? — спросил старик, все еще придерживая дверь.— Там очень опасно?

— Нет,— сказал Эл.— Там теперь тихо. Вам за него нечего беспокоиться.

— Да благословит вас бог,— сказал официант,— и да сохранит и спасет вас.

Выйдя в темноту улицы, Эл сказал:

— Ну, политически он не того, слабоват.

— Он хороший старик,— сказал я.— Я его давно знаю.

— Хорош-то он хорош,— сказал Эл,— но политически ему бы надо подразвиться.

Мой номер во «Флориде» был битком набит. Кто-то завел патефон, в воздухе плавал дым, на полу играли в кости. Товарищи приходили ко мне мыться, и в комнате пахло табачным дымом, пропотевшей одеждой и паром из ванной.

Манолита, испанка с близко посаженными холодными глазами, очень стройная, одетая скромно, хоть и с претензией на французский шик, сидела на кровати, весело, но с достоинством разговаривая с английским журналистом. Если не считать патефона, было не очень шумно.

— Это, кажется, ваша комната? — спросил английский журналист.

— Она значится за мной,— сказал я.— Иногда я здесь ночую.

— А виски чье? — спросил он.

— Мое,— сказала Манолита.— Ту бутылку они выпили, а я достала еще.

— Вот и правильно, дочка,— сказал я.— За мной три бутылки.

— Две,— сказала она.— Та была подарок.

На столе, рядом с моей машинкой, в полуоткупоренной жестянке был большой кусок ветчины, розовый, с белой каемкой сала. Время от времени кто-нибудь из игроков вставал, отрезал себе ломоть перочинным ножом и возвращался к играющим. Я тоже отрезал себе ломоть.

— Ты следующий на очереди в ванну,— сказал я Элу. Он еще осматривался в комнате.

— А у тебя тут славно,— сказал он.— И откуда только ветчина?

— Мы купили ее у интенданта одной из бригад,— сказала Манолита.— Что, плоха?

— Кто это «мы»?

— Да вот мы с ним,— она кивнула в сторону корреспондента-англичанина.— Правда, он милый?

— Манолита очень любезна,— сказал англичанин.— Надеюсь, мы не мешаем вам?

— Да нет,— сказал я.— Попозже мне, может быть, захочется прилечь, но это будет не скоро.

— Можно будет перейти в мою комнату,— сказала Манолита.— Вы ведь не сердитесь, Генри?

— Нисколько,— сказал я.— А кто это играет в кости?

— Не знаю,— сказала Манолита.— Они пришли вымыться в ванне, а потом остались играть. Они ведут себя очень прилично. А вы знаете, какая у меня беда?

— Нет.

— Большая беда. Вы знали моего жениха? Он служил в полиции, и его послали в Барселону.

— Ну и что же?

— Его убили в стычке, и у меня не осталось никого в полиции, а он не успел раздобыть мне документов, как обещал, и сегодня я узнала, что меня хотят арестовать.

— За что?

— Нет документов, и говорят, что я все время верчусь с вашей братией и с людьми из бригад и, значит, я, наверно, шпионка. Если бы жених мой не угодил под пулю, все было бы в порядке. Вы поможете мне?

— Конечно,— сказал я.— Если за вами ничего нет, можете не бояться.

— Все-таки для верности мне бы лучше остаться у вас.

— А если за вами что-то есть, тогда и я влипну в историю.

— Значит, нельзя остаться?

— Нет. А в случае чего, вызывайте меня. Я никогда не слышал, чтобы вы заводили разговор на военные темы, и, по-моему, за вами ничего нет.

— Конечно нет,— сказала она, отодвигаясь от англичанина и наклоняясь ко мне.— А как вы думаете, с ним остаться можно? За ним-то ничего нет?

— Не могу сказать,— ответил я.— В первый раз его вижу.

— Вы на меня сердитесь,— сказала она.— Не будем больше об этом думать. Лучше с легкой душой пойдем обедать.

Я подошел к игрокам.

— Хотите пообедать с нами?

— Нет, товарищ,— сказал, не поднимая головы, державший кости.— А вы не хотите попытать счастья?

— Я есть хочу.

— Ну, мы вас тут дождемся,— сказал второй игрок.— Кидай, что ли. Я держу...

— Раздобудете деньжат, волоките сюда в наш банк.

Кроме Манолиты в комнате нашелся еще один мой знакомый. Он был из двенадцатой бригады, и это он заводил патефон. Родом он венгр, но грустный, не из веселых венгров.

— Салюд, камарада,— сказал он.— Спасибо вам за гостеприимство.

— А что же вы в кости? — спросил я его.

— Денег таких нет,— сказал он.— Эти ребята — летчики по контракту. Наемники... Получают по тысяче долларов в месяц. Они были на Теруэльском фронте, а теперь вот пожаловали сюда.

— А как они очутились в моем номере?

— Один из них знает вас. Его сейчас вызвали на аэродром. За ним пришла машина, когда игра уже началась.

— Очень рад, что вы заглянули,— сказал я.— Приходите в любое время и располагайтесь, как дома.

— Я пришел послушать новые пластинки,— сказал он.— Если я вам не мешаю.

— Да нет. Очень хорошо. Хотите выпить?

— Нет, только немножко ветчины.

Один из игроков встал и отрезал еще ветчины.

— Вы не видели тут этого Генри, хозяина комнаты? — спросил он.

— Это я.

— А,— сказал он.— Извиняюсь. Сыграем?

— Попозже,— сказал я.

— Ну что ж, —сказал он. Потом, с полным ртом ветчины, рявкнул: — Ну, ты, каролинский недоносок, кидай кости об стенку как следует.

— А это тебе не поможет, товарищ,— буркнул тот, что бросал кости.

Эл вышел из ванной. Он был чистенький, только под глазами осталось несколько пятен.

— Вытри полотенцем,— сказал я.

— Что?

— Посмотрись еще раз в зеркало.

— Оно запотело,— сказал он.— Да черт с ним. Хорошо и так.

— Пойдем пообедаем,— сказал я.— Пойдем, Манолита. Вы знакомы?

Я заметил, что Манолита оценивающе его оглядела.

— Здравствуйте,— сказала она.

— А знаете — это идея,— сказал англичанин.— Насчет обеда. Но где?

— А эти что, в крап дуются? — спросил Эл.

— А ты сразу не разглядел?

— Нет, я глядел только на ветчину.

— Ну да, в крап.

— Вы идите обедайте,— сказал Эл,— а я останусь здесь.

Когда мы уходили, на полу уже сидело шестеро, а Эл собирался отрезать себе ветчины. Я слышал, как один из летчиков спросил:

— Из каких войск, товарищ?

— Танкист.

— Говорят, от танков теперь никакого проку.

— Мало ли что говорят,— ответил Эл.— Это что у вас там, кости?

— Хочешь поглядеть?

— Да нет,— сказал Эл.— Метнуть разок.

Мы спустились в холл, Манолита, я и высокий англичанин. Внизу ребят уже не было, они ушли в ресторан «Гран-Виа». Венгр остался доигрывать новые пластинки. Я был очень голоден, а жратва в «Гран-Виа» была поганая. Мои два киношника уже пообедали и пошли чинить киноаппарат.

Ресторан находился в подвале, и надо было предъявлять пропуск и проходить через кухню и вниз по ступенькам. В подвале было шумно.

Подавали суп из пшена, желтый рис с кусочком конины и апельсины на десерт. В меню стоял еще горошек с колбасой, о котором вспоминали с ужасом, но он уже кончился. Газетчики все сидели за одним столом, за другими были офицеры с девушками от Чикоте, сотрудники цензуры, которая тогда размещалась через улицу, в здании телефонной станции, и всякий неизвестный народ.

Ресторан держали какие-то анархисты-синдикалисты, и вино подавали с этикетками королевских подвалов с датой закладки на хранение. Вино по большей части было так старо, что либо отдавало пробкой, либо безнадежно выдохлось. Этикетку не выпьешь, и мне пришлось отослать три бутылки, прежде чем удалось получить сносное вино. И то после долгих препирательств.

Официанты не разбирались в винах. Они приносили первую попавшуюся бутылку, а там уж как повезет. Они были совсем не похожи на официантов Чикоте. Эти были отвратные, избалованные чаевыми. У них всегда имелись блюда по особому заказу, омары или цыпленок, и они подавали их за неслыханную цену. Но сейчас уже ничего не осталось, так что надо было есть суп, рис и апельсины. Тут все меня раздражало.

особенно эта банда спекулянтов, и, если брать по заказу, обходилось тут все не дешевле, чем в лучшем ресторане Нью-Йорка.

Мы потягивали вино, едва терпимое, такое, что его можно было пить за неимением лучшего, но шуметь из-за него не стоило,— и тут появился Эл Вагнер. Он оглядел комнату, увидел нас и подошел.

— В чем дело? — спросил я.

— Обчистили,— сказал он.

— Быстро.

— Еще бы. Это такие парни. Крупно играют. А чего бы тут поесть?

Я подозвал официанта.

— Слишком поздно пришли,— сказал тот.— Больше не подаем.

— Этот товарищ из танковой части,— сказал я.— Он сражался весь день и будет сражаться завтра, а ничего еще не ел.

— Я не виноват,— сказал официант.— Слишком поздно. Ничего не осталось. Почему товарищ не столуется в части? В армии еды много.

— Это я пригласил его на обед.

— Так вы бы предупредили заранее. Сейчас слишком поздно. Мы больше ничего не подаем.

— Позовите метрдотеля.

Метрдотель сказал, что повар уже ушел домой и плита не топится. С этим он ушел. Они злились на нас из-за вина.

— Ну и черт с ним,— сказал Эл.— Пойдем еще куда-нибудь.

— В это время нигде ничего не получишь. У них есть что-нибудь про запас. Надо только мне пойти к этому типу и подмазать.

Так я и сделал, и угрюмый официант принес тарелку нарезанного холодного мяса, половинку колючего омара и салат из чечевицы. Метрдотель «уступил» все это из собственного запаса, который он приберегал либо для домашних, либо для поздних клиентов.

— Небось, содрали втридорога? — спросил Эл.

— Да нет,— соврал я.

— Рассказывай,— сказал он.— Ну да с первой получки рассчитаемся.

— А сколько ты сейчас получаешь?

— Я еще не знаю. Раньше было по десять песет в день, но теперь больше, раз я офицер. Но нам пока еще не платили, а я не спрашивал.

— Товарищ,— подозвал я официанта. Тот подошел, все еще злой оттого, что метрдотель обслужил Эла через его голову.— Подайте, пожалуйста, еще одну бутылку.

— А какого вина?

— Все равно, только бы не было чересчур старое и сохранило бы цвет.

— Тут все вина одинаковы.

Я сказал ему по-испански что-то вроде «черта с два», и официант принес бутылку «шато-мутон ротшильд» 1906 года, настолько же хорошего, насколько отвратительна была предыдущая бутылка.

— Вот это вино,— сказал Эл.— Чем это ты его усмирил?

— Да ничем. Просто он вытащил из погреба удачную бутылку.

— Вообще-то это дворцовое пойло — порядочная бурда.

— Перестарело. И климат тут для вина неподходящий.

— А вон и тот Осведомленный Товарищ,— Эл кивнул на соседний столик.

Маленький человечек в толстых очках, который говорил нам про Ларго Кабальеро, разговаривал с людьми, о которых я знал, что это важные персоны.

— Он, должно быть, важная персона,— сказал я.

— Такие, когда высоко заберутся, болтают все, что вздумается.

Но лучше бы мне его встретить послезавтра. Он мне испортил завтрашний день.

Я налил ему вина.

— То, что он говорил, кажется разумным,— продолжал Эл.— Я над этим сам думал. Но мой долг делать то, что мне приказано.

— А ты не огорчайся, пойди поспи.

— Нет, я еще сыграю, если ты дашь мне тысячу песет,— сказал Эл.— Мне сейчас причитается больше, и я дам тебе доверенность на получение.

— Не надо мне доверенности. Когда получишь, сам отдашь.

— Еще придется ли получать,— сказал Эл.— Скажешь, опять нытье? Играть — это тоже богемная привычка, я знаю. Но в такой вот игре только и забываешь про завтра.

— А нравится тебе Манолита? Ты ей понравился.

— У нее глаза, как у змеи.

— Она неплохая девушка. Приветливая, и ей можно доверять.

— Не надо мне никаких девушек. Я хочу еще сыграть в крап.

За соседним столиком Манолита хохотала в ответ на что-то сказанное англичанином по-испански. За столом, кроме них, уже почти никого не было.

— Допьем бутылку и пойдем,— сказал Эл.— А ты сам не хочешь сыграть?

— Сначала полюбуюсь на вас,— сказал я и крикнул официанту, чтобы принес счет.

— Куда же вы? — спросила Манолита с места.

— К себе в номер.

— Мы придем попозже,— сказала она.— А он забавный.

— Она надо мной смеется,— сказал англичанин.— Она вышучивает мои ошибки в испанском языке. Разве leche не значит молоко?

— Значит и это.

— И еще что-нибудь неприличное?

— К сожалению, да,— сказал я.

— Что за ужасный язык,— сказал он.— Манолита, перестаньте водить меня за нос. Слышите?

— И вовсе я вас не вожу за нос,— засмеялась Манолита.— Я и не прикасаюсь к вашему носу. А смеюсь я из-за leche.

— Но ведь это значит молоко. Вы слышали, что сказал Эдвин Генри?

Манолита снова засмеялась, и мы поднялись из-за стола.

— Ну и болван! — сказал Эл.— Я бы, пожалуй, отбил ее только потому, что он такой болван.

— Англичанина сразу не раскусишь,— сказал я. Это было такое глубокомысленное замечание, что я понял: слишком много мы заказали бутылок. На улице похолодало, и облака в лунном свете проплывали очень большие и белые над широким, окаймленным домами каньоном Гран-Виа, и в асфальте тротуара виднелись аккуратные свежие пробоины от сегодняшних попаданий, и мусор еще не разгребли — а мы поднимались к Пласа Кальяо, туда, где стоял отель «Флорида», фасадом обращенный к другому склону, с которого широкая улица уходила по направлению к фронту.

Мы прошли мимо двух часовых, полускрытых в тени подъезда, и минутку постояли, чтобы послушать, как стрельба в конце улицы разрослась до настоящей канонады, а потом затихла.

— Если так будет продолжаться, мне надо будет идти в часть,— прислушиваясь, сказал Эл.

— Это так что-нибудь,— сказал я.— Во всяком случае, левее, у Карабанчеля.

— А мне показалось, прямо в парке.

— Тут всегда так отражается звук ночью. Мы сами сколько раз путали.

— Вообще-то они не должны контратаковать нас ночью,— сказал Эл.— Теперь, когда они заняли эти высоты, зачем спускаться и выбивать нас из оврага?

— Какого оврага?

— Ну, знаешь, по той речке.

— А, той.

— Да. «Вверх по речке и без весел».

— Идем. Нечего прислушиваться. У нас каждую ночь стреляют.

Мы вошли, пересекли холл, миновали ночного дежурного у столика портье, он встал и проводил нас к лифту. Он нажал кнопку, и кабина опустилась. В ней был человек в белой овчинной куртке мехом наружу. Розовая лысина, лицо розовое и сердитое. Под мышкой и в руках шесть бутылок шампанского. Он сказал:

— Какого черта вы спустили лифт?

— Вы уже целый час на нем катаетесь,— сказал дежурный.

— А что я могу поделать? — сказал мужчина в овчинной куртке. Потом, обратясь ко мне, спросил: — Где Фрэнк?

— Какой Фрэнк?

— Ну знаете, Фрэнк,— сказал он.— Слушайте, помогите мне с этим лифтом.

— Вы пьяны,— сказал я.— Вылезайте. Нам нужно подняться наверх.

— И вы были бы пьяны,— сказал мужчина в белой мохнатой куртке.— И вы были бы пьяны, товарищ, дорогой товарищ. Послушайте, где же Фрэнк?

— А вы как думаете?

— У этого Генри, в номере, где играют в крап.

— Поедемте с нами,— сказал я.— Только не балуйтесь с кнопками. Вы поэтому каждый раз и застреваете.

— Я на всем могу летать,— сказал мужчина в куртке.— Могу летать и на этом паршивом лифте. Хотите, попробуем фигуру?

— Хватит,— сказал Эл.— Вы пьяны. Нам нужно наверх, играть в крап.

— А ты кто такой? Вот как дам тебе бутылкой с шампанским.

— Попробуй только,— сказал Эл.— Я бы тебя утихомирил, пьянчуга несчастный, эрзац Санта-Клаус.

— Пьянчуга, эрзац Санта-Клаус,— повторил плешивый.— Пьянчуга, эрзац Санта-Клаус. Вот она, благодарность республики!

Мы остановили лифт на нашем этаже и пошли по коридору.

— Возьмите пару бутылок,— сказал плешивый. Потом добавил: — А знаете, почему я пьян?

— Нет.

— Ну и не скажу. А вы бы рты разинули. Пьянчуга, эрзац Санта-Клаус. Да. Да. Да. А вы кто, товарищ?

— Танкист.

— А вы?

— Снимаю фильм.

— Ну, а я пьянчуга, эрзац Санта-Клаус. Да. Да. Да. Повторяю. Да. Да. Да.

— А, подите вы! — сказал Эл.— Пьянчуга, эрзац Санта-Клаус.

Мы подошли к номеру. Мужчина в белой овчинной куртке придержал руку Эла большим и указательным пальцем.

— Вы меня забавляете, товарищ,— сказал он.— Правда, забав-

ляете.— Я отворил дверь. В комнате было накурено, и все по-прежнему, только ветчину из жестянки всю съели, а виски из бутылки все выпили.

— Плешак явился,— сказал один из игроков.

— Привет, товарищи,— сказал Плешак и раскланялся.— Как поживаете? Как поживаете? Как поживаете?

Игра прервалась, и его закидали вопросами.

— Я уже подал рапорт,— сказал Плешак.— А вот немножко шампанского. Меня теперь интересует только живописная сторона дела.

— А как же это тебя бросили твои ведомые?

— Они не виноваты,— сказал Плешак.— Я увлекся грандиозным зрелищем и даже не вспомнил, что у меня есть ведомые, до того самого момента, когда на меня свалились «фиаты» и я обнаружил, что у моего верного са-мо-летика нет хвоста.

— Эх, жаль, что ты пьян,— сказал один из летчиков.

— Да, я пьян,— сказал Плешак.— И надеюсь, что все вы, джентльмены и товарищи, не откажетесь со мной выпить, потому что сегодня я счастлив, хотя меня и оскорбил невежа танкист, назвал меня пьянчугой, эрзац Санта-Клаусом.

— Досадно, право, что ты пьян,— сказал другой летчик.— А как ты вернулся на аэродром?

— Не задавай мне вопросов,— с достоинством сказал Плешак.— Я вернулся в штабной машине двенадцатой бригады. Когда я спустился на своем верном па-ра-шюте, во мне склонны были усмотреть фашистского преступника, потому что я не владею икс... икспанским языком. Но когда я удостоверил свою личность, недоразумение рассеялось, и ко мне отнеслись с исключительным вниманием. Ах, поглядели бы вы, как горел этот «юнкерс»! Я и загляделся, а тут на меня спикировали «фиаты». И если бы только я сумел рассказать вам!

— Он сегодня сбил трехмоторный «юнкерс» над Харамой, а его ведомые отстали, ну, его и подшибли, хорошо еще, парашют не подвел,— сказал один из летчиков.— Вы, наверно, его знаете, это Плешак Джексон.

— А сколько ты падал, не раскрывая парашюта? — спросил другой летчик.

— Шесть тысяч футов, а когда раскрыл,— думал, у меня диафрагма лопнет. Меня словно надвое перерезало. «Фиатов» было, должно быть, десятка полтора, и надо было уйти пониже, чтобы не достали. А потом пришлось поработать со стропами, чтобы дотянуть до своего берега. Тянул, тянул, да и шлепнулся здорово. Ветер, правда, помогал.

— Фрэнку пришлось срочно вернуться в Алкалу,— сказал летчик. А мы тут затеяли игру. Но нам тоже надо вернуться до рассвета.

— Не желаю играть в кости,— сказал Плешак.— Желаю пить шампанское из стаканов с окурками.

— Я сейчас вымою,— сказал Эл.

— Здоровье товарища эрзац Санта-Клауса! — сказал Плешак.— За дедушку Клауса.

— Будет вам,— сказал Эл. Он собрал стаканы и понес в ванную.

— Он что, танкист? — спросил один из летчиков.

— Да. Он здесь с самого начала.

— Говорят, от танков сейчас никакого проку.

— Вы уже ему об этом говорили,— сказал я.— Не довольно ли? Он весь день был в деле.

— А мы нет? Но я серьезно спрашиваю, от них правда нет проку?

— Немного, но от него-то прок есть.

— Я не сомневаюсь. Он, по всему видно, хороший парень. Сколько они получают?

— Получали по десять песет в день,— сказал я.— Теперь он на лейтенантском окладе.

— Испанского лейтенанта?

— Да.

— Вот чудак. Или он здесь из-за своих убеждений?

— Да, из-за убеждений.

— Тогда понятно,— сказал он.— Эй, Плешак, должно быть, не сладко выбрасываться на такой скорости, да еще с оторванным хвостом?

— Да, не сладко,— сказал Плешак.

— И как ты себя чувствовал?

— Я все время думал, товарищ.

— А сколько выбросилось с «юнкерса»?

— Четверо,— сказал Плешак.— А всего их там было шесть человек. Пилота я подстрелил наверняка, я заметил, когда он прекратил огонь. У них бывает еще второй пилот, он же и пушкарь, но того я, наверно, тоже прикончил. Не иначе, а то бы он продолжал стрелять. А может быть, он задохнулся. Во всяком случае, вывалились четверо. Хотите, я все подробно расскажу? Это у меня хорошо получается.

Он сидел на кровати с большим стаканом шампанского в руке, и его розовая лысина и розовое лицо лоснились от пота.

— Почему никто за меня не выпьет? — спросил Плешак.— Я хочу, чтобы все товарищи выпили за меня, а потом я опишу эту сцену во всей ее красоте и ужасе.

Все мы выпили.

— На чем я остановился? — спросил Плешак.

— На том, как ты вышел из отеля «Мак-Алистер»,— сказал один из летчиков.— Во всей твоей красоте и ужасе. Не ломайся ты, Плешак. Как это ни странно, мы хотим тебя послушать.

— Я расскажу,— пообещал Плешак,— но прежде надо еще выпить шампанского.— Он допил свой стакан, когда пили за него.

— Этак он, пожалуй, уснет,— сказал другой летчик.— Не наливай ему больше полстакана.

Плешак проглотил и полстакана.

— Я расскажу,— сказал он,— только налейте еще.

— Слушай, Плешак, говори толком все как было. У тебя несколько дней не будет машины, а нам завтра летать, и нам не только интересно, но и нужно знать, как все было.

— Я подал рапорт,— сказал Плешак.— Можете почитать на аэродроме. Там есть копия.

— Не ломайся, Плешак. Рассказывай.

— Ну и расскажу,— сказал Плешак. Он похлопал глазами, потом сказал Элу: — Здорово, товарищ Санта-Клаус. Сейчас расскажу. А вы, товарищи, слушайте.— И он рассказал.— Все было непередаваемо и прекрасно,— сказал Плешак и отпил из стакана.

— А ты без предисловий,— сказал кто-то из летчиков.

— Я испытал глубокие чувства,— сказал Плешак.— В высшей степени глубокие чувства. Чувства чистейшей воды.

— Пошли, ребята,— сказал какой-то летчик.— От этой розовой плеши толку не добьешься. Или еще раз сыграем?

— Добьешься,— сказал другой.— Он еще прогревает мотор.

— Меня критикуют? — спросил Плешак.— И это благодарность республики!

— Послушай, Санта-Клаус,— сказал Эл.— А как все-таки это было?

— И это вы спрашиваете меня? — воскликнул Плешак.— Вы задаете вопросы мне? Да вы были когда-нибудь в деле, товарищ?

— Нет,— сказал Эл.— А брови я подпалил, когда брился.

— Не кипятитесь,— сказал Плешак.— Я расскажу этот неописуемый и прекрасный эпизод. Я ведь, знаете, не только летчик, но и писатель.

И он мотнул головой в подтверждение своих слов.

— Он пишет в меридианский «Аргус». Без перерыва. Его никак не могут остановить.

— У меня талант,— сказал Плешак.— Талант свежего и оригинального описания. У меня есть газетная вырезка. Я ее потерял, там так и сказано. Вот я хочу вам все описать.

— Ладно. Ну и как все это было?

— Товарищи,— сказал Плешак.— Это неописуемо.— Он протянул стакан.

— Ну, что я говорил,— сказал кто-то из летчиков.— Двух слов связать не может. Он и за месяц не протрезвится.

— Ты,— сказал Плешак,— несчастная ты козявка! Слушай! После разворота я поглядел вниз и вижу — он дымит и все-таки тянет по курсу, прямо к горам. Но быстро теряет высоту, и я нагнал и дал сверху еще раз. Ведомые были со мной, он вильнул и задымил еще пуще. А потом люк раскрылся, и там, как в доменной печи, а потом они стали вываливаться. Я сделал переворот через крыло, отвалил, сделал «горку», а сам смотрю назад и вниз, как они выбираются, словно из топки, как барахтаются, как раскрываются парашюты, будто большие красивые вьюнки, а «юнкерс» пылает — такого я никогда не видел — и штопорит, а под ним четыре парашюта, красивые такие и медленно плывут в небе, а один вдруг загорелся и стал падать быстрее, и я следил за ним, а тут пули, а за ними «фиаты», пули и «фиаты».

— Да ты правда писатель,— сказал один из летчиков.— Это тебе надо написать для «Воздушных асов». Но ты скажи по-человечески, что же случилось?

— Странно,— сказал Плешак.— Я же и говорю. И знаешь, без шуток, это было зрелище. Я до того ни разу не сбивал трехмоторного «юнкерса», и я счастлив.

— Мы все счастливы, Плешак. Но ты расскажи, как это было на самом деле.

— Ладно,— сказал Плешак.— Вот только выпью и расскажу.

— Как вы их встретили?

— Мы были в левом эшелоне построения, потом зашли слева и ударили из всех четырех пушек, почти вплотную. Прежде чем отвалить, повредили еще три. «Фиаты» держались выше, прикрываясь солнцем. И они спикировали, только когда я остался один любоваться зрелищем.

— А что же, ведомые тебя бросили?

— Нет. Я сам виноват. Загляделся. Ну они и проскочили. Нет такого строя, чтобы можно было любоваться парадом. Надеюсь, они догнали эскадрилью и пристроились. Не знаю. Об этом не спрашивайте. Я устал. Был душевный подъем. А теперь я устал.

— Спать тебе хочется, вот что. Вдрызг пьян, вот и клонит ко сну.

— Просто я устал,— сказал Плешак.— Имею я право устать? А если мне захочется спать, имею я право спать? Как, по-твоему, Санта-Клаус? — обратился он к Элу.

— Само собой,— сказал Эл.— Конечно, имеете право. Мне самому спать хочется. Ну, как, будете еще играть?

— Нам надо доставить его в Алкалу, и самим надо там быть,— сказал один из летчиков.— А что, вы в проигрыше?

— Небольшом,— сказал Эл.

— Хотите отыграться? — спросил летчик.

— Ставлю тысячу,— сказал Эл.

— Держу,— сказал летчик.— Говорят, платят вам не густо.

— Не густо,— сказал Эл.

Он положил бумажку в тысячу песет на пол, потряс кости в сжатых ладонях так, что они застучали, и резко кинул их на пол. Выпало один и один.

— Еще раз? — спросил летчик, поднимая с полу бумажку и глядя на Эла.

— Не стоит,— сказал Эл и поднялся.

— Может, ссудить деньгами? — спросил летчик и посмотрел на него с любопытством.

— Мне они ни к чему,— сказал Эл.

— Сейчас нам надо спешить на аэродром,— сказал летчик.— Но как-нибудь на днях сыграем еще. Притащим Фрэнка и других и сразимся. Может выйти хорошая партия. Вас не подвезти?

— Да, можем подбросить по дороге,— предложил другой.

— Не надо,— сказал Эл,— я пешком. Это ведь в конце улицы.

— Ну, а мы поехали. Кто знает ночной пароль?

— Шофер, наверно, знает. Он справлялся еще вечером.

— Пошевеливайся, Плешак. Эх ты соня, пьянчуга несчастный!

— Это я-то? — сказал Плешак.— Я кандидат в воздушные асы народной армии.

— Чтобы стать асом, надо сбить десяток. Даже считая итальянцев. А у тебя только один.

— Он не итальянец,— сказал Плешак.— Это был немец. И ты поглядел бы, как он полыхал. Ад кромешный!

— Волоки его,— сказал летчик.— Он опять сочиняет для своего журнала в Миссисипи. Ну, до свиданья. Спасибо за гостеприимство.

Они распрощались и ушли. Я дошел с ними до площадки. Лифт уже не работал, и я поглядел, как они спускались по лестнице. Двое вели Плешака под руки, а он медленно кивал головой. Теперь-то его действительно развезло.

Те двое, с которыми я снимал фильм, все еще возились в своей комнате над испорченным киноаппаратом. Это была тонкая, утомительная для глаз работа, и когда я спросил:

— Как вы думаете, удастся наладить? — тот, что был ростом побольше, сказал:

— Да, конечно. А как же иначе? Сейчас вытачиваю деталь, которая сломалась.

— Кто там был? — спросил другой.— Никак не оторвешься от этого проклятого ремонта.

— Летчики-американцы,— сказал я.— И один старый знакомый, он теперь танкист.

— Весело было? Жаль, что я не поспел.

— Да ничего,— сказал я.— Немножко посмеялись.

— А теперь иди спать. Завтра подниматься надо рано. Понадобится свежая голова.

— А вам еще долго ковыряться?

— Да вот опять заело. Черт бы побрал эти пружины.

— Оставь его в покое. Кончим и ляжем. В котором часу зайдешь?

— В пять.

— Ладно. Как только рассветет.

— Спокойной ночи.

— Салюд. Иди поспи.

— Салюд,— сказал я.— Завтра надо пробраться поближе.

— Да,— сказал он,— я сам об этом думал. Значительно ближе. Я рад, что ты того же мнения.

Эл спал в большом кресле, свет от лампы падал ему на лицо. Я прикрыл его одеялом, но он проснулся.

— Мне надо идти.

— Поспи тут. Я поставлю будильник и разбужу тебя.

— Будильник может подвести,— сказал он.— Я лучше пойду. Не хочу опаздывать.

— Как это нескладно вышло с игрой.

— Они все равно меня бы обчистили,— сказал он.— Эти ребята мастера кидать кости.

— Но ведь в последний раз ты сам кидал.

— Ну, они и держать умеют. Вообще странные ребята. Я считаю, что им не переплачивают. Если уж идти на это ради денег, тут любых денег мало.

— Проводить тебя?

— Нет,— сказал он, вставая и затягивая широкий матерчатый пояс с большим кольтом, который он снял, когда пришел после обеда и стал играть.— Нет. Теперь я в порядке. И перспектива восстановилась. Это очень важно — иметь перспективу.

— А мне бы хотелось пройтись.

— Нет. Ты поспи. А я пойду и успею еще часов пять поспать до начала.

— Так рано начнется?

— Да. Для съемки будет еще темно. Так что можешь еще понежиться в кровати.— Он вынул из кармана своей кожанки конверт и положил его на стол.— Ты это сбереги и пошли моему брату в Нью-Йорк. Адрес тут есть на конверте.

— Ладно. Но посылать не придется.

— Нет? — сказал он.— Сейчас и мне кажется, что не придется. Но тут фото и всякая мелочь, которую им приятно будет получить. У него славная жена. Хочешь поглядеть?

Он вынул фото из кармана. Оно было заложено в его военный билет. На снимке красивая брюнетка стояла возле лодки на берегу озера.

— В горах Кэтскилл,— объяснил Эл.— Да. Славная у него жена. Она еврейка. Да,— сказал он.— Не давай мне опять раскисать. Всего, Малыш. Не огорчайся. В самом деле, я сейчас в порядке, а днем, когда выбрался оттуда, было паршиво.

— Давай я тебя провожу.

— Нет. А то еще на обратном пути могут быть неприятности. На Пласа д'Эспанья по ночам нервничают. Покойной ночи. Завтра вечером увидимся.

— Вот это другой разговор.

Этажом выше над моим номером Манолита с англичанином изрядно шумели. Значит, ее не арестовали.

— Вот именно. Так и надо разговаривать,— сказал Эл.— Однако иногда три-четыре часа пройдет, пока наладишься.

Он напялил свой кожаный шлем с толстым гребнем, и на потемневшем его лице под глазами чернели впадины.

— Завтра вечером у Чикоте,— сказал я.

— Непременно,— подтвердил он, но не глядя мне в глаза.— Завтра вечером у Чикоте.

— В котором часу?

— Ну, это уже лишнее,— сказал он.— Завтра вечером у Чикоте. Незачем уточнять.— И он ушел.

Тем, кто его мало знал или кто не видел участка, на котором ему завтра предстояло атаковать, могло показаться, что он чем-то рассержен. Я думаю, в глубине души он и был рассержен, очень рассержен. Мало ли на что можно сердиться, и, между прочим, на то, что тебе предстоит умереть зря. Но и то сказать — гнев, пожалуй, самое подходящее настроение для атаки.

Р. САМАРИН

ПРИМЕР ЛУНАЧАРСКОГО

Когда перелистываешь «все сто томов партийных книжек» Луначарского, поражаешься, как современно и актуально звучит большинство его статей. Острозлободневные, они содержат глубокий анализ искусствоведческих и общественных проблем, насыщены творческой партийной мыслью и поныне остаются грозным оружием и вдохновляющим примером.

Я остановлюсь только на одной стороне поразительно широких интересов Луначарского — на проблемах зарубежной литературы в общем круге его исследований.

В работах, посвященных зарубежным писателям, Луначарский исходил из тех задач в области идеологии, которые революция ставила перед нашим обществом, и именно поэтому в большинстве своем они не потеряли значения и сейчас. Луначарского увлекали проблемы борьбы реализма и модернизма, понятие современности в искусстве, споры о традиции и новаторстве, проблема подлинного гуманизма и гуманизма отвлеченного; вновь и вновь в его статьях вставал вопрос, обращенный к современным художникам,— с кем вы, мастера культуры?

Воинствующий гуманист, боец старой большевистской гвардии, он был среди плеяды своих славных товарищей одним из самых блестящих и одаренных — именно эти черты отмечал в нем Ленин, восхищавшийся Луначарским, хотя и не раз поправлявший его.

Одаренность Анатолия Васильевича Луначарского — революционера, государственного деятеля, писателя, критика, ученого — была поразительно многообразна.

Луначарский оставил работы о русских и зарубежных поэтах и прозаиках, об изобразительном искусстве и о музыке, об эстетике и этике, о литературе античного мира и искусстве, о социалистическом реализме, смелым поборником которого он был. Луначарский был полномочным и авторитетным представителем советской культуры за рубежом. Он был другом Маяковского и Ролана, наставником советской творческой молодежи 20-х годов и инициатором крупных научных начинаний, объединявших «старую» интеллигенцию вокруг больших новых задач, при выполнении которых суждено было обновиться и ей. Он был неустанным тружеником, выполнявшим множество малых и больших дел, нередко, вероятно, отрывавших его от работы над крупными творческими замыслами, из которых многие так и не были осуществлены или закончены. Он был поразительный человек, под стать своей эпохе.

Изучение богатейшего наследия Луначарского только начато, многое из его разносторонней деятельности еще неизвестно широкому кругу современных читателей.

Он прошел сложный путь. На этом пути бывали и срывы, но он умел критически подходить к себе и честно признавался в

своих ошибках. В целом отношение Луначарского к необъятным богатствам человеческой культуры было отношением строителя нового мира, коммуниста, неколебимо верящего в победу своего великого дела. Луначарский обладал мудрым синтетическим пониманием человеческой культуры в ее целом, всего богатого спектра искусств, в сочетании прошлого с настоящим и смелым порывом в будущее, куда он так любил заглядывать. Культура будущего представлялась Луначарскому как могучий фронт прогрессивных сил, объединяющих свои устремления в различных областях искусства — в музыке и кино, в изобразительном искусстве, в театре, в литературе.

Особое место в его духовном мире занимала русская литература. Страстная любовь к родной литературе, которая на его глазах так мощно двинулась вперед и вступила в новую эпоху своего развития, отличает все, что было сделано Луначарским как историком литературы. О чем бы он ни писал, образы и опыт русской литературы оказывались всегда где-то рядом с основными мыслями той или иной его работы, даже далекой от них по теме. Луначарский в полной мере осознавал и во многих своих работах блестяще показал мировое значение русской литературы. Это выражалось не в громких фразах и не в поверхностных параллелях, а в том, что наследие великих русских писателей всегда присутствовало в литературоведческих концепциях Луначарского как некий незыблемый и точный критерий художественного мастерства и подлинной человечности.

Большое воздействие на становление методологии Луначарского — критика и литературоведа — оказала общественная и литературная борьба, развернувшаяся в эпоху первой русской революции, опыт боевой марксистской критики в газетах «Звезда» и «Правда» тех лет. Острота и глубина его лучших работ, появившихся в эти годы, тесно связана с этим опытом и с опытом осознания собственных заблуждений, которые Луначарскому помогал преодолеть Ленин.

Уже ранние статьи Луначарского отличаются последовательно-критическим отношением к буржуазной культуре, тонким и точным анализом ее углубляющегося упадка — и особенно тем, что Луначарский противопоставлял ей поднимающуюся поросль молодой революционной литературы.

Эта последовательная линия видна уже в опубликованной в газете «Киевская мысль» серии заметок о французской литературе. Большая часть их появилась под общим заголовком «Силуэты» (1913). Отбор «Силуэтов» был отлично продуман. Здесь был и Баррес, мечтавший о восстановлении военного величия старой Франции, и бешеный проповедник зоологического национализма Леон Додэ, и эстет Анри де Ренье, и утонченный мэтр французской критики «конца века» Реми де Гурмон, автор известной «Книги масок» — своеобразной энциклопедии французского декаданса. За манерностью и позерством Реми де Гурмона Луначарский сумел различить пресыщенного мещанина, рядившегося в ризы «аристократа мысли». Остроумны и убедительны «Парижские письма» Луначарского, где он подверг анализу пошлую, самодовольную мещанскую стихию, захлестнувшую французский театр накануне первой мировой войны.

Борьба Луначарского против торжествующего и обнаглевшего европейского мещанства достигает особенной остроты в его статьях об итальянском футуризме, где Луначарский показывает беспочвенность формалистических экспериментов Боччони, рекламируемых под громким лозунгом «ультрареализма» (статья «Сверхскульптор и сверхпоэт», 1911), беспощадно обнажает претенциозность и пустоту «новаторства» Маринетти (статья «Футуристы», 1913). Луначарский признавал талантливость многих писателей-декадентов, но, как и Горький, он показывал, где лежат истоки их заблуждений, в чем состоит их социальная и творческая трагедия.

Изучая отношение Луначарского к декадентским течениям в литературе конца XIX и начала XX веков, следует учитывать некоторые терминологические особенности его статей. Для Луначарского модернизм — широкое определение искусства буржуазного упадка, каковы бы ни были его оттенки. Крикливому использованию термина «модернизм» в буржуазной критике, стремлению выдать рекламируемые ею явления за «современную литературу», за «искусство XX века» Луначарский противопоставляет искусство, которое он называет «подлинным модернизмом» (позже Луначарский не употреблял этого термина). «...Это подлинный модернизм,— писал он,— потому что

здесь люди, просто повинуясь велениям своей натуры, поставили перед собою задачу воспеть то, чем живет именно наше время».

Концепция современного искусства в этих статьях Луначарского была еще только намечена. Но важно отметить, что к числу подлинно современных писателей он относил в те годы прежде всего художников могучего социального звучания, которое и делало их новаторами. Острая и мотивированная критика модернизма в работах Луначарского приобретает особый смысл в наше время, когда под лозунгом «модернистского» искусства, с претензией на новаторство выступают так часто писатели и поэты, по сути дела враждебные современности.

Среди художников, которых Луначарский противопоставлял модернизму, наряду с Ш.-Л. Филиппом, У. Уитменом и Р. Ролланом особое место он уделяет Э. Верхарну. В статье «Футуристы» Верхарн назван, вслед за Уитменом, одним из зачинателей «подлинного модернизма», то есть — по терминологии Луначарского тех лет — одним из зачинателей литературы, способной ярко и правдиво показать важнейшие явления современности. Верхарн, писал Луначарский, почувствовал героический драматизм борьбы рабочего класса, сложно отозвавшийся в его поэтическом сознании, и в связи с этим искал новые пути для развития поэзии. «Могучим другом пролетариата» назвал Луначарский Верхарна в одной из своих статей 20-х годов («Искусство и его новейшие формы»). В статье «Молодая французская поэзия» (1913) Луначарский писал: «Буржуазная интеллигенция — сама из себя не могла, конечно, создать силы, необходимые для поворота поэзии на более здоровый путь. То, что исцелило ее, было влияние рабочего класса...» Правда, как раз в этой статье рядом с характеристикой Верхарна как поэта «широчайших заданий» встречается и упоминание о «религии поэта», увенчивающей современность и указующей на будущее, сочувственно цитируется утверждение С. Цвейга о том, что Верхарн «ищет новое божество в единении вселенной и личности»... Но каковы бы ни были противоречия и недостатки этой статьи, в ней утверждается мысль о растущем влиянии рабочего класса как о важнейшем факторе мирового литературного развития. В этом плане она сопоставима с известным положением, высказанным Луначарским в «Письмах о пролетарской литературе», появившихся в 1914 году. Задаваясь вопросом: «Существуют ли прекрасные произведения этой наиновейшей литературы?» — Луначарский утверждал: «Да. Они существуют. Быть может, нет еще решающего шедевра; нет еще пролетарского Гете; нет еще художественного Маркса: но огромная жизнь уже развертывается перед нами, когда мы приступаем к знакомству с социалистической литературой, ведущей к ней и подготовляющей ее».

■

После Октябрьской революции дарование Луначарского, одного из зачинателей советской науки о литературе, проявилось особенно глубоко. Луначарский воочию увидел новое общество и то новое социалистическое искусство, о первых ростках которого он писал когда-то. Свою концепцию развития культуры, выношенную в долгие годы революционного подполья и в эмиграции, он развивает и в последующих работах о литературе и искусстве. И прежде всего в большом и ярком полотне, создававшемся в начале 20-х годов, именно полотне, так как это произведение не только ученого, но и вдохновенного художника,— в его курсе лекций «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах».

Первому изданию книги Луначарский предпослал краткое предисловие, в котором он с большой теплотой говорил о той необыкновенной аудитории, для которой он создавал и читал свой курс. Он назвал ее «превосходной молодежью». Это были недавние бойцы и командиры Красной Армии; партработники, люди с огромным, разнообразным политическим и житейским опытом, посланные партией учиться.

Помня о том, что в его аудитории были люди с самой различной подготовкой, Луначарский вел курс популярно, стремясь увлечь слушателей богатством образов и идей, созданных литературой за тысячи лет ее развития. Но прежде всего он ставил перед собой цель — «наметить марксистский подход к литературе», внушить своим молодым слушателям «любовь к литературе, умение считаться с наследием прошлого не только как с каким-то проклятым мусором ненавистной старины, а как с целым рядом великих усилий мысли, чувства и фантазии, направленных к победе гуманных начал,

положенных в основу и нашего современного социализма, над всякой тьмой».

Луначарский насыщал свой курс важнейшими теоретическими положениями марксистско-ленинской эстетики, знакомил слушателей с высказываниями Маркса, Энгельса, Ленина о литературе, рассказывал об их литературных вкусах, об их активном отношении к литературной жизни. Он воспитывал свою аудиторию в духе эстетических идеалов социализма.

«Весь смысл тех лекций, которые я вам читал,— сказал Луначарский, заканчивая последнюю лекцию,— заключается в том, чтобы хотя в некоторой степени помочь нам выполнить завет, оставленный нам Владимиром Ильичем. Владимир Ильич сказал: коммунист должен целиком овладеть культурой прошлого».

Особенно удачно и глубоко Луначарский раскрыл перед своей аудиторией сущность реализма XIX века. Критический реализм XIX века для Луначарского — великая школа правдивого искусства, представляющая большую ценность и для молодой советской литературы. «По моему мнению, для нашего нового реалистического искусства нет лучшего образца, чем Бальзак,— утверждал Луначарский.— Подойти к жизни, распластать ее на куски, посмотреть, как она трепещет, и попытаться создать целый мир, который бы отразил действительность так, чтобы все фибры ее были видны, как в каком-нибудь окрашенном препарате,— вот так учит работать Бальзак, который как исследователь-беллетрист не имеет равных. Само собою разумеется, наш писатель, учась у Бальзака, осветит свое исследование светом марксизма». Луначарский предвидел, что новое социалистическое искусство пойдет по пути реализма, опираясь на знание жизни, на лучшие традиции классической литературы, но изображая действительность в свете идей марксизма-ленинизма.

Чуждый догматизма и схем, Луначарский демонстрировал своим слушателям сложность творческого метода великих реалистов, неповторимое своеобразие творческих индивидуальностей, органическую связь со всем ценным, что было достигнуто их предшественниками. Например, говоря о правдивости Флобера, Луначарский замечал при этом: «Флобер — романтик и в то же время великий реалист». В этом наблюдении над связью эстетики критического реализма XIX века с романтической эстетикой Луначарский близок к Горькому, который как раз у французских писателей-реалистов XIX века тоже находил плодотворное сочетание реалистического и романтического начал. И Горький и Луначарский подчеркивали преемственную связь, существующую между критическим реализмом и литературой социализма.

Хотя курс Луначарского был посвящен зарубежным литературам, Луначарский счел нужным показать, сколь важна роль русской прогрессивной литературы в развитии реалистического направления в искусстве. Глубоко знаменательны слова, которыми заканчивается двенадцатая лекция — лекция о реализме: «Мой очерк о реализме — очерк неполный, потому что я не упомянул об одной школе реалистов, которая занимает почти первое место,— о школе русских реалистов». «О реализме,— пишет он,— говорить без русского реалистического романа в сущности нельзя».

В курс по истории зарубежной литературы органически включались также важнейшие проблемы литературной жизни советского общества, беглые, но замечательно меткие характеристики Маяковского, Эренбурга, Асеева, Пильняка... Выступая против Троцкого, отрицавшего историческую закономерность развития литературы рабочего класса, Луначарский указывал на уже существующую советскую литературу как на важнейшую часть нового искусства, говорил о великом будущем социалистического искусства, возникающего в новой России.

В курсе, прочитанном Луначарским, литература рассматривается и как арена ожесточенной классовой борьбы, и как оружие в этой борьбе, и как ее отражение. И если теперь нам ясно, что иногда Луначарский характеризовал классовое содержание литературы несколько упрощенно, то надо иметь в виду, что его курс создавался на заре развития нашего литературоведения. Надо оценить присущий книге дух классовой непримиримости. «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах», написанная Луначарским,— одно из замечательных явлений молодой советской культуры. На этой книге лежит отпечаток героической эпохи, отблеск революционных лет, тех событий, в которых сами слушатели, как и их лектор, принимали деятельное участие.

Р. САМАРИН
ПРИМЕР ЛУНАЧАРСКОГО

■

В лекциях по истории западноевропейской литературы Луначарский уделил много внимания проблемам литературы социалистической. Он с присущим ему размахом и талантом нарисовал перед своими слушателями картину развития мировой литературы XX века, указав на растущее значение тех художественных произведений, которые возникали под воздействием социалистического движения

Принципиальный интерес для нас имеют и более поздние выступления Луначарского, посвященные дальнейшему развитию революционно-пролетарской, как тогда говорили, литературы,— то есть возникновению и развитию литературы социалистического реализма в капиталистическом мире.

Еще в канун Октября Луначарский публикует статью «Книга — подвиг» — первую в русской критике статью о знаменитом «Огне» Барбюса. В статье «Передовой отряд культуры на Западе» (1920) Луначарский, ссылаясь на слова «Лефевра, нашего дорогого товарища, безвременно погибшего при возвращении со 2-го Съезда III Интернационала на родину», отмечает, что за рубежом зреют предпосылки для могучего подъема литературного движения, вдохновленного примером Октября.

«Они,— пишет он о группе передовых французских писателей,— более или менее тесно связаны и с Ромэном Ролланом и с Барбюсом. Это не то чтобы коммунисты, но это люди, чутко и внимательно прислушивающиеся к тому, что делается в России, и во всяком случае возлагающие свои надежды на рабочий переворот, на пришествие нового социального мира и настроенные резко критически по отношению к мнимой культуре последних десятилетий».

Известно, что уже к середине 20-х годов такие из названных Луначарским в этой статье писателей, как Жюль Ромен, Шарль Вильдрак, ушли в сторону от всяких надежд на «рабочий переворот». Но остались Барбюс, Роллан, Шеневьер... В дальнейшем Луначарский углубляет свою диалектическую концепцию развития революционной литературы за рубежом. Он с любовью отмечал завоевания молодой литературы революционного пролетариата, приветствовал появление в ней имен Брехта, Иллеша, Гидаша, Вольфа, Бехера и других.

В предисловии к сборнику «Современная революционная поэзия Запада», подчеркивая закономерность рождения «великой и кипучей революционной поэзии» на Западе после 1917 года, Луначарский высоко оценил вклад П. Вайяна-Кутюрье, И. Бехера, А. Гидаша в литературу коммунистической идейности, подчеркнув значение Бехера, подпявшегося, по его мнению, до «крепкой, чисто коммунистической поэзии», занимающего «одно из первых мест в пролетарской литературе».

В статьях о революционной литературе 20-х годов Луначарский указывал на необходимость точной и трезвой оценки возможностей того или иного писателя, напоминал о противоречиях в мировоззрении художника, сказавшихся, например, в творчестве Э. Толлера, создателя сильных революционных драм, затем, однако, сломленного гнетом поражений и годами тюрьмы (предисловие к книге Э. Толлера «Тюремные песни», 1925).

Специального внимания заслуживает статья Луначарского «А. Барбюс. Из личных воспоминаний» (1933), являющаяся образцом острой, глубокой, высокообъективной оценки замечательного французского писателя, которого советский критик называл «воином обновляющего мир пролетариата». В этой статье великолепно очерчен тип революционного художника XX века. Трудно переоценить значение записанной Луначарским беседы с Лениным о Барбюсе. И будто сейчас сказаны памятные слова о роли Барбюса в мировом общественном и литературном движении: «Барбюс вписал свое имя огромными буквами в историю войны против войны».

То, что написано Луначарским о социалистической литературе в далекие 20-е годы, существенно и для наших дней. Луначарский предвосхищает разработанный советской наукой впоследствии тезис о закономерности появления социалистического реализма в мировой литературе, о глубоком своеобразии форм его развития в различных странах мира, о его международном значении.

Еще в 1930 году Луначарский писал, что усиление и рост СССР «вызовет новую, видоизмененную, во многом более определенную волну революционной поэзии», в которой, по его словам, будут преобладать «ленинские мотивы» (предисловие к сборнику «Современная революционная поэзия Запада»). Конечно, под «ленинскими мотивами» надо понимать именно широкую новую про-

грамму революционного искусства XX века на той его новой стадии, наступление которой так верно предугадал Луначарский.

Если Луначарский понимал и разъяснял значение успехов Советского Союза для всего хода развития мировой литературы в XX веке, то не раз напоминал он и о необходимости укреплять международные связи советской литературы. Уместно будет напомнить именно на страницах «Иностранной литературы» о том, что в статье, опубликованной в 1928 году в первом номере журнала «Вестник иностранной литературы» — так назывался этот предок нашего журнала,— Луначарский призывал изучать «жизнеспособные клеточки пролетарской литературы на Западе, эти ценнейшие искорки, из которых в свое время возгорится пламя». Среди писателей социалистического направления советовал Луначарский искать корреспондентов и авторов для журнала.

Луначарский не уставал напоминать вновь и вновь о сложности литературного процесса современности, о необходимости видеть его во всех живых противоречиях, а не в унылой предвзятой схеме. «Существует целый ряд переходов от действительно черной буржуазной лживой литературы,— писал Луначарский в 1928 году,— к чистым проявлениям литературы, непосредственно работающей для коммунистического возрождения человечества». Луначарский учил не забывать об авторах, воплощающих эти «переходы», о том, что они могут быть полезны в великой борьбе нового мира против окружавших его в те годы врагов. Современная прогрессивная литература за рубежом не исчерпывалась для Луначарского только писателями, прямо связанными с коммунистическим движением. В статьях «Западная интеллигенция» (1922) и «Попутчики в Европе» (1924) он снова напоминает о том, что в рядах передовой интеллигенции пролетарская литература найдет «блестящих союзников». Луначарский учил бережно и внимательно, но вместе с тем и взыскательно относиться к этим возможным союзникам. Луначарский не скрывал сложности борьбы за души «мастеров культуры»; он говорил о необходимости постоянной разъяснительной работы с интеллигенцией. Он писал о том, что нужно «вмешаться в эстетические, этические, а не только социально-политические распри интеллигентской ярмарки...» Луначарский считал необходимым доказать «мастерам культуры», что «мы ничего не выбрасываем зря, что мы ценим все ценное в культуре, что никакого понижения мысли и искусства мы не желаем, не допустим...»

В статьях об Уэллсе, Гауптмане, Шоу, Роллане Луначарский показал пример такого отношения к большим зарубежным писателям, при котором проявляется полная принципиальность, позволяющая открыто (и подчас довольно резко) критиковать всемирно известного художника, пренебрегая испуганными окриками иных чрезмерно боязливых поклонников его таланта, и в то же время сохраняется возможность дружеского совета, товарищеского разговора, подкрепленного авторитетом советской культуры.

Конечно, к каждому из названных четырех писателей отношение Луначарского было различным. С Гербертом Уэллсом он охотно и едко полемизировал, не надеясь на возможность его перехода в лагерь социалистической литературы, но с уважением оценивая мощное критическое начало в книгах этого писателя, ставшего ценным союзником прогрессивных общественных кругов в их борьбе против империалистической реакции.

В статьях о Гауптмане Луначарский нашел точную оценку его творчества, выводящую творчество этого противоречивого писателя за рамки буржуазной немецкой литературы: «И как бы ни покрывала буржуазия своими похвалами... Гауптмана, мы, не имея, к сожалению, возможности сказать о нем: «Он — наш!» — мы имеем полную возможность крикнуть ей: «Вы лжете, он — не ваш!» В дальнейшем лучшие произведения Гауптмана, при всей извилистости его творческого пути, подтвердили правоту этой оценки.

Луначарский еще до Октября отмечал театральные успехи Бернарда Шоу, он пристально и заинтересованно следил за развитием его творчества. В 1931 году перед приездом Шоу, пожелавшего отпраздновать свое семидесятипятилетие в СССР, Луначарский в статьях «Большой художник» и «Бернард Шоу — наш гость» подчеркнул самое значение того факта, что маститый художник с мировым именем захотел быть в торжественные для него дни именно в СССР. Во вдохновенной речи, которую Луначарский произнес на юбилейном вечере Шоу в Колонном зале Дома Союзов, дана

глубокая характеристика сатиры Шоу как объективного выражения победы писателя над безобразным, бесчеловечным миром капитализма. В статье «Бернард Шоу еще раз говорит правду» Луначарский пишет о нем как о большом художнике, который хоронит прошлое и потому столь нужен тем, кто борется за победу будущего.

Вместе с тем Луначарский говорил о противоречиях Шоу, о том, что всегда возможен неожиданный и непредвиденный даже для самых близких друзей писателя тот или иной его поворот в сторону от прогрессивной линии, которая, казалось, наметилась в творчестве английского драматурга на рубеже 30-х годов.

Высоко ценя Шоу, «одного из самых блестящих паладинов смеха в истории европейского искусства», сравнивая его со Свифтом, которого Луначарский так любил и о котором он написал замечательную статью — предисловие к переводу сатиры Свифта «Сказка о бочке», Луначарский даже в статье «Бернард Шоу — наш гость», приветствуя английского драматурга в СССР, счел возможным сказать: «Мы понимаем, что Бернард Шоу наш союзник. Но мы знаем очень хорошо, что он может иногда сделать какой-нибудь изумительный зигзаг».

Сложным было отношение Луначарского и к творчеству Ромена Роллана. Луначарский высоко ценил «Жана Кристофа», книги о Бетховене, Толстом, Микеланджело, статьи о народном театре. С дружеской признательностью Луначарский писал о том, что Роллан одним из первых писателей старого мира поднял голос в защиту социалистического строя, родившегося в России.

Однако Луначарского обеспокоила позиция, занятая Ролланом в дискуссии с Барбюсом на тему о революционном насилии, противником которого выступил Роллан. Затем начался отход Роллана в сторону гандизма, что нашло отражение в ряде его драм о французской революции. В курсе лекций «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» и особенно в замечаниях, рассыпанных в тех главах книги «На Западе» (1927), которые посвящены французской литературе, Луначарский, разъясняя советскому и зарубежному читателю позицию Роллана в вопросе о революционном терроре, говорил о «типично либеральном» сознании писателя.

Луначарский не умалчивал о том, в чем он расходился со своим другом Р. Ролланом. Но критик не забывает сказать, что Роллан «начинает угадывать контуры нашего великого века», остается одним из самых выдающихся художников современного Запада. Умение понять сложный путь развития общественных взглядов писателя позволило Луначарскому позднее — в 1932 году — с полным основанием говорить в статье «У Ромена Роллана» о победе сильных сторон его мировоззрения, о переходе этого великого мастера культуры на сторону социалистического общества.

«Мы должны углубленно, следя за деталями, следя за обстановкой развития, вдумчиво отмечать явления распада буржуазной интеллигенции со всеми его признаками — метанием, страхом перед кризисом и наступающим концом капитализма,— писал Луначарский в замечательной статье «Куда идет французская интеллигенция» (1933).— Мы можем и должны помочь тем, кто решается сказать правду и порвать связывающие его цепи,— тем, у кого период колебаний принял затяжную и мучительную форму».

Рассматривая под этим углом зрения духовное движение среди французской интеллигенции и, в частности, позицию, занятую в начале 30-х годов А. Жидом, Луначарский предупреждал, что именно от А. Жида, спор которого с буржуазией он приветствовал, можно ожидать «при известных обстоятельствах» новых резких поворотов, к тому же совершаемых в «припадке гуманистической истерики». Луначарского уже не было в живых, когда его прогноз полностью подтвердился. Но смысл его статьи в том, что эксцессы, вроде ренегатства А. Жида, неизбежны в ходе напряженной идеологической и политической борьбы. Надо быть готовыми к ним, говорил Луначарский, и, помня об их возможности, обнажать все те явления зарубежной литературы, которые в той или иной мере свидетельствуют о растущем кризисе буржуазной культуры, способствуют его углублению. Луначарский считал, что при этом не надо забывать о сущности подобных явлений, о противоречивости и нестойкости многих писателей-интеллигентов и ни в коем случае не изображать их как писателей-революционеров, верных делу социализма.

■

Представление о подлинном новаторстве в искусстве для Луначарского всегда было связано с воплощением того нового в жиз-

ни, что кипело вокруг художников и вдохновляло их на смелые поиски новой формы для отображения новых идеалов, новых чувств, новых переживаний и ценностей. Подлинно новыми художниками для Луначарского были те, кто умел показать характер человека, выступающего против старого строя. Вот почему так высоко ценил Луначарский Маяковского, который был для него подлинным поэтом-новатором. Мы знаем, что и Маяковский ценил в Луначарском читателя и критика, верно понимавшего те творческие задачи, которые ставил перед собой поэт. Потому же с таким живым интересом относился Луначарский и к молодой советской литературе в целом, заботливо выделяя в ней и поддерживая то талантливое и значительное, что впоследствии завоевало ей мировое признание.

Луначарский был последователен и непримирим в своем неприятии новаторства ложного, претендовавшего на литературную моду. Перелистаем статьи Луначарского, опубликованные им перед первой мировой войной,— сколько в них острой, беспощадной, умной критики различных явлений декадентского искусства! Луначарский умел под любой маской различить физиономию декадента. Еще более острой и глубокой стала эта критика в годы после первой мировой войны, когда многие декадентские явления стали выступать под особенно крикливыми лозунгами новаторства в искусстве, используя модную в то время анархистскую фразеологию. В книге очерков «На Западе» Луначарский, живой и вдумчивый свидетель литературного процесса на Западе в начале века, указывал на преемственную связь между послевоенным экспрессионизмом, сюрреализмом, кубизмом, который сложился еще накануне войны, дадаизмом военных лет и, наконец, футуризмом, против которого Луначарский не уставал ратовать и до и после 1917 года.

Ныне эти течения нередко объединяют под общим малоубедительным термином «авангардизм», причем в ряде случаев это звучит как определение якобы действительно передовой роли всех подобных течений, взятых в целом: так поступали, например, некоторые итальянские критики во время дискуссии об авангардизме, развернувшейся в 1959—1960 годы.

И здесь наследие Луначарского вновь обнаруживает свои ценнейшие качества острого и закаленного оружия.

В анализе авангардистских течений зарубежной литературы с особой очевидностью проявилась партийная принципиальность Луначарского-исследователя, его конкретно-исторический подход к каждому из них.

Он различал характер и судьбы «левых» течений в различных литературах. Луначарский видел разницу между агрессивным итальянским футуризмом и футуризмом русским, видел он и противоречия внутри групп, отличал Маяковского от «бурлюков», о которых писал именно во множественном числе и с маленькой буквы. Он подчеркивал отличие талантливого итальянского поэта Лучини от фашиста Маринетти. Луначарский полагал, что если экспрессионизм играл в немецкой литературе роль весьма значительную в начале 20-х годов, то роль сюрреализма во французской литературе того же времени была гораздо более скромной и ограничивалась сферой поэзии. Луначарский резко осудил нигилистическое отношение французских сюрреалистов 20-х годов к культурному наследию и дал весьма тонкую критическую оценку их настроений в одном из очерков, вошедших в книгу «На Западе». В частности, Луначарский со здравым скепсисом отнесся к революционной фразе, на которую особенно падки были французские сюрреалисты в середине 20-х годов. Тогда же он выделил из всей группы сюрреалистов Арагона, отметив его наряду с Ж.-Р. Блоком как многообещающее явление молодой французской литературы. В мучительных творческих поисках Ж.-Р. Блока и Арагона Луначарский чутко уловил подлинное новаторство, связанное с желанием выявить средствами искусства новые драматические коллизии, новые конфликты, назревшие в послевоенном буржуазном обществе и особенно ощутимые во Франции. Луначарский не отождествлял «левые» течения с отлично знакомыми ему течениями зарубежного декаданса, но указывал на известную преемственность между ними. В целом же для него эти явления, при всей их несомненной сложности и несхожести, свидетельствовали о кризисе культуры буржуазного мира и его сознания.

Это, однако, не закрывало для Луначарского того, что некоторые элементы «левых» течений могут играть на определенном этапе положительную роль. Давая, например, в ряде статей очень острую политическую

характеристику немецкого экспрессионизма, Луначарский не жалел резких слов для раскрытия реакционности, присущей его правому крылу.

Искусство левых экспрессионистов, по словам Луначарского, было «глубоко противобуржуазно», поэтому они и могут быть нашими «союзниками»; «но мы прекрасно знаем,— добавлял он,— что они очень легко могут сорваться в разные фантазии», связанные с их анархистскими тенденциями. При всем том Луначарский понимал, что путь некоторых (разумеется, не всех) немецких пролетарских поэтов лежал через левый экспрессионизм. Из предисловия к сборнику «Революционные поэты XX века» видно, что Бехер стал для Луначарского поэтом-коммунистом; в данном случае это выражение надо понимать как определение не только политической, но и эстетической позиции Бехера — именно после того, как закончился в его развитии период, связанный с экспрессионизмом. Только шагнув вперед, подчеркивал Луначарский, к новому мировоззрению и новой эстетике, «бунтарь-экспрессионист» становится поэтом-коммунистом, способным решать задачи гораздо более сложные, чем те, которые были по плечу экспрессионисту.

■

В 1921 году, впервые после долгих лет гражданской войны и напряженной работы руководителя культурной жизни молодой советской страны, Луначарский вновь пересек границы родины и оказался там, где бывал когда-то эмигрантом. Теперь он был министром, посланником великой страны, вызывавшей жгучий и самый широкий интерес. Портреты Луначарского замелькали в крупнейших зарубежных газетах и журналах тех лет: он стал сенсацией именно потому, что это был Луначарский, несомненный и выдающийся авторитет во многих вопросах культуры, блистательный оратор, увлекательный собеседник, острый полемист, опытный ценитель искусства.

В его книге очерков «На Западе» перед читателем развертывается не только широкая панорама жизни в Западной Европе, но и картина жизни искусства, литературной борьбы, картина нарастающего упадка буржуазной культуры, читатель видит явления нового, порою еще слабые, но несомненно перспективные, обнадеживающие ростки зарубежной социалистической культуры 20-х годов.

Созданная им в очерках «На Западе» картина западноевропейской литературы особенно значительна потому, что Луначарский увидел капиталистический Запад и его культуру глазами советского человека, обогащенного опытом советской действительности. В Луначарском, который не терпел небрежно-поверхностного отношения к буржуазной культуре «вообще», вульгарного нигилизма, свойственного как невеждам, так и начетчикам, необыкновенно прочно жило великолепное чувство «собственной гордости» советского человека, о котором в те же годы писал Маяковский. Перспективы, открывающиеся перед только что оправившейся от войны и разрухи молодой советской страной, помогли Луначарскому увидеть в верном ракурсе и развитие литературного процесса на Западе.

Луначарский любил в своих статьях говорить как бы от лица широких кругов советского общества; его «мы» в таких случаях звучит не как академическая условность, а как выражение мыслей и чувств советского коллектива, к которому принадлежит критик и к которому он обращается. Шиллер и *мы*, Гете и *мы*, Гюго и *мы* — во всех этих случаях (а сколько их было за последние годы деятельности Луначарского!) вопрос о нашем отношении к культурному наследию ставился именно так.

Любимым писателем Луначарского среди западноевропейских классиков был А. Франс. Работы Луначарского о Франсе, собранные вместе, составили бы интересную книгу о великом французском гуманисте XX века. Луначарский ревностно следил за русским изданием произведений Франса, выходившим под его редакцией, снабжал предисловиями его отдельные тома. Луначарский называл Франса «писателем иронии и надежды»; «мы не забудем его»,— писал он в некрологе, помещенном в «Правде».

При всем том статьи Луначарского об отдельных произведениях Франса содержат в себе не только раскрытие достоинств творчества Франса, но и глубокую, партийную критику позиций художника, указание на сущность и корни противоречивости его взглядов, на определенную ограниченность его творческих возможностей, объяснявшуюся не отсутствием таланта, а идейными взглядами Франса. Оценка Франса в работах Луначарского — поистине пример того, как надо изучать и разъяснять творчество великих писателей.

Шли годы, и на политическом горизонте явственно обрисовалась опасность фашизма. Еще в 1923 году Луначарский насмешливо говорил о некоем «фашистском обер-Наполеоне» и о том, что «фашистская организация есть гибель человечества и человеческой свободы», и противопоставлял фашизму исторические деяния рабочего класса, закладывающего основы социализма.

В книге «На Западе» он уже отстаивал ценности мировой культуры от нападок духовных предтеч фашизма. С конца 20-х годов в выступлениях Луначарского зазвучала нарастающая антифашистская тема, тема защиты культуры от фашистского варварства, тема социалистического гуманизма В этом смысле особенно значительны его выступления, связанные с юбилеем Гете, прошедшим в 1932 году под знаком борьбы против фашистского искажения образа великого немца.

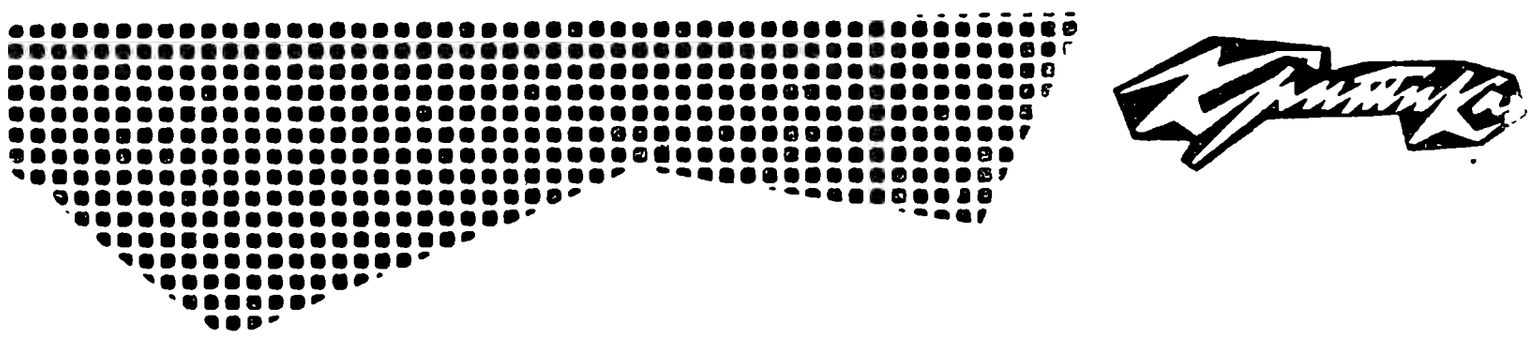
Вдохновенный обличитель фашизма, Луначарский был одним из первых и особенно активных советских участников международного антифашистского движения, возникавшего на рубеже 20-х и 30-х годов. Уже тогда Луначарский видел не только нарастающую опасность фашизма и перспективу упорной и нелегкой борьбы против него, но и историческую обреченность фашизма, неизбежность его крушения, закономерность победы социализма, которому он отдал все свои силы.

Современно и поучительно звучат слова Луначарского, сказанные сорок лет назад — в 1923 году, в докладе «Искусство и его новейшие формы»:

«Да, перестроить мир — это значит его гуманизировать!»

Художники, продолжал Луначарский,—великие помощники в деле социализации и гуманизирующего преображения, очеловечения мира. Тот, кто служит этому делу, заключает Луначарский,— великий художник.

От работ Луначарского веет творческим марксизмом, революционной наукой, помогающей изменить мир Им чужд дух догматики; им присуща верность ленинским принципам партийности. Луначарский всегда опирался на живой опыт действительности, диалектику общественного развития. Его отличала смелость мыслителя-большевика, позволившая ему стать провозвестником успехов социалистического реализма в мировом масштабе. Живое творческое начало работ Луначарского соединено с живым чувством читателя, с постоянной заботой о тех, для кого он писал и трудился,— о советских людях.



РЫШАРД
МАТУШЕВСКИЙ

ПИСАТЕЛЬ НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ

(О творчестве Ярослава Ивашкевича)

В феврале 1964 года исполняется семьдесят лет одному из самых выдающихся писателей современной Польши — Ярославу Ивашкевичу. Приближается также другая дата — пятидесятилетие его литературной деятельности. Роль, которую играет ныне в польской литературе автор «Хвалы и славы»*, поистине исключительна. Можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что творчество Ярослава Ивашкевича отражает не одну, а несколько эпох в жизни польского народа, что оно является живой книгой метаморфоз стиля, быта, сознания, отражением перемен, которые произошли как в той среде и социальной прослойке, которую представляет сам писатель, так и во всем польском обществе.

Нет ничего более поучительного, чем любая попытка сопоставить раннее творчество Ивашкевича — его стихи и лирическую прозу, с его зрелым творчеством — с развернутой картиной жизни в «Хвале и славе» и другими достижениями последних лет. Ивашкевич полностью опровергает банальное представление о поэте как личности, подверженной частой смене настроений, приливам и отливам творческого вдохновения. Он принадлежит к литераторам, обладающим железным упорством, умением систематически трудиться, литераторам, всегда находящимся в боевой готовности, не выпускающим пера из рук, пишущим независимо от того, насколько благоприятны условия для творческой работы. Кроме литературы писателя привлекают и другие области искусства — музыка, живопись, архитектура. Он работает в столь различных жанрах, как лирическая поэзия, роман, новелла, драма, эссе, литературный фельетон, биографический очерк, мемуары. Все это говорит о поистине ренессансной широте и многогранности его дарования.

Ярослав Ивашкевич родился 20 февраля 1894 года в селе Кальник под Киевом, в семье бухгалтера местного сахарного завода. Он учился в киевской гимназии и рано познакомился с русской и украинской культурой, с классической русской литературой.

Разумеется, будущий писатель формировался прежде всего под влиянием семьи и жившей на Украине польской интеллиген-

* Глава из романа Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава» — «На отшибе» публикуется в этом номере журнала.

ции, к которой была близка семья писателя. Так, например, именно в те годы началась его долголетняя дружба с двоюродным братом — выдающимся композитором Каролем Шимановским, которому впоследствии Ивашкевич посвятил книгу великолепных воспоминаний («Встречи с Каролем Шимановским», 1947) и некоторыми чертами которого наделил образ одного из главных героев романа «Хвала и слава». В семейной усадьбе Шимановских, в Тымошовке, молодой Ивашкевич часто проводил каникулы, и интеллектуальная атмосфера этого дома сыграла немалую роль в развитии художественных наклонностей будущего писателя.

Человек, музыкально одаренный, Ивашкевич вначале, под влиянием Кароля Шимановского, тоже намеревался посвятить себя музыке. Учась в годы первой мировой войны на юридическом факультете Киевского университета, он одновременно занимался в консерватории. Однако вскоре Ивашкевич понял, что его подлинным призванием является литература. Именно в этот период состоялся его поэтический дебют в одном из журналов, издававшихся в Киеве на польском языке.

Молодой писатель находился в те годы в нелегком материальном положении. Он рано потерял отца и в гимназические и студенческие годы зарабатывал на жизнь частными уроками (впоследствии еще долго это было для него главным источником существования).

«Украинская» молодость поэта оставила глубокий след в его творчестве. Он тонко чувствует красоту украинской природы, бытовой колорит родного края и воспроизводит их во многих юношеских и более поздних, зрелых произведениях; украинские мотивы то и дело мелькают в его ранних стихах. Атмосферой юношеских философских диспутов и присущих молодости душевных тревог насыщено первое зрелое прозаическое произведение Ивашкевича — повесть «Луна восходит» (1925), действие которой также разворачивается на Украине во времена молодости писателя. Впоследствии Ивашкевич вернется к этой атмосфере своей юности во «Встречах с Каролем Шимановским», в увлекательной «Книге моих воспоминаний» (1957) и, наконец, в первом томе романа «Хвала и слава».

Стефан Жеромский, в то время высший литературный авторитет в Польше, обратил внимание на многообещающий талант молодого писателя после выхода первых же книг Ивашкевича. «Это великолепный прозаик и писатель совершенно оригинальный,— писал Жеромский.— Когда читаешь этого поэта, кажется, будто видишь голубые дали. Эта голубая дымка окутывает в его книгах украинскую землю, где происходят самые обыкновенные истории молодости, рассказанные с искренностью исповеди Жан-Жака Руссо, с невыразимой простотой, свойственной признаниям, которые нашептываются на ухо любимой женщине».

Это восторженное мнение великого писателя о начинающем авторе, высказанное в 1923 году, основывалось только на нескольких сборниках лирической прозы Ивашкевича и свидетельствовало прежде всего о прозорливости Жеромского.

В 1918 году Ивашкевич, как и большинство поляков, живших на территории СССР и связанных со средой, далекой от революционных идей, узнав о возникновении Польского государства, переехал в Польшу и поселился в Варшаве. Окончание войны, возникновение после столетней неволи независимого Польского государства, надежды, пробужденные Великой Октябрьской революцией и революционным кипением в Европе,— все это вызвало величайший подъем и брожение в кругах варшавской литературной молодежи. Отголоски революционных настроений различными путями проникали даже в среду буржуазной интеллигенции. Настроения эти своеобразно преломлялись в эстетических воззрениях молодого поколения, сочетаясь с бунтом против старых и окостеневших форм в литературе и искусстве. Возникали различные литературные группы—футуристы, экспрессионисты,—провозглашавшие новое искусство, требовавшие новых средств выражения.

С одной из таких поэтических групп, объединявшей выдающиеся таланты, и сблизился, приехав из Киева, Ярослав Ивашкевич. По своей эстетической программе это была отнюдь не самая крайняя группа. Несмотря на то что входивший в эту группу Юлиан Тувим объявлял себя в одном из юношеских стихотворений «первым польским футуристом», ни его лирике, ни творчеству его товарищей не были присущи те крайние тенденции, которые характерны для более «бунтарских» групп. Программные высказывания, опубликованные в ежемесячни-

ке «Скамандер»* (так вскоре стала называться и сама группа), скорее эклектичны, это попытка примирить «новое» со «старым», стремительность и стихийность молодости с уважением к традициям. В противоположность футуристам, экспрессионистам и поэтам, группирующимся вокруг возникшего несколько позднее журнала «Звротница», называвшим себя «авангардистами», «екамандриты» не отказывались от традиционной строфы, от лирической интонации, а лишь переводили ее в несколько иную тональность, нежели та, которая была характерна для поэзии до первой мировой войны. Лозунгом их была прежде всего борьба с псевдопоэтичностью, искусственным языком поэтов так называемой «Молодой Польши», с их метафизической философией и отвлеченностью. Они стремились писать разговорным языком, воспевать «обыкновенного человека», вводили в поэзию урбанистический пейзаж, элементы политической актуальности и мотивы социального протеста, окрашенного, однако, в тона мелкобуржуазного радикализма.

Впрочем, мы совершили бы ошибку, если бы распространили эту характеристику на группу «скамандритов» в целом. Вскоре стало очевидно, что поэты эти очень разные. Все, о чем мы говорили выше, пожалуй, в наибольшей степени относится к Юлиану Тувиму, но уже менее характерно для Слонимского и Вежинского, еще менее присуще воспитанному в традициях романтизма и «Молодой Польши» поэту Лехоню и только в самой малой степени — Ярославу Ивашкевичу.

Поэзия Ярослава Ивашкевича с самого начала весьма заметно отличалась от поэзии других «скамандритов». Это объяснялось, в частности, тем, что он как поэт сложился в несколько иных, чем они, условиях.

Он пережил юношеское увлечение акмеизмом и поздним символизмом. Нельзя не заметить, что ранние произведения Ивашкевича кажутся в связи с этим на фоне творчества других «скамандритов» несколько анахроничными, менее общественно значимыми, более эстетскими и близкими к тем течениям в искусстве, которые ниспровергались молодыми. Поэтому, когда дело доходило до полемики между поэтами «Скамандера» и более крайними авангардистскими группировками, Ивашкевичу доставалось больше всех, как «традиционалисту», «эпигону», пишущему изысканные орнаментальные стихи для избранных.

В этих обвинениях несомненно было много горькой правды, хотя, с другой стороны, нельзя было отказать молодому писателю в новаторстве — впрочем, несколько иного характера, чем у других польских поэтов того времени. Все юношеское творчество Ивашкевича основано на стилизации, причем многое свидетельствует о тонком вкусе поэта. В противоположность стихийному и непосредственному Тувиму, Ивашкевич всегда прибегал к зашифрованности, к сознательной искусственности, пользовался различными литературными ассоциациями, свидетельствовавшими не только о большой культуре, но и об известной робости, когда речь шла о раскрытии его собственной позиции и чувств. И лишь после более чем десятилетней юношеской маскировки с помощью переодеваний в стилизованные одежды, после продолжавшегося дольше, чем у других его ровесников, периода становления Ивашкевич предстал перед изумленными читателями без камуфляжа искусственности, и они увидели, что из поэта, дебют которого несколько затмили дебюты Тувима, Лехоня или Вежинского, вдруг вырос писатель, равный им в лирике и превосходящий их тем, что лирика не была единственным жанром, в котором он мог себя проявить.

Но подлинный успех приносит Ивашкевичу на пороге тридцатых годов проза. Правда, первые его повести и поэтические рассказы прошли незамеченными. Даже такое интересное произведение, как повесть «Луна восходит», не получило широкого отклика. Это объяснялось преобладанием лирической струи в ранней прозе Ивашкевича, субъективизмом в видении мира, связанным с модернистскими влияниями, а также известной нечеткостью композиции. Пожалуй, лишь в начале тридцатых годов Ивашкевич по-настоящему находит себя в рассказах, несколько более развернутых, чем классическая новелла, но имеющих ясно выраженный сюжет и насыщенных той особой поэтической атмосферой, которую со временем стали называть в Польше «атмосферой Ивашкевича».

В чем же особенности этой атмосферы? Ее почувствовал и попытался определить еще Жеромский, который был знаком лишь с ранними произведениями Ивашкевича. Возможно, в ней есть что-то от чеховского стремления раскрыть неуловимое, сложное в человеческой психике. Есть в ней и свое-

---

* Бог реки, протекавшей у стен Трои. Согласно мифу, защищал троянцев от Ахилла.

образный лиризм, углубленный пластическим ви́дением бытовых деталей, живописным воспроизведением пейзажа, незаметно переходящим в описание внутреннего мира человека, его психологии.

Первой книгой, привлекшей внимание к Ивашкевичу, был сборник рассказов «Барышни из Волчиков» (1932). Затем получили теплый прием «Мельница над Утратой» (1936) и, наконец, сборник «Два рассказа» (1938), куда вошли «Анна Гращи» и «Солнце в кухне».

В эти же годы Ивашкевичу приносят успех его первые романы и драмы. Это прежде всего роман «Красные щиты» (1934) — книга, которая завоевала широкое признание читателей и заслужила высокую оценку критики. «Красные щиты» — исторический роман, посвященный малоизученной эпохе — польскому средневековью и, как всякий исторический роман, отразивший взгляды писателя на мир и историю. Ивашкевич порывает здесь с господствовавшей в произведениях модернистов традиционной стилизацией, архаизацией, подчеркивавшей дистанцию между современностью и отдаленными эпохами. В мыслях и чувствах героя «Красных щитов», средневекового польского князя, жившего во времена феодальной раздробленности польского государства (XII век), есть черты, близкие современнику писателя; его, как и современника Ивашкевича, волнует проблема выбора между активным действием и уходом в мир своего внутреннего «я», поиски той внутренней свободы, которую, по мнению автора, приносит отказ от активности. Язык романа современен; польское средневековье, которое традиционно изображалось как некий обособленный, замкнутый, патриархальный варварский мир, рисовалось в произведении Ивашкевича как фрагмент истории Европы.

Подобный же подход к теме в сочетании с точным воссозданием психологической атмосферы определил успех поставленной в 1936 году пьесы Ивашкевича «Лето в Ноане», в основу которой положен эпизод из жизни Фридерика Шопена и Жорж Санд. В герое «Красных щитов» — средневековом князе — писатель обнаруживает тонкую артистическую натуру, трагизм которой обусловлен суровыми обязанностями властелина, обреченного на постоянную активность в ущерб своему внутреннему миру. В пьесе «Лето в Ноане» Ивашкевич раскрывает сложность психологии великого композитора — сочетание гениальности с суетностью. Проблема сопоставления активной и пассивной позиций как двух противоположных форм отношения к миру (причем пассивность отнюдь не означала для Ивашкевича равнодушия и бегства от жизни, она была для него активностью духовной, интеллектуальной или эстетической) особенно интересовала писателя в ту пору.

Эту, пожалуй, основную проблему своего творчества Ивашкевич ни в ранних своих произведениях, ни в более поздних не решал легко и упрощенно. Тем не менее следует отметить, что, как прежде, в эпоху «Красных щитов», так и в рассказах, написанных между двумя войнами и даже во времена оккупации, писатель склонялся к позиции самосозерцания, позиции общественной пассивности, скептически оценивая возможность активного вмешательства в жизнь общества. Разумеется, это скорее эстетская позиция, чем позиция писателя — общественного деятеля. Но в защиту Ивашкевича следует сказать, что проблема общественной активности, которая тогда практически могла перед ним встать, означала для него совсем не то, что обычно подразумевает под этим понятием художник социалистического мира. Это был период фашизации Польши, и Ивашкевич, который в ту пору, как сотрудник одного из дипломатических представительств, испытывал давление со стороны реакционных кругов, выбрав «пассивную позицию», скептическую, эстетскую, тем самым отказывался служить злу. Его «эстетизм» тех лет следует расценивать так же, как оценивается позиция тех, кто в условиях фашистского государства отказывался от участия в каких-либо начинаниях господствующего режима.

На этом фоне явственно виден знаменательный перелом, наметившийся в творчестве Ивашкевича в послевоенные годы в народной Польше. Та же самая, неизменно занимающая его, проблема активного участия человека в общественной жизни решается им, например, в «Хвале и славе» совершенно иначе. В этом романе проведена четкая грань между позицией общественной активности в период войны и оккупации и позицией выжидания, отстранения от участия в общественной жизни.

Одновременно с отмеченной нами эволюцией отношения писателя к проблеме целе-

сообразности сознательного действия в его произведениях произошли и другие изменения. Читая более ранние работы Ивашкевича, легко заметить, что основным импульсом человеческих поступков, человеческой активности, трагического переплетения человеческих судеб у него часто является биологический фактор — любовь, понятая как слепая страсть. Независимо от психологической оправданности подобных ситуаций в рассказах Ивашкевича, нельзя не видеть, что в тех случаях, когда концепция человека полностью или почти полностью основывается на биологической предопределенности, образ оказывается односторонним и обедненным. Часто выступающее у Ивашкевича противоборство двух факторов — слепой, бессознательной стихии, грубой и торжествующей биологической жизненной силы, с одной стороны, и духовной рафинированности, гипертрофии интеллекта, которые порождают рефлексию, неприспособленность к жизни и душевный надлом, с другой,— было дилеммой искусственной и анахроничной, проистекавшей из модернистского противопоставления ницшеанского культа силы и декадентской расслабленности.

Следует отметить, что и эта проблема в более поздних произведениях Ивашкевича решается иначе. Уже в раннем творчестве писателя носителями грубой жизненной силы, молодой и победоносной, были люди из народа; их классовая принадлежность, правда не всегда, была четко выявлена, но они противостояли рафинированным декадентам. В произведениях, написанных во время оккупации, таких как «Старый кирпичный завод» или «Мельница на Лютыне», Ивашкевич начинает находить для поступков этих героев новые мотивировки, делает их выразителями не только слепого инстинкта, но и глубоких чувств, таких как патриотизм, общественная солидарность. Он наделяет их более высоким интеллектом и подчеркивает их глубоко гуманистические черты. Достаточно сравнить написанный еще до войны и носящий явные следы мопассановского влияния рассказ «Роза» (героиня которого, простая девушка, находится на низком уровне интеллектуального развития) с уже упоминавшимися рассказами «Старый кирпичный завод», «Мельница на Лютыне» или более поздним — «Бегство Фелека Оконя», чтобы заметить вехи отмеченной выше эволюции. Она пойдет еще дальше в новейших произведениях, в романе «Хвала и слава», где наряду с носителями отвлеченной гуманистической идеи впервые в творчестве Ивашкевича появляются сознательные борцы-революционеры. Правда, и тут они не находятся в центре внимания писателя, выступают не на первом плане; но это уже вопрос жизненного опыта художника, для которого проблемы общественной борьбы долгие годы были весьма далекими, оставались вне его писательского поля зрения.

Какие же факторы способствовали длительной, медленной, но явной и последовательной эволюции общественно-эстетических взглядов Ивашкевича? Пожалуй, главным тут было утверждение писателя на сознательной, зрелой гражданско-патриотической позиции. Молодого Ивашкевича увлекали миражи так называемого «европеизма», соблазны рафинированной западной культуры. В его произведениях шел как бы внутренний спор, непрекращающийся диалог между двумя сторонами индивидуальности художника: той, что тяготела к «европейскому» блеску, и другой, которую влекла любовь к родной природе, чувство солидарности с соотечественниками. Свою юношескую привязанность к Украине Ивашкевич со временем перенес на мазовецкие равнины и другие уголки Польши. С неизменной радостью возвращался он в Польшу из заграничных поездок, и это противопоставление чужого и родного постоянно встречается в его стихах.

Выбор между позицией космополита и позицией патриота, который стоял перед Ивашкевичем в равной степени как в творчестве, так и в жизни, был сделан им отчасти уже в довоенный период, во время войны и, наконец окончательно, в послевоенные годы. Первым шагом в этом направлении был упоминавшийся выше отказ от сотрудничества с идеологическим лагерем санации; писатель подчеркивал — пока только самим актом бегства в область интересов чисто творческих, эстетических,— что ему чужда мысль отдать свое искусство в услужение идеологии польской буржуазии. Вторым шагом, гораздо более значительным, было его решение остаться в оккупированной гитлеровцами Польше вместе со страдающим и сражающимся народом, хотя он несомненно принадлежал к тем, кто располагал средствами и возможностями, чтобы бежать и найти политическое убежище в Западной Европе или Америке. В его доме в Стависко, под Варшавой, скрывались во время оккупации, особенно в последние ее месяцы,

после Варшавского восстания, многие польские писатели. Там собирались литераторы, чтобы вести, как некогда писал Мицкевич, «долгие ночные разговоры»; там царила бодрость духа, там постоянно теплился огонек веры и надежды, туда приходили со своими произведениями молодые писатели.

В момент рождения народного государства и победоносной социалистической революции в Польше осуществился, так сказать, «третий акт» идейного выбора, сделанного Ивашкевичем. Речь идет тут не о решении остаться в народной Польше — оно явилось прямым следствием решения, принятого ранее, еще в 1939 году. Речь идет о том, что, собственно, ничто не мешало такому литератору, как Ивашкевич, с его большим творческим багажом, остаться на прежних позициях, продолжать «возделывать сад» своего филигранного по стилю и форме искусства.

Выбор Ивашкевича заключался в том, что, не теряя ни одной из черт своей уже сложившейся индивидуальности художника, он активно выступил на стороне социализма.

Я подчеркиваю: не теряя ни единой черты своей индивидуальности. И это очень важно, ибо в те первые годы существования народной Польши встречались и писатели, чья внезапная и поспешная идейная «эволюция» заключалась скорее в отказе от самих себя, от собственного стиля и проблематики в пользу легко декларируемых «переломов» и восторженных признаний. Увы, именно такие внезапные декларации и «переломы» оказывались порой весьма недолговечными. Между тем Ивашкевич остался самим собой. Собой, то есть писателем, который вошел в новую польскую литературу со всеми своими так называемыми «пережитками», своим видением мира, своей проблематикой и эстетическими взглядами, далекими от той последовательной ясности, какую давало писателям, воспитанным в школе марксизма-ленинизма, революционное мировоззрение.

Ивашкевич вошел, однако, в эту новую польскую литературу как писатель-патриот и как писатель-реалист. Реалист, который, впрочем, никогда этого сам не декларировал. Как лирик, Ивашкевич скорее остался поэтом камерным, редко затрагивающим широкую общественную проблематику. Но вместе с тем в его глубоко личных стихах в последнее время все чаще звучат патриотические и гражданские мотивы, чувствуется сердечная, хозяйская забота о родной стране, о людях, об их счастье и покое. Как прозаик, Ивашкевич проявляет все больший интерес к рядовым людям новой Польши, к проблемам современной жизни. Делает он это по-своему, то есть не бьет в колокола так называемой «большой тематики», остается верен себе, тому кругу проблем — моральных, бытовых и психологических,— которые находятся в сфере его опыта, творческого воображения, собственных писательских традиций. Можно легко узнать героев Ивашкевича и отличить их от персонажей, созданных другими авторами. Можно также без труда обнаружить черты, чем-то роднящие героев его рассказов, написанных тридцать лет назад, с персонажами, выступающими в последних произведениях, хоть они и во многом отличаются друг от друга. Достаточно, например, сопоставить недавно изданную короткую повесть Ивашкевича «Влюбленные из Мароны» — очень «сегодняшнюю», насыщенную современными реалиями,— с появившимся более тридцати лет назад рассказом «Березняк», удивительно созвучным ей по теме. Ивашкевич, как и всякий мастер, постоянно возвращается к уже знакомым сюжетам, заново их переосмысляя, перерабатывая. Его волнуют все те же проблемы, только решаются они с большей мудростью и зрелостью.

Когда я пишу, что Ивашкевич не бьет в колокола «большой тематики», я отнюдь не забываю о «Хвале и славе», трехтомном эпическом романе, которым он порадовал нас в последние годы и который несомненно является существенным шагом вперед с точки зрения широты тематики. Это произведение можно назвать итоговым: писатель в нем подводит итог почти полувековому периоду жизни в кругу определенных людей, событий и идей. Действие романа «Хвала и слава» начинается в 1914 году и кончается осенью 1947 года. Оно охватывает эпоху двух мировых войн, двух социальных революций — Великой Октябрьской революции и Польской народной революции. В романе запечатлены судьбы многих представителей общественных кругов, к которым был близок писатель, пережитые ими исторические трагедии и их духовная эволюция. Но вместе с тем роман Ивашкевича не похож на образцы, созданные великими мастерами эпического жанра.

РЫШАРД МАТУШЕВСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ

Несмотря на многоплановость, богатство бытовых и исторических деталей, мы в сущности имеем дело (как и всегда в творчестве Ивашкевича) с произведением несколько камерным — в том, как писатель подходит к показу величайших исторических событий. Роман этот перенасыщен рассуждениями и диалогами, полными рефлексии и философского подтекста, в обрисовке персонажей то и дело проскальзывает какая-то частичка собственного «я» писателя.

Конечно, «Хвала и слава» справедливо считается вершиной многолетней литературной деятельности Ивашкевича, и все-таки появление этой книги не должно заслонять от нас другие творческие достижения писателя. А они поистине огромны. Сразу же после войны Ивашкевич опубликовал три сборника рассказов, в которые частично вошли произведения прежних лет. В 1947 году он получил самую почетную в Польше того времени литературную премию еженедельника «Одродзене» за сборники «Новая любовь» и «Итальянские новеллы». Позднее появились новые сборники: «Подслушанные рассказы» (1954), «Аир и другие рассказы» (1959) и короткая повесть «Влюбленные из Мароны» (1960). В послевоенные годы Ивашкевич издает ряд новых стихотворных сборников: «Олимпийские оды» (1948), «Свиток осени» (1954), «Темные тропы» (1957) и «Завтра жатва» (1963), не считая многочисленных переизданий, а также сборников, составленных из старых и новых стихов. Он пишет повесть для юношества «Поездка в Сандомир» (1950). Публикует и ставит на сцене новые пьесы — «Восстановление Блендомежа» (1950) и «Женитьба господина Бальзака» (1959), в основу которой положен близкий писателю «украинский» мотив: любовь автора «Человеческой комедии» к госпоже Ганской и его путешествие на Украину к «прекрасной польке». Далеко не второстепенное место в послевоенном творчестве Ивашкевича занимают многочисленные воспоминания, эссе и путевые очерки, а также популярные монографии о великих композиторах Шопене и Бахе.

Автобиографически-мемуарный цикл Ивашкевича открывается написанными вскоре после войны «Встречами с Каролем Шимановским» (1947) и продолжается полной очарования «Книгой моих воспоминаний» (1957). За циклом путевых очерков появились «Письма из Южной Америки» (1954). Последующие книги этого плана превращаются в своеобразные очерки о странах, особенно близких автору. Его «Книга о Сицилии» (1956) повествует о земле, которая пленила Ивашкевича причудливым сочетанием античности и южной экзотики, древней культуры и примитивизма. Изданная недавно книга «Лебединое гнездо» (1962) посвящена культуре и природе Дании, ее прошлому и настоящему, рассказывает о дипломатической службе писателя в этой стране еще до войны.

Систематическую и напряженную литературную работу Ивашкевич умеет достойным удивления образом сочетать с различными общественными обязанностями, с активной деятельностью на различных поприщах. В 1946—1950 годах и с 1959 года по сей день он председатель Союза польских писателей. Он был главным редактором журнала «Жице литерацке» в Познани (1945—1946), потом еженедельника «Новины литерацке» в Варшаве (1947—1948) и, наконец, с 1954 года и до настоящего времени — ежемесячника «Твурчость». Он — депутат сейма и председатель польского Комитета защиты мира. К этой последней деятельности он относится отнюдь не формально. Участие в движении в защиту мира является для Ивашкевича естественной реализацией особенно близкой ему и глубоко им прочувствованной идеи, находящей также выражение и в его творчестве. Писатель, которому бесконечно дорога судьба многовековой культуры; гуманист, чей идеал — мир и счастье для людей, которым должна быть представлена возможность беспрепятственно пользоваться великими благами культуры; сын народа, жестоко пострадавшего от войны, Ивашкевич — художник, которому более, чем кому-либо другому, близка проблематика войны и мира. Поэтому так искренне, задушевно звучат его стихи, славящие мир; поэтому одна из главных идей романа «Хвала и слава» — протест против ужасов войны, мечта о лучшем мире, мире без войн.

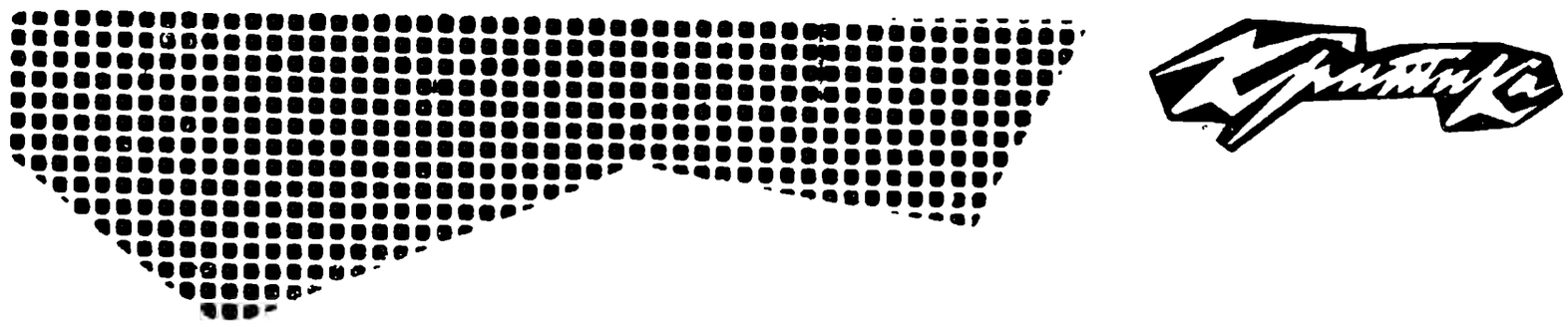
За свою литературную деятельность Ивашкевич на протяжении последних лет трижды удостаивался Государственной премии (в 1951, 1955 годах и после выхода «Хвалы и славы», в 1963 году).

Но роль, которую играет Ярослав Ивашкевич в современной польской литературе, лишь в малой степени определяется «официальным признанием», почетными постами и премиями. Мало кто из современных писателей пользуется таким успехом не толь-

ко у искушенных знатоков, но и у широчайших читательских кругов. Ивашкевич свободен от погони за необычностью формы, столь частой у молодых литераторов, от желания экспериментировать любой ценой. Великолепный рассказчик, покоряющий читателя живостью действия, тонкими характеристиками персонажей, неуловимой поэтической атмосферой, он пишет превосходно, хотя, на первый взгляд, очень просто. Он не подавляет читателя избытком рефлексии и эрудицией, однако в любом его произведении ощущается присутствие этих элементов, из которых складывается огромная писательская культура автора. Ивашкевич — художник, знающий мир и умеющий писать о нем красочно и мудро, писатель, который любит свою родину и может выразить это лирично, не навязчиво.

Трудно сказать, в каком из многочисленных, близких ему литературных жанров Ивашкевич добивается большего успеха. Одним всего дороже его лирика: утонченная, с одной стороны, глубоко традиционная, с другой,—не совсем укладывающаяся в рамки традиций и вместе с тем свободная от формального доктринерства, которое порой присуще иным поэтическим «новаторам». Другие особенно ценят мастерство Ивашкевича в чарующих своей простотой рассказах, многие из которых являются жемчужинами современной польской новеллистики. Третьи высоко ставят эпические достоинства романа «Хвала и слава» или обаяние его очерков и воспоминаний. Но можно сказать с уверенностью: ни одной из его книг не приходится дожидаться своего читателя. Ее находят сразу, ее приветствуют как хорошего, испытанного друга.

г. Варшава



ИВАН КАШКИН

ИСПАНИЯ В РАССКАЗАХ ХЕМИНГУЭЯ

Уже с самого начала двадцатых годов Хемингуэй часто бывал в Испании (тогда еще королевской) и на всю жизнь полюбил эту страну. За без малого сорок лет знакомства с нею она представала ему в разных обличьях. Их было по крайней мере три. Сначала экзотическая праздничная Испания боя быков и матадоров, хорошо известная по «Фиесте», «Непобежденному» и трактату «Смерть после полудня». Но хотя для некоторых читателей экзотика боя быков и баров, мулеты и фундадора исчерпывает испанскую тему Хемингуэя, глубокой ошибкой было бы так суживать его интерес к Испании. Пускай маршруты его и определяли очередные корриды, по которым он следовал за друзьями-матадорами, но Хемингуэй исколесил Испанию вдоль и поперек, забираясь при этом в глухие нагорья Наварры и Арагона, приглядываясь к нищете Ламанчи и благополучию Каталонии, ловя форель в Бургете, посещая соборы Бургоса и подолгу бродя по залам Прадо и Эскориала. Сервантес и Кеведо, Веласкес и Гойя для него стали не только именами в справочниках и путеводителях, они открыли ему великое прошлое испанского народа.

Уже после выхода «Фиесты» Хемингуэй видел в Испании отголоски войны с рифами. Он оценил значение разгрома под Анвалем, который вынудил к бегству незадачливого диктатора Примо де Ривера и привел в 1931 году к свержению монархамарионетки Альфонса XIII. На глазах Хемингуэя совершилось несколько переворотов, от участия в которых разного рода политиканы старательно устраняли народ Испании.

Едва ли Хемингуэй хорошо разбирался в происходящем, да и трудно было разобраться в обстановке, создавшейся в «республике трудящихся всех классов», где жандармов, одев в новую форму, просто перекрестили в «гражданскую гвардию» А от подлинно революционной борьбы рабочего класса Хемингуэй был далек. Каталонские анархо-синдикалисты заслоняли от него рабочих и портовиков Барселоны.

Но даже многого не понимая, Хемингуэй чувствовал подспудное брожение нищей, изнуренной феодальными пережитками страны и с тревогой следил за назревающим взрывом, за тем, как вчерашние беглецы из-под Анваля, всякие генералы Санхурхо, Мола и Франко вербовали вчерашних бойцов Абд-эль-Керима, плохо разбиравшихся в жизни солдат, которые в 1936 году подняли мятеж против Испанской Республики. А когда они ворвались в Каса-дель-Кампо и были на пороге Мадрида, Хемингуэй не выдержал и сам ринулся на арену уже не боя быков, а первой схватки с фашизмом.

Из книги об Э. Хемингуэе, над которой И. Кашкин работал в последние месяцы жизни.

Начиная с двадцатых годов Хемингуэй неоднократно писал об Испании. Широко известны испанские страницы книг «В наше время» и «Фиеста»; кроме этого он посылал из Испании газетные корреспонденции, а в трактате «Смерть после полудня» не только описал бой быков, но высказал свои взгляды на испанское искусство и закончил книгу лирическим признанием в любви к этой стране. Но до поры до времени все это носило несколько односторонний и экзотический характер.

Хемингуэй продолжал приглядываться к испанским делам, а из Испании приходили тревожные новости. У власти сменялись то реакционные, то либеральные правительства, на руку реакции играли анархо-синдикалисты, сбивавшие с толку значительную часть испанских рабочих. Осенью 1934 года за участие в астурийском восстании пострадал друг Хемингуэя, художник Луис Кинтанилья. Хемингуэй хлопочет об его освобождении из тюрьмы, устраивает выставку его произведений в Нью-Йорке, пишет введение к ее каталогу.

И вот в июне 1936 года Хемингуэй публикует еще один рассказ на испанскую тему— «Рог быка», со вторым ироническим заглавием «Столица мира». Это еще захолустная столица, старый Мадрид, но все же, по выражению Хемингуэя, «столица души и сердца моего» Место действия рассказа — пансион «Луарка», где живут второразрядные тореро, где останавливаются провинциальные торговцы и священники, обивающие пороги епархиальных канцелярий.

Раньше Хемингуэй писал о показной героике боя быков, о матадорах Бельмонте, Ромеро, Маноло Гарсиа и других «непобежденных». Теперь, как бы в качестве послесловия, он показывает и оборотную сторону: матадора-труса, побывавшего на рогах быка и потерявшего былое мужество, больного матадора, матадора, вышедшего из моды, матадора разжалованного, сменившего шпагу на бандерилью. Один из них пытается завязать интрижку с горничной, другой отлеживается у себя в номере, корчась от боли. Но только что принятый в официанты крестьянский парень Пако не хочет видеть изнанки того, к чему он стремится всей душой. Для него жива иллюзия пышных матадорских одеяний и подвигов. Он мечтает, как бы устроить бой быков не только на арене, но и дома. У Пако четыре желания: быть добрым католиком: революционером, как знакомый официант из анархо-синдикалистов; иметь хорошее постоянное место, как сейчас; и стать тореро. Накануне событий 1936 года такая путаница была в Испании свойственна далеко не одному только Пако. Он затевает опасную игру в бой быков и бесстрашно идет на смерть. Не важно, что это был не рог, а острый как бритва кухонный нож, примотанный грязной салфеткой к ножке стула, изображавшего бычью голову. Не важно. Ведь в старом Мадриде живут и умирают люди, еще полные иллюзий накануне жестокой правды 1936 года, когда бесчисленные Пако так же бесстрашно пойдут уже не на иллюзорные бычьи рога, а на всамделишные штыки марокканцев Франко. Считанные дни — и конец иллюзиям. И Хемингуэй вместе с испанским народом взглянет в лицо этой жестокой правде почти трехлетней гражданской войны.

В «Роге быка» Хемингуэй как бы засек экзотическую Испанию пансиона «Луарка» накануне большой встряски и размежевания, в ходе которой — всего через несколько недель — одни засядут в различные посольства, формируя там пятую колонну, а другие (в их числе, наверное, был бы и Пако) окажутся бойцами Республики в окопах Гвадаррамы или под стенами толедского Алькасара.

В 1936 году Хемингуэй был психологически подготовлен к выходу из тупика и «прыжку» в Испанию уже тем, что он осознал этот тупик и воплотил его в «Снегах Килиманджаро». Однако события в Испании влекли его туда и по другой причине. Хемингуэй не был марксистом; знания в социальной области он приобретал на практике — будучи участником первой мировой войны, корреспондентом на Генуэзской и Лозаннской конференциях, на Ближнем Востоке, в Руре. Революция представлялась ему как прямое действие, как стихийный взрыв народного гнева в результате непереносимых угнетений и особенно после военного разгрома. «За проигранную войну, проигранную позорно и окончательно, приходится расплачиваться распадом государственной системы». Организованная революционная борьба рабочего класса была ему чужда, а политика представлялась ему прежде всего хитросплетением всяких сделок, грязной игрой демагогов и политиканов.

ИВАН КАШКИН

В Италии он видел первые бои всего прогрессивного против наглеющего фашизма, но вынес из этого, правда навсегда, только ненависть к фашизму всех мастей и оттенков.

По своему складу он ненавидел двоедушие и компромисс разного рода оппортунистов и соглашателей и, определяя свое понимание типичного революционера, гневно предупреждал всяких «розовых», спекулировавших на революции: «Пусть не говорят о революции те, кто пишут это слово, но сами никогда не стреляли и не были под пулями».

Разъеденная анархо-синдикализмом страна и экономически и социально была еще мало подготовлена к коренным реформам. Смены правительства были своего рода республиканскими дворцовыми переворотами. Но ко времени приезда Хемингуэя в Испанию у власти встало коалиционное правительство Хуана Негрина с участием коммунистов, и Хемингуэй воспринял его твердую волю с оружием в руках отстаивать завоевания Республики как настоящую революцию в действии.

Хемингуэй надеялся увидеть агонию старого, отжившего правопорядка, который клыками доморощенного и импортированного фашизма бешено огрызался на молодую Испанскую Республику.

Участие в гражданской войне в Испании подготовило Хемингуэя к позднейшему принятию революции на Кубе. «Восстание против Батисты,— говорил он,— это первая революция на Кубе, которую следует действительно считать революцией»,— и называл правительство Фиделя Кастро «первым честным правительством Кубы».

Узнав о мятеже против Республики, и особенно о том, что рядом с марокканцами Франко сражаются фашистские летчики, артиллеристы и танкисты, посланные Гитлером и Муссолини, а затем и целый итальянский экспедиционный корпус, Хемингуэй не мог оставаться в стороне. На вопросы о том, почему он оказался в рядах защитников Республики, он ответил в одном из интервью 1958 года: «Я видел, как рождалась Республика. Я был в Испании, когда король Альфонс бежал, и при мне народ создавал свою конституцию. Это была последняя по времени Республика, родившаяся в Европе, и я верил в нее. Я думаю, что республиканцы могли победить в этой войне и в Испании была бы теперь настоящая Республика... Я поехал корреспондентом от североамериканского газетного объединения писать о гражданской войне в Испании. Я повез несколько санитарных автомобилей для передачи республиканцам». Свою вторую Испанию — Испанию в огне — Хемингуэй увидел глазами непосредственного участника событий, корреспондента и бойца, а позднее, ретроспективно, изобразил ее в романе «По ком звонит колокол» — уже сквозь дымку поражения и сквозь призму смятенного восприятия Джордана.

Кроме чисто фронтовых впечатлений с полей гвадалахарского разгрома, с фронта Харамы и Карабанчеля и сцен бомбардировок и бомбежек Мадрида среди его корреспонденций есть два законченных очерка. Первый — «Американский боец». Посещая в полевом лазарете раненого американца-интербригадовца Рэвена, Хемингуэй сначала не верит рассказам этого скромного питтсбургского клерка, но, убедившись после встречи с его командиром, что Рэвен действительно проявил исключительный героизм в трудном ночном бою, Хемингуэй заканчивает свой очерк восклицанием: «Многое узнаешь в этой войне. Все то, во что ты способен поверить».

Второй очерк — «Мадридские шоферы» — Хемингуэй кончает тоже восклицанием: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на шофера Иполито».

Считая своим долгом не только рассказать, но и показать американской общественности, какие испытания твердо выносят испанцы ради победы Республики, как народ своим мирным трудом поддерживает ее, Хемингуэй с головой уходит в съемку фильма «Испанская земля», сценаристом и диктором которого был он сам, режиссером — Йорис Ивенс, а оператором — Джон Ферно. В трудной и опасной боевой обстановке они снимают эпизоды боев за Университетский городок, атаку интербригадовцев на реке Хараме, бомбежку Мадрида.

Хемингуэй и его товарищи часто бывали в 12-й Интернациональной бригаде, которой командовал генерал Лукач, и если Лукач и бригадный врач Вернер Хейльбрун только мельком захвачены невнятными кадрами, то о них тепло, с нежностью и восхищением говорит Хемингуэй в лирическом послесловии к сценарию, озаглавленном «Жара и холод». Это к ним, убитым через месяц под Уэской, можно отнести слова Хемингуэя о том, что теперь не боишься смерти, но только ненавидишь ее за людей, которых она уносит. А самый сценарий гово-

рит прежде всего о той помощи, которую оказывает борющемуся Мадриду — и не только бойцами, но и своим мирным трудом — испанская деревня, сама земля Испании.

В эти же месяцы Хемингуэй держал корректуру книги «Иметь и не иметь» и внес в текст вывод, подсказанный испанской войной: «Человек один не может ни черта».

В июне 1937 года состоялось первое и самое значительное из публичных выступлений Хемингуэя. Это была его речь на Втором конгрессе американских писателей. В ней он настойчиво проводил три основные мысли. Первая: почему настоящий писатель должен быть против фашизма? «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и работать при фашизме. Фашизм — ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие».

Вторая: как нужно бороться с фашизмом? «Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться». Фашизм — это опасный бандит. «А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его». Поэтому «есть вещи хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже».

И третья: борются ли с фашизмом писатели США и как? «В Испанию поехало много английских писателей*. Много немецких писателей. Много французских и голландских писателей... Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно доискиваться правды...» «Стоит ли рисковать, чтобы найти эту правду,— об этом пусть судят сами писатели». И не те, кто «...хочет только спорить и отстаивать свои позиции, умело выбранные позиции, которые можно занимать без риска. Позиции, которые удерживают пишущей машинкой и укрепляют вечным пером... Я не знаю в точности, кто из американских писателей поехал в Испанию на поиски ее (правды.— *И. К.*). Я знаю многих бойцов батальона имени Линкольна. Но среди них нет писателей».

Горек был призыв Хемингуэя: где вы, писатели США? Действительно. кроме корреспондентов, туда заглянул, скажем, Дос Пассос, но он отсиживался в поумовской Барселоне.

Поздней осенью и зимой 1937 года Хемингуэй жил в пустом, полуразрушенном отеле «Флорида», и о нем говорили: «Сидит в отеле «Флорида» и пишет веселую комедию».

Он был тогда корреспондентом, уполномоченным санитарной помощи американских Друзей Республики, инструктором школы снайперов и т. д. «Мы гордимся,— писал из Испании американский журналист Джордж Сельдес в обращении ко Второму конгрессу американских писателей,— мы гордимся Людвигом Ренном, и Лукачем, и Кинтанильей, и нашими санитарами, и врачами, и нашим Эрнестом Хемингуэем за те неафишируемые дела, которые он совершал в Мадриде».

«Веселая комедия» включила в себя далеко не веселые факты и раздумья. Главный герой «Пятой колонны» Филип Ролингс — это снова американец в Испании, но совсем в новой роли. Это уже не завсегдатай боя быков. Он общается теперь не с праздношатающимися туристами и всякими старыми леди, а с позабывшими про забавы людьми, борющимися за свою свободу.

До сих пор герои — двойники Хемингуэя брали за образец бездумных людей, не знающих сомнений и колебаний. Ролингс, может быть, еще завидует внутреннему равновесию и цельности простоватого клерка Рэвена, но имеет он дело с Антонио, с Максом, то есть достаточно сложными людьми доселе неведомого ему склада. И в кошмарах, которые мучают Ролингса по ночам, он видит уже не разрывы мин на фронте, а шеренгу морской пехоты, что означало в Никарагуа, в Гватемале и даже на Кубе расстрел на месте людей, не угодных колонизаторам.

«В пьесе есть девушка,— пишет Хемингуэй в предисловии,— зовут ее Дороти, но ее можно было бы назвать и Ностальгией». Это слово следовало бы здесь перевести: тоска по привычному.

Дороти не самая плохая из самых обыкновенных американок. Красивая, нежная, храбрая, деловитая. Именно поэтому ей уделено в пьесе так много внимания. Это то, на чем Филип может очень легко споткнуться на своем пути, «а писать об этом надо не слишком рано, но, черт возьми, и

---

* Писатели Англии не только поехали в Испанию, но многие погибли там на фронте, как Ральф Фокс, Корнфорд, Кодуэлл и др

не слишком поздно», а тогда, когда человек еще не сломлен тоской, но сам усилием воли и сознания может преодолеть в себе тягу к привычному, к легкому пути, победив свою хаотичность, свое шалопайство.

Разрыв с Дороти достается Ролингсу нелегко. Ему трудно сказать ей: «Не впутывай меня в свои грезы». «Пятая колонна», угнездившаяся в душе самого Ролингса, тянется ко всему, связанному с Дороти, к «хорошей жизни» с хорошей американской девушкой. И от него требуются немалые усилия, чтобы порвать со всем этим, проявляя то, что Дороти, да и Макс воспринимают как жестокость.

Хемингуэй узнавал в Испании и новых для себя людей. Здесь впервые в своем творчестве он обращается к образу коммуниста. Это немец Макс, изуродованный в застенках гестапо, человек несгибаемой воли и принципиальности. Он не задумывается уничтожить врага и в то же время горячо восстает против мелкой, ненужной, житейской жестокости. Встретив таких людей, Хемингуэй начал было приглядываться к ним, но, к сожалению, в дальнейшем жизнь почти не сводила его с людьми, подобными Лукачу, Хейльбруну, Максу.

В образе Филипа показан знакомый и обычный у Хемингуэя тип человека. В лице Макса Хемингуэй с уважением и даже любовью приглядывается к не совсем еще понятному для него новому типу человека, перешагнувшего через те трудности, которые мучают Филипа.

Макс естественно и просто идет на опасное дело. Иначе он не может. Это стало его жизнью. Филип еще заставляет себя идти. Его связывают еще объективистские законы «честной игры». Хемингуэй приходит к выводу, что человек хорош, когда он делает то, что должен делать по своему внутреннему убеждению, и что в наше время каждый честный человек должен отказаться от позиций стороннего наблюдателя, даже «соглядатая во вражьем стане»; он должен спасать мир от фашистского варварства, он должен быть бойцом за освобождение человечества.

«Ежели люди порочные,— говорил Пьер Безухов,— связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое». В этом было требование момента, и пьеса показывает, что Хемингуэй от этого требования не уклонился, как он это делал еще в начале тридцатых годов.

Так в личном конфликте участника событий Филипа с безучастными свидетелями «пресным Престоном» и «брюзгой Бриджес» была воплощена боевая тема пьесы. Многие американские изоляционисты, сторонники теории американской исключительности, даже признавая ужас происходящего, с облегчением говорят: «К несчастью, нас отделяет от всего этого океан, а наш экономический уровень обеспечивает некоторому количеству из нас бездумное существование, а то и новое просперити». Хемингуэй в своей пьесе дает бой этому заблуждению. Дело Испанской Республики — и наше дело, говорит он, и в этом деле мы не можем устраняться.

Как видим, «веселая комедия», если она и была задумана такою, естественно переросла свои рамки и стала напряженной драмой, рожденной одной из самых актуальных для западного интеллигента проблем. В осенние и зимние месяцы 1937—1938 годов положение республиканской Испании было безрадостное и уже почти безнадежное. От былого подъема не осталось и следа. Надо было стиснув зубы сражаться уже без шансов на успех. И Хемингуэй, все более восхищаясь героическим испанским народом, старался помогать ему в борьбе всеми средствами, рискуя еще раз сломать свою личную жизнь, готовый поступиться своими привычными писательскими навыками и сложившейся репутацией «объективиста».

В пору своей юности Хемингуэй чуть было не стал жертвой «высоких слов» Ллойд-Джорджа, Бриана и президента Вильсона, и со времен «большой лжи», раздутой вокруг «войны за демократию» и завершившего ее Версальского мира, многие высокие слова лишились для Хемингуэя всякого реального содержания: за ними были только лицемерие и фальшь. «Слова от неряшливого применения потеряли свою остроту». Хемингуэю они казались даже не стершимся пятаком, а вконец обесцененной бумажкой периода инфляции. Слова «священный», «славный», «жертва» претили Хемингуэю, когда он видел и читал их на плакатах, под которыми стояли имена Пирпонта Моргана и Джона Рокфеллера.

И в эту раннюю пору обычными для Хемингуэя лейтмотивами и концовками были формулы отталкивания и самоустранения: «Ничто больше не радует», «Ничто никогда не удается», «Уеду я из этого города», «Нам грозит все самое страшное» и т. д

Еще в начале тридцатых годов слово «свобода» («liberty») было для него лишь названием журнала Макфадена, а все пресловутые приманки американской демократии лишь разновидностью «опиума для народа». Но уже в «Смерти после полудня», говоря об Испании, Хемингуэй вынужден был признать, что для испанца слово «честь» так же реально, как вода, вино и оливковое масло. Теперь слово «честь» становилось еще большей реальностью, когда за нее сражались в справедливой войне за настоящую свободу. Многим словам здесь возвращались их первоначальная острота и вес.

Сначала разумом, а потом еще больше сердцем Хемингуэй потянулся к тем своим пожеланиям и выводам, в которые он никогда не переставал верить. Здесь он опять мог повторить, что «Восходит солнце», «Земля пребудет вовеки», «Она, земля, переживает всех тиранов», «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе» (то есть все люди связаны узами человеческой общности, человек найдет свое место среди людей, и люди добьются, наконец, достойной жизни). Все это были выстраданные формулы, и Хемингуэю казалось, что именно теперь «он идет, куда должен идти, и делает то, что должен делать». Путь и направление действительно были выбраны правильно, но если компас недостаточно надежен, это сулит в пути много трудностей и разочарований. Не избежал их и Хемингуэй. Но так или иначе, высокие дела привели и к реабилитации высоких слов. Теперь, когда надо, Хемингуэй не гнушался применять их как один из видов оружия. Просто и естественно ложились теперь на страницы самого Хемингуэя мысли о чести и достоинстве бойцов за республиканскую Испанию. Высокие слова перестали быть риторической фальшью, они совпали с высокими понятиями, осуществляемыми на деле.

Весной 1938 года Хемингуэй ненадолго уехал домой в Америку. Вести о мартовском прорыве фронта на Эбро, о гибели большей части батальона Линкольна на речных переправах сорвали его опять из Флориды. В Испании он застал тяжелые дни. Все лицемернее была политика невмешательства, все теснее кольцо эмбарго, все настойчивее требование распустить интербригады, а с другой стороны, все откровеннее помощь генералу Франко со стороны Гитлера и Муссолини. На дорогах и переправах Каталонии он увидел поток беженцев. По свежему впечатлению Хемингуэй пишет очерк «Старик у моста». Это уже не фронтовой боец, а мирный крестьянин, уцелевший, быть может, только потому, что стоит нелетная погода. Но он не останется у фашистов и, покинув своих животных, уходит вместе с армией. На трех страницах показана трагедия мирного населения Испании, согнанного с насиженных мест. Очерк был написан под гнетущим впечатлением впервые так остро осознанного чувства, что не удалось победить.

Осень 1938 года принесла развал фронта на Эбро, а затем и потерю всей Каталонии. Новости из Испании уже не интересовали телеграфные агентства. Очередь была за Чехословакией.

Узнав в сентябре 1938 года, что реакционные бюрократы скрыли от президента Рузвельта доклады американского посла в Испании о действительном положении дел в стране, Хемингуэй пытался воздействовать на американское общественное мнение через независимый журнал «Кен», напечатав там 9 сентября корреспонденцию «Президента обманывают», намекавшую на необходимость чистки государственного департамента. Но сам Хемингуэй не обманывался. Надежд на победу не оставалось. Весь вопрос был во времени. Для дальнейшего пребывания здесь ненужного агентству корреспондента ему требовались деньги, и Хемингуэй засел за серию очерков-рассказов для того же журнала «Эскуайр», который выручал его в годы творческого кризиса. Это были, собственно, заготовки для уже задуманного им большого полотна, но позднее замысел изменился, и он не воспользовался этими эскизами.

Из этих рассказов составился цикл, объединенный вокруг бара Чикоте, и рассказы эти ценны больше всего своей документальностью и достоверностью. Первый из них, «Мотылек и танк»,— это развернутое изложение эпизода, косвенно промелькнувшего в «Пятой колонне». Нелепый, подгулявший человек с большой спринцовкой в виде духового ружья уподоблен здесь мотыльку, опаленному огнедышащим танком войны. Когда у всех так натянуты нервы, когда у всех в кобуре пистолет, когда все так дьявольски серьезны, никому нельзя шутить с огнем.

Эпиграфом ко второму рассказу «Разоблачение» можно было бы взять слова из предисловия к пьесе «Пятая колонна»: «Многие из тех, кто входил в эту пятую колонну, погибли, но нужно помнить, что они были убиты на войне, в которой являлись такими же опасными и упорными врагами, как те, что погибали в рядах остальных четырех колонн». Иногда они умели умирать, и тогда законы «честной игры» снова брали верх у Хемингуэя. Данью этим законам «fair play» звучит своеобразное утешение пойманного диверсанта, что выдал его чужак, а не официант своего клуба.

Усталостью веет от третьего рассказа — «Ночь перед боем». В центре рассказа доброволец-танкист Эл Вагнер, который, как бы ему ни было тяжело, выполнит свой долг. Но в составе республиканской армии кроме интербригадовцев и коммунистов-добровольцев одно время были и наемники. Для специальных частей, особенно летных, танковых, требовались специалисты, и в республиканскую Испанию тянулись и охотники за длинным рублем. А были и просто гуляки, вроде Балды или тех славных парней-летчиков, которые перед дежурством на аэродроме весело проводят ночь, может быть, последнюю свою ночь. Это о них пишет Кольцов в «Испанском дневнике»: «Поутру они разошлись по комнатам спать, оставив на столе много бутылок. Через час их стали будить — Гидез по телефону требовал пополнения на аэродроме. Дамы тоже спустились с ними вниз, не очень одетые — у одной не хватало чулка,— и во что бы то ни стало хотели ехать вместе. Пилоты долго препирались с ними у стойки портье и покончили на том, что по дороге в Барахас развезут их по домам».

Четвертый рассказ «За гребнем» — это эпизод после провала атаки, бесславная гибель бойца, не выдержавшего напряжения неудачного боя, воркотня группы испанских солдат, призванных из глухой провинции, которые напропалую клянут все и всех, направо и налево, и прежде всего всех непрошеных гостей-иностранцев.

В каждом из героев этих рассказов — по крупице отваги, трусости, легкомыслия, недоверия и усталости, прежде всего усталости. Отдав долг большой правде героизма Иполито, Рэвена, Хемингуэй не закрывал глаза и на будничную, обыденную сторону фронтовой жизни, на маленькие, повседневные правды о проявлении человеческой слабости, преодоленной или ломающей человека.

В письме от 23 марта 1939 года Хемингуэй пишет: «...В рассказах о войне я стараюсь показать все стороны ее, подходя к ней честно и неторопливо и исследуя ее с разных точек зрения. Поэтому не считайте, что какой-нибудь рассказ выражает полностью мою точку зрения: это все гораздо сложнее».

Хемингуэй писал эти рассказы для «Эскуайра» быстро, как в свое время фельетоны. Он не включил их в сборник «Первые сорок восемь рассказов», считая, что это еще сырой материал. Позднее, по тем же причинам, он возражал против напечатания их в юбилейной антологии «Эскуайра». Но они верно передают его озабоченную симпатию к делу Республики, которому он оставался верен до конца своих дней.

Незадолго до падения Мадрида Хемингуэй написал скорбный и просветленный реквием — некролог «Американцам, павшим за Испанию». Нам не удалось победить, и наши мертвые спят в земле Испании. Но жизнь свою они отдали не напрасно, потому что ни один народ нельзя удержать в рабстве, и народ Испании встанет против тиранов И раньше Хемингуэй говорил о земле, которая пребудет вовеки, но теперь мы видим землю, которую не покорить никаким тиранам. Не просто землю, а и народ ее и особенно тех людей, которые, достойно сойдя в землю ради свободы, уже достигли бессмертия.

Хемингуэй знал, что Америке нет дела до своих сыновей, павших за Испанию, и он знал, кто из американцев искренне скорбит о них. Он не колебался в своем выборе, и как некогда обвинение в гибели ветеранов. он и теперь свой реквием послал для опубликования в прогрессивный журнал «Нью мэссис».

На этот раз Хемингуэй вернулся уже не в Ки-Уэст, а на Кубу и тут написал еще один рассказ «Никто никогда не умирает». Он пишет в нем о кубинце-интербригадовце, вернувшемся на родину. Вернулся он, чтобы бороться за освобождение Кубы от своего тирана Мачадо. Он погибает, но, и умирая, думает больше всего о том, как и кто будет бороться после него за его дело. Он не теряет надежды, что раскроются глаза у его подневольных врагов, что они, может быть, когда-нибудь продолжат его дело. А для его подруги, остающейся пока в живых, Хемингуэй не жалеет высоких слов, сравнивая ее с девушкой на площади Руана. Так, косвенно, через кубинскую действи-

тельность, как и в некрологе «Американцам, павшим за Испанию», он еще выражал надежду на грядущую победу дела Республики.

Уезжая ранней весной 1939 года из Испании, Хемингуэй писал, что никаким тиранам не одолеть ее землю. Но вскоре очередное предательство вызвало окончательное поражение. Республиканцы уходили за пределы родины, тираны начали расправу. И вот, когда Хемингуэй стал писать книгу об Испании борющейся, роман этот оказался книгой поражения, уже подернутой траурным флером безнадежности.

«Если уж война начата, единственное, что важно,— это победить, а именно это нам и не удалось»,— говорит он в письме от 23 марта. И роман впитывал в себя эту горечь поражения.

Книга создавалась в трудное не только для Хемингуэя время. Испанская Республика не устояла в неравной борьбе. Западные демократии предали ее. Десятки и сотни тысяч испанских беженцев либо томились в концентрационных лагерях южной Франции и Алжира, либо разбредались по всему свету. Фашизм наступал, и его старались умиротворить любой ценой. За Испанией пришел черед Австрии, потом был Мюнхен, Чехословакия, Польша. На востоке, на другом конце фашистской оси, готовилась к прыжку Япония. Куснув СССР у Хасана и Халхин-гола и получив достойный отпор, она только и ждала, чтобы попытаться по-настоящему вцепиться в горло, как это было сделано японцами в Китае. Война с нацизмом, которую Хемингуэй считал неизбежной еще в 1934 году, обратилась на линии Мажино в «странную войну», когда, вместо того чтобы воевать с немцами, на Западе подготовляли новую интервенцию против СССР, готовили поход на Баку, усиленно науськивали Финляндию и помогали ей. Когда же СССР, готовясь к единоборству с Гитлером, вывел свои войска на оборонительные рубежи и под Ленинградом и на западных границах, то на него клеветали, как на врага номер один.

В США опять, как и в 1914 году, играли в изоляционизм. Либералы трепетали, как кролики перед коброй, и твердили: «Не надо было браться за оружие в Испании. Не надо и сейчас дразнить фашистов». Поднималась новая волна клеветы на СССР, раздуваемая троцкистами и «жалевшими» их либералами. Дело доходило до того, что Хемингуэя упрекали в симпатиях к «тоталитаризму», ставя ему в вину выступление против раскольнических, сепаратистских и просто предательских действий каталонских и других анархистов и поумовцев и против их близоруких или злостных заступников вроде Дос Пассоса и Макса Истмена.

Атмосферу романа «По ком звонит колокол» определяло предательство западных демократий по отношению к Испании, кампания изоляционизма в США, не обещавшая участия США в дальнейшей борьбе с фашизмом.

Хемингуэй поспешил взяться за перо по горячим следам, не дав как следует отстояться материалу, не дав и себе времени для спокойного осмысления происшедшего. В обстановке 1939 года медлить ему было нельзя, надо было скорее воспользоваться коротким затишьем перед боем. Так родилась эта книга, которую он писал быстро, без оглядки. Это была не первая его книга об Испании, но, как и у Джордана, ее героя, еще «ненастоящая». Это видно хотя бы по ее внешней стороне, например, по композиционной несоразмерности, с которой в живую ткань романа врезается большая, на 60 страниц, вставная новелла об избиении фашистов. Есть следы непродуманности и в других, особенно публицистических, отступлениях. Характерно, что сам Хемингуэй, любивший эту книгу, не считал ее завершенной и в самые последние годы жизни собирался вернуться к работе над ней для того, чтобы опустить «то, до чего теперь никому нет дела», а может быть, и то, что имело временное, преходящее значение и было опровергнуто дальнейшим развитием событий. К сожалению, намерения этого осуществить Хемингуэю уже не удалось.

У себя дома, в Штатах, Джордан наблюдал страшные примеры угнетения и расправ. Он вспоминает, что еще ребенком видел, как в его северном городе повесили на фонарном столбе и сожгли негра, он вынужден признать, что и в его стране есть страшные и жестокие люди, что и там уже чувствуется нарастающая угроза фашизма. Он понимает, что богатые не только скучный, но и жестокий народ и что они будут зубами и когтями отстаивать свое право на богатство, хотя бы и фашистскими средствами.

«А крупных собственников у вас нет?» — спрашивает Роберта Джордана один из

испанских партизан.— «Есть, и очень много».— «Значит, несправедливости тоже есть».— «Ну, еще бы! Несправедливостей много».— «Но вы с ними боретесь?» — «Стараемся — все больше и больше. Но несправедливостей много...» — «Тогда вам придется воевать так же, как и нам». (То есть против своего фашизма.— *И. К.)* — «Да, нам придется много воевать». — «А много в вашей стране фашистов?» — «Много таких, которые еще сами не знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно».— «А разве нельзя расправиться с ними, пока они еще не взбунтовались?» — «Нет,— сказал Роберт Джордан.— Расправиться с ними нельзя. Но можно воспитывать людей так, чтобы они боялись фашизма и сумели распознать его, когда он проявится, и выступили на борьбу с ним». Как ни слабо разбирается Джордан в политике, он понимает, что борьба с фашизмом здесь, в Испании,— это борьба и с американским фашизмом.

Хемингуэй писал «Колокол» не как сторонний наблюдатель, но сохраняя при этом свободу восприятия и оценок. Как и его Джордан, он на время войны «был на военной службе и, покуда не истек ее срок, отдавался ей в полную меру своих сил, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому». Как и Джордан, он глядит на большие исторические события сквозь призму морально-психологических конфликтов в душе одного мятущегося интеллигента. Его мучают неотвязные, проклятые вопросы, кризис сознания его современника, утрата им веры в пресловутую демократию, поиски новой цельности. Все это знакомая тема мучительного душенастроения: «Уходит с запада душа, ей нечего там делать». Но временами силуэт терзающегося в ночи Джордана заслоняет собой картины испанской действительности, которых ждали от Хемингуэя. Перефразируя замечание самого Хемингуэя в предисловии к «Пятой колонне», можно сказать: если роман хорош, то потому, что Хемингуэй знал Испанию, а если есть в нем и плохое, то потому, что знал он современную Испанию недостаточно или, вернее, односторонне.

«Колокол» — это книга борьбы, но написана она была в год поражения. Глубокое разочарование в потускневших идеалах западных демократий зародилось еще у «тененте» Генри («Прощай, оружие»). Теперь западные демократии предали республиканскую Испанию. И теперь возможный проигрыш авангардного боя с фашизмом представляется Джордану решающим поражением.

Хемингуэй, не задумываясь, делал в Испании свое дело. Но объясняя свои и чужие действия, он нередко сомневался и путался, иной раз превратно показывая расстановку сил. Хотя сам Хемингуэй по-человечески много честнее пропоздников пресловутой абстрактной «честной игры», но ее жесткие правила сказывалась, например, в трактовке врага как благородного противника. А по отношению к своим соратникам сказывалась другая сторона того же объективизма: «Я хочу показать и героев, и дезертиров, и предателей, и тех, кто на предательство не способен»,— писал Хемингуэй в письме от 23 марта 1939 года. Частично показал он их в рассказах и очерках о войне в Испании. Показал обе стороны медали и в «Колоколе».

Герой пьесы «Пятая колонна» Филип Ролингс заявляет, что подписал договор на пятьдесят лет необъявленных войн, но по отношению к Джордану это лишь слова: для него война уже кончена с его смертью. Для Джордана есть настоящее, окрашенное прошедшим, с его трудно преодолеваемыми травмами войны и жизни, страхом смерти и воспоминанием о самоубийстве отца. Но для Джордана нет будущего. Хемингуэй, видимо, сам в ту пору разделял максималистские взгляды Джордана: этот мост может быть стержнем, на котором повернется судьба всего человечества. Если мы победим здесь — победим везде. Если нас здесь побьют, мы потеряем все нам дорогое. Уж если ввязался в войну, так надо победить, а нам победить не удалось. Мы понесли поражение. Это лейтмотив, который звучит с неослабевающей силой и в письме 1939 года, и в беседе с Г. Боровиком в 1960 году. В Испании Хемингуэй нашел себе дело по плечу — и как писатель и как боец. «В Испании, пока мы верили в победу, было самое счастливое время моей жизни»,— не раз говорил он. Теперь наступила реакция.

Даже люди, самозабвенно, безоглядно, яростно боровшиеся за Испанскую Республику, временами испытывали «тревогу, тоску и боль». Ведь вот с каким чувством еще непосредственно после Гвадалахары в первый раз уезжал на побывку в СССР даже такой жизнерадостный, энергичный, неуемный человек, как Михаил Кольцов: «Поезд грохотал в темноте. И в первый раз так

сильно, так остро, впервые ничем не сдерживаемая, вспыхнула тоска, тревога и боль за этот окровавленный народ, обжег страх за его судьбу, поднялся безудержный, неистовый гнев за страдания, которые он несет, за жертвы, за несправедливость, за неравенство сил, за наглость и бесстыдство палачей».

Не осуществилась не только надежда Джордана при жизни увидеть победу Республики, но и сам Хемингуэй, прожив еще двадцать лет, увидел в 1959 году Испанию все еще под пятой Франко

Осенью 1960 года в журнале «Лайф» были опубликованы главы так до сих пор и не вышедшей книги «Опасное лето», о которой мы можем судить только по фрагментам, напечатанным в 1961 году в журнале «Иностранная литература». Это незамысловатый рассказ о поездке Хемингуэя в 1959 году в Испанию. Внешний повод к созданию этой книги был прост. Сын друга Хемингуэя матадора Каэтана Ордоньеса (выведенного им под именем Педро Ромеро в «Фиесте») — молодой Антонио Ордоньес проводил соревнования с нынешним фаворитом Домингином, а Хемингуэй в роли, так сказать, морального ассистента и «летописца» сопровождал его по целой серии коррид в разных городах Испании.

Вот она двуликая третья Испания Хемингуэя: одна — фашистская и после победы над мировым фашизмом, другая — подавленная, притихшая, но непобежденная. В 1959 году Хемингуэй мог охватить ее одним взглядом. У него были знакомые в обоих лагерях. Матадор Домингин был вхож в семью Франко, а фаворит Хемингуэя Ордоньес, сын сторонника Республики, держался независимо.

«Американским туристам в Испании,— пишет Хемингуэй,— теперь визы не требуется». Но ему было поставлено негласное условие: даже не отрекаясь от того, что было им написано, все же «помалкивать насчет политики». Это обусловило многие недомолвки книги. Однако до конца скрыть свое отношение Хемингуэю не удалось. Прежде всего выдавал его самый выбор подопечного. Официальным фаворитом был противник Ордоньеса Луис Мигель Домингин, блестящий матадор, но показной карьерист, который дружил с сыном Франко и часто охотился с самим каудильо. А работа Антонио Ордоньеса, с отцом которого Хемингуэй дружил еще в республиканские времена, была «честной игрой» художника-профессионала, в хорошей старой традиции достоинства и чести. «Он был на арене художником, ежедневно превращающим смерть в высокое искусство». Ордоньес не поддавался на посулы и на приглашения доньи Кармен Поло де Франко. «А я не пойду».— «Ты знаешь, кто нас приглашает?» — говорит Хемингуэй.— «Да».— «Я тоже не пойду».

А дальше по всей книге — намеки. Вот, попав в свою любимую Ламанчу и Кастилию, Хемингуэй пишет: «В этой части Испании люди, понимавшие, что такое настоящие быки и настоящий бой быков, были истреблены в гражданскую войну... Я никогда не молюсь о себе после гражданской войны в Испании, где столько страшного на моих глазах случилось с другими». А уцелевшие прозаически жаловались на дороговизну. «Город выглядел уныло». «Мертвый стал город»,— говорит трактирщик. И на вопрос «А вино как?.. Я люблю ваше вино» отвечает: «Я сам его люблю. Оттого и ругаю. Чего не любишь, того не ругаешь. Так уж повелось теперь». И в другом месте: «Лица, молодые когда-то, постарели, как и мое, но все мы очень хорошо понимали, какими мы были в те годы. Глаза остались прежними, и растолстеть никто не растолстел. Ни у кого не залегла горечь в углах рта, хотя глазам, быть может, пришлось повидать многое. Горькие складки в углах рта — первый признак поражения. Поражения здесь не потерпел никто».

«Я четырнадцать лет не видел боя быков»,— пишет Хемингуэй. «Правда, для меня эти годы во многом были похожи на тюремное заключение, только не внутри тюрьмы, а снаружи». Сотни тысяч республиканцев, чудом уцелевших от кровавой расправы, все еще томились в большой тюрьме франкистской Испании или в ее малых застенках. А всего за 90 миль от Финка-Вихиа десятки тысяч свободолюбивых американцев дрожали под угрозой попасть в тюрьму по наветам Маккарти и его сенатской комиссии, а сотни уже отбывали тюремное заключение, в том числе писатели Голливуда и Нью-Йорка, не говоря уже о Стиве Нелсоне, Юджине Деннисе и других коммунистах. Так что эзопов язык нужен был не только, чтобы не повредить испанским друзьям, в том числе и Ордоньесу, но и при мысли о маккартистской Америке.

ИВАН КАШКИН
ИСПАНИЯ В РАССКАЗАХ ХЕМИНГУЭЯ

Этой маскировке помогли и подробные описания коррид и столь знакомые по «Зеленым холмам Африки» «braggies», хвастливая болтовня и балагурство, которые тоже прикрывают серьезную и грустную сердцевину этой книги, как бы написанной Джейком, упорно прикидывающимся забулдыгой Майклом. Несмотря на явное желание не дразнить гусей, публикация фрагментов книги вызвала во франкистской Испании приступ бешенства и потоки брани: «Ничего другого и нельзя было ожидать от столь известного коммуниста, как Хемингуэй».

Почти одновременно с романом «По ком звонит колокол» Хемингуэем написан был рассказ «Никто никогда не умирает». В нем господствуют совсем другие настроения, как у тех испанских бойцов, которые пели: «Пока не будет победы, не кончится и война». Раньше у Хемингуэя и победитель не получал ничего и в победе было поражение. Здесь же поражение рождает волю к победе. Пусть Хосе погиб, но с надеждой, что среди его противников, солдат Мачадо, уже зреет то, что приведет многих из них в ряды сподвижников Фиделя Кастро. Но пока что в «Колоколе» для Джордана внутренняя цельность достигается в борьбе, а не в победе, в смерти, а не в той жизни, которая могла бы его ожидать. В «Опасном лете» только краешком раскрыто, какая жизнь ожидала уцелевших испанских соратников Джордано, и едва теплится огонек надежды. Но жизнь показывает, что борьба непобежденных продолжается.

Хемингуэй за сорок лет видел королевскую Испанию, наконец стряхнувшую цепи феодальных порядков. Видел республиканскую Испанию, упорно боровшуюся за честь и свободу испанского народа, но из-за предательства всякого рода «пятых колонн» не смогшую справиться с вооруженным вмешательством. Наконец — подавленную и закованную в новые цепи страну непобежденных, которую он увидел во франкистской Испании в 1959 году. Каждую из этих Испаний Хемингуэй так или иначе отразил на страницах своих книг, хотя о последней он мог говорить лишь эзоповым языком намеков, чтобы не повредить своим друзьям во франкистских застенках.

Сентябрь 1963 г

О ПОЛЬЗЕ СПОРОВ И ВРЕДЕ ПРЕДВЗЯТОСТИ

Дискуссия, сопоставление точек зрения, диалог — это закономерное и необходимое явление творческой жизни. Ленинградская встреча писателей Европы 1963 года, посвященная роману, стала примечательным явлением. Она послужила более тесному знакомству друг с другом писателей разных стран. На ней развернулись споры по вопросам современной литературы, и естественно, что споры эти продолжаются.

Писатель и критик Бернар Пенго опубликовал во французском еженедельнике «Экспресс» статью, которая, видимо, должна была дать оценку позиции советских писателей в разгоревшихся спорах. К сожалению, вместо объективного освещения взглядов партнеров по дискуссии автор ограничивается раздраженными замечаниями, к тому же более чем свободно обращаясь с фактами и приводя весьма странные «цитаты».

Так, по словам Пенго, вопрос о том, как должна проходить дискуссия, решали «благоразумные советские власти». Хорошо известно, что вопрос о содержании и проведении дискуссии решало руководство Европейского сообщества писателей; решался этот вопрос не в Москве, а в Риме с участием представителей писательских организаций ряда стран, в том числе и Франции. Зачем же прибегать к домыслам?

В дискуссии важно уметь слушать и понимать собеседников. Но вот что делает Б. Пенго. По его утверждению, Л. Леонов в своем выступлении якобы заявил, что «Запад — это Содом», и «предал анафеме эти каталоги разврата, учебники сладострастия, каковыми являются западные романы».

Но ведь речь Л. Леонова была опубликована, и легко убедиться, что́ советский писатель называл Содомом. Критиковал он не Запад в целом и не «западные романы» вообще. Его тревожат определенные явления духовной жизни буржуазного общества, усиливающийся разгул эгоизма, распространение циничного отношения к людям, к искусству, связанные с этим тенденции издательской деятельности. Это совсем не то, что утверждает Б. Пенго.

Кое-что о нравах

Советские писатели высказывали свои суждения о некоторых выступлениях на Эдинбургской конференции в 1962 году — там энергично высказались сторонники циничной, разнузданной лжелитературы. Кстати, эти выступления вызвали возражения не только со стороны советских литераторов, но и со стороны многих писателей и журналистов европейских стран, присутствовавших в Эдинбурге.

Малкольм Магаридж писал в еженедельнике «Нью стейтсмен», что некоторые участники Эдинбургской конференции «стремились публично саморазоблачаться, заняться моральным стриптизом». «На заседаниях конференции главными были вопросы пола».

Речь американского литератора Туччи была названа одним из участников встречи «выступлением в жанре грубых развлечений». В журнале «Тайм» писалось: «Было много, по мнению некоторых, пожалуй, слишком много разговоров о «сексе», гомо-

сексуализме, кровосмесительстве и наркотиках». Пресса отмечала «явную фривольность ряда писательских выступлений». Американский журнал «Нейшн» отмечал, что «конференция напоминала цирковое представление».

Все эти характеристики и оценки взяты из западных газет и журналов. Конечно, в Эдинбурге были и серьезные, творческие выступления, были речи, проникнутые тревогой за состояние литературы и протестом против проникновения нравов стриптиза в область литературы. Эта тревога понятна: все, что несет печать подлинной заботы об искусстве, близко нам. Но грязная спекуляция на чувствах, стремление насадить в искусстве низменные нравы не могли не вызвать осуждения. Эта спекуляция несовместима с гуманистическим назначением искусства.

Английский учитель из Ковентри Джордж Денли писал недавно:

«У нас в Англии бесплатное начальное и среднее образование, и большинство детей оканчивает школы вполне грамотными людьми. Но меня, как учителя, приводит в отчаяние тот факт, что наши книжные лавки завалены дешевыми импортными американскими журналами, прославляющими войну, смакующими сексуальные извращения и напичканными всякого рода ужасами.

Раза два я обращался к владельцам лавок с просьбой убирать эту непристойную литературу подальше от глаз детей, которые учатся в нашей школе, но мне посоветовали не совать нос не в свое дело. Потом я выяснил, что владельцы книжных лавок вынуждены продавать такого рода литературу, чтобы не обанкротиться. Они заявляют, что она дает им доход от 30 до 40 фунтов стерлингов в неделю.

Думая обо всем этом, я часто спрашиваю себя, а стоит ли тратить столько времени для того, чтобы учить детей читать?»

Горькие слова!

На Западе есть честные люди, поднимающие голос против безнравственности и цинизма, против разрушения человеческих душ коммерсантами, сделавшими разжигание дурных страстей источником дохода. Те, для которых важны духовные ценности, кому дорого нравственное здоровье молодежи, не могут спокойно читать такие свидетельства, как письмо учителя из Ковентри. Мутная струя аморального чтива есть извращение художественного творчества, постыдное искажение духа искусства — и против этого осквернения искусства выступают и в Англии, и во Франции, и в Америке сами люди искусства.

Б. Пенго критику этих извращений расценил как... обвинение всей западной литературы. Но советские участники встречи — не сторонники огульных оценок, они видят сложность процесса развития культуры и искусства. На Западе действуют разные социальные и духовные силы. Большинство мастеров культуры — за честное, правдивое, нравственно здоровое искусство. Но есть силы, которым выгодно распространение низкопробной, аморальной литературы, против них и были направлены слова советских писателей. Это были слова в защиту дорогих всем нам этических и эстетических ценностей.

Б. Пенго изображает дело так, будто слова осуждения духовного распада относятся к писателям Запада вообще. Не лучше ли было бы ему поддержать отрицание низменного, понять, что это есть борьба за утверждение здоровых и чистых начал, в котором заинтересованы и французские, и советские, и все другие деятели культуры.

Жаль, что предвзятость помешала Б. Пенго понять подлинное содержание выступлений участников спора.

Он, например, всерьез утверждает, что тот, кто выступает против морального уродства в литературе, делает это во имя того, чтобы все персонажи изображались ангелочками, розовенькими воплощениями совершенства. «Нас просили быть честными, нравственными,— говорил Б. Пенго на ленинградской встрече.— Когда хотят, чтоб и жизнь, изображенная в романе, была безупречно нравственной, на деле требуют, чтоб она была ложной». Короче говоря, Б. Пенго обвиняет советского писателя в призыве к созданию фальшивых иллюзий. Надо ли говорить, насколько это противоречит подлинному смыслу того, что говорили советские писатели?

Трудно понять, почему уверенность наших людей, «их спокойная вера в гуманные ценности и в формы, которыми можно лучше выразить эти ценности», «грозит привести их к примиренческому восприятию мира». Живой творческий опыт советской литературы дает вполне ясный ответ на эти странные рассуждения. Разве произведения наших литераторов не сочетают страстное утверждение идеалов социализма с беспо-

щадным отрицанием зла и грязи в жизни? Разве активный, творческий, беспокойный дух советских романов не опровергает мысль о тяготении к созданию успокоительных и примиряющих образцов добродетели?

Уверенность вовсе не означает готовность все принять. Твердая вера в гуманные ценности прежде всего обязывает не мириться с тем, что мешает этим ценностям быть осуществленными.

Б. Пенго упрекает советских писателей в том, что они «меньше думают о том, как узнать человека, чем о том, чтобы его переделать».

Есть люди, которые привыкли оперировать готовыми предвзятыми представлениями и лишь проецируют эти представления на новые явления, с которыми приходится сталкиваться. Б. Пенго явно не знает советской литературы, что не мешает ему легко судить о ней. Советские писатели учились в школе Горького, не устававшего напоминать: литература — это человековедение. Есть великие традиции русской литературы, несравненной по проникновению в духовный мир человека. Есть книги Шолохова, Федина, Леонова, Соболева, Николаевой, Ауэзова, Паустовского, Пановой, Гранина, Айтматова — всех не перечислить,— сколько в них открытий в области человековедения, сколько новых характеров, новых конфликтов, новых человеческих черт! В этом проникновении в духовный мир современников — огромная историческая заслуга нашей литературы, ее новаторский подвиг. О французской литературе, в частности о «новом» романе, Б. Пенго высказывает некоторые здравые суждения. Но его высказывания о советской литературе поверхностны и неосновательны. О серьезной литературе не стоит говорить так несерьезно!

Критик жалуется, что чувствовал какой-то холодок в общении с советскими писателями, он призывает: «Нужно стараться своим поведением, свободным от всякого легкомысленного чувства превосходства, рассеять эти недоверие». Золотые слова! Только надо бы пораньше их вспомнить...

Политика и «антиполитика»

Ален Роб-Грийе начинает свою статью, опубликованную в том же еженедельнике «Экспресс», словами эдакого утомленного аристократа, который много ездит по съездам писателей и возвращается обычно разочарованным. В ленинградской встрече его разочаровало прежде всего то, что там говорили о политике «и конечно на самом элементарном уровне: разоблачение фашизма, борьба против несправедливости и т. д.»

Хотелось бы, чтобы А. Роб-Грийе задумался серьезно, что значит такая «элементарность». Ведь речь идет о борьбе со злыми силами, которые отняли у человечества миллионы, десятки миллионов людей, обрекли народы на лишения, страдания, муки.

Пародийно упрощая выступление одного из участников встречи, Роб-Грийе бросает с видом превосходства: «Смешно было слушать заявления романиста из Восточной Германии о том, что он пишет романы для того, чтобы бороться с фашизмом». Такие фразы читать не смешно, а стыдно, стыдно за писателя, открещивающегося от того, что так жизненно важно для судеб народов. И это человек из страны, пережившей тяжелые годы порабощения фашизмом!

Конечно, А. Роб-Грийе за поэзию, за художественную форму, за искания, против политики. Он пишет:

«Для нас «поэтичное» — это значит вымысел, творческое создание мира и человека, непрерывный вымысел и непрерывное сомнение. «Политического» мы слишком много видим ежедневно, а это понятие, как на Западе, так и на Востоке складывается из уважения к правилам, сведения мысли к стереотипным штампам, панической боязни всякого возражения».

Может быть А. Роб-Грийе и видел много политического, но то, что он его не понял,— совершенно ясно. Он не понимает политической жизни в своей стране, сводя ее к мелочам буржуазного политиканства, он тем более не понимает социалистической политики, стратегии борьбы народных масс за свои благородные цели. Что касается поэтического новаторства школы «нового романа», о нем достаточно говорилось. «Новаторство» это мелкое и худосочное, не дающее нового в постижении мира, да и в формальном отношении не слишком интересное.

А. Роб-Грийе бежит от ловушки политики и попадает в западню антиполитики, отрицания прогрессивной политической деятельности. Эта «антиполитика» есть не что иное, как робость и растерянность перед миром, возведенные в принцип и разукрашенные в пестрые цвета.

Мы знаем людей, которые нагляделись на сутолоку правительственных кризисов, суматоху парламентских комбинаций, беззастенчивую спекуляцию прожженных буржуазных дельцов на чувствах и интересах людей, на потуги носителей «твердой власти» — и не поняли, что политика не сводится к политиканству, что есть политическая деятельность, направляемая последовательными принципами, научно основанная и на деле отвечающая интересам народных масс.

Возможно, к числу таких относится и А. Роб-Грийе. Но зачем он усталость и беспомощность превращает в самую скверную политику, да еще хочет навязать ее другим? Ему нет дела, что в **истинной политике** находили важные творческие импульсы великолепные художники — Горький, Роллан, Брехт, Маяковский, Арагон, Элюар. Вдохновляющее значение такой политики отмечают прогрессивные писатели нашего времени.

А. Роб-Грийе называет бессодержательными такие выражения, как «упадочное», «бесчеловечное». Слова о «духовном здоровье» заставляют его иронически кривиться. Он хочет удалиться на позиции брезгливой замкнутости, скептического высокомерия. Но верно ли, что он **выше** тех примитивных чудаков, которые хотят писать так, чтоб помогать людям бороться за мир без насилия, угнетения, фашизма? Не заставляет ли он вспомнить саркастические слова Герцена: «Мы слишком авторы, чтобы быть людьми»?

Впрочем, метнув пару молний в сторону политики, А. Роб-Грийе тут же наклеивает политические ярлыки на советских писателей. Один из разделов его статьи называется «Буржуазные ценности». Автор доказывает, ни более ни менее, что, защищая роман, советские писатели защищают «ценности буржуазного мира».

Западная буржуазная критика защищает, пишет он, романические формы, которые воплощают для нас золотой век романа и рай господствующего класса. Советские писатели «ратуют за то же самое дело». Социалистический реализм — это восстановление, через 120 лет, старого реализма. А. Роб-Грийе утверждает: «Что касается людей с положением, то из осторожности или по убеждению они продолжают воспевать достоинства социалистического реализма, то есть буржуазного реализма типа 1840 года и к тому же находящегося под правительственным контролем».

Кто же заботится о ценностях?

А. Роб-Грийе обнаруживает, мягко выражаясь, неточное и устарелое понимание европейского реализма. Надо же сказать такое об исторической и эстетической сущности французского романа! Когда иной западный литератор поучает советских писателей, не зная и не понимая их творчества,— что ж, это почти в порядке вещей в определенной среде. Но французскую-то литературу им, казалось бы, следует знать!

Это роман середины прошлого столетия воплощал «рай господствующего класса»? Это образы Растиньяка, Жюльена Сореля, Евгении Гранде, Эммы Бовари — выражение самоуспокоенности? Значит, это все — не выражение тревоги, беспокойства, ощущения общественной несправедливости, взрывчатой напряженности? Не свидетельство той острой и мудрой зоркости, с которой великие романисты Франции видели пороки современного общества? У нас за такие вульгарно-социологические благоглупости студенты первого курса получили бы двойку. Но нелепость эта возникла не случайно. На реализм прошлого наклеивается ярлык «буржуазные ценности» для того, чтобы вести борьбу против реализма сегодня, чтобы ударить по социалистическому реализму.

Ну что же, если школка «нового романа» отказывается от преемственности, то прогрессивные писатели современности не стыдятся того, что они действительно продолжают и развивают лучшие традиции Стендаля, Бальзака, Флобера, Золя. Это наследство, которое они приумножают, это опыт, опираясь на который они ищут и творят новое.

А. Роб-Грийе присваивает себе и своим друзьям монополию на новаторство: они-де ищут, они открывают новое. Как будто искания требуют предать осуждению художественное наследие!

Советские писатели не признают мертвых канонов, застывших догм. Художник, если он художник, должен искать, экспериментировать. Но суть новаторства в том, чтоб **идти вперед** в познании и художественном выражении жизни, в эстетическом воплощении современности и современника с его проблемами. Идя путем новаторства, нельзя не думать, где и что искать.

В итальянском еженедельнике «Экспрессо» было написано, что в Советском Союзе

«великая европейская литература официально игнорируется, она запрещена даже для профессиональных литераторов и для массы читателей».

Великая европейская и американская литература нашего века представлена именами Роллана, Барбюса, Генриха и Томаса Манн, Голсуорси, Драйзера, Брехта, дю Гара, Арагона, Хемингуэя, Моравиа, Зегерс, Стейнбека и многими другими действительно крупными писателями. Их произведения не только не «запрещены» в нашей стране, они пользуются глубоким уважением, издаются громадными тиражами и известны самым широким слоям советских людей. Сводить европейский роман к именам Джойса, Кафки и Беккета — это значит обеднить роман XX века и односторонне истолковать его развитие.

Советские люди знают и таких сложных и противоречивых художников, как Пруст или Джойс. И если в творчестве этих писателей многое неприемлемо для нас и вызывает возражения — знают их у нас, во всяком случае, лучше, чем, скажем, Б. Пенго знает советских писателей.

Б. Пенго сообщает: «Федин осудил Фолкнера, а сегодня москвичи читают в метро «Особняк». Но в речи Федина имя Фолкнера вообще не называлось! Роман его опубликован, читается, о нем много писала советская критика, и в этом нет никакого оттенка «нежелательного действия», который ищет Б. Пенго. Зачем же говорить о том, чего не было? Чтобы сказать об огульном неприятии советской культурой творчества современных писателей? Но ведь это неправда. Советские люди умеют отличать здоровое от гнилого, подлинное искусство от спекулятивных подделок, они дифференцированно подходят к западной культуре.

Рядом со статьей А. Роб-Грийе в еженедельнике «Экспресс» было помещено фото— писатели, участники встречи в Ленинграде, в Ясной Поляне, у могилы Толстого. А в статье А. Роб-Грийе, выступая против «буржуазных» традиций, восклицает: «О, бесчисленные могилы Толстого, которым мы вынуждены были поклоняться!» **Вынуждены** — так и сказано!

Толстой ненавидел и презирал лицемерие и фальшь. Никто не вынуждал А. Роб-Грийе поклоняться его могиле. Писатели Европы отдали дань сердечного уважения памяти великого писателя. Если же А. Роб-Грийе лицемерил, зачем приписывать этот грех и другим?

Выступления представителей «нового романа» не были замолчаны в Ленинграде (Б. Пенго писал, что на их возражения никто не обратил внимания), но многие участники встречи говорили о неубедительности их аргументов. Не осталась незамеченной и сама манера их вести спор.

Греческий романист Илиас Венезис был прав, когда писал в газете «ВИМ» о «неоправданной надменности» речей А. Роб-Грийе и Н. Саррот.

Но откуда эта надменность — от силы или от слабости?

Иржи Гаек справедливо сказал на ленинградской дискуссии, что представления школы «нового романа» исходят из априорного отказа осмыслить факты современной жизни, выявить их взаимосвязь. Он точно говорил о «наивном модернистском догматизме»: мы боремся с вульгаризаторским, догматическим извращением марксизма, но всегда видим такого противника, как модернистское эстетство с его узостью, догматической ограниченностью.

Догматизм узок и не способен воспринимать ценности. Он может подчас рядиться в одежды борьбы с узостью — но он остается узким, плоским, бедным.

Эти антиполитики и антидогматики оказываются слугами самой скверной политики и самых сухих и мертвых догматов. Пустые слова, как пестрые перья, украшают людей, кокетничающих своей «широтой», своим стремлением к «обновлению» и т. д.,— но эта пестрота должна скрыть серость и бедность содержания.

Модернистские догматики изощряются в своих маленьких насмешках над большим искусством нового мира. Понимают ли они, что больше всего они вредят себе, удаляясь от подлинной жизни и подлинно новаторского искусства?

Реакционная печать сейчас нападает и на Европейское сообщество писателей, и на контакты литераторов разных стран. Но это подчеркивает, что глубокие интересы передовой культуры требуют развития этих контактов, усиления взаимопонимания литераторов.

Узость и предвзятость, нежелание понять друг друга мешают сотрудничеству писателей, так нужному в наше время.

Б. Р.

КРИСТА ВОЛЬФ

ПОЧЕМУ Я ПИШУ

Недавно моя маленькая дочка призналась мне, что у нее появилась удивительная привычка: вечером в постели она превращается в сказочную принцессу, которая живет в волшебном замке, где с ней приключаются диковинные вещи; принцессу ищет и находит принц, поклявшийся освободить ее из заточения; в этом замке принцессе прислуживает множество диких зверей: нанимать себе на службу людей—пусть даже «понарошку» — девочке запрещает чувство социальной справедливости... Вероятно, она пытается найти в своих фантастических снах то, чего нет в ее радостной, до краев заполненной, но обыденной детской жизни. А днем взахлеб рассказывает о придуманном и увиденном.

В этом стремлении перевоплощаться, жить несколькими жизнями, быть одновременно в разных точках мира и заключается, по-моему, одна из важнейших причин, побуждающих человека писать. И мои детские мечты были часто связаны с подобными перевоплощениями. Иногда меня влекло к ним, а иногда бывало страшно: что, если в одно прекрасное утро я проснусь дочкой совсем других родителей, вообще совсем другим человеком? Довольно рано я попыталась закрепить свои перевоплощения на бумаге — это смягчало боль от сознания того, что наша жизнь однократна и неповторима. С возрастом мы слишком скоро забываем то, о чем грустили уже в детстве...

Но я никогда не забуду, как нам — тем, кому в начале войны было десять лет,— прививали ложную грусть, ложную любовь, ложную ненависть; как эта прививка почти удалась (да у многих еще как удалась!); какого нам стоило напряжения, какая нам потребовалась помощь, чтобы вырваться из этих пут; с каким трудом вспоминали мы забытые детские мечты.

...Так далеко, как в ту зиму, вместе с переселенцами, мне, пятнадцати-шестнадцатилетней девочке, до сих пор бывать не приходилось. И так близко, как тогда, я еще ни разу не видела войну. Я поняла, что одно дело — видеть убитых, растерзанных «врагов» на киноэкране, и другое — своими руками отдать окоченевший трупик младенца его матери; одно дело — все время слышать слово «коммунист» в сочетании со словом «преступник», и другое — холодной ночью, после долгих странствий по проселочным дорогам, повидав такое, что и представить себе невозможно, оказаться у костра рядом с немецким коммунистом, бывшим узником концлагеря.

В последующие годы мы узнали, насколько легче произнести «нет», чем «да», чему-то новому, что основано на твердом знании, а не на новых ошибках и иллюзиях; насколько легче стыдиться своего народа, узнав всю правду, чем научиться любить его по-новому. Нашему поколению было трудно сразу же правдиво отразить в литературе то главное, что мы пережили; лишь в последнее время, когда мы научились свободно и уверенно чувствовать себя в новом обществе, относясь к нему с одобрением и вместе с тем критически — как обычно относишься только к собственному творению,— в это время и книги тридцати-тридцатипятилетних авторов стали живее, правдивее, реалистичнее (в первую очередь книги о последних годах войны).

Коротко о себе. После 1945 года я кочевала по девяти районам Республики; была секретарем бургомистра одной деревушки; окончила школу, изучала германистику, работала научным сотрудником, редактором в издательстве; писала литературно-критические статьи и эссе (некоторые в соавторстве с мужем — тоже редактором и критиком). У нас двое детей, девочки, которым не нравится, что их родители часто уезжают из дома. Как и всем — а людям нашей

профессии в особенности,— мне приходилось бывать на всевозможных заседаниях и собраниях (нередко их устраивали даже по моей инициативе). За это время я познакомилась со множеством людей из разных слоев нового общества, эти встречи и знакомства я ценю очень высоко.

Насколько я помню, писать мне хотелось всегда, и я много писала. Ныне я рада, что все эти рукописи пали жертвой автоцензуры. Первой прошла мою цензуру небольшая «Московская повесть», опубликованная в 1961 году. Я написала ее после моего второго посещения Москвы. Замысел этой повести возник у меня давно, а новые переживания и опыт и прежде всего стремление к перевоплощению, стремление быть и там и здесь только укрепили его. Я попыталась осветить какую-то часть послевоенных проблем, касающихся наших двух народов, рассказав историю любви немецкой девушки и русского, бывшего офицера-фронтовика, которые спустя пятнадцать лет встречаются при новых обстоятельствах и должны решать вновь, как им жить дальше.

Только что я вернулась из третьей поездки в СССР. Кажется, что ты уже дома, и все-таки еще не совсем дома. Перед мысленным взором словно мелькают кадры киноленты: Москва, запечатленная в этот раз не с высоты гостиницы-люкс для иностранцев (все номера в ней заняла итальянская футбольная команда со «свитой»), а из окна более скромной (зато более интересной для наблюдателя) рядовой гостиницы, у стен которой бурлила привокзальная площадь. Куда бы я ни пошла, везде нескончаемый поток людей... Лица, разговоры, вопросы, ответы. Даже вопросы, не требующие ответа,— ярчайшее свидетельство тому, что ты стала этому городу чуточку ближе... Сначала он был мне совсем чужой. Да и знала ли я его вообще? Не было ли все, что я о нем знала, непростительно поверхностным? Все больше и больше я сознавала (особенно благодаря работе над первой повестью и ее обсуждениям), как трудно найти наиболее точную, верную характеристику какому-нибудь сложному явлению, сказать о нем самое существенное, сказать о нем «истину».

Когда я писала роман «Расколотое небо», мы жили в Галле — древнем городе солеваров и купцов, ставшем ныне одним из наших крупнейших центров химии и машиностроения. Дымный, на первый взгляд некрасивый город, запутанный узел многих противоречий, смешение старины и современности. Кое-что из увиденного я попыталась передать в книге—так, как я это сама воспринимала. Я бывала на заводах, и прежде всего на вагоностроительном (между прочим, он поставляет вагоны дальнего следования Советскому Союзу), терялась поначалу от множества непонятных вопросов и дел, в которые приходилось вникать, со многими людьми познакомилась, с некоторыми подружилась. Они пробудили у меня интерес к трезвой науке, именуемой экономикой, которая столь непосредственно определяла деятельность моих новых знакомых, которая стала ключом ко многим конфликтам, ко многим жалобам и схваткам, успехам и поражениям. Мы просиживали вечера над цифрами и статьями, над призывами, заявлениями и отчетами. Нередко я не могла понять, почему то или иное разумное мероприятие, которое казалось столь убедительным, было так трудно осуществить.

Тогда, в 1960—1961 годах, открытая межзональная граница в Берлине способствовала всяческой коррупции, шпионажу, измене, возникновению неуверенности. Из-за открытой границы мы часто лишь с колебанием применяли законы, в правильности которых не сомневались. Особенно сказывалось такое положение на производительности труда — она повышалась не столь быстро, как было необходимо. Это противоречие, с которым сталкивался каждый здравомыслящий человек на любом производстве, создавало для многих, и в первую очередь для товарищей, сознающих свою ответственность перед страной, труднейшие ситуации: они чувствовали себя связанными по рукам и ногам, не всегда понимая причину этого. К таким вот людям, которые несмотря ни на что продолжают бороться, принадлежит в моей книге и Рольф Метернагель. Как раз на примере Метернагеля и многих других, кого мне пришлось наблюдать в тяжелых, сложных ситуациях, я убедилась: спустя пятнадцать лет после разгрома фашизма социализм в нашей стране стал реальностью для миллионов, повседневной действительностью, целью их самоотверженного труда, превратился — при всех его противоречиях и просчетах — в животворную силу. Если бы меня спросили, есть ли у нас основания для оптимизма и уверенности, я бы ответила: да, именно чувство оптимизма и уверенности я считаю главным нашим достижением за последние годы.

Некоторые критики не усмотрели в моей книге как раз оптимизма. Им было грустно читать ее, говорят они, не понимая того, что не всякий «восторг» плодотворен и не всякая грусть неплодотворна Меня тогда мучил вопрос: почему нам не удается удержать в наших рядах всех, кто по своим коренным интересам должен быть с нами? Что отталкивало порой от нас молодых людей? Некоторых, известных мне лично, было очень жаль терять. Другим, стоявшим на «перепутье», требовалась срочная и действенная помощь. И разве не должна была оказать эту помощь также литература?

А как обстояло дело с самыми молодыми, двадцатилетними, с «новым поколением»? Как они, прожившие всю свою сознательную жизнь в новом обществе, справлялись со многими влияниями, которым они подвергались у нас? Что они делали для того, чтобы осуществить свои идеалы? Что мешало им в этом?

Двух представителей обоих этих поколений — поколения, пережившего войну, и поколения, не знавшего ·ее,— я избрала главными героями своего романа, Риту и Манфреда. Накрепко связала их друг с другом, поставила перед испытанием и в конце — ибо только девушка выдержала это испытание — разлучила. Конец большой любви всегда печален, и должна признаться, когда я писала книгу, то сама искала иной выход, но, поразмыслив, оставила все так, как есть: ведь история Риты и Манфреда не выдумана мною, хотя сюжет и герои не заимствованы непосредственно из жизни. Это всего лишь одна из многих историй, которые возможны у нас сегодня.

Некоторые критики упрекают меня в том, что раскол Германии я возвела в трагедию и что мне следовало сильнее подчеркнуть положительную окраску, которую бесспорно придает современной истории Германии само существование ГДР. Я же думаю, что трагично было бы, если б Рита, вопреки своему здравому чувству и рассудку, смирилась и последовала за Манфредом по его пути в одиночество. Что помогло ей принять трудное решение, если не вся ее жизнь в нашей республике и тесная связь с людьми, которых она не может покинуть, не потеряв веры в себя? Старые силы, безраздельно господствовавшие в прежней Германии, утратили свою власть над таким человеком, над миллионами таких, как Рита. Ей больше ничто не помешает в ее стремлении быть Человеком, стремлении, которое она не смогла бы осуществить в капиталистическом обществе; а ведь именно это противоречие трагической нитью пронизывает судьбы героев всей классической буржуазной литературы.

Непреодолимое желание писать сразу же, не выжидая, пока материал отлежится, созреет, пока можно будет взглянуть на него с некоторого временно́го расстояния, определялось самой сущностью этой истории, тем, как я ее понимала. Конечно, правильно, что в прозе историю следует рассказывать «с конца», как говорил Гёте. Но как узнать конец еще не завершившегося процесса? Я сделала несколько вариантов начала, меняла фабулу, но меня это по-прежнему не удовлетворяло. И лишь идея построить повествование в двух плоскостях времени — пребывание Риты в санатории и собственно история ее любви — позволила самой Рите, читателю и автору глубже уяснить себе все пережитое ею, позволила всем нам как бы подняться над событиями и тем самым сделала излишней необходимость временно́го расстояния.

Тогда, летом 1961 года, нажим с Запада на нас усиливался с каждой неделей, с каждым днем. Стоило лишь сдвинуть стрелку шкалы радиоприемника на два-три миллиметра вправо или влево, как тебя оглушали призывы к бегству, вой сирен и едва прикрытые угрозы. Кое-кто из пожилых людей начал запасаться продуктами (разве однажды не началось точно так же?). Неожиданно всплыло страшное слово: война!

К 13 августа, когда мы приняли меры по защите наших границ, план моего романа был уже окончательно продуман. Я спросила себя: может быть, все-таки написать и об этом? Бегство Манфреда в Западный Берлин было бы сейчас невозможно. В результате этих мероприятий людям, подобным Манфреду, надо было теперь хорошенько поразмыслить, прежде чем очертя голову бежать через границу. Надо ли еще раз напоминать им?.. Под впечатлением августовских событий я начала писать свой роман. Мне хотелось, чтобы в книге отразились не только мое чувство облегчения, моя уверенность и спокойствие, но и моя тревога и мучившие меня вопросы.

Когда я писала последние главы, над миром снова нависла мрачная тень: Карибский кризис. Западное радио вещало, вернее, внушало, что с минуты на минуту произойдет столкновение американских и советских кораблей. Я видела радость на лицах, когда мы оказались сильнее и война была предотвращена.

Перспектива предстать перед советским читателем взволновала меня даже больше, чем выход моей книги здесь, в ГДР. Я хорошо понимаю, что в другой стране моим героям предстоит выдержать более трудные испытания. У нас я могу рассчитывать на то, что немецкий читатель невольно заполнит пробелы в моем повествовании собственными ассоциациями, а кое-что обозначенное лишь намеком ему поможет понять собственный опыт.

В конце 1962 года роман печатался в нескольких номерах студенческого журнала «Форум» и встретил широкий отклик у молодежи. Позднее, после выхода книги, я получила множество писем и приглашений от заводов, университетов, клубов, библиотек... В последние месяцы я встречалась с сотнями людей. Некоторые читатели толковали мои замыслы так, что лучше мне и самой не сделать, хотя на слабости произведения никто не закрывал глаза. Меня обрадовала нелицеприятность и страстность, с какими молодежь обсуждала книгу, словно событие собственной жизни. Иные читатели поставили меня своими вопросами в затруднительное положение, полагая, что я смогу дать им практические советы, как поступить в том или ином случае. Девушки, например, пишут мне, что любят юношу, похожего, по их мнению, на Манфреда («он тоже совсем не такой, каким кажется, и только я, я одна, действительно знаю его»); а один молодой человек без стеснения открыто признался, что он «тоже был вроде Манфреда», и рассказал о своем нелегком пути.

Других задели за живое определенные эпизоды романа — именно к этому я и стремилась. Они реагировали бурно и не всегда по существу, зачастую высказывая неосновательные подозрения, о которых и говорить не стоит. Чаще случается — и это гораздо полезнее,— что спор о книге переходит в спор о конкретных жизненных проблемах и тем самым каждое частное мнение подвергается перепроверке. Особенно охотно я беседую с молодыми учителями и студентами, у которых как раз сейчас много «жгучих»

вопросов (эти вопросы горячо обсуждаются также в наших газетах). Это нетерпеливые, умные, находчивые и смелые читатели. Писать для них книги будет с каждым годом труднее и труднее.

Однажды у меня завязалась долгая дискуссия с совсем юными студентами о понятиях «родина» и «отечество». Я больше слушала, чем говорила. Один юноша рассказал, что, будучи за границей, слышал, как легко и непринужденно пели чешские и советские студенты свои старые народные песни, и с какой робостью и смущением последовали их примеру наши студенты. «Отчего это? — спросил он.— Как случилось, что мы не знаем тех песен, в которых воспевается природа другой части Германии? Разве мы больше не воспринимаем эту другую часть как нашу родину?» Было видно, что он затронул самое больное для всех присутствующих место. Одни с пылом возражали: «Нет, страна, в которой правят империалисты, не может быть моей родиной. Тем хуже, если там говорят по-немецки!..» Другие: «Для меня вся Германия — родина, и мы не имеем права отказываться от ее западной половины! Но мое отечество здесь, где я вырос, где я учусь, где я чувствую себя дома...» Они описывали то особое чувство «возвращения домой», которое почти каждый из нас испытал, когда, возвращаясь из поездки в Западную Германию, пересекал границу... Все это я рассказываю для того, чтобы советский читатель хотя бы частично ознакомился с трудными, интересными и важными для нашего будущего процессами, которые происходят сейчас в умах нашей молодежи.

Между прочим, почти все крупные западногерманские газеты откликнулись на мой роман. По разным причинам. С некоторых пор нашу литературу нельзя больше замалчивать. Поскольку на Западе относительно плохо информированы об обстановке в ГДР — особенно о борьбе партии со всякими проявлениями догматизма,— они поначалу пытались спекулировать на той критике, которая содержалась в наших книгах (в том числе и в моей), с явным намерением оклеветать нашу литературу и по возможности затормозить ее движение вперед; затем они открыто признались, что, например, «Расколотое небо» не дает им основания для радости. Особенную ярость вызвала моя книга («этот специфический для ГДР плод») у нескольких «специалистов по Востоку», которые еще два-три года назад подвизались у нас в качестве литераторов и «социалистов». Что ж, реакция их вполне понятна: в образе Манфреда они увидели самих себя. Лишь один рецензент из влиятельной буржуазной газеты по-своему честно смотрит в глаза опасности, надвигающейся в лице молодой литературы ГДР на западногерманское государство, которое со свойственной ему надменностью притязает на право быть единственным *духовным* представителем немецкого народа. Рецензент обеспокоенно констатирует — хотя и с опозданием — все признаки зарождения «национальной литературы в советской зоне». «С политической точки зрения,— пишет он,— факт ее существования прискорбен», ибо она будет способствовать обретению ГДР «духовного суверенитета»... При теперешних условиях мою книгу прочтут скорее в Советском Союзе, нежели в Западной Германии Однако мы, литераторы социалистической Германии, ни на минуту не должны забывать, что каждая строка наших книг адресована и западногерманским читателям — как сегодняшним, так и будущим.

В Москве меня часто спрашивали о моих дальнейших творческих планах. Прежде всего я собираюсь написать книжку об Анне Зегерс, о ее жизни и творчестве. Это будет не ученый труд германиста, а попытка младшего товарища ближе познакомить наших читателей с человеком, которого автор любит и которому он многим обязан. Кроме того, мне хочется еще глубже окунуться в те сферы жизни, которые меня более всего волнуют, заглянуть туда, где конфликты протекают особенно бурно, создавая новые явления и характеры. Швейцарский писатель Макс Фриш писал в своем дневнике: «Но целостной, решительно новой картины мира, terra incognita, которая существенно изменила бы наше представление об этом мире, нашим эпическим поэтам уже не создать». Этот мир должны создать *мы*. Вряд ли увидишь где-либо яснее, чем в нашей стране, как из старого мира возникает новый, вряд ли где-нибудь еще происходит такой поразительный, острый, изобилующий конфликтами процесс. Писателю недостаточно «лишь видеть» это; он также несет ответственность за то, чтобы способность видеть новое никогда не ослабевала, чтобы его взгляд оставался свежим и живым. Я полагаю, на это не стоит жалеть сил.

Ну вот, я кажется, совсем забыла о том «стимуле», о котором говорила вначале — о стремлении перевоплощаться,— и перешла к прозаическим «стимулам» — экономике, политике, мировоззрению... Это потому, что взрослым не часто приходится иметь дело с заколдованными принцессами и прочими героями детского мира.

Тем не менее даже теперь случается, что вдруг какой-нибудь человек мне покажется заколдованным; и часто я втайне желаю, чтобы литература была такой волшебной палочкой, которая могла бы избавить его и всех людей от злых чар, пробудить угасшие души, вдохнуть в них мужество, веру в себя, в свои неосознанные порой мечты, желания и способности...

МАРТИН НАГ

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

(Письмо из Осло)

С начала 60-х годов в норвежской литературе стала ощущаться бóльшая ясность, бóльшая искренность, бóльшая вера в будущее, чем это было в 50-е годы, когда в литературе доминировал глубокий, безысходный пессимизм, служивший серьезной помехой для свободы и непосредственности художественного языка.

Сегодня очень многие писатели пишут с большей естественностью, простотой и с той или иной степенью оптимизма. А это логически привело многих авторов к более гибкой художественной форме, к большей пластичности образов.

Нет никаких сомнений, что эта эволюция (она, кстати сказать, происходит очень медленно и принесла пока только первые плоды) обусловлена элементами некоторого общественного и политического обновления которое в свою очередь привело к обновлению в области культуры, искусства и литературы.

Пробуждающееся в норвежском народе все более активное чувство ответственности выразилось, в частности, в подспудном противодействии размещению атомного оружия на норвежской земле и в растущем недоверии к опасной политике НАТО, в которую вовлечена Норвегия. Эти обстоятельства оказали благотворное влияние на писателей, многие из которых принимали непосредственное участие в народном движении. Это касается Тарьей Весоса и Акселя Сандемусе. Не мудрено, что многие авторы заняли более последовательную позицию и их произведения отмечены решительной этической и идейной «завербованностью». Важно и то, что норвежская литература последнего времени (мы имеем в виду писателей как старшего, так и молодого поколения) испытала как бы прилив новой веры в человека и его возможности. И этот оптимизм во многих важнейших произведениях последних лет сказался не только в свежести интонации, но и в большей ясности выражения, в большей народности.

Мы остановимся здесь на произведениях четырех писателей; трое из них представители старшего, а четвертый — представитель самого молодого поколения норвежских литераторов. Все четверо написали недавно книги, которые с живым интересом встречены как читателями, так и критиками. На этих примерах мы постараемся показать, как в норвежской литературе начали побеждать новые, более здоровые социальные тенденции, что связано с более здоровым реалистическим искусством.

Один из ведущих норвежских писателей, 66-летний Тарьей Весос — автор многих романов, нескольких пьес и стихотворных сборников. Для Весоса в предвоенные годы была характерна поэтическая манера письма, которой писатель пользовался очень успешно, когда он с проникновенным мастерством описывал жизнь норвежской усадьбы во все времена года или тончайшие оттенки настроений детской души.

В 1945 году Весос написал роман «Дом во мраке», который в образной фор-

ме подытожил период антифашистской борьбы в Норвегии. Однако, несмотря на здоровую исходную позицию, автор настолько увлекся символикой, что это затемнило идейную и художественную ясность произведения.

После войны Весос написал целый ряд символических романов, главным мотивом которых была трактуемая им весьма абстрактно борьба между «злом» и «добром». Надо отдать справедливость Весосу, он добился большого стилистического мастерства, но его программные уступки символизму, в которых сказывалась и дань моде, вредили его творчеству, ограничивали круг его читателей. Приверженность Весоса к символам безусловно тесно связана со сложностью социальной обстановки в Норвегии в период, когда официальная политика североатлантического пакта и сильные маккартистские влияния отчасти сковали духовную энергию, духовную инициативу народа.

В последнем романе — «Ледяной замок» Весосу наконец удалось в значительной степени освободиться от оков символизма. Он написал произведение, которое по праву можно причислить к лучшим его созданиям. Таков результат активизации общественной деятельности писателя, результат его протеста против того, чтобы Норвегию вовлекали в «опасный хоровод», конкретным выражением которого являются атомное вооружение и общий рынок.

На первый взгляд «Ледяной замок» — это поэтичное, психологически правдивое описание судьбы двух девочек. Они хотят сблизиться друг с другом, но это им не удается. Одна из них — приезжая, чужая всем в поселке. В душе этой девочки — «ледяной замок», который в конце концов приводит ее к гибели и в буквальном и в переносном смысле.

«Ледяной замок» — это, конечно, символ. И в то же время это нечто конкретное — это отражение определенного социального явления в буржуазном обществе, где «отчуждение» мешает людям найти путь друг к другу, то есть обрекает каждого на одиночество в своем «ледяном замке»,— если только люди, осознав, в чем источник их трагедии, не включаются в активную борьбу за общественное и личное освобождение.

Таков смысл нового романа Весоса. Поэтичность авторской манеры сочеталась здесь с критическим реализмом. Это сочетание родило книгу, которой суждена долгая жизнь в литературе. Скандинавская критика единодушно считает роман «Ледяной замок» высшим творческим достижением Весоса.

Аксель Сандемусе (род. в 1899 г.) — несомненно один из самых своеобразных писателей современной Норвегии. Отблеск романтики лежит как на его биографии, так и на его творчестве: Сандемусе по происхождению датчанин, десять лет он плавал моряком и, наконец, в начале 30-х годов осел на суше — в Норвегии. Родившись в бедной семье, Сандемусе познал буржуазную действительность «изнутри» или, вернее, «снизу». Вот почему главной темой его творчества стала тема освобождения человека.

Необычная форма, избранная Сандемусе — роман-письмо,— дала писателю возможность всесторонне раскрыть его своеобразный, глубоко человечный, богатый и щедрый талант.

Хотя Сандемусе обычно пишет от первого лица, его произведения не приобретают субъективной окраски. Правда, некоторые психологические построения Сандемусе спорны, ибо крайне односторонни. Но многообразные житейские наблюдения его настолько достоверны и сделаны под таким острым философским углом зрения, что его творчество в целом представляет собой анализ великого процесса раскрепощения человека, совершающегося в нашу эпоху. Герой Сандемусе предстает перед читателем в различной одежде, в различной среде, но главная тема писателя остается неизменной: «Теперь мне ясна главная тема всего того, что я написал. Эта тема — процесс освобождения. А как я ее выразил — пусть судят другие».

Последний роман Сандемусе «Бунт на паруснике «Зюйдерзее», вероятно, следует причислить к наиболее традиционным романам, вышедшим из-под его пера, ибо автор ведет здесь последовательное повествование, хотя оно на редкость фантастично и — как это обычно бывает у Сандемусе — прерывается письмами, которые нарушают логическое развитие сюжета. Но за описанием мятежа на голландском паруснике в 1908 году мы угадываем тему большего масштаба: Сандемусе хотел описать борьбу, которая определяет отно-

---

МАРТИН НАГ
ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

шения между людьми внутри капиталистической системы. Раскрепощение человека, за которое ратует Сандемусе всем пафосом своего романа, выходит за рамки индивидуального освобождения и тяготеет к сфере социальной, намечая путь к новому, социалистическому содружеству, где люди наконец станут людьми и перестанут жить по принципу человек человеку — волк.

Третий писатель старшего поколения Миккьель Фёнхюс (род. в 1894 г.) — это норвежский Михаил Пришвин. Он написал множество книг, посвященных природе и животным Норвегии и других стран. Он знает и любит «края непуганого зверья и птиц», его проникновенные описания охоты и рыбной ловли пахнут свежей росой, дышат подлинностью пережитого, пронизаны и скреплены простой народной житейской мудростью. В этом году Миккьель Фёнхюс выступил с небольшой, превосходно написанной книгой «Приключение в Скредальсэльви». Поэтически смело и лаконично повествует Фёнхюс о драматической истории рыбы — лосося. В композиционном отношении роман почти пуритански строг, и сила его воздействия определяется тем, что Фёнхюс сумел придать своему научно достоверному повествованию о жизни рыбы символическое звучание. Образ лосося символизирует образ Норвегии, страны, которая, несмотря на тяжелые, «нечеловеческие» условия жизни, пытается добиться достойного человека существования.

В историю скитаний лосося вплетен несложный рассказ об английском рыболове-любителе и его норвежском помощнике. Роман кончается тем, что рыба, клюнувшая было на приманку, увлекает англичанина за собой в опасный водоворот и таким образом побеждает его — англичанин гибнет.

Фёнхюс бросает взгляд и в прошлое, чтобы донести до читателя ощущение истории во всей ее суровости и силе. Писатель хочет создать своего рода эпос о вечной Норвегии, стране, которая стремится к национальной независимости и в этом смысле «не сдается».

На общескандинавском конкурсе на лучший роман, организованном в 1963 году, Первую Норвежскую премию получил Финн Альнес за свой роман «Колосс» (этот роман поистине «колосс» по объему — в нем 500 страниц). Финну Альнесу 31 год, эта книга — дебют писателя.

В свободной манере, в которой ощущается влияние и Гамсуна, и Сандемусе (если говорить только о норвежских образцах), рассказывает Альнес историю духовного развития и любви своего молодого героя. Молодой человек — художник, натура мятущаяся, ищущая, как в плане этическом, так и в плане социальном. Это приводит его к драматическим конфликтам. В частности, юношу обвиняют в убийстве немца, которого он действительно одолевает в драке (в результате чего тот гибнет). Этот эпизод имеет глубокий смысл — в сущности, герой, Браге Брагессон, выступает здесь против неонацизма (его отца во время войны убили немцы, и он не может этого забыть). Роман «Колосс» — это осмысленная в художественной форме очная ставка с теми требованиями, которые отцы, погибшие во второй мировой войне, предъявляют своим наследникам — сыновьям.

В романе «Колосс» эпическое повествование прерывается философскими раздумьями и спорами. На Альнеса оказал влияние Достоевский, в особенности роман «Преступление и наказание».

В общем роман «Колосс» дает портрет молодого художника — человека, в котором уживаются уверенность и неуверенность, но он, точно норвежский водопад, полон энергии, жизненной силы и воли. Этот роман — доказательство того, что молодое поколение по-серьезному входит в норвежскую жизнь и в норвежскую литературу.

Несмотря на свою молодость, Альнес испробовал множество профессий, активно участвовал в политической деятельности. Он выступает за взаимопонимание и мирное сосуществование между народами.

Роман «Колосс» — типично норвежское произведение, как по своим достоинствам, так и по недостаткам. Его несомненно можно было бы сократить страниц на 200. Но важно то, что его идейное зерно, его пафос здоровы, как горный воздух нашей страны. Роман Альнеса — это свежее дыхание в норвежской литературе. Он является литературным выражением тех сил, которые в трудное для Норвегии время борются во имя защиты национальной независимости Норвегии.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

ДИАЛОГ ДВУХ ФРАНЦИЙ

Редко удается прочитать книгу о французской культуре, написанную так добротно и так хорошо документированную, книгу, которая дышит такой привязанностью к французскому народу, что просто трудно поверить, что ее автор — иностранец (хотя он и учился в Париже). И тем не менее «Два облика Франции» написаны Михаем Ралей, членом румынской Академии наук, заместителем председателя Великого национального собрания, президентом Румынского института культурных связей с заграницей.

«Немногие народы обладают национальной жизнью, материальной и духовной, столь богатой и столь разнообразной, как французский народ»,— пишет Михай Раля.

Эти слова — не свидетельство особой привязанности к одной стране, в данном случае к Франции, не проявление национализма. Верно, конечно, что где бы человек ни родился, он всегда хранит в своем сердце заветные воспоминания детства и отрочества, пейзажи, облик времен года, язык той страны. Само собой разумеется, что француз, точно так же как и русский, бразилец или немец, питает особую любовь к определенным деревьям, к определенным рекам, к определенной кухне. Но речь идет не об этом. Не слепая любовь к стране, где он жил и которую он любит, руководила Михаем Ралей. Он не ставил своей целью доказать, что в противоположность другим странам Франция обладает лишь одними достоинствами. Как истинный марксист, он стремился нарисовать общую картину, меняющуюся со сменой эпох, диалектически двоякий аспект французской культуры, два облика Франции.

«Бесспорно, во Франции существует,— пишет он,— сильный антагонизм между старым и новым, между народными интересами и привилегированными интересами немногих эксплуататоров; бесспорно, эта борьба носит более ярко выраженный, более определенный и четкий характер, чем в других капиталистических странах... Но каков конечный результат этих столкновений? В настоящем произведении мы попытаемся ответить на некоторые из этих вопросов».

Нельзя, естественно, ожидать, что Михай Раля подвергнет анализу все аспекты столь обширной проблемы, но он ставит и решает значительно большее количество вопросов, чем скромно об этом заявляет: он рассматривает не только различные политические идеологии и философские школы разных направлений, но и проблемы литературы и психологии и особое внимание уделяет изучению французского революционного духа, значение которого является решающим. «Франция одна из первых положила конец феодальному строю: она одна из первых, совершив буржуазную революцию, заложила основы капитализма; именно она, Франция, через Парижскую коммуну 1871 г. совершила первую пролетарскую революцию».

Эта сторона истории Франции давно изучена и оценена, и Михай Раля прав, приводя отдельные тексты из произведений Маркса и Энгельса, посвященные данному вопросу. Конечно, мы читали эти тексты и прежде, но Раля сумел собрать высказывания вместе и тем самым дал нам обобщенный образ нашей страны. И в «Классовой борьбе во Франции с 1848 по 1850 г.» Маркса, и в его «Гражданской войне во Франции», которые мы все знаем, и в многочисленных работах, статьях, письмах Маркса и Энгельса Раля выбирает отдельные места, фразы, которые все вместе составляют точную картину истории и характерных особенностей французского народа. Начиная с фразы о «мыслящем уме... признанном единственным мерилом всех вещей» в XVIII веке, которую цитирует Энгельс в «Анти-Дюринге», или с того факта, что именно «Французское просвещение XVIII столетия представляет собой... открытую, ясно выраженную борьбу против метафизики XVII столетия и против всякой метафизики вообще», как пишет Маркс, и вплоть до его напоминания об «исполинской метле французской революции».

Михай Раля нисколько не ищет в цитатах, взятых у основоположников марксизма или у их великих последователей, лишь подтверждения своих суждений или доказательств своей правоты. Теперь постепенно исчезает привычка к цитированию, очень распространенная лет десять назад, когда цитаты, официальные утверждения, оправдательные документы, различные оговорки подменяли собой собственные размышления и личные поиски. Известные тексты Маркса и Энгельса, посвященные Франции, лишь направляли работу Михая Рали, помогали ему понять под определенным углом зрения ряд проблем. Но ключ к расшифровке он подобрал сам.

Я далек от мысли, что сумею в столь краткой форме представить книгу Михая Рали. Единственный совет, который я могу дать каждому,— это ее внимательно прочесть. Но мне хотелось бы очень коротко процитировать несколько мест из книги, привести несколько неожиданных цитат из французских авторов, которые дадут и привычное и в то же время необычное представление о Франции. Для того чтобы понять нашу страну в ее различных проявлениях, чтобы распознать ее два облика, очень важно знать те элементы, которые помогают лучше понять прошлое Франции и, что гораздо важнее, объясняют ее настоящее, тем самым позволяя предвидеть будущее.

Показывая два лица, два облика Франции, Михай Раля внимательно изучает не только передовые, но и ретроградные и консервативные стороны французской культуры, демонстрирует наличие внутри французского народа «двух противоположных лагерей, имеющих свою идеологию и своих сторонников, которые сталкиваются в жестокой классовой борьбе».

Нет никакой необходимости напоминать социальную структуру французского общества; достаточно напомнить число революций, имевших место во Франции, чтобы представить себе силу революционных элементов. Борьба с феодальным режимом, борьба с королевской властью, затем борьба буржуазии не только свидетельствуют о могуществе прогресса, но и показывают силу реакции в различных ее формах. Раля говорит о революционной страсти как национальной черте французского характера, но не следует забывать и о существовании на протяжении тысячелетия и до наших дней французского реакционного духа.

Раля внимательно рассматривает идеи наиболее видных французских писателей и философов-ретроградов, тех, кто выступал во имя прошлого, против будущего, как Жозеф де Местр и Луи де Бональд, которые, родившись во времена старого режима, всю свою жизнь боролись против французской революции, давно победившей и утвердившейся; или же Шарль Моррас, который приветствовал поражение Франции в 1940 году и оккупацию страны нацистами.

Класс, теряющий свою власть, всегда считает, что его упадок и есть упадок его страны. Раля пишет: «В связи с подъемом буржуазии соображения о скором конце французской нации были высказаны феодальным дворянством в начале XVII века, задолго до революции. Это явление характерно для всех эпох и для всех стран. Победа Народного фронта привела в ужас французскую буржуазию. И многие ее представители были готовы приписать поражение французской армии в 1940 году не предательству реакционеров, а введению правительством Народного фронта в 1936 году сорокачасовой рабочей недели и двух дней отдыха в неделю».

Исследование Рали приводит к мысли, что французская культура — наука, литература, искусство, философия — не дала великих реакционеров, чей талант или гений вызвал бы у последующих поколений желание прислушаться к их голосу, перечитать их книги, оценить их заново, несмотря на полное несогласие с их идеями. Для Франции прежде всего характерна многовековая борьба народа против реакции.

И если Раля посвящает анализу консервативных элементов французской культуры значительно меньше места, чем изучению прогрессивных сторон этой культуры, то в этом следует видеть его стремление следовать правде жизни. Достаточно сравнить Жозефа де Местра и Дидро, чтобы увидеть, кто из них способствовал величию Франции, понять, кто забыт, а кто останется навсегда в памяти народной.

Имя и роль Декарта известны всем и каждому. То же самое можно сказать и о великих писателях и философах XVIII века. Но гораздо меньше людей близко знают Морелли, опубликовавшего в середине XVIII века книгу под названием «Кодекс природы». В ней мы находим, несомненно впервые в истории человечества, мысль, которая окажет такое огромное влияние на людей: «Я думаю, что никто не станет спорить против очевидности следующего положения: там, где не было бы никакой собственности, не могло бы существовать ни одного из ее пагубных последствий».

Морелли является автором первой современной теории радикального коммунизма, к которой неоднократно возвращался Бабеф, названный Ралей основателем первой действующей коммунистической партии. Так автор подводит нас к одному из известных определений Маркса...

Конечно, важно установить авторство той или иной мысли или открытия; но, несомненно, важнее отметить непреходящий характер определенных национальных черт и их последовательное развитие вплоть до наших дней. «Дело Дрейфуса,— пишет Михай Раля,— не являлось новинкой эпохи Золя, но это глубоко французская черта. Сколько раз Вольтер выступал в судах, во время политических процессов! Он шел туда сам, хотя его никто и не просил об этом». Можно найти множество подобных примеров не только в прошлом, но и в более близкие времена: в годы алжирской

войны, когда многие самые различные писатели, от Арагона до Жана-Поля Сартра, поднимали голос протеста, с огромной силой убежденности становясь на сторону алжирского народа против французской буржуазии. Это лишь один пример, их можно было бы умножить,

Речь идет не о том, чтобы расхваливать сверх меры французский народ и его интеллигенцию (некоторые французские интеллигенты не достойны ни уважения, ни похвалы). Речь идет только о том, чтобы на основе марксистского анализа подчеркнуть ту характерную черту, которая позволяет узнать Францию прошлого и Францию сегодня.

Я хочу проделать один опыт. Послушайте внимательно, что пишет писатель об одной из своих книг:

«Мой роман — это восстание рабочих против общества, которое трещит в данный момент. Иначе говоря, это борьба капитала и труда. Именно в этом значение книги. Я хочу, чтобы она предсказывала будущее, чтобы она поставила вопрос, который станет самым главным вопросом в XX веке».

Кто написал эти строки? Писатель-коммунист наших дней? Нет, это написал Золя о романе «Жерминаль», которому скоро исполнится сто лет.

А вот речь другого писателя:

«Я хочу сказать, что мир не только возможен, более того, мир неизбежен. Наступит день, когда пушки будут выставляться лишь в музеях как образцы варварских орудий и люди будут поражены, что подобное варварство было возможно на земле».

Вы думаете, что это выступление современного французского поэта на Всемирном конгрессе мира? Да, это выступление французского поэта. Речь была произнесена в 1849 году. Произнес ее Виктор Гюго.

Мне хочется процитировать еще одного писателя, который, на склоне лет, писал:

«Все, что я вижу, сеет семена революции, которая непременно произойдет и которую мне не суждено увидеть. Свет подходит все ближе и ближе; взрыв произойдет при первой возможности. О, тогда поднимется такой шум! Как счастливы те, кто молод: они увидят прекрасное!»

В такой мере предвидеть неумолимое шествие будущего Франции мог коммунист.

Но я ошибся. Этот человек умер до революции 1789 года. Звали его Вольтер.

Я не хочу утверждать, что великие французы прошлого обладали даром провидения и что их наследники лишь имитируют прошлое.

Изучая таких различных и в то же время родственных друг другу мыслителей и художников, как Дидро и Жан-Жак Руссо, Бальзак и Флобер, Анатоль Франс, Ромен Роллан и Анри Барбюс, Михай Раля сумел определить, в чем состоит прогрессивное начало во французской культуре.

С самого начала, пишет он, «французская идея прогресса—это протест, оппозиция определенному общественному строю. Идея прогресса приобретает вскоре боевой, революционный дух, а в теоретических положениях — стремление к социальным преобразованиям».

Румынский ученый заключает свою книгу следующими словами: «Восторженное отношение к абстрактным, но благородным идеям, прилагаемым к устройству человеческой жизни,— вот истинный характер Франции».

Мне этот вывод представляется верным. Он верен и в применении к политической жизни, и в отношении позиции рабочего класса, который проходит через стадию безразличия и незаинтересованности, чтобы внезапно возмутиться и противопоставить силу силе, зная заранее, что лучше быть молотом, чем наковальней. Среди событий последней четверти века можно напомнить годы Народного фронта и годы Сопротивления нацистской оккупации. Это верно и по отношению к интеллигенции, к ученым, преподавателям, писателям. Что касается крупных писателей, то среди них, за редким исключением, нет реакционеров, так же как и не было их среди великих французских писателей прошлого.

Приходит время, меняются вкусы. Отвергнутый современной ему публикой Виктор Гюго стал в глазах потомков величайшим поэтом своего века. Следует ли называть других писателей, других художников, в том числе и наших современников? Надо ли называть одного из основоположников сюрреализма, а ныне самого значительного поэта нашего поколения Луи Арагона, который является коммунистом почти столько же лет, сколько я его знаю, и если я так говорю, то потому, что знаю его очень давно.

Очень приятно было узнать, что прекрасная работа Михая Рали почти одновременно с опубликованием на родине автора появилась в Советском Союзе и во Франции. В этом факте нетрудно увидеть одно из проявлений интернационального характера мировой культуры, ее способности находить — в лучших своих проявлениях — отклик у народов разных стран, различного духовного склада.

Для нас, французов, книга Михая Рали ценна еще и тем, что она продолжает привлекать интерес наших зарубежных друзей к Франции, укрепляет их веру в нас. А для такой веры есть все основания: до сих пор мы совершили только десять революций. Но никто никогда не утверждал, что десятая была последней. Счастливы те, кто молоды, как говорил Вольтер. Им суждено увидеть прекрасное.

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК

БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского
И. БЕРНШТЕЙН, Л. ЛЕРЕР

От морского кадета до имперского протектора

Еще до того как Адольф Эйхман — один из крупнейших преступников Третьего рейха — был похищен при весьма необычных обстоятельствах группой израильских офицеров-разведчиков и предстал перед иерусалимским судом, на его вилле в предместье аргентинской столицы Буэнос-Айрес побывали два человека: бывший сотрудник гитлеровской разведки австриец д-р Лангер и голландский журналист А. Сассен, в прошлом доброволец СС. Много часов и дней провели они здесь, беседуя с Эйхманом, который, никем не опознанный, тихо и скромно жил в своем уютном убежище. Хозяин виллы говорил тогда не как обвиняемый перед судом, где он всячески пытался отвертеться, сваливая ответственность на других либо делая вид, что ничего такого не помнит. В то время он чувствовал себя среди своих и говорил обо всем откровенно. Запись этих бесед, сделанная Лангером и Сассеном, знакомит нас с некоторыми признаниями Эйхмана. Тогда он прямо высказывался по многим важным проблемам. Однажды — это было в 1957 году — Эйхман на поставленный ему Лангером вопрос, после довольно долгих раздумий, ответил так:

«Лангер: Если бы вы участвовали сейчас в судебном процессе, предметом разбирательства которого были бы занимающие нас проблемы, и если бы на этом процессе вы выступали как обвинитель, кого бы вы привлекли к ответственности за содеянное и в каком порядке?

Эйхман: 1. Адольфа Гитлера,
2. Рейхсфюрера Гиммлера,
3. Начальника главного имперского управления безопасности...»

Заметим: под номером три Эйхман назвал лишь должность, но не имя. Быть может, по многолетней привычке? Ведь шефа полиции безопасности и службы безопасности, начальника секретных и «невидимых» организаций, действовавших конспиративно, предпочтительно было никогда не называть (это правило соблюдали даже высшие должностные лица при общении друг с другом). А может, Эйхман, один из его подчиненных, припомнил те минуты, когда стоял перед своим высоким начальством и вынужден был отвечать на очень неприятные вопросы, многие из которых звучали как прямой упрек и беспощадно вскрывали слабые места его деятельности?

Имя этого военного преступника под номером три ныне известно всему миру. Это Рейнгард Гейдрих.

Казалось, ничто не предопределяло Гейдриху такого жизненного пути. Начало этого пути, в общем, было обычным, ничем не примечательным, и если бы Гейдрих сам мог тогда разглядеть его конец, он был бы крайне удивлен. Он родился в 1904 году в Галле, то есть на Лужицкой земле Германии. Многие его предки, очевидно, тоже были лужицкого происхождения, а где-то среди ветвей его

Печатается в сокращенном виде.

родословного древа мелькнул далекий предок-еврей — обстоятельство, безусловно, совершенно второстепенное, однако в будущем, в пору фанатического разгула расизма и антисемитизма, переросшее в зловещий фактор. А вдруг это, тщательно скрываемое Гейдрихом, обстоятельство кто-то обнаружит, а вдруг это окажется как раз его главный конкурент и соперник, против которого уже нельзя будет действовать с привычной грубостью и беспощадностью?

Семья Гейдриха жила вполне устроенно и спокойно. Молодой Рейнгард, слишком молодой для того, чтобы отправиться на поля сражений первой мировой войны, окончил гимназию. Единственное, чем выделялась эта семья, было традиционное увлечение музыкой. Гейдрихи устраивали популярные тогда в провинции музыкальные «утренники» и «вечера», ветхозаветную скуку которых можно сейчас испытать разве только в Вене.

Юный Рейнгард восторженно предавался музыке. Он играл на фортепьяно, пел, но больше всего увлекался самым чувствительным инструментом — скрипкой. Это увлечение — хотя и в несколько измененном виде — он сохранил и в зрелые годы, что делало его в глазах многих еще более непонятным и загадочным.

Как сложилась бы судьба Гейдриха, если б она в определенный момент не скрестилась с судьбой безудержных честолюбцев, роль которых возрастала под влиянием неких сил, действовавших в тогдашнем немецком обществе? Может, он стал бы известным скрипачом? Может, был бы музыкантом средней руки и играл в каком-нибудь камерном ансамбле, покуда ему хватило бы юношеского увлечения музыкой? А может, всю жизнь просидел бы он за пюпитром в оркестровой яме, скрытый от глаз публики?

Впрочем, заниматься музыкой в доказательство своих возвышенных чувств — это пожалуйста! Но стать скрипачом, избрать себе профессию, от которой попахивает чем-то комедиантским,— с этим немецкие мелкие буржуа согласиться не могли. Они мечтали об офицерских погонах воинской славе и героических подвигах.

Подобные мечты, вероятно, и привели Гейдриха в 1922 году в военно-морской флот. Будучи кадетом, он проходил службу на крейсере «Берлин». В положенное время был произведен там в младшие лейтенанты, а затем в лейтенанты. Крейсером тогда командовал будущий адмирал Канарис. Гейдрих питал явное уважение к своему командиру за благородство и справедливость, всегда им подчеркиваемые. Он еще не знал, что Канарис, в то время занимавшийся мелкой шпионской деятельностью, в 1935 году станет начальником абвера (военно-осведомительская служба и служба контрразведки) — обстоятельство, которое столько лет буквально отравляло Гейдриху существование. Много усилий пришлось приложить ему, чтобы доказать бывшему начальнику свое превосходство над ним; много сплел он интриг и устроил ловушек, чтобы отстранить и уничтожить Канариса.

Однако Гейдрих пока еще молодой морской офицер, а Канарис — его «благородный» и «справедливый» начальник. Лейтенант Рейнгард Гейдрих — это звучит вполне сносно. Стройный, высокого роста офицер занимается спортом, увлечен новомодным пятиборьем и особенно отличается в фехтовании. На вечеринках в казино он порой вынимает из футляра скрипку и к великому удовольствию подвыпившей компании играет что-нибудь шаловливо-резвое, что должно взбодрить господ офицеров. Но еще охотнее исполняет Гейдрих что-нибудь чувствительное, сентиментальное, от чего по иссеченным ветрами лицам морских волков текут слезы, а в огрубевших ладонях бокалы превращаются в осколки и вино смешивается с кровью. Те, кто еще держится на ногах, выбираются на улицу в поисках дамского общества.

До капитана Гейдрих так и не дотянул. Наоборот, он стал рядовым, человеком без звания; более того — человеком без мундира, бесполезным, ничего не стоящим «шпаком». Тот, кто знает, что значил тогда в Германии мундир и что нередко значит он и ныне — ведь без него многие казались не только ничтожными, но словно бы нагими,— тот может понять, какое страшное это было падение.

Причины и обстоятельства этого падения не вполне ясны. Известно, что в 1931 году Гейдрих предстал перед судом чести имперского флота. Результатом судебного разбирательства было его разжалование и увольнение. Нацисты в своих панегирических биографиях называли это «уходом». Мы вполне с этим согласны: слово «уволен» не украшает панегирическую биографию. Гейдриху удалось полностью скрыть свое тогдашнее прегрешение, о характере которого не знали даже самые доверенные его сотрудники. Правда, в некоторых источниках высказывались предположения, что речь шла, вероятно, о каком-то темном проступке уголовного порядка, что начало карьеры будущего шефа всей нацистской службы безопасности ознаменовалось преступлением. Однако это соблазнительное объяснение трудно отстаивать — не забывайте, что дело его разбирал суд чести. Ближе к истине будут, вероятно, догадки коекого из ближайшего окружения Гейдриха. По их мнению, дело касалось какой-то истории с женщиной. Честолюбивого Гейдриха всегда привлекали «победы» над дамами из высокопоставленных кругов. А то обстоятельство, что суд чести, не колеблясь, вынес преуспевающему

ДУШАН ГАМШИК, ИРЖИ ПРАЖАК
БОМБА ДЛЯ ГЕЙДРИХА

офицеру самый суровый приговор, дает нам основание предполагать, как высоко, по-видимому, метил лейтенант, как скандальны были его действия и какую немилость и гнев начальства он на себя навлек...

Изгнание из армии задело Гейдриха за живое, уязвило его самое чувствительное место и вызвало новый приступ честолюбия. Даже спустя много лет, когда он уже был генералом и всесильным властелином, который мог по собственному произволу согнуть в бараний рог не только любого лейтенанта, но и человека более высокого звания, он не терпел ни малейшего намека на проступок против офицерской чести. И если случалось, что кто-то неосторожно ронял фразу, которая вовсе и не была таким намеком, Гейдрих приходил в ярость. Такая фраза вызывала у него длительную неприязнь и даже ненависть по отношению к лицу, ее обронившему. Вынужденный конец офицерской карьеры Гейдриха явился в его жизни переломным моментом. Как это ни парадоксально, но глубокое падение было началом его головокружительного взлета. Лишенный отныне средств к существованию, опозоренный и разжалованный, он соединяет свою жизнь с другими подобными ему грязными личностями, которые вынырнули со дна тогдашнего общества, выброшенные болезненными судорогами социальных противоречий. Так возникает в высшей степени странный заговор неполноценных, уволенных, недовольных, деклассированных.

Вот как выглядел сей перелом в жизни Гейдриха в передаче одного из самых компетентных лиц Третьего рейха Генриха Гиммлера.

«Я узнал о Гейдрихе от одного из его приятелей, тогдашнего оберфюрера СС. Эберштейна и предложил ему в июле того же года (то есть 1931 года, когда он был уволен из морского флота.— **Примечание авторов.)** вступить в охранный отряд (СС). Бывший офицер Гейдрих вступил тогда на правах рядового члена в небольшой гамбургский отряд СС и служил там вместе со всеми теми храбрыми, в большинстве безработными парнями, которые прошли в этих отрядах азы охранной и пропагандистской службы, врываясь на собрания в многочисленных красных предместьях этого города. Вскоре я вызвал его в Мюнхен и доверил ему в имперском руководстве, тогда еще совсем узком, новые обязанности».

В то время Гейдриху было двадцать семь лет. Ничего собой не представляя, ничего не умея, он с трудом сводил концы с концами. Так жил, кое-как перебиваясь, этот никогда не работавший безработный. Ведь в ту пору вынуждены были с трудом перебиваться и квалифицированные рабочие, и способные инженеры, и даже известные ученые. А Гейдриху надо было бы начинать все сызнова, все с самого начала; ему нужно было бы кормиться трудом своих рук, да и то после мучительных поисков работы; или же учиться, получить образование, добиваться состояния, положения в обществе — что и говорить, задача не из легких. И вдруг — такая, столь вдохновляющая и многообещающая возможность! К тому же и элегантная черная форма СС со скрещенными костями и черепом на рукаве весьма привлекательна. Гейдрих, подобно многим другим, был порождением и жертвой нацизма, но, будучи его порождением, он вместе с тем впоследствии стал и его носителем. Он чутьем угадал открывшиеся перед ним возможности и, подталкиваемый уязвленным, а следовательно, жгучим честолюбием, ухватился за них со всем пылом, упорством и неистощимой энергией.

Ему особенно импонировал «фюрерпринцип» — принцип вождизма.

«Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» — «Нация, империя, вождь!»

«Der Führer macht es!» — «Вождь действует!»

«Der Führer schafft es!» — «Вождь творит!»

«Der Führer denkt für uns alle!» — «Вождь думает за всех нас!»

Принцип вождизма был крайне необходим нацистам. Он требовал от людей беспрекословного выполнения любых приказов сверху. Самостоятельному мышлению отводились свои, точно определенные границы. Это было мышление исключительно исполнительское: как лучше выполнить то, что приказывает фюрер — ведь его авторитет и власть безграничны, мы его обожествляем.

«Er hat gekämpft, er hat gelitten, er hat gedacht, er hat gestritten für uns» — «Он сражался, он страдал, он мыслил, он боролся за нас!»

В организации СС «фюрерпринцип» был возведен в первейший закон. Требовалось абсолютное повиновение — мгновенное и без размышлений. Это считалось наивысшей добродетелью.

Руководителем, душой и главным создателем СС был Генрих Гиммлер. Этот бывший учитель стоял у колыбели СС еще тогда, когда СС выполнял роль «Schutz Staffel» — отряда личной охраны Гитлера. Позже организация эта разрослась и представляла собой гитлеровскую отборную гвардию, абсолютно надежную, верную и преданную.

В то время Гиммлер был полицей-президентом Мюнхена, где находилась штабквартира нацистской партии. Он же и назначил Гейдриха своим заместителем и шефом политической полиции. Если верить воспоминаниям жены Гейдриха Лины фон Остен, в данном назначении сыграла значительную роль неосведомленность Гиммлера. Фрау Лина просила якобы своего знакомого — одного из главарей СС Эберштейна походатайствовать перед Гиммлером о более высокой должности для своего мужа. Гиммлер

как раз в это время подыскивал подходящую кандидатуру на пост начальника тайной полиции, которую он собирался создать. Узнав от Эберштейна, что Гейдрих — бывший офицер службы связи имперского флота, Гиммлер понял это по-своему: слово «связь» он отождествил со словом «разведка». По просьбе Эберштейна Гиммлер принял Гейдриха на своей птицеферме под Мюнхеном, коротко изложил ему свой план и сказал, что если у того есть по этому поводу какие-либо соображения, то пусть он сядет за стол и набросает основную структуру будущей организации.

Речь шла о создании особой службы безопасности СС, которая получила название «Sicherheitsdienst» (СД). Позднее организация СС считалась элитой нацистской партии, а СД была элитой СС. Проект Гиммлера, одобренный Гитлером с самого начала, стал осуществлять Гейдрих. Он придал ему практическую форму, разработав в целом и в деталях так, что СД со временем стала безотказным орудием господства для гитлеровских заправил.

Секретная осведомительская служба, возглавляемая Гейдрихом, имела свои местные организации по всей Германии. А те в свою очередь насаждали своих так называемых «почетных агентов» во все важнейшие институты: в партийный аппарат, в государственные органы, промышленность, полицию, школы, театры, газеты — словом, повсюду.

Не было такой области общественной жизни, куда бы не проникла СД. Понимая важность результатов ее деятельности, ее незаменимость, Гитлер и Гиммлер со временем позволили этой незримой осведомительской службе стать не только над государством, но и над нацистской партией. СД имела право допрашивать и привлекать к следствию деятелей государственного и партийного аппарата. Всюду перед ней в страхе открывали двери, она видела все. Это была элита элиты.

СД, разумеется, прежде всего выслеживала и вынюхивала все, что являлось хотя бы малейшим проявлением или намеком на оппозицию, недовольство и сопротивление. Подавление коммунистического движения было предпосылкой захвата власти нацистами, и оно постоянно оставалось их первейшей заботой. Само собой разумеется, что служба безопасности, во главе которой стоял Гейдрих, видела в этом одну из главных своих задач.

Когда Гитлер 30 июня 1934 года расправился со своими недавними ближайшими помощниками, Гейдрих, несомненно, принадлежал к наиболее жестоким участникам этой чудовищной кровавой мистерии нацистов, получившей название «ночь длинных ножей». Среди сотен убитых была и главная жертва этой ночи — Эрнст Рем, начальник штаба СА — «Sturmabteilung» — штурмовых отрядов. Вместе с ним погибли и все руководящие деятели этой организации. В ту ночь Гитлер, как он сам впоследствии заявлял, стал на несколько часов верховным судьей Германии.

Уничтожение руководителей штурмовых отрядов и других своих возможных конкурентов Гитлер целиком доверил эсэсовцам. Гейдрих совместно со своим штабом до мельчайших подробностей разработал практический план действий и составил списки намеченных жертв. Окруженный отборными стрелками, он вполголоса отдавал приказания, выяснял обстановку, требовал донесений, а когда выезжал в своем бронированном автомобиле, к нему немедленно подводили все радиотелефонные нервы операции. К утру, пока никто толком еще ничего не понял, все было закончено. Гейдрих этой ночью действовал так жестоко, что даже многие видавшие виды ветераны нацизма стали его бояться.

Тридцатое июня привело к значительному усилению СС внутри нацистской машины, что, в свою очередь, означало заметный рост влияния Гиммлера и Гейдриха. Это немаловажное обстоятельство свидетельствует о том, что Гиммлер и Гейдрих были не только исполнителями воли Гитлера, но чем-то гораздо большим — они были вдохновителями и закулисными зачинщиками кровавой расправы. Особенно Гейдрих, который всегда поставлял Гитлеру заслуживающие доверия донесения. Систематически намекая и указывая на оппозиционные настроения, приукрашивая факты, вовремя вставляя нужное словцо, он мог раздувать и без того повышенную подозрительность Гитлера, побуждая его принимать радикальное решение, не дожидаясь, пока будет изыскан компромисс.

Имя Гейдриха не было известно широкой публике. Но те, кому оно было известно, стали произносить его шепотом.

Очень трудно добыть фотографию Гейдриха тех лет — шеф секретной службы тщательно оберегал свое инкогнито. Многие из тех, кто с ним сталкивался, понятия не имели, с кем им выпала честь говорить. Если Гейдрих появлялся где-нибудь со свитой своих сотрудников, никому с первого взгляда не приходило в голову, что стройный, высокий блондин с асимметричным лицом и заметно косо посаженными глазами, державшийся очень скромно,— старший среди этих людей. Некоторые даже принимали его за хорошо вышколенного адъютанта. Гейдрих был молод, пожалуй, моложе всех своих сотрудников — ему тогда едва минуло тридцать!

Гейдрих всегда стремился знать боль-

ше, чем остальные, знать о каждом человеке все, зачастую гораздо больше, чем знает о себе он сам. Это было самым важным для Гейдриха, так утверждалась и укреплялась его власть.

Для закулисных интриг, нередко им практиковавшихся, он использовал других людей, предоставляя последним свою секретную информацию. Сам же Гейдрих при этом оставался, как всегда, в тени.

Как далеко в своих интригах заходил шеф службы безопасности, показывает история с Вальтером Шелленбергом, одним из руководителей этой службы, в то время подчиненным Гейдриха. Работе Шелленберга сопутствовал постоянный успех, и сам Гейдрих предсказывал ему блестящее будущее, хотя одновременно тщетно искал какую-нибудь зацепку в его прошлом. Ни мелкие ловушки, ни повседневные интриги не могли заставить Шелленберга спасовать, допустить ошибку, которой мог бы воспользоваться его шеф. Надо сказать, что Гейдрих вовсе не собирался уничтожить Шелленберга, отнюдь нет — речь шла лишь о том, чтоб принудить его к лояльности, подчинить себе.

Человек образованный, с широкими культурными интересами и кругозором, Шелленберг импонировал госпоже Гейдрих. Будучи честолюбивой женщиной, она никогда не могла простить своему мужу недостаточную культурность и постоянно заставляла его посещать театры, литературные вечера и тому подобное. Но у Гейдриха для этого было слишком мало времени и желания. А госпожа Гейдрих тосковала по светской жизни, придворному блеску — где, как не там, можно было продемонстрировать новые туалеты, поболтать на интеллектуальные темы. Пустые упражнения в остроумии были для нее не просто забавой от скуки. Они ей казались светской обязанностью, хорошим тоном. И не случайно ее выбор пал на Шелленберга. Она устраивала так, что его часто приглашали к ним в дом, он сопровождал ее во время визитов, был ее спутником на вечерах. Взаимные симпатии госпожи Гейдрих и господина Шелленберга не вызывали сомнения. Однако Гейдрих смотрел на все это мило и просто.

Идиллия эта тянулась довольно долго, пока, наконец, Гейдрих не решил устроить западню. Случилось это после совещания руководящих сотрудников осведомительской службы на острове Фемарн на Балтийском море, где у Гейдриха была летняя вилла. С Шелленбергом он заранее условился, что тот после совещания проведет свободный день в кругу их семьи. Они будут играть в бридж и беседовать о литературе и искусстве.

Однако, когда совещание окончилось, Гейдрих, сославшись на срочные служебные дела, тут же улетел в Берлин. А Шелленберга, разумеется, никто никуда не вызывал. Так Гейдрих создал Шелленбергу и своей жене идеальные условия для любовных похождений, предоставив в их распоряжение свою летнюю резиденцию. Примерно через неделю Гейдрих пригласил Шелленберга в один из берлинских баров, находившихся под надзором службы безопасности. Едва они осушили первый бокал, Гейдрих заявил:

— Вы выпили сейчас яд. Вы немедленно получите противоядие, которое вас спасет, если скажете мне всю правду о том, что произошло между вами и моей женой. В вашем распоряжении меньше часа, затем начнет действовать яд. Но чистую правду. Вам, вероятно, ясно, что я принял необходимые меры и твердо знаю, утаиваете вы что-нибудь или лжете. Любая ложь будет стоить вам жизни.

Подобная сцена, вероятно, скорее могла бы произойти в среде чикагских гангстеров. Но в данном случае ясно одно: Гейдрих, не колеблясь, готов был пожертвовать репутацией собственной жены, лишь бы подловить Шелленберга!

Перед таким упорством и целеустремленностью невольно станешь в тупик.

Спустя несколько лет Шелленберг все же попался. Это было связано с его второй женитьбой. Как и каждый эсэсовец, он должен был получить разрешение на брак. Будущая супруга подлежала тщательному изучению и утверждению особого расового отдела ведомства Гиммлера. Ведь члены таких привилегированных организаций, предназначенные для самой высокой деятельности, должны были быть ограждены от самой возможности допустить ошибку на супружеском ложе; их потомство должно быть не иначе как только самой «чистой» расы. Это было одним из правил, за соблюдением которых строго следил лично Гиммлер, хотя его самого никак нельзя было отнести к германскому или нордическому типу. Готовя сведения о предках своей будущей жены, Шелленберг выяснил, что мать ее польского происхождения. Это было плохо, даже очень плохо. Поляки, согласно изощренной нацистской расовой теории, считались низшей расой. Назревала катастрофа, брак мог не состояться.

В отчаянье и замешательстве Шелленберг попросил Гейдриха поговорить с Гиммлером и попытаться убедить его изменить ожидаемое отрицательное решение. Гейдрих не только пообещал, но и в самом деле стал действовать с неожиданной энергией и быстротой. Через четыре дня (разбирательство обычно продолжалось не менее четырех недель, да и четыре месяца были не исключением) Гейдрих, сердечно пожелав счастья Шелленбергу, вручил ему решение расового отдела, разрешающее брак.

Но едва лишь закончился медовый месяц, Гейдрих дал понять Шелленбергу, почему он так охотно пошел ему навстречу. Вместе с другими документами секретарь подал молодожену папку с надписью: «Geheime Reichssache», что означа-

ло высшую степень секретности. А в папке под заголовком «Для доклада» лежала копия донесения тайной полиции о семье новой супруги Шелленберга, проживавшей в Польше. Каждый из родственников был перебран по косточкам, всевидящее полицейское око узрело у многих из них недостатки политического и национального характера, и в заключение, как предостережение, был приведен установленный факт, до сих пор никому из супругов не известный, что одна из родственниц замужем за человеком еврейского происхождения. Этого факта, как знал Шелленберг, было вполне достаточно не только для немедленного смещения его с высокой должности, но и для увольнения из СС, а появись в том необходимость, то и для принятия последующих самых строгих мер.

К копии донесения, помеченного «Для доклада», не было приложено ни какого-либо решения, ни предложения. Не сопровождалось оно и комментариями или требованиями объяснений. Лишь в конце уведомления, как занесенный бич, стояла фраза: «Оригинал находится у начальника СД». У Гейдриха.

Было бы ошибочно думать, что с этой поры Гейдрих стал проявлять недовольство Шелленбергом или выказывать ему неприязнь, что он стал доверять ему лишь второстепенные задания и постепенно отстранил его от важнейших секретных дел. Гейдрих и после этой истории внешне как будто бы не изменил своего отношения к Шелленбергу. Ни публично, ни в личных разговорах он никогда ни единым словом, ни намеком не касался этого факта. Напротив, дружеские связи между обеими семьями еще более укрепились. Гейдрих сохранил прежнюю сердечность и был явным покровителем своего подчиненного и даже инициатором быстрого и успешного его продвижения. Он вовсе не хотел уничтожить Шелленберга. Он хотел лишь иметь в своих руках какие-либо компрометирующие его документы, чтобы тот знал об этом, знал, что Гейдрих не хочет, хотя и может, его уничтожить. Как только Гейдрих этого достиг, пала последняя преграда между ним и Шелленбергом. Отныне все было в порядке.

Гейдриху было немногим более тридцати лет, когда он после реорганизации аппарата службы безопасности, утвержденной Гитлером, стал шефом всей системы службы безопасности и полиции Германии. При этом он остался, естественно, руководителем СД, но одновременно получил назначение на пост шефа РСХА — главного имперского управления безопасности, центра, которому было подчинено все: и гестапо — тайная государственная полиция, и крипо — уголовная полиция, и другие службы, сотрудники которых либо носили форму, либо соблюдали конспирацию.

Гейдрих как личность сформировался и выдвинулся в условиях, когда можно было подавить любое движение сопротивления, любого противника бросить за решетку, сразить интригой, сломить кознями. И естественно, что он уверовал во всемогущество тайных методов и средств и выработал в себе барское пренебрежение к простым, порядочным людям. Гейдрих, к несчастью, вознесся к непрочным вершинам власти в ту пору, когда ему самому и ему подобным немецкий народ преподал еще слишком мало уроков, чтобы понять, сколь глубоко и основательно они заблуждаются.

Вот как этот человек работал.

Во время одной из своих вылазок в берлинские бары, где он наблюдал ночную жизнь, у него в голове зародился план, который вскоре был осуществлен под названием «Салон Китти».

Речь шла о том, чтобы служба безопасности организовала такое «заведение», куда можно будет приглашать иностранных гостей, дипломатов, военных, журналистов, предпринимателей, как правило, работавших одновременно на несколько иностранных разведок. В интимной обстановке у них безусловно возникнет мысль о соблазнах дамского общества. И в этом им действительно не будет отказано в расчете на то, что они станут покладистее и обязательно выболтают какие-нибудь полезные сведения и секреты.

Идея была осуществлена с присущей Гейдриху деловитостью. При посредничестве ничего не подозревавшего предпринимателя служба безопасности сняла большой дом в благоустроенной части Берлина. Архитекторы переоборудовали его, снабдив двойными стенами, чтобы можно было между ними установить микрофоны и аппаратуру, которая записывала бы каждое произнесенное в доме слово. «Хозяек дома» подобрал (тут Гейдрих использовал то обстоятельство, что ему подчинялась вся служба безопасности и полиция Германии) шеф уголовной полиции Артур Небе, которому благодаря долголетней практике были хорошо известны обитательницы многих публичных домов. Из больших европейских городов он вызвал владеющих языками и обладающих иными «знаниями» дам полусвета, дабы они могли «особым» способом послужить интересам Третьей империи. Вальтер Шелленберг, рассказывая в своих воспоминаниях о «Салоне Китти», пишет, что даже многие дамы из высших слоев нацистского общества были отнюдь не против того, чтобы послужить своему фатерланду на этом поприще.

Гейдрих не ошибся в своих расчетах уже потому, что он выбирал жертвы среди людей, себе подобных. Из «Салона Китти» он добыл немало ценной информации и завербовал полезных для себя лиц. Среди первых, кто клюнул на эту

соблазнительную наживку, оказался итальянский министр иностранных дел граф Чиано, член правящего семейства, супруг дочери Муссолини. Можно себе представить, как это сумел использовать Гейдрих, и не только для себя лично, но и для интриг против Нейрата, тогдашнего министра иностранных дел Германии и будущего предшественника Гейдриха на посту так называемого пражского протектора. Нейрат, естественно, не мог знать многого из того, что знал Гейдрих.

Мы приводим эти факты не потому, что они — самые важные в деятельности Гейдриха, а лишь как свидетельство того, что он не останавливался ни перед чем, не брезговал никакими средствами, был способен на все. В этом отношении он не терпел ограничений. И это также было его преимуществом. Обладая подобным качеством, он находил ему применение в иных, более значительных и опасных операциях.

Так, например, ныне уже точно известно, что к одному из самых трагических событий новейшей истории, которые имели столь далеко идущие последствия, приложил свою руку Гейдрих. Речь идет об устранении советских маршалов и выдающихся военных деятелей, которым в 1936—1937 годах в условиях культа личности Сталина было предъявлено обвинение — теперь мы уж знаем, несправедливое и облыжное — в том, что они являлись агентами германского генерального штаба.

Суд был скорый, приговор лаконичный: «смерть». Кое-кто из авторитетных людей еще в то время оценил это как значительное ослабление боеспособности и подготовленности Советской Армии. И действительно, в начальный период войны, после нападения гитлеровцев на Советский Союз, потеря военачальников дала себя знать.

В зарубежной печати и особенно в мемуарной литературе мы найдем немало более или менее заслуживающих доверия описаний этого события, немало и различных домыслов и версий, несерьезность которых просто бросается в глаза. Однако бесспорно одно: для нацистской разведки не оставались тайной недоверчивость и подозрительность Сталина, его самомнение и убежденность в своей непогрешимости. Знала она также и о разногласиях, существовавших между Сталиным и представителями армии по вопросам, касавшимся основ военной стратегии. Гитлеровцы, конечно, уже тогда вынашивали свои агрессивные планы против Советского Союза. В Тухачевском, Якире, Уборевиче, Эйдемане и других выдающихся военачальниках, занимавших в Советской Армии руководящие посты, они видели опасных противников на пути к осуществлению этих агрессивных планов. Понятно, что самые доверенные лица из окружения Гитлера искали удобного случая, чтобы ослабить влияние этих военачальников, а если представится возможность, то и отстранить или уничтожить их. Видимо, по этому вопросу, на основе донесений Канариса и Гейдриха, принял решение сам Гитлер, разумеется, после долгого и обстоятельного обсуждения в условиях строжайшей секретности.

О том, как эксперты Гейдриха после решения Гитлера лихорадочно принялись за дело, пишет в своих воспоминаниях (их мы, конечно, должны принимать во внимание лишь с оговорками) Шелленберг, в то время руководитель иностранного отдела службы безопасности. Они якобы в течение четырех дней изготовили фальшивые документы, доказывавшие мнимую связь Тухачевского и его соратников с германским генеральным штабом. Гейдрих направил два специальных взвода в секретный архив осведомительской службы германского генерального штаба, куда они ворвались, чтобы симулировать кражу документов и замести следы. Их задача, дескать, сводилась к уничтожению всех документов и сведений, касавшихся Советской Армии, на тот случай, если всплывет факт неподлинности только что изготовленных «документов» и кому-то придет в голову кое-что сопоставить. О том, что документы против Тухачевского подделали специалисты Гейдриха, пишет в своей книге «Секретный фронт» и бывший сотрудник гестапо Вильгельм Геттель. Об этом же сообщают и другие авторы. Затем якобы эти фальшивки через одного дипломата в Праге попали в руки близкого друга тогдашнего президента Бенеша, который в свою очередь передал их Сталину. Путь к уничтожению Тухачевского и других военных деятелей был найден.

Бронированные сейфы и секретные архивы иностранных разведок тщательно скрывают не одну тайну подобного рода, о которой говорил на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущев. В будущем, вероятно, нам предстоит узнать еще много неожиданного. Но в данном случае ясно лишь одно: какова бы ни была доля участия Гейдриха в уничтожении Тухачевского и его товарищей, был ли он исполнителем или вдохновителем этой преступной операции, факты свидетельствуют о том, что он в ней участвовал.

Он участвовал в этом преступлении. Но в каком преступлении Гейдрих не участвовал?

Если мы проследим печальную историю крушения Чехословацкой республики, которая завершилась мюнхенским диктатом осенью 1938 года и наконец

оккупацией весной 1939 года, мы и здесь обнаружим руку Гейдриха. Конечно, судетское движение выдумал не Гейдрих. Другие позаботились о том, чтобы разжечь это движение до бешеного неистовства в расчете на потерявшую стыд и совесть чешскую буржуазию, на ее капитулянтство и сговорчивость. Однако именно Гейдрих позаботился о том, чтобы германский шпионаж основал на территории Чехословацкой республики мощную базу, разросшуюся со временем до размеров, не имевших, вероятно, себе равных. Накануне мюнхенского сговора от разведки стал поступать такой материал, что для обеспечения его передачи в двух местах чешско-немецкой границы были тайно смонтированы две весьма оживленно действовавшие телеграфные линии, ведущие в Берлин.

Гейдрих создал также в своем центре специальное отделение, которому поручено было контролировать руководство генлейновской судетонемецкой партии (СДП) и направлять ее действия сообразно понятиям и планам Гитлера. Нацистский Берлин настаивал на мощном движении за отторжение пограничных земель от республики и присоединение их к Великой Германии. Он стремился расчленить Чехословацкую республику и овладеть ее территорией.

Решение Гитлера гласило: сокрушить республику любой ценой, а если потребуется, то и насильственным вторжением армии. На этот случай секретная служба готовила несколько вариантов провокаций, которые должны были послужить непосредственным поводом для военных действий. Один из таких вариантов, например, предусматривал покушение на жизнь германского посла в Праге Эйзенлора — разумеется, неудавшееся,— а это должны были обеспечить нацистские агенты, прошедшие специальную тренировку

Гитлер, конечно, охотнее использовал бы другую возможность: расчленение республики без вооруженного вмешательства извне, поскольку Германия в то время — и это исторический факт — не была достаточно подготовлена к войне. Германская секретная служба прилагала немало усилий к тому, чтобы поддержать сепаратистские тенденции словацких националистов. Далеко не всем известно, что агенты германской секретной службы после неудачных попыток договориться с другими лицами достигли, наконец, соглашения с д-ром Иозефом Тисо. А по окончании конференции, на которой Тисо подтвердил, что готов провозгласить суверенитет Словакии под покровительством Германии, он в ночь на 12 марта 1939 года улетел в Берлин на специальном самолете, принадлежавшем ведомству Гейдриха. А в то время из Берлина в обратном направлении летели самолеты с отрядами натренированных провокаторов. В их задачу входило использовать давно разжигавшиеся в Словакии шовинистические настроения, вызвать противочешскую шумиху и выступления против объединения чехов и словаков в рамках одного государства. 14 марта Тисо провозгласил создание так называемого Словацкого государства, 15 марта были оккупированы чешские земли.

При всей своей значимости и высоком положении Гейдрих из-за своего характера оставался заурядным мещанином. И мы не ошибемся, если скажем, что, не приди к власти нацисты, он так и прожил бы мещанином, притом, возможно, безвредным. Однако гитлеровскому режиму сопутствовало одно из самых страшных явлений: он вознес непомерно высоко людей, которым следовало бы остаться внизу. Это сознание не давало им покоя и побуждало их рваться вперед, не останавливаясь перед чудовищной жестокостью, все вперед и выше, к деспотизму.

Одной из слабостей Гейдриха, как мы уже говорили, было увлечение музыкой. Традицию устраивать музыкальные вечера в своем доме Гейдрих унаследовал от родителей. Его пражская резиденция — замок в Паненских Бржежанах — знает немало таких вечеров.

Как изменилась присутствовавшая на этих вечерах публика! Если прежде на них скучали вполне безопасные недалекие барышни-мещанки, готовые стерпеть даже музыку для поддержания светских связей, чтобы в конце концов удачно выскочить замуж,— теперь на музыкальных вечерах скучали высокие чины СС, каждый из которых представлял собой целый агрегат механизма управления. Большинству из них никогда бы не пришло в голову идти в концерт, слушать музыку. Но Гейдриху отказать было невозможно. Они соглашались терпеть даже музыку, только бы не восстановить его против себя — ведь главным участником этих вечеров был скрипач Гейдрих!..

Самым ужасным из всех преступлений Гейдриха следует, по-видимому, считать его «вклад» в дело, которое нацистская терминология осторожно называет «решением еврейского вопроса».

Началом антиеврейской истребительной кампании послужила ночь с 9 на 10 ноября 1938 года названная самими нацистами «хрустальной ночью». «Ночь длинных ножей», «хрустальная ночь», «Nacht und Nebel» * — под такими названиями свершались важнейшие политиче-

---

* Мрак и туман *(нем.)*.

ские шаги Третьего рейха, сознательно рассчитанные на психологическое устрашение противников и жертв. Причем насилия и преступления преподносились как нечто возвышенное, роковое, священное.

«Хрустальная ночь» была организованным в крупном масштабе гигантским погромом.

Поводом к «хрустальной ночи» послужило покушение на советника германского посольства в Париже Эрнста фон Рата, которое совершил семнадцатилетний студент-еврей Гершл Гриншпан. Желая якобы отомстить за насилия, учиненные эсэсовцами над его отцом и другими ганноверскими евреями, Гриншпан подкараулил фон Рата на лестнице германского посольства в Париже и, когда тот вошел, убил его пятью выстрелами из нагана.

В этом убийстве осталось много загадочного и необъяснимого. Нацистская пропаганда пыталась утверждать, что Гершл Гриншпан «хотел подорвать дух мюнхенского соглашения». Подумать только, безвестный семнадцатилетний студент убивает из совершенно неясных побуждений безвестного нацистского дипломата, и из этого юноши делают рыцаря мирового еврейства, который, вооружившись до зубов, бросается в бой против одной из мировых держав.

Если бы даже все осталось необъяснимым в этом уголовном правонарушении, безусловно ясно одно: нацисты использовали это покушение как повод для начала истребительного похода против евреев. Они могли бы выбрать другой, более удобный предлог, но выбрали именно этот. Седьмого ноября 1938 года семнадцатилетний студент застрелил советника посольства, в ночь с 9 на 10 ноября Германию потряс еврейский погром, какого еще не знал мир.

Сохранилось много докладов и документов, которые объясняют закулисную сторону этой мнимой вспышки гнева возмущенного немецкого населения. В секретных указаниях шефа гестапо говорится: «Необходимо, чтобы осуществление этих действий находилось в руках государственной полиции». А Гейдрих накануне погрома посылает в подведомственные ему учреждения срочную депешу:

«По всей империи ожидаются антиеврейские демонстрации. Все должно протекать так, чтобы не подвергать опасности жизнь и имущество немцев. Необходимо арестовать столько евреев, чтобы заполнить емкость тюрем. Следует связаться с концентрационными лагерями, чтоб они подготовились к срочному приему евреев».

Еврейский вопрос не давал Гейдриху покоя. Он упорно занимался им. вынашивал идеи, проекты, предложения. Он поручает некоторым своим подчиненным, таким, например, как опытный убийца Глобоцник, испробовать и отработать методику истребления. Так возник первый лагерь Тремблинка, единственной целью и смыслом которого было уничтожение. Для умерщвления жертв здесь использовался — какая примитивность! — отработанный газ моторов, поступавший либо в импровизированные камеры, установленные на кузовах грузовых автомашин, либо в низкие бревенчатые сооружения. Гейдрих послал на практику к Глобоцнику Эйхмана, чтобы тот познакомился со всей механикой дела и продумал, как усовершенствовать и дать более широкий размах орудиям уничтожения.

Основная идея была определена. Позже все крупные фабрики смерти, среди которых крупнейшая — Освенцим, стали не чем иным, как воспроизведением этой первой экспериментальной станции убийства с той только разницей, что они были более усовершенствованы и лучше технически оснащены.

Как ни ужасна была трагедия евреев в Германии (ее нельзя сравнить даже с легендарным Апокалипсисом, извечным символом всех ужасов), в понимании нацистов она не была ни апогеем, ни вообще чем-то особенным. Они лишь пробовали силы, отрабатывали приемы, так как еще до «окончательного решения еврейского вопроса», параллельно с ним, на очередь вставали вопросы, касавшиеся следующих групп, сообществ и наций. Теория расового и национального превосходства, возведенная в закон, логически порождала новые и новые «вопросы», окончательное «решение» которых вырисовывалось на горизонте, а еще яснее в головах наиболее рьяных исполнителей гитлеровских планов.

Вряд ли Гейдрих в первые годы войны ездил в оккупированные страны только для того, чтобы расширять там сеть своей службы безопасности и организовывать военные действия против сил сопротивления, хотя он ездил туда и для этого.

Его самолет очень часто вылетал из Берлина в Голландию, Бельгию, Францию, Данию, Норвегию. Патриоты-антигитлеровцы этих стран в ту пору в полной мере ощутили на себе жестокость Гейдриха. Дело в том, что эти страны или части их территорий, так же как и некоторые другие страны и области, представляли собой перспективные для германизации пространства — районы будущих поселений германцев только самой чистой расы. И Гейдрих ездил туда как доверенное лицо Гиммлера, чтобы произвести рекогносцировку и создать практические предпосылки для германизации.

В своем выступлении 2 октября 1941 года шеф службы безопасности изложил основные черты этого обширного замысла, еще не вполне завершенного, и высказал ряд соображений. «Вот как мне это представляется»,— начал он и затем, наряду с уже упомянутыми странами,

как часть будущей немецкой территории назвал Чехию и Моравию, часть Польши, земли Прибалтики, а затем и Швецию. «Позвольте мне теперь немножко размахнуться»,— продолжал он и изложил свои обширные колонизаторские планы и практические соображения, не останавливаясь ни перед чем и уж, конечно, меньше всего придавая значение шведскому нейтралитету.

О том, что Гейдрих под руководством Гиммлера серьезно занимался планами германизации, свидетельствует один документ, касающийся также и будущности чешской нации. Он датирован 11 сентября 1940 года, а стало быть, написан задолго до того, как у Гейдриха могли возникнуть предположения, что он будет назначен на высокий государственный пост в Прагу. Тогдашний имперский протектор в Праге фон Нейрат и государственный секретарь К. Г. Франк, два самых крупных и доверенных деятеля, трудились летом 1940 года над так называемой «Памятной запиской о способах решения чешской проблемы и о будущем устройстве чешско-моравского пространства». Этот документ готовился специально для Гитлера. На тринадцати страницах «Записки» предлагалось сочетать три метода действия: онемечивание, выселение и истребление.

Отзыв на эту «Памятную записку» готовил для Гитлера и Гиммлера Гейдрих.

Он понимал «решение чешского вопроса» — и это подтверждает документ!— как составную часть обширных планов германизации, касавшихся и многих других европейских народов.

Вот какой человек осенью 1941 года вступил в пражский Град.

Близится двенадцатый час

— Смирно! Равнение направо!

Барабанные палочки взлетают вверх и падают.

Ттрам-тарам-трамтам!

Грохот барабанов разрывает тишину Градчанской площади. Дребезжат оконные стекла, за которыми не видно людей, вздрагивают стеклянные колпаки фонарей. Музыкантская команда подносит к губам свои дудки крысолова, и над площадью разносится «Слава Пруссии». Почетный караул вермахта, СС и полиция держат равнение направо.

«Имперский протектор Чехии и Моравии, рейхсминистр барон фон Нейрат счел необходимым обратиться к фюреру с просьбой продлить ему отпуск для поправки расшатанного здоровья. Учитывая это обстоятельство, фюрер не мог отклонить просьбу имперского протектора и возложил на обергруппенфюрера СС, генерала полиции Рейнгарда Гейдриха на время болезни имперского министра фон Нейрата обязанности имперского протектора Чехии и Моравии».

Официальное сообщение, переданное протекторатным радио рано утром (в рабски точном переводе), было в этот день не последним. Из храма св. Витта доносится мелодичный бой часов. Отмеряется время. Близится двенадцатый час для человека, чья нога в начищенном до блеска сапоге как раз в этот момент высунулась из автомобиля и впервые ступила на пражскую мостовую.

Осень. Воскресенье, 28 сентября 1941 года. Праздник св. Вацлава, покровителя чешской земли.

Рейнгард Гейдрих вступает в Град.

«Achtung!» — раздается у входа в Град команда начальника караула.

Тощий долговязый «викинг» торопливо шагает вдоль рядов. Левая рука его сжимает шпагу, правая, поднятая для приветствия, простерта к городу.

«В целях охраны интересов Империи объявляю на территории Чехии и Моравии, начиная с 12 часов 28 сентября 1941 года, чрезвычайное положение. Все действия, ведущие к нарушению общественного порядка, хозяйственной жизни или мирного труда, равно как и недозволенное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, будут караться по законам военного времени. Это относится также к скоплению народа и всякого рода сборищам в закрытых помещениях или на улицах. Решения военно-полевых судов обжалованию не подлежат. Смертные приговоры приводятся в исполнение немедленно, через расстрел или повешение.

Гейдрих».

Официальное сообщение, переданное протекторатным радио в полдень (снова в рабски точном переводе), к сожалению, также не было в этот день последним.

У ворот Матиаша военный оркестр играет «Die Fahne hoch». На флагштокс Града поднимается штандарт нового хозяина: две молнии на черном поле — эмблема СС. Словно тень вороньего крыла легла на скалу Вышеграда.

«Хайль, зиг хайль!» — скандируют пражские соплеменники Гейдриха, выстроившись длинными шпалерами у въезда в Град.

Статс-секретарь К. Г. Франк поспешно называет новому шефу должности, чины, имена подчиненных. Прежде чем те успевают подобострастно пожать Гейдриху пальцы, он знает о них уже все.

Вот он неожиданно остановился в конце первой шеренги и решительно направился к парадному входу в Град. Тех, кто стоял во второй шеренге, он не удостоил даже взгляда. Чешское правительство? А что им, собственно, здесь надо? Кому это пришло в голову ставить их на одну доску с немцами из рейха? Нет, с этими пережитками дипломатических це-

ремоний, которые терпел Нейрат, пора покончить. Чешские министры должны появляться только тогда, когда я их позову. Я им покажу, как греть руки и у камелька в Берлине и у камина на Даунинг-стрит. Я отобью у этих господ охоту сидеть сразу на двух стульях!

«Согласно распоряжению исполняющего обязанности имперского протектора обергруппенфюрера СС Гейдриха, председатель совета министров автономного правительства протектората инженер Элиаш арестован по обвинению в государственной измене и предан народному суду Германской империи. Исполняющий обязанности имперского протектора одновременно отстранил арестованного от занимаемой им должности».

Но и это официальное сообщение, переданное радио протектората (в рабски точном переводе) после обеда, было в этот день не последним.

— Обергруппенфюрер, ваш приказ выполнен! — рапортует один из подручных, прихваченных шефом с собой из главного имперского управления безопасности.

Гейдрих берет две фонограммы, посланные ему несколько минут назад из Праги и Брно. Благодаря бешеному темпу губительной деятельности Гейдриху кажется, что он у себя на родине. Так было повсюду — и в Амстердаме, и в Осло, и на Вильгельмштрассе в Берлине, и вот теперь в этом кабинете, в южной части пражского Града.

— Вилли!

— Да, господин обергруппенфюрер! — вскакивает и становится навытяжку адъютант-шифровальщик, молодой эсэсовский лейтенант.

Новый протектор прохаживается по великолепному паркету зала. Он диктует спешное сообщение:

— «Секретно. Господину рейхслейтеру Борману. Главная ставка фюрера.

Дорогой партайгеноссе Борман! В дополнение к предшествующим трем донесениям сообщаю, что сегодня, 28 сентября 1941 г., в 22 часа имперское радио в Чехии огласит следующие смертные приговоры, которые завтра будут вывешены на улицах.

1. На основании обвинения в государственной измене пражский военно-полевой суд приговорил генерала армии Йозефа Билу и дивизионного генерала Гуго Войту к смертной казни с конфискацией имущества.

2. Военно-полевой суд в Брно приговорил Алоиза Трнечку из Роусинова и Алоиза Поспишила из Дрновиц к смертной казни за саботаж.

3. За недозволенное хранение оружия пражский военно-полевой суд приговорил Ладислава Кумзака и Вацлава Франца из Праги к смертной казни.

Приговоры приведены в исполнение, осужденные расстреляны. Прошу сообщить об этом фюреру. Гейдрих».

Первое, второе, третье. Телетайп выстукивает арифметические выкладки Гейдриха. Они только начинаются. Каждый день будут добавляться новые и новые имена. У многих из них в деле будет пометка: коммунист. Отто Сынек, Франтишек Кржижек, Ян Крейчи, Вацлав Кржен, Вратислав Шантрох, Франтишек Тауссиг, Власта Гакен, Карел Эльсниц, Леопольд Каниок, Ян Янковский, Йозеф Покорны, Курт Конрад...

Три года назад, 28 сентября 1938 года, телетайп выстукивал депешу-молнию с приказом из Праги в Вышков, где находилось главное командование отмобилизованной чехословацкой армии: «Господину министру стало известно, что солдатам, особенно на линии укреплений, раздаются коммунистические листовки, призывающие войска не отступать ни на шаг, потому что их поддерживает народ. Господин министр предлагает всем командирам принять меры с тем, чтобы пресечь распространение в армии подобных листовок».

Тогда составляли эту депешу, читали ее и руководствовались ею многие из тех, чьи имена, уже без званий и чинов, теперь, спустя три года, стоят в кровавых списках рядом с именами коммунистов.

Арифметические выкладки генерала СС Гейдриха продолжаются. Он так торопится, будто ему не хватит времени.

Но разве его задача состоит только в том, чтобы дирижировать казнями? Нет. Все эти акции направлены теперь дальше — против многих политических деятелей в стране и за ее пределами, против определенной политической концепции.

Пусть поймут, наконец, представители идущей на сговор чешской буржуазии, что нацистский Берлин не намерен впредь делить с ними экономическую и политическую власть в этой стране. Он будет хозяйничать здесь сам, по своему усмотрению и только в своих интересах. Да и эмигрантской части чешской буржуазии в Лондоне пора уже понять, что ее попытки сохранить свое влияние в стране безнадежны. Теперь этому будет положен конец.

Таков смысл ареста Элиаша и других буржуазных деятелей сопротивления, о связи которых с Бенешем, впрочем весьма слабо законспирированной, давно было известно нацистской контрразведке. По этому поводу Гейдрих сам скажет через несколько дней: «Если бы мы хотели задержать всех, кто знал о связях с Лондоном, нам пришлось бы арестовать значительно больше людей. Но я выбрал только тех, кто занимал ключевые позиции, а всех остальных, кто знал что-либо, оставил в покое и делал вид, как будто нам о них ничего не известно. Я не считал целесообразным полностью опустошать эту территорию, иначе кто здесь станет работать».

Утро 2 октября 1941 года. Зал заседаний Чернинского дворца пестрит черно-коричнево-зелеными фашистскими

мундирами. Без десяти девять предложено занять места.

— Партайгеноссен, господа! По приказу фюрера я принял на себя три дня назад обязанности имперского протектора, так как министр Нейрат серьезно заболел.

Первая фраза и первая ложь.

Фон Нейрат не менее здоров, чем Гейдрих, хотя последний на тридцать лет моложе его. Причина, по которой Гитлер «не мог отклонить» его просьбу о «продлении отпуска в целях поправки его расшатанного здоровья», вовсе не вызвана советами врачей. Но об этом еще речь впереди. А сейчас слово имеет Гейдрих.

— Я рад приветствовать вас здесь, на этом боевом участке. Директивы фюрера, данные мне для выполнения той функции, которую я считаю ограниченной как во времени, так и в другом смысле...

После нескольких вводных слов, в которых оратор не преминул подчеркнуть, что явился сюда не только как протектор, он переходит прямо к делу:

— ...Короче говоря, директива фюрера гласит: «Надо со всей определенностью и решительностью довести до сознания чешского населения его подчиненность империи и необходимость покоряться ей...»

Теперь позвольте шире рассмотреть проблему в целом и связать с ней вопросы, касающиеся этой страны, так как мы не можем ограничить свой кругозор только границами протектората.

Сейчас под руководством фюрера мы заняли многие территории Европы. Это необходимо для победоносного окончания войны. Надо сказать со всей ясностью, что мы останемся на этих территориях навсегда. Не важно, в какой форме будет осуществлена их связь с рейхом. Гораздо важнее ответить на вопрос, как мы будем осваивать эти территории и управлять ими. И здесь многое зависит от того, как мы поведем себя с населением этих стран, сможем ли мы руководить ими и объединить их с нами. С этой точки зрения мы должны разделить население на две большие группы.

Одну группу составляют страны с германским населением, то есть страны, населенные людьми нашей крови, близкими нам по характеру. Эти люди испорчены дурным политическим руководством и влиянием еврейства. Поэтому нам надлежит вывести их на верный путь. Я имею в виду такие страны, как Норвегия, Голландия, Фландрия, а затем Дания и Швеция. Все эти земли населены германцами. Нам должно быть ясно, что как бы ни осуществлялась их связь с рейхом — путем конфедерации или автономии,— они будут принадлежать нам... С германцами следует держать себя твердо, но справедливо.

Если исключить Швецию, то это «видение» Гейдриха можно назвать почти пророческим. Его боннские наследники и последователи нашли путь к осуществлению этого плана под вывеской агрессивного военного блока НАТО.

— Другую группу составляют восточные земли. Они населены большей частью славянскими народами. Здесь наша доброта была бы понята как слабость. Славянин вовсе не стремится к тому, чтобы с ним обращались, как с существом равноправным. Он привык все терпеть от господина. По мере развития военных действий восточная территория будет расширяться в глубь России, вплоть до Урала. Там должна всем заправлять немецкая прослойка. Эти территории станут нашей сырьевой базой. Их население будет использовано нами в ходе решения великих культурных задач, а если называть вещи своими именами — работать на нас, как рабы.

Теперь, когда вы представляете себе всю картину в целом, вам должно быть ясно и то, что мы не можем допускать, чтобы чехи считали территории Чехии и Моравии своими... На протяжении истории Германии Чехия и Моравия были сердцем империи. В эпоху расцвета здесь была твердыня германизма, как говорил Бисмарк, «твердыня Европы». Нет сомнения в том, что эта территория имеет для Германии историческое значение. Не раз в германской истории, которой я хотел бы коснуться, удары в спину империи наносились именно здесь, были направлены отсюда.

Эта земля станет немецкой. Чехам тут не на что рассчитывать. А теперь, господа, еще несколько слов по поводу окончательного решения вопроса.

Окончательное решение! Окончательный приговор столпа исполнительской власти.

— Эта территория раз и навсегда должна быть заселена немцами. Для того, чтобы получить представление о том, кого из местного населения можно онемечить, мы должны провести перепись населения с точки зрения расовой принадлежности. Это означает, что нам необходимо найти способ установить под любыми предлогами расовую принадлежность каждого обитателя этой территории. Будет ли это достигнуто с помощью рентгена при осмотрах школьников или под видом освидетельствования молодежи для отправки на работу — неважно...

Нам необходимо иметь полное представление о составе населения. Только тогда можно будет сказать, что собой представляют эти люди.

Прежде всего следует обратить внимание на людей чистой расы с правильным образом мыслей. С ними будет все просто. Их мы можем онемечить.

Что же касается чехов, находящихся на противоположном полюсе, людей нечистой расы и дурного образа мыслей,

мы должны изгнать их отсюда. На востоке места достаточно.

Спустя несколько дней Гейдрих выразился еще яснее:

— Когда мы завоюем территории по берегам Ледовитого океана... мы сможем выслать туда тех чехов, которые непригодны для онемечивания.

Но пока он продолжает свои расчеты:

— Останется средний слой, который следует подвергнуть тщательному обследованию. К этому слою относятся люди правильного образа мыслей, но нечистой расы и люди чистой расы, но дурного образа мыслей. Представителей первой группы мы, видимо, отошлем на постоянную работу в рейх или еще куда-нибудь и позаботимся о том, чтобы они не имели детей... Что касается индивидуумов чистой расы, но с дурным образом мыслей, то они представляют собой наибольшую опасность, так как наделены качествами господ, свойственными чистой расе... Видимо, не останется ничего другого, как поставить часть из них к стенке.

Сообщение Гейдриха подходит к концу. И становится совершенно ясно, почему Гитлер послал сюда именно его.

— Я верю, что за то, видимо, короткое время, которое мне предстоит здесь пробыть, я заложу хотя бы основы для окончательного решения судьбы этой территории.

...Около семи часов вечера имперский протектор Гейдрих гасит лампу на своем рабочем столе в Граде. Он раздвигает плотные шторы и смотрит через окно на улицу. Уже зашло солнце и наступило время затемнения. Человек у окна стремится проникнуть туда, где не видно ни искорки света. Предчувствуют ли там люди, какая им уготована судьба?

На расстоянии ружейного выстрела от окна протектора Гейдриха на пустынной террасе Леденбургского парка во мраке стоит человек, о котором Гейдрих ничего не знает. Как дорого заплатил бы он за то, чтобы знать о нем все. А человек, который покинул стены конспиративной квартиры в Леденбургском дворце, чтобы подышать вечерним воздухом, знает о Гейдрихе. В этом одно из существенных различий между ними.

Человек в Граде — шеф стотысячного полицейского аппарата. Человек там внизу — один из руководителей стотысячной армии бойцов сопротивления. Он — одна из тех искорок, которые напрасно пытается отыскать во мраке затемненного города взгляд Гейдриха. Этот человек — непримиримый враг эсэсовского правителя. Но если бы у него в руках было ружье, он не выстрелил бы в окно Града, даже будучи абсолютно уверен, что попадет в цель, — и не потому, что у него не хватило бы отваги и решимости. Этот человек глубоко убежден: гейдрихи приходят и уходят. Даже самый гениальный полицейский генерал — ничто, если он не опирается на систему, на определенный режим. Фашизм — вот режим, который плодит гейдрихов. А эта система не рухнет от одного выстрела. Такой выстрел имел бы смысл в том случае, если бы он сопровождался боевыми действиями, которые подрывали бы изнутри фашистский режим. Человек там, внизу, вместе с сотнями тысяч других бойцов упорно и неустанно трудится для того, чтобы такой час наступил скорее, чтобы фашизм вместе со всеми своими гейдрихами был уничтожен.

Обергруппенфюрер СС, генерал полиции и имперский протектор Гейдрих погибнет, так и не победив.

Рабочий-обувщик Ян Зика, ведающий организационными вопросами во втором подпольном ЦК компартии Чехословакии, примет смерть как боец в результате событий, вызванных смертью Гейдриха.

Таких людей, которые, подобно светильнику, указывают путь во мраке оккупации, много. Один из них светится на вилле в Збраславе. Там крупнейший писатель Чехии пишет «Картины из истории чешского народа», чтобы вдохнуть в души людей веру в себя, надежду, гордость и силу. Это Владислав Ванчура. Произведение мастера останется недописанным.

Из маленького окна дома № 2 на Завозовой улице на Панкраце виден и теперь в сумраке силуэт затемненных Градчан. Учитель Горак — так значится сейчас в удостоверении личности Юлиуса Фучика — отошел от окна. У него черная борода, а на улице он носит очки в металлической оправе. Но сейчас они ему, как ни странно, не нужны. Он зажигает маленькую настольную лампочку и раскладывает на столе рукопись. Политическую статью под заглавием «Сплоченно, организованно, настойчиво — к победе!» надо закончить, ее тема очень актуальна. Статья должна вскоре выйти в подпольной коммунистической печати, которой руководит учитель Горак.

«...Наш бой не будет легким. Мы имеем дело с врагом еще сильным, опьяненным легкими успехами... Но все же ему уже нанесено множество ран, и они кровоточат... Наши братья на востоке сражаются на фронтах и в тылу нашего общего врага, английские солдаты блокируют врага на море и обрушиваются на него с воздуха. Югославы воюют в партизанских отрядах, мы боремся на железных дорогах, на заводах и в учреждениях, в городах и в деревнях, пользуясь тем оружием, которое в наших условиях является решающим», — пишет Юлиус Фучик (сейчас учитель Горак), товарищ Яна Зики по второму подпольному ЦК компартии Чехословакии.

«Что же это за оружие? Гитлеровские агенты будут стараться убеждать нас, что оно недейственно... что оно так же

незаметно, как комариный укус. А все же они смертельно боятся нашего оружия... Если каждый из миллиона чешских рабочих-оружейников выработает в день хотя бы на один винтик меньше, значит, военной машине Гитлера не хватит миллиона винтиков в день. Если каждый чех ежедневно там, где он сможет, будет вредить фашистскому зверю, то, даже если это будут только «комариные укусы», пребывание оккупантов на нашей земле превратится в ад».

Эти слова ярким светом озарили дорогу для тех, кто остановился в растерянности на распутье: многие люди рвались в бой с оккупантами, но не знали, как за это взяться.

Каждый, что может,— на алтарь отечества

По улицам Лондона стремительно мчится автомобиль. Хотя уже начало декабря 1941 года, но нет и следа знаменитых лондонских туманов. Погода прекрасная, и даже солнце не только светит, но и греет.

Машина свернула на Пиккадилли и остановилась у дома № 134. Шофер в узкой облегающей форме не спеша открывает дверцу и медленно выходит из машины. Между тем оба пассажира уже на улице. Золото не сверкает на их погонах, да и мундиры на них такие же, как и на шофере. На рукавах нашивки со словом «Чехословакия», на плечах тускло поблескивают две серебряные звездочки ротмистра. Что привело их в это здание на Пиккадилли, 134, где помещается чехословацкое министерство национальной обороны?

Ротмистров ждет адъютант самого полковника. Он даже открывает перед ними двери и с поклоном говорит: «Господин полковник уже ждет и просит пройти в его кабинет». Уж не переодетые ли это английские лорды, те двое?

Полковник облачен в отутюженный мундир с четырьмя огромными золотыми звездами и с блестящими петлицами офицера генерального штаба. Обычно он ходит в штатском — офицеру разведки это удобнее. На столике приготовлены сигары для приемов, сигареты.

Необычная встреча имеет и не совсем обычное начало. Оба ротмистра, едва перешагнув порог, сделали попытку доложить по-военному:

— Господин полковник, ротмистры Ян Кубиш и Йозеф Габчик прибыли!

Но полковник с улыбкой перебил их:

— Кто, кто?! Очевидно, Зденек Выскочил и Отто Стрнад, если не ошибаюсь?

Он сказал это с оттенком добродушной веселости, какая необходима, чтобы смягчить официальный характер встречи.

Габчик более живой и подвижный, чем его товарищ, сразу же уловил это.

— Простите, Зденек Выскочил, слесарь из Простейова, улица Дольни, номер тринадцать.

А Кубишу не осталось ничего, как добавить:

— Отто Стрнад, рабочий из Брно.

Полковник пригласил гостей к столику, и нам представляется возможность посмотреть вблизи на человека, который знаком весьма малому числу людей. Полковника генерального штаба Франтишека Моравца, начальника второго отдела, то есть военной разведки, даже генералы приветствуют первыми. С ним никто не решается ссориться. Полковник — невысокий коренастый мужчина с отчетливо намечающимся брюшком. Его темно-каштановые волосы поредели на темени и буйно растут лишь на висках. Глаза глядят спокойно, сосредоточенно, руки он держит большей частью на столе, только изредка позволяет себе сдержанный, корректный жест. Говорит полковник тихо, размеренно. В целом он производит неопределенное впечатление.

Впрочем, господин полковник охотно произносит речи и даже порой философствует. На самом видном месте в его кабинете напротив большой карты Европы висит портрет президента д-ра Эдварда Бенеша. На левой стороне полковничьего мундира — пестрые ленточки легионерских орденов. Когда-то этот человек изучал классическую филологию, но в годы мировой войны оказался на фронте, потом в чешских легионах, да так и остался в армии. С тех пор он горячий почитатель Масарика и его наследника и продолжателя Бенеша. Но прежде всего он солдат, высший штабной офицер, который по-воински понимает служение родине.

Второй отдел генерального штаба — разведка — это совсем особое дело: агентурная сеть, конспиративные встречи, разгадывание человеческих слабостей и их использование, подкупы, ловушки, тайные маневры. Неужели господину полковнику нравится эта служба — ведь ему крайне редко приходится сталкиваться с нормальными людьми, честными и веселыми? Нет, конечно нет.

— Кто-то же должен этим заниматься,— вздыхает господин полковник.— Каждый, что может, кладет на алтарь отечества.

Полковник беседует с двумя ротмистрами чехословацких заграничных войск, и речь тоже идет об отечестве. Сейчас декабрь 1941 года. Народ там, дома, страдает. На него обрушились насилие, грабежи, террор. Повинны в этом немецкие оккупанты, Гитлер и его пражский наместник, кровавый пес Гейдрих. Но наступило время, когда народ должен начать сопротивление, настал час мести...

Это звучит слишком напыщенно и па-

тетически, но в то время так думали и говорили многие. И оба наши ротмистра думают так же. Они верят словам полковника, согласны с тем, что пора перейти к активному сопротивлению, что надо ответить насилием на насилие... Что еще говорилось в служебном кабинете полковника Моравца на Пиккадилли, 134, этого никто пока не знает. Свидетелей разговора не было. Адъютант полковника в кабинете не присутствовал. Не осталось никаких письменных заметок, и полковник сам удостоверился в том, что его приказ выключить подслушивающие устройства выполнен.

Остались только письменные обязательства, подписанные по окончании беседы Яном Кубишем и Йозефом Габчиком. Каждый из них обязуется:

«...вместе с другими бойцами заграничной армии отправиться на родину, для того чтобы в назначенное время, в назначенном месте и при обстоятельствах, которые окажутся, согласно нашим данным, наиболее благоприятными, осуществить акцию саботажа или какую-нибудь иную, настолько действенную, чтобы она имела достаточный отклик на родине и за границей...»

Все ли было сказано во время этой встречи? Было сказано многое, и те двое все понимают и всему верят. Моравец знает, конечно, больше, чем он открыл, но все ли знает и он? И что, собственно, общего между ним и участниками этой встречи? Какие обстоятельства привели их в этот роскошный лондонский особняк? Как скрестились жизненные пути этих двух парней с жизненным путем полковника Моравца, образовав ту удивительную точку пересечения, которая повлияла на судьбы стольких людей?

В поисках ответа вернемся на несколько лет назад.

Однажды регистратура главного штаба вручила начальнику разведывательного отдела только что полученное письмо: «Уважаемый господин подполковник! Если Вас интересуют очень важные сведения из области античехословацкой деятельности немецкой разведывательной службы и приготовлений немецких вооруженных сил, направленных против Чехословакии, приезжайте 16/V в Вейпрт и между двумя и тремя часами прохаживайтесь перед вокзалом. Если Вы будете не один, я не смогу к вам подойти. Если за Вами будут следить или Вы примете меры, чтобы задержать меня, я не смогу к Вам обратиться. За мои сведения я рассчитываю получить приличный куш. Ворал.»

Начало смахивало на низкопробный детектив. Имя Ворал абсолютно ничего не говорило и фигурировало в письме, видимо, только для того, чтобы там была хоть какая-то подпись. На конверте стоял штамп Жатки, письмо было написано скорописью, по-немецки, черной тушью, на обычной почтовой бумаге.

Провокация? Ловушка? Попытка выяснить реакцию на подобные предложения? Но почему же так примитивно и откровенно?

Опытные зубры из разведки генерального штаба быстро пришли к заключению: речь идет либо о каком-то дилетанте-авантюристе из судетонемецких кругов, рассчитывающем на легкий заработок, либо о ловушке, которой должна заняться полиция.

Моравец, назначенный по окончании военной академии в генеральный штаб руководителем разведывательного отделения второго отдела, был еще новичком, наивным, зеленым юнцом. Трудно сказать, объяснялся ли его поступок просто дилетантством или был вызван стремлением натянуть нос опытным зубрам, во всяком случае Моравец сделал то, чего бы не сделал на его месте ни один сотрудник разведки: он пошел на свидание — и пошел один.

Продолжение еще более напоминает банальный детектив.

Он встретился с неизвестным человеком, этот человек без околичностей передал ему часть текста, который, как он подчеркнул, не имеет сам по себе большой ценности и может служить только образчиком.

— Дайте это на экспертизу, господин подполковник. Если вас материал заинтересует, приходите через две недели и получите его полностью. Только захватите с собой десять тысяч крон.

Моравец заколебался. Десять тысяч?

— Не захотите, так не дадите. Даст другой.

На том они разошлись.

Если до той поры опытные разведчики сохраняли величественное спокойствие, теперь они основательно всполошились. Экспертиза (специальное исследование материала с точки зрения ценности информации и надежности источников) установила, что речь идет о сведениях первостепенной важности, что их источник, по всей вероятности, античехословацкий центр разведывательной службы немецкой армии — абвер, или центр немецкого шпионажа.

Это уже не походило на дешевый детектив. Было принято решение: получить весь материал и дать десять тысяч.

Моравец и впредь поддерживал связь с человеком, который со временем стал одним из самых надежных и самых дорогостоящих агентов чехословацкой военной разведки. Иногда его донесения свидетельствовали о такой осведомленности и были стсль фантастичны, что походили на попытку дезинформации. Но спустя некоторое время даже самые невероятные сведения обычно подтверждались другими агентами и дипломатическими донесениями.

Кто этот человек? Его сведения, чрезвычайно ценные, выгодно продавались французскому и британскому генеральным штабам, использовались разведкой,

оперативными отделами, а часто и пропагандой. Сам же он оставался неизвестным. Кроме денег, он требовал еще, чтобы не пытались раскрыть его инкогнито, поскольку усилилась подозрительность немецкой контрразведки. Он боялся Гейдриха и его службы безопасности, так как знал, что у того есть свои люди в чехословацкой разведке, и не хотел выдавать себя.

Монополия на связь с этим ценнейшим агентом принадлежала Моравцу, который, между тем, поднялся по служебной лестнице на ступеньку выше и был уже не зеленым новичком, а весьма преуспевающим и высоко ценимым офицером. Благодаря ему чехословацкие военные и правительственные круги были своевременно и надежно информированы о планах Гитлера относительно судетонемецкого движения, о нацистском влиянии на Генлейна, о намерениях Гитлера и сроках их осуществления. Еще задолго до мюнхенского сговора было известно о его подготовке, о подготовке аншлюса Австрии и о происках гитлеровцев на Балканах.

Но кто же все-таки был этот человек, которому Моравец должен был быть благодарен за свои успехи, за свое продвижение, за высокую оценку своей деятельности, за рост своего влияния?

Только после неоднократных попыток, спустя много времени Моравцу удалось устроить так, что его сообщника сфотографировали. На снимке — два серьезных господина прогуливаются по парку небольшого городка в северочешском пограничье и беседуют друг с другом. Путем сравнения фотографии с фотографиями из картотек разведки удалось в конце концов установить, что собеседником полковника генерального штаба Франтишека Моравца во время этой невинной прогулки был, скорее всего, Пауль Тюммель.

Возможно ли?! Да, бесспорно так: Пауль Тюммель, резидент немецкой военной разведки в Чехословакии, Австрии, на Балканах, один из виднейших деятелей абвера, центра, руководимого адмиралом Канарисом. Его имени мы не найдем ни в одном из списков Моравца, ни в одном донесении или реляции, оно не фигурирует ни в одном из обзоров или докладов. О нем упоминается только в таком контексте: «Из обычно хорошо информированного источника нам стало известно...», или: «Из немецких кругов, которые всегда до сих пор заслуживали полного доверия...», или позднее: «Из превосходно информированного источника, надежность которого многократно проверена, мы получили сообщение...»

В таких и им подобных донесениях, проходивших через руки полковника Моравца, может заинтересовать многое. Но особенно в них бросается в глаза одна деталь: вырисовывается рельефная картина все возрастающей агрессивности фашистской Германии со многими убийственными и чрезвычайно характерными чертами и подробностями. Но почему же мы не защищались, если нам почти все было прекрасно известно заранее?

А что же те двое — Кубиш и Габчик? В то время они еще не знали друг друга, у каждого были свои заботы. Им обоим было по двадцать лет, первый оставил работу кочегара и вместе с отцом занялся крестьянским хозяйством в Дольных Вилемовицах у Тржебиче; второй работал на складе химических товаров в Жилине и каждый день ездил домой в Полувесь.

Все же и у них нашлось кое-что общее. В 1938 году вместе с тысячами других парней их возраста они были призваны в армию, надели сапоги, обмотали ноги портянками и поступили под команду взводного и поручика. Ребятам их возраста никогда особенно не хочется идти на военную службу, но тогда было другое дело. Это чувствовали все, и оба молодых парня совершенно искренне стремились вместе с тысячами других таких же ребят сражаться, защищать свою страну от агрессора. Им нисколько не хотелось умирать, но, если бы понадобилось, они были готовы и к этому.

Но вот оба, как и тысячи других, со стыдом и болью покинули в сентябрьские дни укрепления на чешско-немецкой границе, сдав их без боя гитлеровской армии. Они думали, как и тысячи им подобных: мы были обмануты, преданы! Многие плакали от ярости. Мы должны были сражаться.

Конечно, конечно, как говорит господин полковник: каждый, что может,— на алтарь отечества.

8 марта 1939 года (президент Бенеш в то время был частным лицом и читал в американских университетах лекции о демократии) полковник Моравец получил очень важные сведения. Он составил об этом письменное донесение, которое позволяет нам восстановить картину тех бурных дней и заглянуть за кулисы событий. Их никак нельзя причислить к славным страницам чехословацкой истории.

«Агентурным путем», «из превосходно информированного источника, исключающего возможность ошибки или преднамеренной провокации» (очевидно, речь идет о Пауле Тюммеле),— стало известно (это вскоре было подтверждено и другими информационными данными) о том, что гитлеровская Германия предполагает 15 марта положить конец уже основательно урезанной чехословацкой независимости и оккупировать нашу страну.

Моравец немедленно подал рапорт начальнику генерального штаба генералу Фиале.

Что же генерал Фиала? У него задрожали руки, он, заикаясь, пробормотал, что не может докладывать сам, и попросил Моравца, чтобы тот пошел с ним... Таким образом, мы попадаем на заседание кабинета министров, в общество государственных мужей, которым было доверено руководство страной. Сейчас они выслушают, какая судьба уготована этой стране. Выслушали... Но предоставим слово документу.

«Хвалковский сказал: «Господин полковник, я знаю, вы хороший разведчик и у вас самые лучшие намерения. Но на сей раз ваши агенты донесли вам полную бессмыслицу. Если бы должно было произойти то, о чем вы говорите, прежде всего об этом стало бы известно мне, как министру иностранных дел. Успокойтесь и приносите нам в будущем лучшие вести. А эти могли бы только вызвать панику и беспорядок».

Моравец обратился к обоим министрам-генералам — Элиашу и Сыровы, бывшим легионерам. Второй из них, одноглазый герой Зборова, считался чуть ли не Жижкой. Но ни один не поверил сообщению, а Сыровы заявил, что по сведениям о военных планах Германии, имеющимся у него, в настоящее время нельзя всерьез говорить об оккупации страны.

«Министр Гавелка, который не участвовал в дебатах, а только слушал, позвонил из другой комнаты доктору Черны, советнику посольства в Берлине, и спросил его при мне, что нового в Берлине, не заметно ли каких-нибудь признаков враждебного к нам отношения со стороны немецких правительственных кругов. Д-р Черны ответил, что в Берлине все спокойно, что немецкие чиновники относятся к нашим представителям очень любезно и что нет никаких признаков, свидетельствующих об ухудшении отношения немцев к Чехословацкой республике».

Этого было вполне достаточно, и господам из генерального штаба намекнули, что пора прощаться.

А в генеральном штабе?

Первый заместитель начальника штаба генерал Миклик пожелал побеседовать с Моравцем с глазу на глаз. Может быть, он хочет дать ему секретные указания, важные инструкции, хочет его толкнуть на какой-нибудь отважный шаг? О чем думает господин генерал в эти тревожные минуты?

Он затащил Моравца в темный угол коридора и там зашептал:

— Брат полковник, я прошу у тебя совета. У меня в банке шесть тысяч крон, как ты думаешь, оставить их там или взять, чтоб иметь деньги при себе?

И Моравец понял, что рассчитывать можно только на себя. Вскоре после неприятного разговора на заседании кабинета министров его навестил майор Гибсон офицер связи английской секретной службы. Безупречно одетый джентльмен, так же безупречно умевший всегда себя держать, делает безупречное предложение: он получил указания из Лондонского центра, в котором говорится, что английская секретная служба «весьма заинтересована в том, чтобы сохранить дееспособность чехословацкой разведки и после оккупации Чехословакии», и предлагает ему, Моравцу, «гостеприимство и все условия для дальнейшей работы против Германии».

Оба офицера быстро договорились. Никто из корректных партнеров ни словом не обмолвился о том, о чем оба они отлично знали. С этого момента Моравец, и раньше связанный с англичанами, был официально куплен и перешел на службу к ним.

Только ли Моравец?!

Переписка и секретный архив разведывательного управления чехословацкого генерального штаба будут разобраны, самое важное уложат в ящики, запечатают и отвезут на хранение в британское посольство.

14 марта на Рузыньском аэродроме приземлился английский самолет. Десять господ в штатском с большими чемоданами осмотрелись, минуту постояли. Запечатанные ящики погружены, господа садятся. Пропеллеры завертелись, один из господ выходит из самолета и нервозно поглядывает на маленькое здание аэропорта. Ничего. Он снова быстро поднимается по трапу, дверца захлопывается, самолет поднимается и берет курс на запад.

В самолете сидят майор Гибсон, полковник Моравец и еще десять человек. Там еще сидят — извините! — там еще лежат те самые ящики. Десять господ в штатском — это специально отобранные офицеры разведки, нужные для поддержания связи и для использования антигерманской сети чехословацкой разведки. Вернее, отныне британской секретной службы.

А что же те двое, Кубиш и Габчик? Они еще не знакомы, хотя их судьбы похожи на судьбы тысяч других парней их возраста. Все они пережили капитуляцию и оккупацию как личный позор. И, как многие, они решали, оставаться им здесь или нет. Нет, надо сражаться. Говорят, за границей формируется чехословацкая воинская часть.

И, подобно тысячам других парней, они бежали за границу. В сумке за спиной самые необходимые вещи и еда на пару дней, которую собрала мать. Побег этот нелегок — через несколько границ. У Остравы границу переходили тысячи людей. Переводила через границу молодая девушка в белом свитере. Каждый вечер она уходила в поле в обнимку с новым парнем, а потом возвращалась одна. Когда проходил патруль, она шептала: «Прижмись ко мне, целуй меня! Когда они пройдут мимо, иди вперед, до конца

кукурузного поля, потом направо, по направлению к одноэтажному домику. Поцелуй меня еще. От домика дорога ведет через ложбину, а там — все. Иди, иди, счастливого пути». Скольких мужчин перецеловала она таким образом, прежде чем перевела их через границу. Потом ее схватила полиция. Говорят, над ней надругался целый караульный взвод, прежде чем ей — живой ли, мертвой? — пустили пулю в висок.

Но Кубиш и Габчик к тому времени уже находились, как и тысячи других, в эмигрантском центре. Они хотели сражаться.

...Вы правы, господин полковник: каждый, что может,— на алтарь отечества.

Письмо это доктор Эдвард Бенеш получил в США, куда он скрылся после своего ухода с поста президента. «Денежки в карман, уложил чемодан и — за океан»,— так комментировала народная поговорка трагический крах внешней политики Бенеша, который в течение многих лет упорно добивался союза с западными державами. Англия и Франция согласились на то, чтобы пограничные районы Чехословакии отошли к гитлеровской Германии.

Провалилась политика, провалился и ее вдохновитель и защитник. Ему пришлось уехать. «Денежки в карман, уложил чемодан...»

«Доктору Эдварду Бенешу, президенту Чехословацкой республики»,— гласил адрес на конверте письма, прибывшего в США. Но ведь президентом был Эмиль Гаха. Бенеш сам послал ему поздравление по поводу его вступления на пост президента. Как потом сожалел он об этом театральном и неискреннем жесте! Ведь этот жест истолковали как признание Бенешем Гахи и самоустранение. Хотя Бенеш пользовался титулом «президент», но перед ним он обязательно приписывал слово «бывший».

Это письмо не сохранилось ни в архиве президентской канцелярии, ни в архиве генерального штаба. Мы приводим его содержание по рассказам лиц из ближайшего окружения Моравца, так как это письмо послал из Лондона в Америку полковник.

«Уважаемый господин президент»,— так, конечно, начиналось письмо, ибо Моравец прежде всего заверил Бенеша, что президентом республики и единственным подлинным представителем нации он считает именно его. Бенешу это, конечно, чрезвычайно польстило, так как тогда, в начале войны, он отнюдь не был общепризнанным главой буржуазной эмиграции. Его политическое и личное банкротство было еще слишком памятно и вызывало неприязнь и критику даже справа. В Париже образовалась сильная группа аграрной партии во главе с Осуским и Годжей. Бенеш безуспешно оспаривал право занять ведущее положение.

Итак, начало письма было приятным, но несравненно большее значение и больший интерес представляло для Бенеша его продолжение. Моравец сообщал, что, пользуясь гостеприимством соответствующих британских учреждений и получая от них полную материальную поддержку — а Бенеш прекрасно знал, что имеется в виду под гостеприимством и полной материальной поддержкой,— он сохранил тесную связь с родиной. У него налажены контакты с офицерскими кругами и с некоторыми влиятельными политическими деятелями, которые служат источником получения важной информации, высоко ценимой британской стороной. Он, Моравец, полагает, что эти связи могли бы быть весьма полезны господину президенту, как ведущему политическому руководителю, и считает своим патриотическим долгом предоставить их в его полное распоряжение...

Бенеш прекрасно знал, кто такой Моравец, знал также, что полковник связан с британской секретной службой, чьи интересы угадывались и за этим предложением, а потому бывший президент сразу принял его.

Именно к этому-то и стремился Бенеш. Тайные связи Моравца вели через Амстердам и через Стамбул в Прагу. Полковник располагал радиопередатчиками, имел шифровальщиков и квалифицированный персонал. Используя антинемецкую шпионскую сеть и агентов, он был прекрасно обо всем информирован, знал больше, чем многие политики. Он и из Лондона поддерживал связь со своим лучшим агентом Тюммелем, одним из самых дорогих для него (и для казны) людей. Тюммель, между тем, стал начальником отделения военной разведки Канариса в Праге. Он, например, выяснил и послал Моравцу в Лондон донесение о подробностях готовившейся в 1940 году высадки гитлеровских войск в Англии. Англичане, получившие такие же сведения и из других источников, приняли энергичные оборонительные и другие ответные меры, которые стали известны в Берлине. Служба безопасности Гейдриха и контрразведка Канариса лихорадочно искали пути, по которым шли шпионские сведения. Но тем не менее Тюммеля им удалось разоблачить и обезвредить только в начале 1942 года, хотя и до этого на него не раз падали подозрения. В конце концов за ним была установлена строгая слежка.

Можно себе представить, как сумел Бенеш, который вообще был мастером салонной политики, использовать информацию, предоставленную ему Моравцем. Как эффектно он вставлял в беседе с

английским министром иностранных дел несколько слов, свидетельствовавших о его, Бенеша, осведомленности. Как он пускал в ходе непринужденной беседы в кругу влиятельных английских лордов один-другой пробные шары, чтобы произвести впечатление человека, блестяще ориентирующегося в политической обстановке. Так он укреплял свою пошатнувшуюся репутацию «признанного руководителя нации».

Однако монополия на связи была в руках Моравца. И позже, когда в Лондоне образовалось министерство национальной обороны эмигрантского правительства, а Моравец снова стал начальником разведывательного отдела, он сохранил эту монополию. В его руках сосредоточивались все нити и связи, через него проходили все депеши, телеграммы, донесения, радиограммы. Он мог кое-что утаить, кое-что подправить. И все деятели лондонской буржуазной эмиграции, стремившиеся получить вести с родины в бóльшем объеме, чем публиковалось в газетах, вынуждены были заискивать перед тем же Моравцем. А Моравец разрешал пользоваться этими преимуществами прежде всего Бенешу и его приближенным. Это обстоятельство сыграло далеко не последнюю роль в ходе борьбы буржуазных группировок за ведущее положение в западной эмиграции и способствовало тому, что в этой борьбе явственно одерживал победу Бенеш. В конце концов ему удалось объединить почти все течения и группы под своим руководством и добиться того, что все они волей-неволей признали его.

Все начинается с того письма, которое Бенеш получил еще в Америке, когда числился не более чем «бывшим президентом», частным лицом, политическим деятелем на покое.

Было ли это проявлением бескорыстного благородства со стороны Моравца? Кто хочет, пусть верит этому. Может, и Моравец сам охотно бы в это поверил. Но в минуты трезвых, хладнокровных размышлений ему не могло не быть ясно, что он лишь продолжение «чужой руки» — британской секретной службы, и служит он прежде всего ее интересам. Для деятельности британской секретной службы вообще характерен метод «чужой руки», выработанный на основе долголетнего опыта управления обширной колониальной империей. «Интеллидженс сервис» непосредственно действовала против нацистской Германии очень мало, она просто не была подготовлена к этому. Тем энергичнее она старалась использовать в своих интересах силы движения сопротивления в Норвегии и Голландии, в Польше и Бельгии, в Дании и Чехословакии. Ориентация на Бенеша также была следствием британских попыток как можно эффективнее использовать чешские организации сопротивления, стремившиеся вести борьбу с фашизмом. Англичане проникали в эти организации, влияли на них, подчиняли их своим интересам и целям. Моравец был для англичан вполне подходящим исполнителем. А политическим щитом, лозунгом, знаменем, которым удобнее всего было прикрываться, стал Бенеш. За ним шло большинство чешских буржуазных политиков, ему было предано офицерство на родине, да и многие честные чешские патриоты из другого политического лагеря также верили своему президенту. Поэтому действовать от его имени было чрезвычайно удобно.

(Окончание следует)

ИВОННА ГАСАН

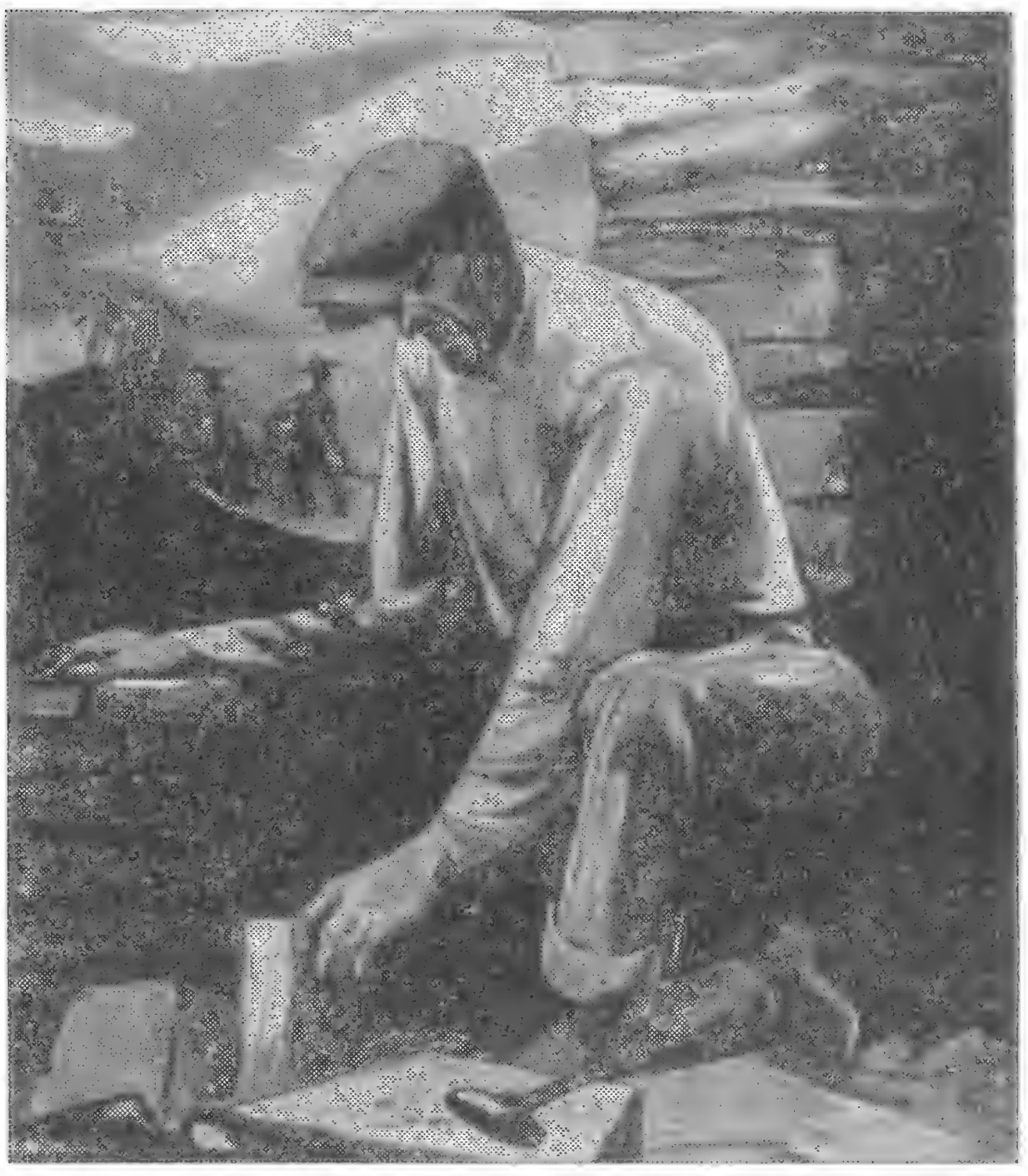
АНТОН РЕФРЕЖЬЕ — ХУДОЖНИК АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Весной 1952 года конгрессмен Х. Зенддер внес на обсуждение палаты представителей США резолюцию о немедленном снятии стенописи, украшающей новый флигель почтамта в Сан-Франциско. Главным аргументом послужило то, что фрески якобы «непривлекательны с точки зрения художественной, неточны исторически и освещают в искаженном виде образы предков и историю великого штата Калифорния». Из-за техники исполнения (настенная живопись темперой) требуемое Зенддером «снятие» было равносильно уничтожению.

Обсуждение этого вопроса вызвало по всей стране энергичные протесты и выступления в защиту стенописи, о которой виднейшие представители интеллигенции США отзывались как о «сокровище, занимающем почетное место в американском искусстве». Трудящиеся Сан-Франциско заявили через свои организации, что фрески принадлежат не правительству, каким бы оно ни было — «демократическим» или «республиканским»,— а американскому народу.

Фрески, снятие которых обсуждалось в палате представителей, были созданы Антоном Рефрежье, американским художником, занявшим в 1941 году первое место на конкурсе на лучшую стенопись для почтамта, где участвовало 84 художника.

Рефрежье дебютировал в искусстве в 1928—1929 гг. Он отличается от многих западных художников тем, что не разделяет их цинизма и чувства безысходности — понятий, столь милых буржуазным заправилам от искусства. Не признает Рефрежье и «чистое искусство». После долгих лет обучения в художественных школах на родине, в Род-Айленде, а также в Париже, Мюнхене, закаленный жизнью, Рефрежье примыкает к прогрессивным кругам последователей подлинно демократических традиций Америки. В своей первой значительной работе художник заявляет о своем мировоззрении. Это выступление на стороне рабочего класса. Рефрежье иллюстрировал тогда памфлет, разоблачающий подоплеку дела Тома Муни в момент, когда шла кампания за освобождение из тюрьмы



Каменная кладка

Рисунки к сборнику «Песни о мире»

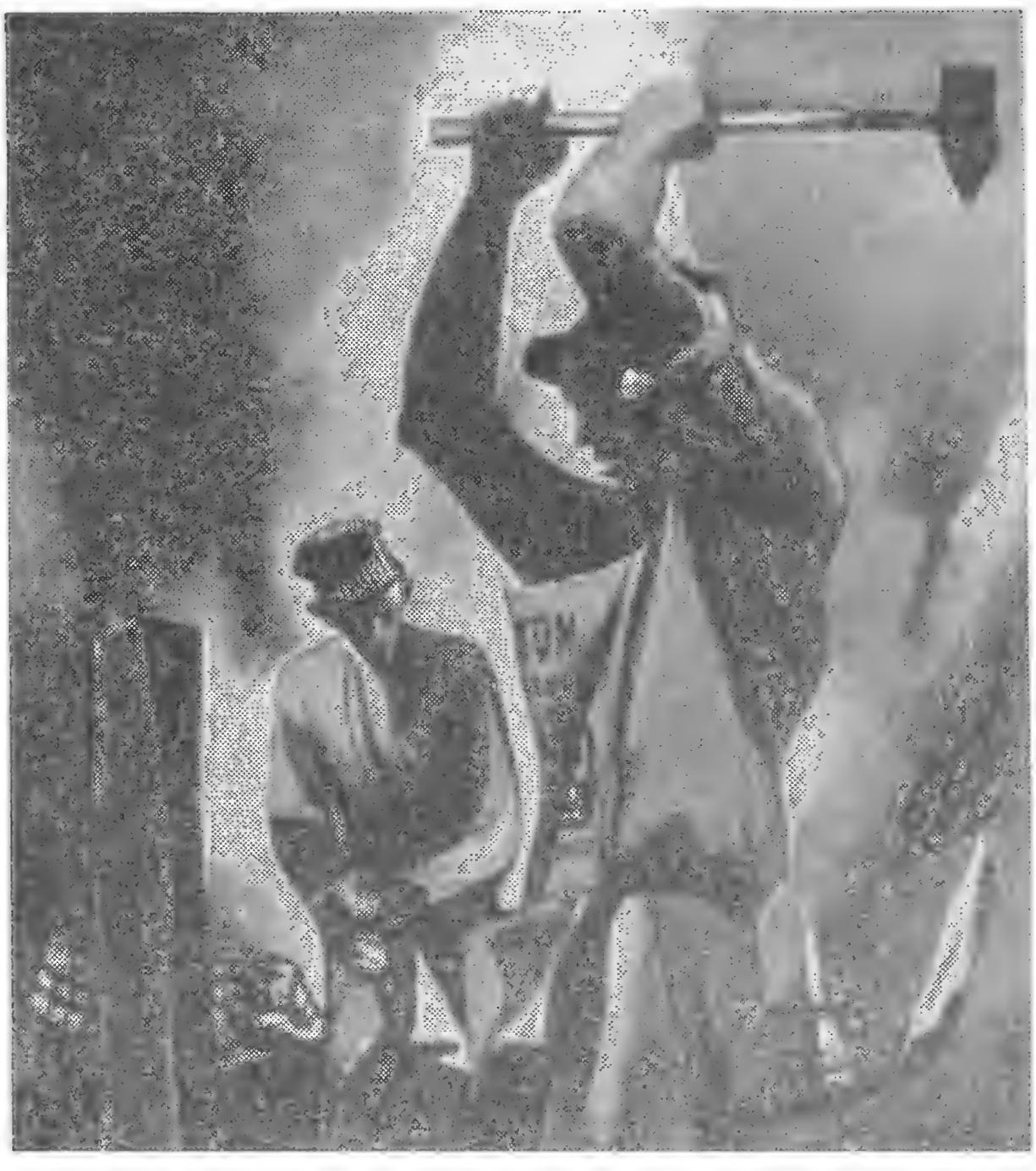
этого активного борца за дело рабочего класса.

В тридцатые годы Рефрежье увлекается монументальной живописью и выполняет многие орнаментальные росписи для гостиниц, киностудий, школ, ресторанов, различных учреждений. Всемирную известность его работы приобретают в 1939 году. В шестнадцати панно высотой около десяти метров в вестибюле американского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке раскрыта излюбленная художником тема — творческий труд человека. Рефрежье в них неизменно занимает вопрос органической связи архитектуры с декоративностью, практическим назначением зданий. В зале ожидания больницы Майо в Рочестере он пишет фреску, тема и светлая тональность которой создают радостное настроение. В центре панно изображен ваятель, высекающий статую Линкольна; расположенные кругом эпизоды посвящены вкладу различных народов в сокровищницу культуры — тут и пещерные рисунки, и

Письмо

Рисунки к сборнику «Песни о мире»

египетские портреты, и живопись индейцев. А рядом — фрагмент знаменитой «Герники» Пикассо. Свою богатую фантазию Рефрежье обнаруживает и тогда, когда украшает здания, предназначенные для широкой публики. В деревянную обшивку обеденного зала в ресторане он вставляет кухонные принадлежности — дверцы плиты, старинную посуду. Стены и потолки кафе украшает изображениями шаловливых чертиков. Он находит новые, наиболее лаконичные решения, нередко используя для отделки зданий детали заводского изготовления. В лекции, прочитанной в 1957 году в Нью-Йорке, Рефрежье подчеркнул, что художнику-декоратору свойственна и веселость и суровость, но они должны быть соразмерны в его творчестве. Прежде всего художник должен остаться верен «темам, имеющим большое значение для человечества». Этим объясняется увлечение Рефрежье историческими фресками, воскрешающими эпизоды прошлого или отображающими современность.



Строят ограду

Рисунок к сборнику «Песни о мире»

Рисунок к сборнику «Песни о мире»

цев, захват Калифорнии конкистадорами, их выход к Тихому океану, возникновение католических миссий, прибытие кораблей с иммигрантами, в душе которых борются надежда и страх. Перед зрителем развертываются, как на киноленте, потрясающие картины колонизации Запада, «золотой лихорадки», обстановки в редакции первых газет. Предельно правдивы образы первооткрывателей. Здесь художник сочетает эмоциональность с трезвостью суждений. Он видит рядом со свободолюбием и храбростью жестокость и жажду обогащения,— словом, всю правду «завоевания дикого Запада». Он рассказывает о строительстве железных дорог, не обходит молчанием и великое бедствие — землетрясение 1906 года.

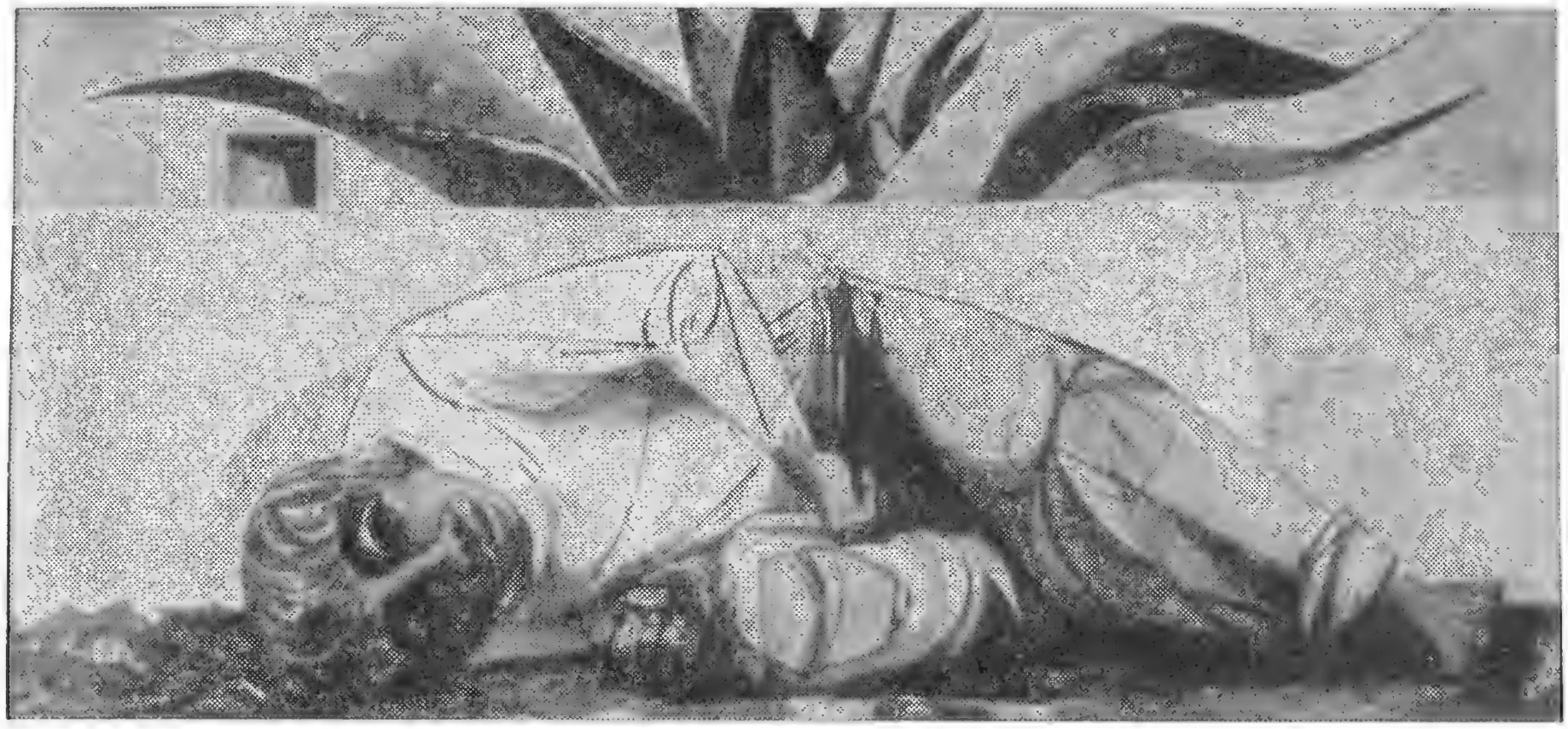
Другое панно повествует о культурной жизни Сан-Франциско. Центральное место отведено здесь Джеку Лондону. Чувства и убеждения героев Лондона очень близки и Рефрежье.

Воззрения художника нашли свое яркое воплощение во фресках почтамта в Сан-Франциско, вызвавших нападки американской реакции. Двадцать девять панно воссоздают жизнь тузем-

Гражданственность художника, осознающего историческую роль рабочего класса, обретает особый пафос в панно, рисующих эпизоды классовой борьбы последних

десятилетий. Таковы картины, посвященные выступлениям рабочего класса в защиту Тома Муни и его сподвижника Уоррена Биллингса, эпизоды борьбы за восьмичасовой рабочий день и

Накормим голодных!



Мальчик у стены

всеобщей забастовки 1934 года.

Весь цикл завершают две сцены из истории последней войны: первая показывает трудовой энтузиазм рабочих верфи, белых и черных, вторая — триптих, символически изображающий четыре демократических права, записанных в конституции США.

Задуманная Рефрежье история Калифорнии — это, по существу, история всей Америки. Для ее создания художник нашел свою манеру, свои выразительные средст-

Женщина стучится в дверь

Все пригодится

Ему принадлежит будущее

ва, обобщенные и в то же время конкретные образы. Так, в финальной композиции символическое изображение четырех прав, записанных в конституции, сочетается с конкретностью эпизодов из истории Соединенных Штатов. В композицию о землетрясении вкраплены «жанровые» детали. В сущности, эти детали служат для передачи чередования во времени событийного материала. Кадр сжат до предела, он насыщен людьми, события зафиксированы с помощью нескольких умело выбранных элементов действия.

Рефрежье прибегает к самым разнообразным композиционным решениям. В панно «Конкистадоры выходят к Тихому океану» жесты рук, расположение персонажей на нескольких уровнях словно воссоздают ритмику движения океанских волн.

Глубина содержания и всегда индивидуальное композиционное решение привлекают интерес зрителя, заставляют его задуматься над увиденным.

Наконец фрески для почтамта были закончены. Художнику потребовалось на это два с половиной года. И тут, как сказал Рефрежье, «вырвались на простор все силы ада». Американская реакция пустила в ход все свои связи в конгрессе и печати, чтобы вызвать осуждение работы художника.

Еще вначале Рефрежье заставили исключить из последнего панно фигуру Франклина Рузвельта и стереть имя Тома Пейна.

Ограниченные и безграмотные буржуа возмущались изображением своих предков на фресках, несмотря на то что художник достоверно воспроизвел их образы по старым фотографиям и гравюрам. Филистеры очень хотели видеть основателей американской нации такими, как их показывает Голливуд — фатоватыми и процветающими обывателями. Смущал их и благополучный вид розовощеких миссионеров (Рефрежье был вынужден впоследствии расстаться с этим сатирическим

Сушка веревок

Сейчас пойдет снег

штрихом). Но главная причина ярости реакционеров заключалась в том, что Рефрежье не постеснялся ввести в свои фрески отрицательные аспекты американского образа жизни: суд Линча, погромы, расправы с рабочими. Реакционные конгрессмены удивлялись тому, что художник предпочел эти сцены «садизма» изображению традиционных стад тучных коров, виноградных лоз, отягощенных кистями, и (почему бы и нет) святых покровителей города...

За Рефрежье вступились тогда многие организации Сан-Франциско, прогрессивные деятели, рабочие, художники. Они пикетировали здание, где работал художник, выступали с публичными протестами, и спустя три месяца Рефрежье смог возобновить работу над фреской. Правда, он был вынужден внести некоторые изменения, пойти на мелкие уступки.

Злоключения фрески на этом не кончились. Начиная с 1949 года реакционная печать усиленно призывает к ее уничтожению, требует предать фреску суду Линча. Не бездействуют и представители реакции в конгрессе США. Небезынтересно, что и Никсон в письме высокопоставленному чиновнику почт заверял его, что, как только произойдет смена администрации, власть примет новые меры, чтобы добиться уничтожения произведений, «столь не соответствующих американским идеалам и принципам».

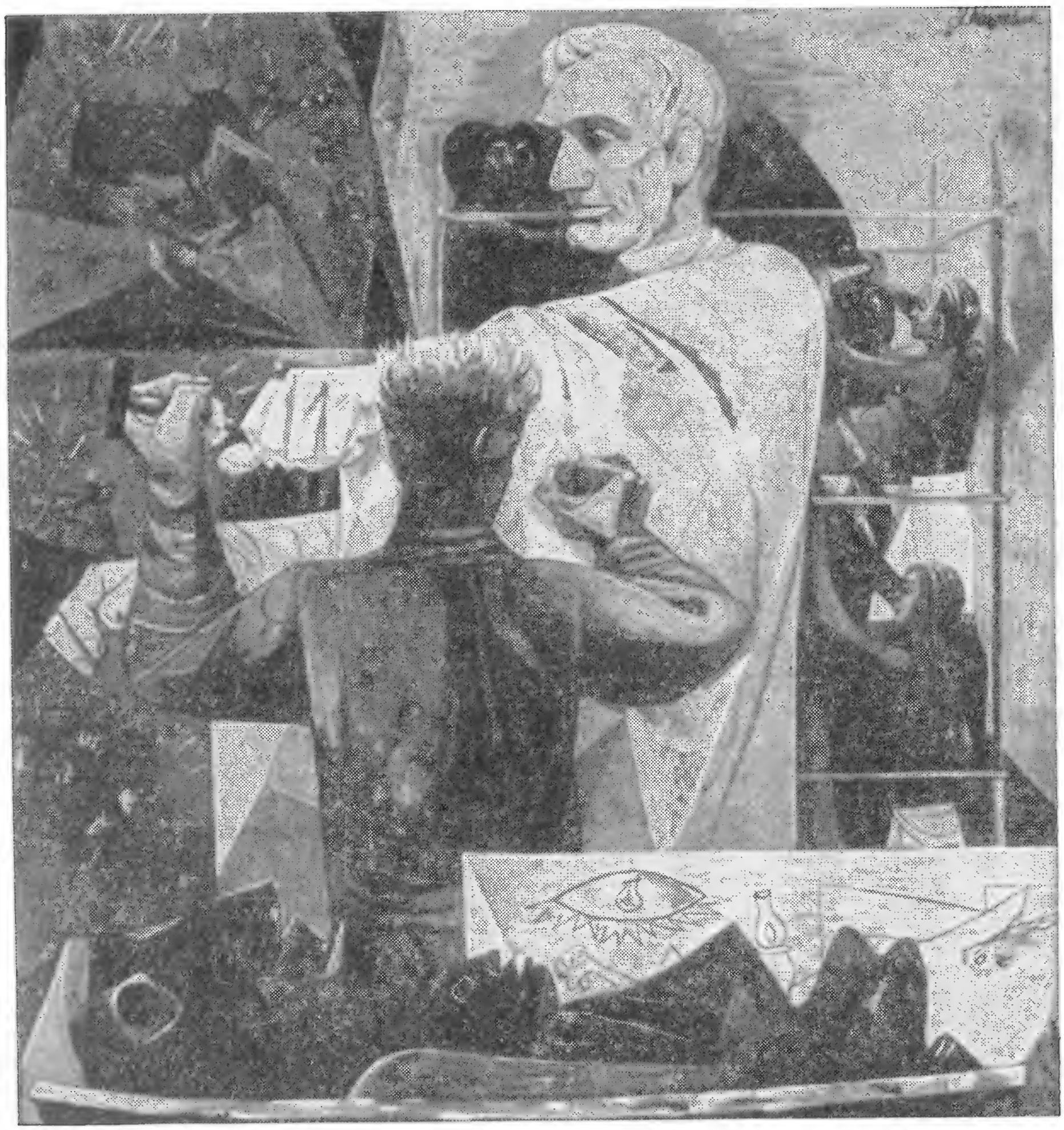
Наиболее опасный момент для фрески Рефрежье наступил в 1953 году, когда палата представителей начала упомянутое обсуждение резолюции Зенддера.

Но и в 1953 году, как и раньше, в 1949 году, на защиту творчества Рефрежье встали организации рабочих, художников, журналы, деятели культуры. Был создан специальный комитет защиты творчества Рефрежье. На имя конгресса поступали все новые резолюции и декларации, в которых говорилось о верности живописи Рефрежье жизненной правде,— о глубине художнического воплощения истории, о выразительной силе фресок. И снова в протестах подчеркивалось, что живопись Рефрежье, как правдивое и эмоциональное отображение его жизненного пути и стремления к миру и демократии, есть и остается достоянием народа Америки.

Кампания в защиту Рефрежье показала, что бдительность народных масс может воспрепятствовать разгулу сил империалистической реакции.

Творчество Рефрежье не ограничивается монументально-декоративной живописью. Удачны его графические работы, рисунки, появлявшиеся регулярно в прогрессивных изданиях. Много времени художник уделяет станковой живописи. На его персональной выставке в 1942 году выделялись темы, связанные с войной против фашизма. Особенно впечатляет картина «Победа»: группа людей с изможденными лицами, но сохранивших свое

Жена и сын художника с голубями



Линкольн. *Деталь фрески*

достоинство и решимость бороться, поднимает истерзанное знамя.

В 1955 году художник совершает путешествие по Мексике. В картинах, посвященных этой стране, Рефрежье не поддался соблазну писать «чистые пейзажи». Он воссоздал быт простых людей. Его рисунок приобрел новую силу, подчеркнутую обобщенность.

Два года спустя он возвращается из Гватемалы, запечатлев на своих холстах эпизоды борьбы этого народа за новую жизнь — борьбы, противостоявшей агрессии американских монополистов.

Тема созидания занимает центральное место и в его станковой живописи. Она выступает в образе материнства, в сценах работы и отдыха простых трудовых людей.

Что бы ни изображал Рефрежье — эпизоды ли беспокойной истории своей роди-

ны, лирические или жанровые сцены, — его творчество всегда человечно, проникнуто глубокой верой в человека труда. Все оно свидетельствует о том, что Рефрежье как художник формировался в процессе активного и непосредственного участия в жизни своего народа, в борьбе за решение важнейших проблем наших дней.

Художник-гражданин Антон Рефрежье — видный представитель прогрессивной интеллигенции США. Своим боевым творчеством он мобилизует общественное сознание на борьбу против темных сил реакции.

АНТОНИО ДОБРЫЙ

К 25-летию со дня смерти Антонио Мачадо

22 февраля 1939 года в рыбацком поселке Кольюр на юге Франции умер, не прожив и месяца в разлуке с родиной, великий поэт Испании Антонио Мачадо. Каждый год, прошедший с тех пор, приносит новые свидетельства растущей популярности его творчества — в Испании и за ее пределами. Десятки книг и статей написаны об этом человеке, но, быть может, точнее всех исследователей сказал о нем писатель Камило Хосе Села, назвавший Антонио Мачадо «самым испанским из всех наших поэтов» и еще — «Антонио Добрым». Antonio el Bueno.

Надо ли говорить, что добрый человек — это человек, бросающий вызов злу, вступающийся за обиженных и угнетенных? Перед смертью благородный Дон-Кихот Ламанчский, освободившись от своих заблуждений, но не отказавшись от своих идеалов, становится Алонсо Добрым.

Родившийся в 1875 году, Антонио Мачадо вошел в литературу вместе с так называемым «поколением 1898 года», которое наименовало себя «поколением катастрофы». Потеряв в испано-американской войне Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппинские острова, держава, правившая когда-то судьбами мира, была низведена до уровня второстепенного государства. С невиданной ясностью обнаружилось все, что до поры скрывалось за ее пышным фасадом,— крайняя отсталость страны, нищета населения, задыхавшегося под гнетом монархии.

Антонио Мачадо вырос в семье, где превыше всего ценили народное творчество: отец его и дядя были известными собирателями испанского фольклора. Образование он получил в самом передовом по тем временам учебном заведении Испании — «Свободном институте просвещения», рано изведал бедность, смолоду должен был зарабатывать на жизнь уроками, переводами, статьями. С первых шагов своего творческого пути Мачадо потянулся к народу, в жизни которого, как он сразу почувствовал, только и можно найти истинную человечность, справедливость, поэзию.

Тридцати двух лет Мачадо оставляет Мадрид и поселяется в провинции. Отныне жизнь его и творчество надолго будут связаны с маленькими городками Кастилии и Андалузии, с окружающими эти городки полями, на которых живет и трудится сельский люд. Поэзия его навсегда сохранит образ этой до боли в сердце родной земли:

...поля бедны, одиноки,
дорог и харчевен не сыщешь —
поля нищеты проклятой,
поля моей родины нищей!

(Перевод О. Савича)

В отличие от своего брата Мануэля, выпустившего сборник довольно искусных подделок под андалузские песни (Федерико Гарсиа Лорка сравнивал их с бумажными розами), Антонио Мачадо не желал довольствоваться поверхностным подражанием фольклорным образцам — он стремился понять душу народной поэзии, постигнуть ее законы. С течением времени лирика его приобретает гражданские черты: любовь к народу дополняется осознанной ненавистью к виновникам его страданий. В один ряд с проникновенными стихами о природе и о любви, с философскими раздумьями становится сатирическая отходная всему испанскому дворянству, которой Антонио Мачадо, пародируя старинную манеру, дал такое название: «Плач по добродетелям и строфы на смерть дона Гидо».

От цилиндра и до шпор
был ты подлинный сеньор
и дворянства соль;
но на лысый лоб высокий
вечность ставит знак жестокий:
круглый ноль.

(Перевод О. Савича)

«Поля Кастилии» — так называлась книга, опубликованная поэтом в 1912 году и выдвинувшая его имя в первый ряд испанской литературы. Центральное место в этой книге занимает поэма «Земля Альваргонсалеса», написанная в форме романса — старинного эпического жанра народной испанской поэзии. Но и здесь, рассказывая об алчности, зависти и злобе, разрушающих крестьянскую семью, Антонио Мачадо не подражает романсу, а, скорее, соперничает с ним. Древняя форма наполняется современным содержанием: поэт говорит о власти собственнических отношений, уродующих людей, и выносит этим отношениям неумолимый приговор.

Все более ненавистными становились Мачадо Испания феодальная и Испания буржуазная. Все более ясно вырисовывалась в его представлении та новая Испания, приход которой он возвещал в непотускневших и поныне стихах:

Неумолимая, простонародная,
разрывая рассветом сумерки грязные,
с топором, занесенным для возмездья,
грядет она,
Испания ярости, Испания разума.

(Перевод М. Самаева)

Вот почему с таким юношеским энтузиазмом приветствует Антонио Мачадо в 1931 году провозглашение Республики. Он переезжает в Мадрид, отдается литературной и общественной деятельности. Молодое поколение испанской поэзии — Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес и другие — называет его своим учителем.

Когда в 1936 году франкистские мятежники при поддержке международного фашизма развязали войну против Республики, Мачадо остался верен народу. Голос поэта был слышен по всей Испании, к нему прислушивались во всем мире. Он призывал к защите народных завоеваний, выражал уверенность в конечной победе, со словами братской любви обращался к советским людям, поддержавшим освободительную борьбу Испанской республики. «Испанец знает и должен знать,— говорил Антонио Мачадо, выступая в 1937 году на заседании 2-го Международного конгресса в защиту культуры,— что в Испании все великое является делом народа или сделано для народа... Я возьму на себя смелость утверждать, что в Испании аристократический предрассудок «писать только для лучших» может быть широко принят и даже может превратиться в литературную норму, но только с одной непременной оговоркой: все лучшее как раз находится в недрах народа. Писать для народа — это и значит писать для лучших».

Годы войны еще больше закалили поэта. Его воинствующая доброта научилась быть беспощадной к врагам. Как не вспомнить слова Владимира Маяковского, требовавшего, «чтоб к штыку приравняли перо», когда читаешь строки, которыми Антонио Мачадо окончил свое послание к прославленному начальнику республиканской армии на Эбро, коммунисту Энрике Листеру:

О, если враг перо мое сравнит
с твоею саблей, я умру довольный.

(Перевод О. Румера)

А когда народ потерпел поражение, Антонио Мачадо не захотел и не смог остаться в Испании. В дождливую ночь на 27 января 1939 года тяжелая железная цепь пограничной заставы опустилась за спиной поэта, навсегда отделив его от родной земли.

Брат поэта Хосе, бывший с ним в эти дни, рассказывает, что незадолго до смерти Антонио Мачадо захотел последний раз взглянуть на море. С трудом поднявшись, он добрел до берега и долго стоял там, всматриваясь в катящиеся навстречу валы. И кто знает, быть может, ему вспомнилось в эту минуту давно написанное им четверостишие:

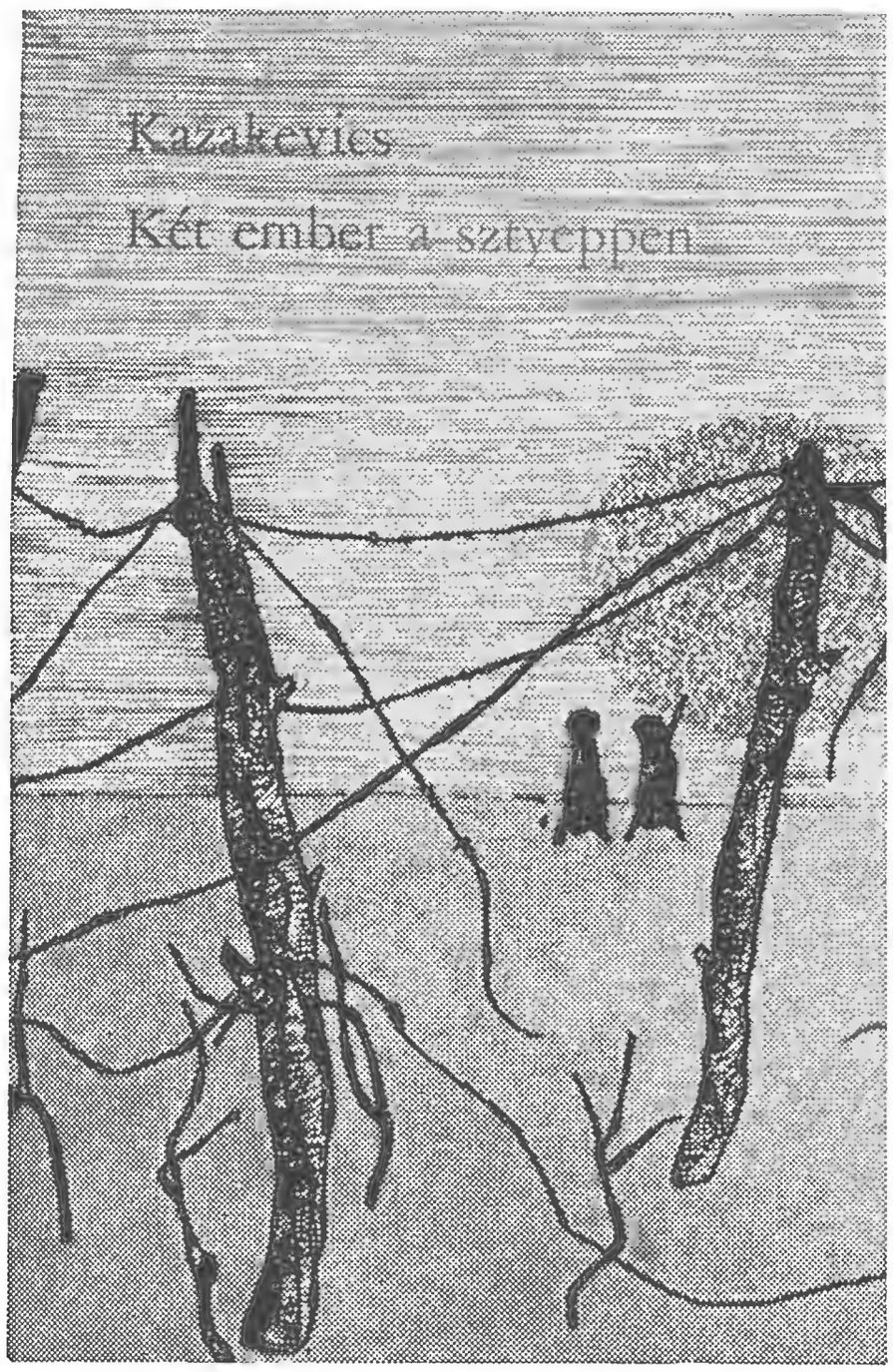
Все проходит, и все остается,
но наша судьба — пройти,
пройти, пути пролагая,
по морю пролагая пути.

(Перевод О. Савича)

Глагол «пройти» имеет, как известно, несколько значений: он может означать и «исчезнуть», «окончиться». Но для себя Антонио Мачадо, отбросив все иные значения, избрал одно: пробиться, прорваться, преодолеть. Всей своей жизнью он подтвердил этот выбор. Море было бурным, но он прошел по нему, прошел в сегодняшний день. И он остался — со своим народом, в памяти его, в сердце. По путям, им проложенным, идут лучшие поэты Испании.

Л. Осповат

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ



В венгерском издательстве «Эуропа» вышла отдельной книгой повесть Эммануила Казакевича «Двое в степи».

Роман Максима Горького «Мать» выпущен западногерманским издательством «Лист-ферлаг». В аннотации франкфуртского книготоргового бюллетеня роман охарактеризован как «захватывающий эпос».

Болгарское издательство «Народна култура» выпустило стихи Владимира Маяковского «Мое открытие Америки» в переводе Ивана Добрева.

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» вышел вторым изданием в чехословацком издательстве «Наше войско».

В книжном салоне издательства Эйнауди в Риме была устроена встреча писателей, издателей и читателей, посвященная выходу из печати книги К. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Книга впервые полностью переведена на итальянский язык. С докладами о «системе Станиславского» и значении творчества выдающегося режиссера, как сообщает газета «Паэзе сера», выступили театровед Джерардо Гуэррьэри и литературовед-переводчик Анджело-Мария Рипеллино.

В чехословацком издательстве «Свет Совету» вышел роман Константина Федина «Костер».

Издательство «Кирьяюхтюмя» в Хельсинки выпустило на финском языке повесть Константина Паустовского «Кара-Бугаз» под названием «Белое золото». Переводчик — Юхани Конкка.

Повесть Владимира Солоухина «Капля росы» вышла в издательстве «Ауфбау» (ГДР). «Поэтично, с юмором рассказывает Солоухин о жизни своей родной деревни,— пишет газета «Нейес Дейчланд».— Характерная черта этой прекрасной книги советского лирика — любовь к родине».

Стихи Расула Гамзатова цикла «Из болгарской тетради» опубликовал болгарский журнал «Септември» в переводах Цветана Стоянова и Благи Димитровой.

В финском издательстве «Канканкультуури» вышли две повести Чингиза Айтматова — «Джамиля» и «Тополек мой в красной косынке» под общим названием «Джамиля» в переводе Эса Адриана.

Стихи Георгия Леонидзе в переводе Леопольда Левина опубликованы польским еженедельником «Культура».

Повесть Валентина Катаева «Сын полка» вышла в чехословацком Государственном издательстве детской книги в переводе Ярослава Гуляка.

Два рассказа Николая Чуковского о Великой Отечественной войне «Двое» и «Последние дни» выпущены издательством «Культур унд фортшритт» (ГДР).

Повесть Александра Рекемчука «Молодо-зелено» вышла в чехословацком издательстве «Свет Совету».

«Театер дер юнген вельт» в Лейпциге поставил пьесу-сказку Евгения Шварца «Царь-водокрут».

В Польше выпущены «Фронтовые очерки» дагестанского писателя Эффенди Капиева. Рецензент газеты «Глос працы» называет книгу Капиева «исключительным явлением» в советской литературе о войне.

Книга Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», по сообщению бюллетеня «Свенск буксаидель», выпущена стокгольмским издательством «Тиден».

Софийский молодежный театр поставил пьесу М. Шатрова «Именем революции». Еженедельник «Народна култура», высоко оценивая постановку, пишет, что пьеса Шатрова призывает развивать и защищать достижения Великого Октября.

Повесть Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды» вышла в чехословацком издательстве «Смена».

Повесть Владимира Тендрякова «Короткое замыкание» в переводе на польский язык выпущена в Варшаве.

Отрывок из поэмы Андрея Вознесенского «Лонжюмо», посвященной партийной школе большевиков в окрестностях Парижа, опубликован болгарским еженедельником «Литературен фронт» в переводе Божидара Божилова.

Повесть Владимира Максимова «Жив человек» вышла в серии иллюстрированных романов в издательстве «Чехословенски списовател».

Рассказ Галины Николаевой «Гибель командарма» выпущен берлинским издательством «Культур унд фортшритт».

В серии «Малая русская библиотека», выпускаемой западногерманским издательством Эллерманн, вышла повесть Юрия Тынянова «Подпоручик Киже».

Роман Ивана Новикова «Пушкин в изгнании» вышел в переводе Крыстё Крыстева в болгарском издательстве «Народна култура».

Повесть Виктора Конецкого «Завтрашние заботы» выпущена венгерским издательством «Магвеге».

Берлинское издательство «Нейес лебен» выпустило повесть Бориса Бедного «Девчата».

Повесть М. Прилежаевой «Пушкинский вальс» вышла в издательстве «Мора» (Венгрия).

Большой цикл стихов Евгения Винокурова напечатан в болгарском журнале «Септември». В цикл вошли стихи: «Разнообразие», «Слепые поют», «Не люблю цирк», «Слово», «Поэт», переведенные Павлом Матевым и Прваном Стефановым.

Роман Веры Кетлинской «Иначе жить нельзя» выпущен в Болгарии.

Рассказы А. Солженицына «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор» вышли отдельным изданием в издательстве «Юниверсити оф Саут Кэролайна пресс» (США).

Повесть Татьяны Есениной «Женя — чудо XX века» в переводе Елены Николаевой-Руж выпустило болгарское издательство «Народна младеж».

В Вене издательством «Шёнбрун-ферлаг» выпущен сборник стихов Евгения Евтушенко в переводе Вальтера Фишера.

Повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики» вышла в издательстве «Нейес лебен» (ГДР).

АВСТРИЯ

ПРИЗЫВ К МИРУ

В венском издательстве «Ферлагсанштальт» вышел сборник новых стихов Гельмута Шарфа «Горная тропа».

Стихи Шарфа, пишет литературный обозреватель газеты «Фольксштимме», зовут к мирной жизни, направлены против жестокости и войны. Тема мира прозвучала в творчестве Шарфа еще в 1940—1945 гг. Его стихи — пример того, как поэзия может служить людям. Шарф слишком хорошо помнит страшное «вчера», чтобы успокоиться и не думать о грядущем «завтра». Его лирические стихи снова и снова призывают людей к созидательному труду.

Высоко оценивая лирику Гельмута Шарфа, литературный обозреватель «Фольксштимме» пишет, что она выражает лучшие чаяния людей на земле.

АНГЛИЯ

О ШЕКСПИРЕ

В 1964 году, как известно, исполняется четырехсотлетие со дня рождения величайшего английского драматурга Вильяма Шекспира. В связи с этой знаменательной датой вышли две новые книги: «В. Шекспир. Биография» А. Л. Роуза и «Шекспир: поэт и его эпоха» П. Куэннелла. На страницах еженедельника «Обзёрвер» директор Института Шекспира профессор английской литературы Теренси Спенсер высказывает свое мнение об этих новых исследованиях.

По мнению Спенсера, первая книга «заслуживает серьезного внимания, поскольку за биографию Шекспира впервые взялся крупный историк, автор шести книг об елизаветинских временах». Роуз блестяще воссоздает социальный фон жизни Англии времен Шекспира. Когда же он, однако, пытается заполнить «белые пятна» в биографии драматурга, ему, по словам рецензента, удается доказать лишь то, о чем и до него на протяжении последних пятидесяти лет «уже догадывались другие исследователи». Бездоказательно, например, утверждение автора книги, будто он смог установить точную дату и повод к написанию «Сна в летнюю ночь». Роуз не привел каких-либо новых фактов и не высказал новых гипотез.

Вторая биография, пишет Спенсер, не претендует на особую новизну, но она хорошо оформлена и «более современна в лучшем смысле этого слова».

ПИСЬМА ДИККЕНСА

В Новой Зеландии найдено 56 остававшихся до сих пор неизвестными писем Чарльза Диккенса. Эта находка — результат долгих поисков исследователей. Письма Диккенса обнаружены у частных коллекционеров и в различных библиотеках.

Профессор Оклендского университета доктор Рейд заявил по этому поводу: «Диккенс вел обширнейшую переписку. Ныне в Англии готовится к изданию корреспонденция писателя, включающая не менее 13400 писем (и это только часть!). Переписка Диккенса займет, очевидно, пятнадцать томов. В них войдут и письма, найденные в Новой Зеландии. Над подготовкой писем к печати работает специальная комиссия».

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА ОЛДОСА ХАКСЛИ

Как сообщает английская печать, в свет вышла книга недавно скончавшегося писателя Олдоса Хаксли — «Литература и наука». Она представляет собой памфлет, где автор вслед за Сноу говорит о существовании пропасти между современной литературой и наукой.

Большинство газет отмечают блеск и остроумие, с которыми написан памфлет, а также «богатство и разнообразие содержащихся в нем идей и большие научные и литературные познания писателя». Свои аргументы, по словам рецензента, автор «подкрепляет» именами Флобера, Хаусмана, Теннисона, Элиота, Гюго, Донна и Данте.

Однако похвалы рецензентов касаются в основном формы произведения, в целом же оценки содержания книги довольно сдержанные. «Обидно, что Хаксли почти ничего не прибавил к тому, что уже ранее высказал Сноу»,— пишет обозреватель еженедельника «Обзёрвер».

Пожалуй, причины общей неудовлетворенности прессы наиболее точно сформулированы рецензентом газеты «Дейли уоркер». Он считает, что у Хаксли ученые и писатели словно пребывают в безвоздушном пространстве и одинаково оторваны как от жизни, так и от общественной борьбы. «Через всю книгу красной нитью проходит презрение к массам,— говорится в рецензии.— К сожалению, это обычная позиция писателя, который со времени опубликования романа «Славный новый мир» на протяжении всего творчества был пророком пессимизма и неверия в возможности человека».

САТИРА И ВЫБОРЫ

Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си) заявила о прекращении с нового года передач еженедельного сатирического телевизионного обозрения «Такова была прошедшая неделя», пользовавшегося успехом у зрителей. В обозрении высмеивались архаические парламентские нравы, политическая чехарда в английском кабинете, прежний и нынешний премьер-министры, внешняя и внутренняя политика Англии и т. д. В одном из последних обозрений, например, ведущий программу Дэвид Фрост, загримированный под Дизраэли, прочел телезрителям сатирическую лекцию о политической карьере нынешнего премьер-министра.

Печать не скрывает того очевидного факта, что обозрение «Такова была прошедшая неделя» отменяется по мотивам политического порядка: ведь в наступившем году должны состояться парламентские выборы, и потому «трудно сбалансировать политическую направленность программ...»

Дэвид Фрост в одной из передач обозрения «Такова была прошедшая неделя».
(Газета «Дейли уоркер»)

Как сообщает газета «Дейли уоркер», тексты некоторых — наиболее удачных — передач «Такова была прошедшая неделя» вышли в издательстве Аллена.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДРАМАТУРГА

Английские еженедельники «Трибюн» и «Обзёрвер» сообщают о дебюте молодого драматурга Чарльза Вуда, чья первая постановка «Кокарда» с успехом идет на сцене лондонского театра «Нью артс». Название «Кокарда» объединяет три одноактные пьесы антимилитаристского содержания. Герой первой пьесы «Арестант и стража» — английский солдат Джапп, позволивший себе дерзкую выходку по отношению к бывшему гитлеровскому генералу, приехавшему в Англию «с визитом дружбы». Джаппа ждет военный трибунал.

Наиболее острой рецензенты считают пьесу «Джон Томас», не лишенную символики: действие пьесы происходит в заброшенном и грязном музее, где собрано множество восковых фигур, одетых в старые военные мундиры. В музей приходит отряд солдат, чтобы навести там порядок, стереть с экспонатов пыль. Неожиданно восковые фигуры оживают, перемешиваются с живыми. Завязываются схватки, в ходе которых все живые гибнут... Рецензент «Трибюн» Мервин Джонс пишет, что молодой драматург — прирожденный писатель, «прекрасно чувствующий сцену».

БОЛГАРИЯ

КНИГА О СИБИРИ

Сборник рассказов болгарского писателя Христо Траянова «Золотоискатели» — вторая книга молодого автора о Сибири, где он бывал уже неоднократно. Первый сборник очерков писателя «Сибирь — необъятный край будущего» вышел два года назад.

Траянова покорила необъятность земли сибирской, широкий размах происходящих там преобразований, романтика освоения этих богатейших мест и перспективы их развития.

Писатель рассказывает о партизанской борьбе сибиряков («Дочь Сибири»), о покорении природы человеком («Изгнание ледяного духа» и «Легенда об Ангаре»), о стойкости советского человека и его преданности родине («Золотоискатели»).

Предисловие к «Золотоискателям» написал Славчо Васев. «Книга Христо Траянова необыкновенно увлекательна,— говорится в предисловии.— На меня, человека, побывавшего в Сибири, рассказы эти производят сильное впечатление. Сборник Траянова — значительный творческий вклад в большую тему о Советском Союзе, о нашей дружбе с великой страной».

Тема созидательного труда близка молодым графикам Болгарии. Здесь мы воспроизводим работу Жанны Костурковой «Вечер», помещенную в болгарском журнале «Наша родина»

ВЕНГРИЯ

«ДИАЛОГ»

Вышел на экраны новый венгерский фильм «Диалог», рассказывающий о жизни народно-демократической Венгрии последних пятнадцати лет. В центре фильма супружеская пара — коммунист Ласло, участник Сопротивления, и его жена Юдит, бывшая узница нацистского лагеря смерти. На молодую чету обрушивается неожиданное горе: мужа арестовывают и без суда и следствия сажают в тюрьму. Идет 1950 год...

Однако Юдит не может безоговорочно поверить в обвинения против мужа. Ведь она хорошо знает Ласло, любит и верит в него. Фильм повествует о том, как сама жизнь помогает Ласло и Юдит выстоять, разобраться в своих истинных чувствах.

Венгерские критики единодушно отмечают, что фильм «Диалог» не замыкается в узколичных проблемах. Перед зрителем проходят первые трудные годы социалистического строительства, люди первенца народной Венгрии — города Дунайвароша, события октября 1956 года. «Фильм «Диалог» создан талантливыми и требовательными художниками,— писал критик газеты «Непсабадшаг».—Это фильм о нашей сегодняшней действительности».

Венгерская киноактриса Анита Шемьен, исполняющая роль Юдит в фильме «Диалог».

(Журнал «Филм-синхазмюжика»)

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ЛЮДВИГА РЕННА

Еженедельник «Зонntаг» опубликовал главы из нового романа Людвига Ренна «Инфляция», который продолжает линию его известного романа «Упадок дворянства». Время действия новой книги Ренна — 1923 год, период девальвации марки и консолидации монополий в Германии. Упрочение позиций германского капитала происходило за счет ухудшения положения рабочих и мелких собственников. Народные восстания прокатились тогда в Рейнской и Рурской областях, крупные волнения были в Гамбурге.

Основная фигура романа — капитан Вольф фон Бург, выходец из старого прусского дворянства. Крепкие узы связывали его со своим классом, но капитану претили темные дела, вершившиеся людьми «его круга». Порывая со своей средой, фон Бург еще не представлял себе ясно, каким путем он пойдет. Однако он уже начал понимать, что революционные силы рабочего класса способны обеспечить немецкому народу счастливое будущее.

Роман «Инфляция» недавно вышел отдельной книгой в издательстве «Ауфбау».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ

Внимание литературных обозревателей привлекли в последнее время несколько книг молодых немецких авторов. Среди них — новая повесть Герберта Нахбара «Вверху плывет Большая Медведица». Это романтическая поэма о любви учителя Кристиана и девушки Андреа. Застигнутые темнотой на церковной колокольне, с которой они не могут спуститься, молодой человек и девушка рассказывают друг другу о себе. Перед читателем проходит их жизнь и жизнь новой Германии. Над героями повествования плывет Большая Медведица, под ними светятся огни гавани одного из приморских городов... Обозреватели отмечают поэтичность повести Нахбара.

Роман Гюнтера Гёрлиха «Самое дорогое и умирающее» — книга о рабочей семье Вегенер из Берлина. История семьи Вегенер — история рабочего класса Германии, история его борьбы против фашизма. Сложными жизненными путями идут герои романа, охватывающего период с 1939 по 1945 г. «Это хорошая, талантливая книга, она займет видное место в нашей молодой литературе»,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».

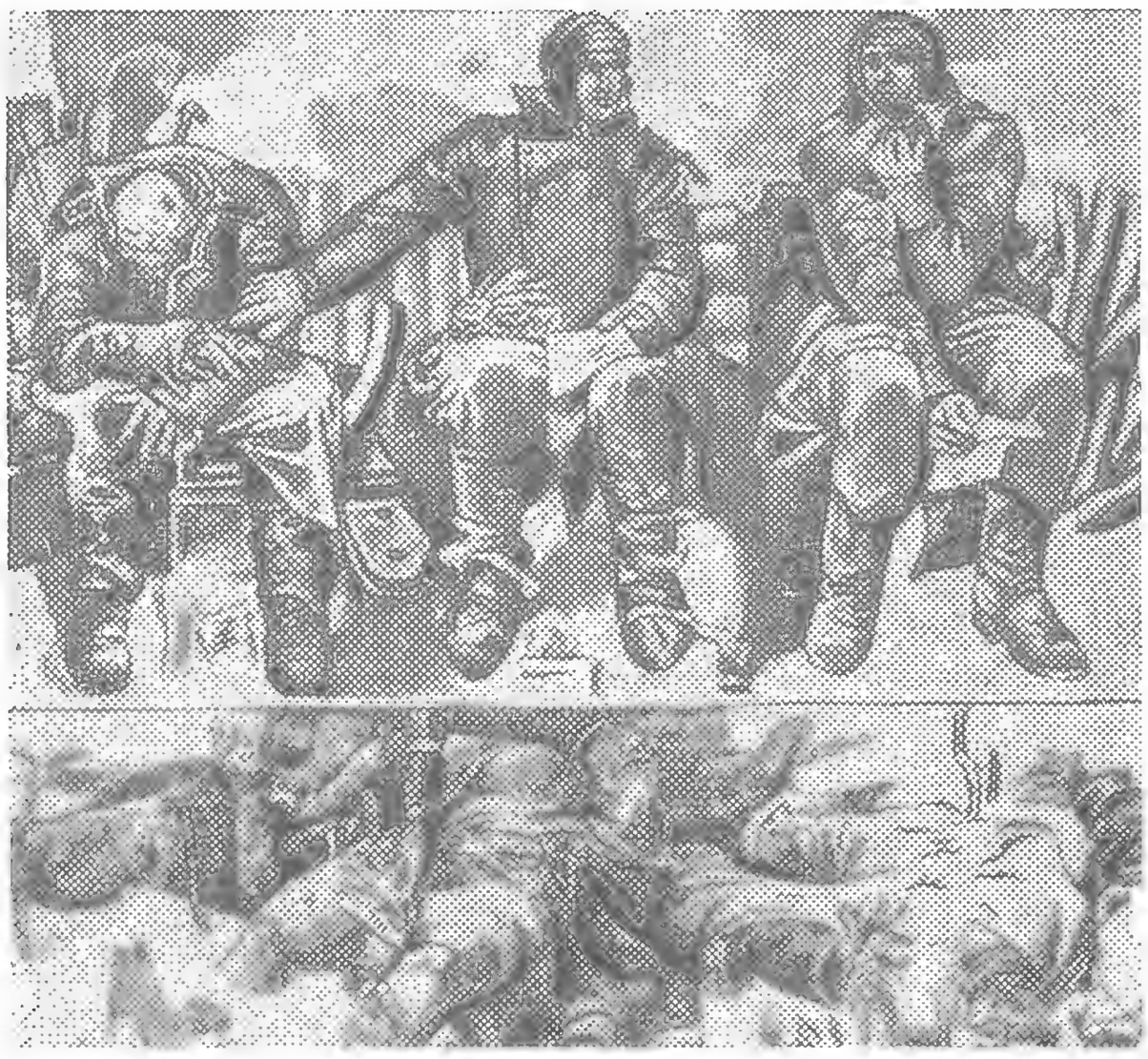
Гюнтеру и Иоганне Браун, авторам книги «Девушка со странностями», удалось, по свидетельству литературных обозревателей, создать интересные, живые образы наших современников. Героиня повествования Катрин — девушка, которая ненавидит лицемерие, ложь, громкие фразы, ненавидит все плохое, что еще осталось в жизни и в людях от прошлого.

Опубликован новый рассказ Франца Фюмана «Богемия у моря», о людях современной Германии. Обозреватель «Берлинер цейтунг» подчеркивает большое мастерство Фюмана-рассказчика.

ТРЕТИЙ ВЫПУСК «НОВЫХ ТЕКСТОВ»

Пресса ГДР сообщает о выходе в свет третьего выпуска литературного альманаха «Новые тексты». Как и первые два номера, очередной альманах содержит еще не опубликованные и готовящиеся к изданию произведения и работы видных немецких писателей и литературоведов.

Впервые здесь опубликованы главы из второй части романа покойного писателя Бодо Узе «Патриоты», прозаические произведения Альфреда Куреллы, Манфреда Билера и Зигфрида Пичмана, а также стихи Луиса Фюрнберга, Гейнца Калау и Вернера Краузе.



«Оставшиеся в живых» — таково название картины художника Вилли Зитте, посвященной трагическим для немецкого народа событиям второй мировой войны. На снимке: фрагменты картины Вилли Зитте.

(Еженедельник «Зоннтаг»)

Раздел «Разное» посвящен в этом выпуске памяти Фридриха Вольфа. Здесь же читатель найдет работы биографического характера о Лионе Фейхтвангере, Людвиге Ренне и Бруно Фрее.

В альманахе опубликовано исследование Эрнста Штейна «Ранняя лирика Иоганнеса Р. Бехера».

ФРГ

ПОЧЕМУ ВСКРЫВАЮТ ПОЧТУ БЁЛЯ?

Недавние разоблачения журналом «Штерн» негласной почтовой цензуры, практикуемой западногерманской полицией, подтверждены новыми фактами, сообщает еженедельник «Ди андере цейтунг». Среди лиц, корреспонденция которых подвергается досмотру, еженедельник называет Генриха Бёля и обращается к министру внутренних дел Гёхерлю с вопросом: кто дал вам право вскрывать почту писателя?

Острые, критические по своему характеру книги Бёля неоднократно подвергались нападкам.. Их автора даже причислили к так называемой «клике левых интеллектуалов». В 1962 году, возвратившись из поездки в Советский Союз, Бёль публично заявил, что нет лучшего средства для достижения взаимопонимания между людьми разных национальностей и идеологий, чем открытый обмен мнениями... А огромные тиражи его книг, изданных в социалистических странах? В одной только ГДР общий тираж произведений Бёля превысил сто тысяч экземпляров.

Таким образом, поводов для «подозрений» достаточно. «Следует принять во внимание, — подчеркивает еженедельник,— что поводы эти подыскивают бывшие гестаповские и эсэсовские «специалисты», наводнившие боннское ведомство по охране конституции».

БЮХНЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ ЭНЦЕНСБЕРГЕРУ

Дармштадтская академия языка и словесности присудила премию имени Георга Бюхнера за 1963 год западногерманскому поэту Гансу Магнусу Энценсбергеру.

Как сообщает еженедельник «Ди андере цейтунг», Энценсбергер — самый молодой из лауреатов этой премии, которой за последние десять лет были удостоены многие выдающиеся немецкие писатели и поэты, в том числе — Анна Зегерс, Эрих Кестнер, Вольфганг Кёппен и другие.

При вручении премии поэту, пишет газета «Вельт», президент Дармштадтской академии профессор Эппельсгеймер сказал, что лучшие стихи Энценсбергера давно обеспечили ему место в немецкой литературе.

В ответной речи поэт затронул некоторые политические вопросы, в частности, он сказал, что «фундамент берлинской стены был заложен еще 22 июня 1941 года...»

Это заявление Энценсбергера вызвало ожесточенные нападки рецензента газеты «Вельт».

НА ЗАПАДЕ... БЕЗ ПЕРЕМЕН

Характер ежедневных сатирических обозрений «Панорама» западногерманского телевидения с недавнего времени резко изменился. Название у них осталось старое, но теперь, как сообщили официальные органы Западной Германии, эти телевизионные передачи идут «под новым руководством». А это означает, что даже весьма скромная критика политики Бонна, стремление к благоразумию и объектив-

Подпись под этой карикатурой, опубликованной газетой «Вестдейче альгемейне», гласит: «Засим я прощаюсь с вами».

ности, которые можно было наблюдать в прежних передачах, теперь полностью исключены.

Всему этому предшествовали травля и замена одного за другим прогрессивных редакторов «Панорамы», пока, наконец, не были подобраны «подходящие деятели», стоящие на страже интересов боннской правящей верхушки.

Западногерманские органы печати откликнулись на это событие статьями, заметками, карикатурами, одну из которых мы здесь воспроизводим.

Актер Димитрис Хорн в инсценировке «Записок сумасшедшего».

(Газета «Авги»)

ГРЕЦИЯ

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Правительственный «Бюллетень иностранной пропаганды» опубликовал недавно очередной «черный список» книг и журналов, объявляемых «орудием иностранной пропаганды и потому угрожающих национальной безопасности». На этот раз в числе запрещенных оказались книги прогрессивных писателей — Андреаса Франгьяса, Темоса Корнароса, Тевкроса Антиаса, Янниса Рицоса, а также научные, студенческие и профсоюзные издания. В списке запрещенных значится журнал «Эпитеориси технис» («Обозрение искусства») и объявленный им конкурс на лучший рассказ о греческом Сопротивлении.

Местная печать откликнулась на этот «черный список» гневными протестами. Газеты напомнили, что в предыдущих номерах «Бюллетеня» «орудиями иностранной пропаганды» были провозглашены пьесы Псафаса и Брехта, романы Эренбурга и Циркаса, стихи Варналиса, Вреттакоса, Паламаса, Амаду, исследования Кордатоса и Музенидиса и даже... «Лисистрата» Аристофана!

ИНСЦЕНИРОВКА «ЗАПИСОК СУМАСШЕДШЕГО»

Труппа Димитриса Хорна осуществила в театре «Кентрикон» инсценировку повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Отмечая успех постановки, критик газеты «Авги» Статис Дизелос пишет, что «психологическая глубина произведения, а также яркая типовая характеристика, достигаемая средствами внутреннего монолога героя, представляют несомненный интерес для театра и заключают в себе большие сценические возможности».

Единственный актер, занятый в спектакле,— руководитель труппы Димитрис Хорн, известный советскому зрителю по фильмам «Фальшивая монета» и «Девушка в черном».

ДАНИЯ

«РАЙСКИЙ ДОМ»

Вышел из печати новый роман «Райский дом» известного датского писателя Ханса Люнгбю-Йепсена. По свидетельству газеты «Ланд ог фольк», эта книга — убедительное подтверждение жизнеспособности романа как литературного жанра.

Новая книга Ханса Люнгбю-Йепсена — реалистический психологический роман, рассказывающий о жизни двух поколений обитателей датской провинции.

...В тихом ютландском городке умирает старая женщина. На похороны приезжают ее дети: сыновья — циничный бизнесмен, холеный чиновник, модный художник, женатый на богатой светской даме, и, наконец, дочь — недоброе, расчетливое существо. Автор описывает жизненный путь покойной матери семейства, из пролетарской копенгагенской среды попавшей в затхлую глушь провинции. Он вскрывает закономерности, определившие судьбы ее детей, превратившихся в настоящих буржуа.

«Райский дом» Ханса Люнгбю-Йепсена — не только семейная хроника, но и мастерски сделанное художественное обобщение характерных явлений датской действительности. Писатель Эрик Хорскьер отмечает на страницах «Ланд ог фольк», что роман «Райский дом» — заметный вклад в реалистическую литературу Дании.

ДРВ

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Недавно в Ханое состоялась конференция по литературе для детей, созванная Союзом вьетнамских писателей, сообщает журнал «Вьетнам эдвансиз». Детскую литературу представляли на ней тридцать писателей. В центре внимания участников конференции были вопросы издания художественной и учебной литературы для детей. Было решено, что в создание хрестоматий для начальной школы должны внести свой вклад как писатели, так и учителя. Обсуждались также проблемы детского воспитания, роль писателей и школы в формировании юного поколения.

Во Вьетнаме существуют специальные библиотеки для детей, сообщает журнал. Их число постоянно растет.

«РАССКАЗЫ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

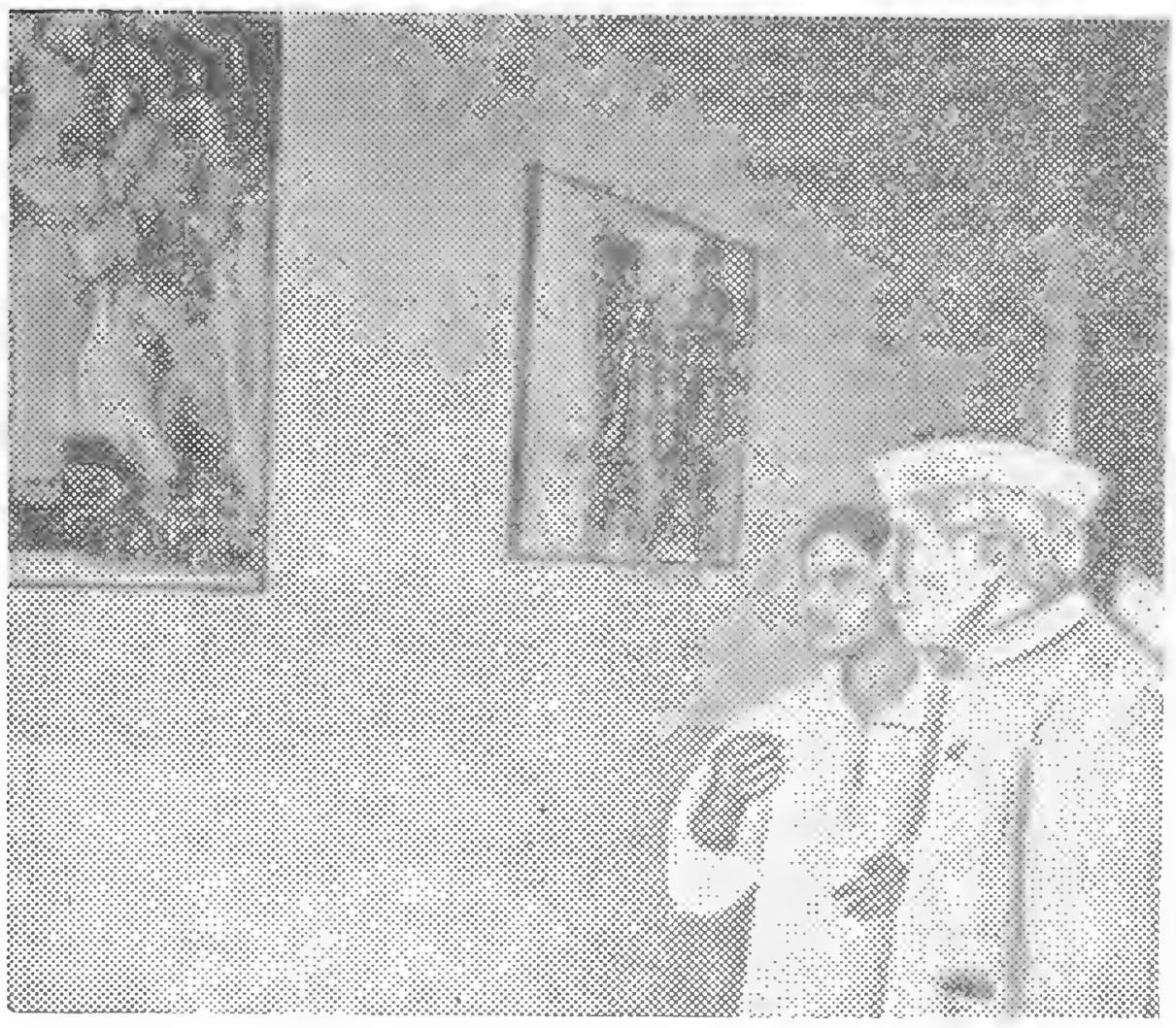
В 1959—1960 гг. в Демократической Республике Вьетнам полным ходом шла коллективизация сельского хозяйства. Вместе с измене-

нием характера труда крестьян менялись их привычки, обычаи, образ жизни.

Этим событиям посвящен фильм режиссера Хоанг Тхая «Рассказы о родной земле», созданный по сценарию Май Нгу.

На примерах, взятых из повседневной жизни вьетнамских крестьян, фильм показывает, как индивидуальные интересы уступают место общественным, как постепенно рушатся страхи отсталой части крестьянства перед приходом на поля трактора.

Своим правдивым отображением жизни вьетнамских крестьян фильм, по оценке печати ДРВ, заслужил теплый прием у зрителей.



Художник Муслех Ахмед знакомит премьер-министра Индии Джавахарлала Неру с выставкой своих работ.

(Еженедельник «Нью эйдж»)

ИНДИЯ

ПИСАТЕЛИ — ЗА МИР

Недавно газета «Нью эйдж» опубликовала статью видного индийского литератора Шивдана Сингха Чаухана, посвященную проблемам мира на земле.

«Писатели Индии,— говорится в статье,— как и писатели любой другой страны, глубоко заинтересованы в сохранении мира. Война в наши дни не пригодна для разрешения международных споров, она превратилась в средство всеобщего уничтожения. Сегодня совершенно неважно — американец ты или француз, англичанин или русский, производит твоя страна смертоносное оружие или ты принадлежишь к нейтральной державе. Термоядерная война не пощадит никого, она поглотит весь земной шар. Только мир может спасти человечество от гибели. Следовательно, мир сегодня для каждого — «дело номер один».

Однако есть еще «бешеные», продолжает Чаухан, которые думают о баснословных прибылях, приносимых им гонкой вооружений и разжиганием военной истерии. Это они непрерывно субсидируют «холодную войну». Это они отравляют умы простых людей пропагандой «холодной войны». Это они подрывают веру человека в будущее, лишают его всех моральных ценностей, развращают его душу, проповедуют расизм, заставляют человека чувствовать себя потерянным и одиноким.

Автор напоминает, что первостепенный долг каждого писателя — непрестанно разоблачать всю эту ложь и обман в своих книгах, поэмах, пьесах.

«Не может быть и речи об идеологическом сосуществовании с торговцами ненавистью,— пишет Чаухан.— Писатели и художники, творцы духовных ценностей, должны объединиться с простыми людьми, создателями ценностей материальных, в борьбе за мир, за прекращение «холодной войны», за правду. Идеологическая борьба против «холодной войны» и ее последствий является неотъемлемой частью всеобщей борьбы за мир. Сегодня писатели и художники должны вести эту борьбу более осознанно, чем они делали это прежде».

У индийских писателей, говорится далее в статье, существуют давние традиции антиимпериалистической борьбы. Наиболее честные из них никогда не стояли в стороне от борьбы за мир. «Нашим писателям,— пишет в заключение Чаухан,— следует ясно себе представить, что свой высокий долг художников они будут выполнять, лишь неизменно утверждая веру в человека и его будущее, а это будущее зависит от прочного мира на земле».

ХУДОЖНИК И СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Недавно в Дели состоялась выставка работ молодого художника Муслеха Ахмеда. Откликаясь на это событие, известный писатель урду Саджад Захир пишет в газете «Нью эйдж», что выставка свидетельствует о «глубоком интересе живописца к судьбе человека». Картины Ахмеда «Радость созидания», «Эксплуатация человека человеком», «Победа и поражение», «Ритм» и другие глубоко эмоциональны, в них выражены искренние чувства художника, его симпатии к людям. Эти работы, по мнению Захира, темпераментны, оригинальны по краскам и композиции, очень выразительны.

«В полотнах Муслеха Ахмеда меня особенно поразило сочетание национального

с общечеловеческим,— пишет Захир. — Выставка свидетельствует о постоянном творческом росте художника».

ПЬЕСА О БОРЬБЕ НАРОДА КЕНИИ

Делийская труппа Всеиндийской ассоциации народных театров поставила на хинди спектакль «Молодая Африка борется» по пьесе Зула Веллани «Нет другого пути». Эта драма рассказывает о борьбе народа Кении за независимость, о его трудной жизни, страданиях и надеждах.

Перед зрителем проходят судьбы многих людей, раскрываются сложные взаимоотношения героев в ходе напряженной борьбы. Не напрасны жертвы, принесенные ради свободы народа, свободы родной земли,— этим убеждением проникнута каждая сцена спектакля, пишет критик еженедельника «Блиц»: «Пьеса весьма актуальна и имеет сегодня прямое отношение к политическим событиям в Анголе, Мозамбике и Южной Африке». Критик высоко оценивает работу постановщика спектакля Р. М. Сингха и всего актерского коллектива.

ИТАЛИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ

Восемь видных литераторов — председатель союза итальянских писателей Либеро Биджаретти, а также Альберто Моравиа, Мария-Луиза Астальди, Джакомо Дебенедетти, Джанна Манцини, Пьер Паоло Пазолини, Джузеппе Унгаретти и Джанкарло Вигорелли — опубликовали открытое письмо, в котором заявляют о своей солидарности с участниками «Похода за безопасность» из города Беллуно в Лонгароне, в том районе на Севере Италии, где произошла памятная катастрофа, приведшая к гибели селения Вайонт. Писатели требуют от властей принятия срочных мер для предотвращения новых наводнений и обвалов, угрожающих жизни тысяч людей, и призывают всех итальянских деятелей культуры и искусства всячески поддерживать участников похода.

«МАЯКОВСКИЙ» В РИМЕ

В римском театре «Сатири» состоялась необычная премьера. Новый спектакль носит название «Маяковский», и играет в нем один-единственный актер — Кармело Бене, загримированный под Маяковского. Бене составил композицию, в которую входят отрывки из поэм «Облако в штанах», «Про это», «Хорошо!», «Владимир Ильич Ленин». Чтение стихов происходит под аккомпанемент рояля.

Как отмечают рецензенты газет, вначале странные наряды актера и пианиста, убранство сцены и, наконец, необычная манера исполнения вызывают некоторое недоумение публики. Однако, вскоре ее захватывает страстная сила стихов Маяковского, и работа Бене вызывает искреннее восхищение.

ДАНИЛО ДОЛЬЧИ ПРОТИВ МАФИИ

Продолжает свою смелую борьбу против мафии сицилийский писатель Данило Дольчи — автор нашумевшей книги «Бандиты из Партинико». Выступая перед парламентской комиссией по расследованию преступной деятельности мафии, писатель вскрыл связи этой организации с американскими гангстерами, а также с правящей партией христианских демократов. Писатель потребовал выяснения странной позиции, которую занимают по отношению к мафии на Сицилии церковь и полиция.

ПЕРЕВОДЫ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Поэт, романист и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини недавно дебютировал в качестве драматурга: на сцене флорентийского театра «Ла Пергола» с успехом прошла премьера комедии «Хвастун», написанной им по мотивам «Хвастливого воина» Плавта. Правда, сам Пазолини говорит, что речь идет всего лишь о «вольном переводе» на итальянский язык этой античной комедии. «Хвастун» поставлен «Труппой четырех», которая затем покажет эту комедию в Риме и Милане. В качестве переводчика Пазолини выступал и ранее: ему принадлежит перевод «Орестеи» Эсхила, которая, однако, не увидела сцены.

Над переводом классической пьесы работает также лауреат Нобелевской премии поэт Сальваторе Квазимодо. Он переводит «Антония и Клеопатру». Постановка этой трагедии на сцене миланского Малого театра приурочивается к четырехсотлетию со дня рождения Шекспира. Это уже шестая пьеса великого английского драматурга, переведенная Квазимодо. Недавно в издании Мондадори вышел его перевод «Бури». Пьесы издаются в специальной серии «Пьесы Шекспира в переводах Сальваторе Квазимодо».

ГЕРОИ ФИЛЬМА — РАБОЧИЕ

На экраны Италии вышел фильм режиссера Марио Моничелли «Товарищи», главная тема которого — стачечная борьба. Действие фильма происходит в Турине на рубеже прошлого и нынешнего столетий.

...На текстильной фабрике, где рабочие трудятся в нечеловеческих условиях по четырнадцать часов в сутки, происходит несколько несча-

Кадр из фильма «Товарищи».
(Газета «Унита»)

стных случаев. Чаша терпения рабочих переполняется, и они объявляют всеобщую забастовку, во главе которой становится учитель-социалист Синигалья (его играет Марчелло Мастройянни).

Перед зрителем проходят кадры, рассказывающие о трудной и упорной борьбе забастовщиков с хозяевами фабрики, с полицией и войсками. Многие рабочие были убиты. Синигалья арестован, забастовка подавлена. Но несмотря на это, рабочие возвращаются на фабрику, не утратив веры в свои силы,— они готовы к новым классовым боям. «Фильм «Товарищи»,— пишет рецензент газеты «Унита», — смотрится с исключительным интересом. Это новое явление в современной итальянской кинематографии».

АНТОЛОГИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Научная фантастика — молодой для итальянской литературы жанр, который, однако, приобретает все большую популярность среди читателей. Недавно в издательстве «Эдиториа ле футуро» вышла первая в истории итальянской литературы антология научно-фантастических произведений. В нее включены рассказы Джильды Музы, Инизеро Кремаски, Андреа Каналь и других писателей. Отмечая свежесть тематики рассказов, вошедших в антологию, рецензент газеты «Паэзе сера» пишет, что эти произведения «представляют собой хороший вклад в мировую фантастику».

ЛИВАН

«ДИВАН АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ»

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», ливанский поэт Адонис работает в настоящее время над составлением четырехтомного «Дивана арабской поэзии». В него войдут избранные произведения арабских поэтов от доисламских времен (V—VI века н. э.) до наших дней. Первый том антологии, включающий доисламскую поэзию и произведения первых веков ислама, уже вышел из печати.

СТИХИ ЛИВАНСКИХ ПОЭТОВ

Появилось два новых сборника поэтических произведений ливанских авторов. Один из них — «Изгнанница» — принадлежит поэтессе Кульсум Малик Араби. Рецензент журнала «Ат-Тарик» называет поэзию Араби «романтической, отличающейся ясным, прозрачным стилем, за которым чувствуется большая человеческая душа».

Второй сборник — «На дорогах осени» — принадлежит поэту Ильясу Лахуду. В лирических стихах автор воспевает природу Ливана.

ЛИВИЯ

ПЕРВЫЕ ПЬЕСЫ

По сообщениям печати, вышел сборник одноактных пьес ливийского писателя Абдаллаха аль-Кавири, автора книги «Праздник на земле. Короткие ливийские рассказы». Эти пьесы — первые произведения ливийской национальной драматургии.

НИГЕРИЯ

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Ни один из трех основных языков народов Нигерии — хауса, ибо и йоруба — не отвечает полностью потребностям быстрого культурного и экономического развития страны, говорится в статье, опубликованной в газете «Уэст африкен пайлот». Не может стать национальным и чуждый нигерийцам английский язык, который в настоящее время является в стране официальным.

Решение проблемы общенационального языка автор статьи видит в создании нового языка путем тщательного отбора грамматического и словарного материала из основных языков страны. Члены специальной комиссии должны прежде всего составить общую грамматику будущего языка, затем отобрать для этого языка словарь по меньшей мере в 25 тысяч слов, а также принять меры к выпуску на новом языке учебников, художественной литературы и периодических изданий. Создание общенационального нигерийского языка может послужить хорошим примером и для других стран, перед которыми стоят такие же проблемы, говорится в статье.

НОРВЕГИЯ

ДЕБЮТ ХАРАЛЬДА ЭРИКССОНА

Герой первого стихотворного сборника Харальда Эрикссона «Полчища рук»— рабочий. Приветствуя появление этой книги, прогрессивная критика подчеркивает, что наконец фигура рабочего заняла надлежащее место в современной норвежской поэзии. «Уже сам по себе факт выхода в свет этого сборника, посвященного исключительно рабочим и их фабричным будням, представляет собой радостное событие»,— пишет

Поэт Харальд Эрикссон.
(Газета «Фрихетен»)

рецензент норвежской газеты «Фрихетен».

Харальду Эрикссону 54 года, он бывший рабочий.

ПЕВЕЦ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

В норвежском издательстве «Ашехоуг» вышла в свет книга старейшего писателя Миккьеля Фёнхюса «Приключение в Скредальсэльви». Жанр этой книги, по словам критика Мартина Нага, с трудом поддается определению: живая, непосредственная форма повествования одинаково напоминает и очерк, и новеллу, и даже стихотворение в прозе. Трудность «классификации» жанра нового произведения Фёнхюса связана с глубокой самобытностью его творчества. Автор заставляет читателя словно увидеть то, что стоит перед его собственным писательским взором — ласковую или суровую, но всегда прекрасную родную природу. Называя Фёнхюса «норвежским Пришвиным», Мартин Наг замечает, что «от книги «Приключение в Скредальсэльви» вкусно пахнет Норвегией».

ОАР

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Египетский литературовед Анвар аль-Гинди подготовил к печати многотомный труд «Вехи современной арабской литературы». В ближайшее время, пишет обозреватель журнала «Аль-Адиб», выйдут в свет следующие его выпуски: «Арабский язык — его защитники и враги», «Современная арабская новелла», «Литературное творчество арабских женщин», «Переводы в современной арабской литературе».

После завершения основного труда, который аль-Гинди готовил к печати в течение пяти лет, выйдут дополнительные тома, посвященные современной арабской культуре и различным аспектам литературной жизни страны.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОПЕРНОГО ТЕАТРА

В Александрии, по сообщениям египетской печати, началось строительство здания оперного театра. Он будет вмещать две тысячи зрителей. Предполагают, что свой первый сезон театр откроет в октябре нынешнего года.

ПОЛЬША

О ДРУЖБЕ, РОДИВШЕЙСЯ В ОГНЕ

Тема боевого содружества советского и польского народа в борьбе против фашизма все чаще встречается в произведениях польской кинематографии. Кинорежиссер Леонард Бучковский недавно приступил к съемкам фильма «Прерванный полет». Его герой — советский летчик, которого польские товарищи по-дружески называют просто Володей.

...Из-за сильного тумана был отменен вылет советского пассажирского самолета из Варшавы в Москву. Первый пилот — Володя — получил приглашение от одного из своих польских друзей поехать на свадьбу к его сестре, в село, расположенное недалеко от города. Друзья пускаются в путь на мотоцикле и по дороге проезжают те места, где Володе довелось партизанить во время войны.

Значительная часть фильма рассказывает о том, что пришлось пережить здесь советскому воину двадцать лет назад... Его самолет был подбит гитлеровцами и загорелся. Израненный летчик с трудом добрался до деревни, где его и приютили польские патриоты, впоследствии казненные за это фашистами. В доме крестьянина Володя залечивает раны, здесь к нему приходит и первое сильное и чистое чувство к девушке Уле. Не их вина, что после окончания войны они не смогли встретиться...

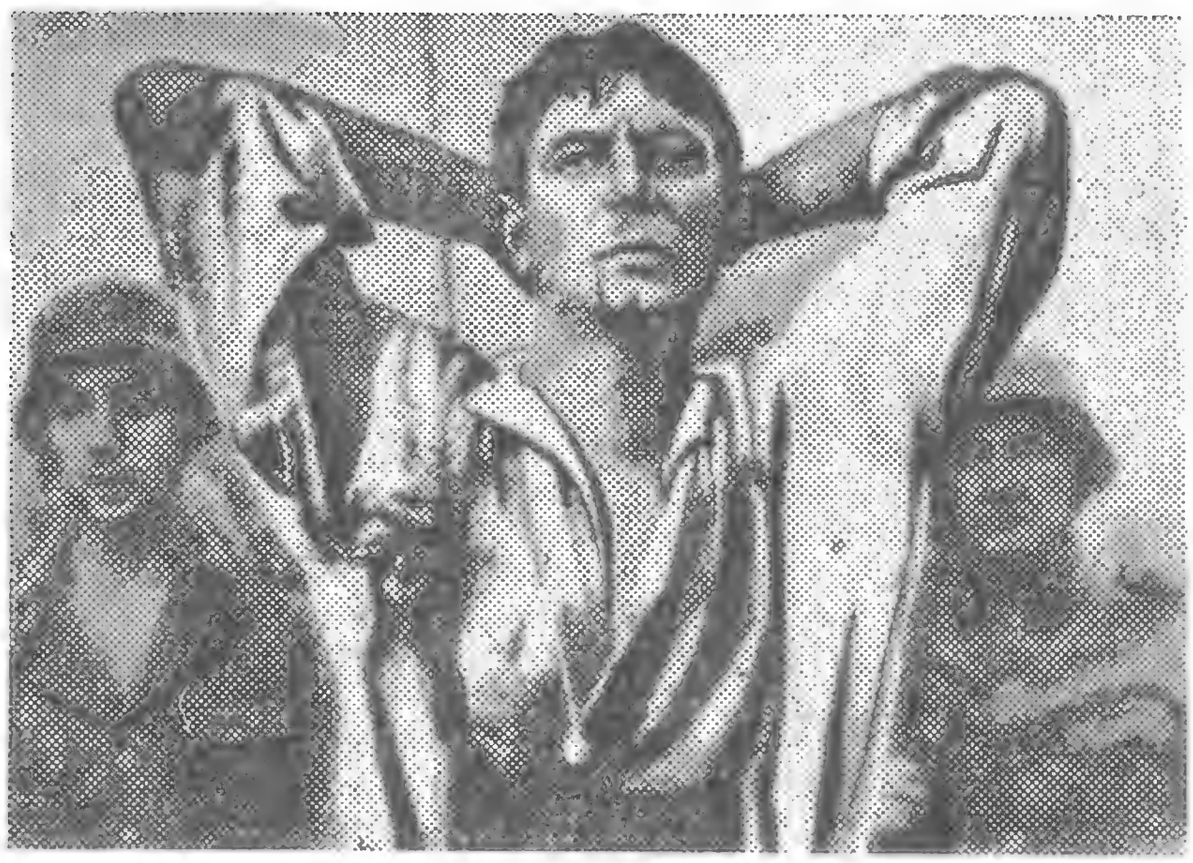
Съемкам нового фильма посвящен репортаж Эльжбеты Смолень-Василевской, помещенный в еженедельнике «Фильм». Роль советского летчика исполняет актер московского театра Сатиры Александр Белявский. В роли Ули снимается известная киноактриса Эльжбета Чижевская.

ПАМЯТИ СТАРЕЙШЕГО ПИСАТЕЛЯ СИЛЕЗИИ

Последняя книга Густава Морцинека — «Повесть о людях из поезда» — вышла еще при жизни писателя. Бывший шахтер, он всю свою жизнь прожил в Силе-

Кадр из нового фильма Леонарда Бучковского «Прерванный полет».

(Еженедельник «Фильм»)



зии, если не считать нескольких лет, проведенных в гитлеровском концлагере и в скитаниях на чужбине.

Покойного писателя не без оснований называли «певцом Силезии и шахтерской жизни» — большинство его произведений посвящено прошлому и настоящему силезских шахтеров. За свою многолетнюю творческую деятельность Морцинек создал 26 повестей и романов, выпустил 30 сборников рассказов и публицистических статей, которые вышли общим тиражом более двух миллионов экземпляров.

Морцинек поддерживал тесную связь с народом, интересовался трудом людей, их бытом, языком. «Я ищу в Силезии нового человека — творца, того, кто перековывает старое железо в огромной кузнице, кто выплавляет из руды новые, еще неведомые ценности»,— говорил писатель.

По словам рецензента еженедельника «Культура» Янины Прегер, «Повесть о людях из поезда» — сборник психологических новелл. Их герои — люди современной Силезии, к которым писатель всегда питал величайшую симпатию. Писатель стремился рассказать в своих новеллах о правде жизни, увидеть в человеке истинную его ценность. По словам рецензента, Морцинек не принадлежал к тем моралистам, которые замечают в жизни только темные ее стороны. Герои его новелл — крестьянин, учитель, железнодорожники, школьники, незадачливый воришка, ксендз. Повествование оживляется сочным народным языком, пословицами, шутками.

Отдавая должное высокому мастерству Морцинека-рассказчика, его умению увидеть интересные человеческие судьбы, Прегер подчеркивает, что неизменной особенностью творчества писателя был неослабевающий интерес к жизни людей труда.

СТИХИ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Варшавское издательство «Чительник» выпустило сборник новых стихотворений «Завтра жатва» Ярослава Ивашкевича, которому в феврале этого года исполняется семьдесят лет. По словам рецензента журнала «Твурчость», стихотворения, вошедшие в сборник, объединены общностью тематики и являются произведениями гражданской лирики. «Это настоящая поэтическая публицистика,— пишет рецензент,— не отказывающаяся от метафор, символики и парафраз».

Отмечая гуманизм и гражданственность творчества Ивашкевича, польская критика в то же время подчеркивает новизну и самобытность стихов юбиляра.

На VII международном кинофестивале в Сан-Франциско основная премия — «Золотые ворота» — была присуждена фильму режиссера Войцеха Хаса «Как быть любимой» по рассказу Казимежа Брандыса. Исполнительница главной роли Барбара Краффтувна (на снимке) получила премию за лучшее исполнение женской роли.

(Еженедельник «Фильм»)

ВЫСТАВКА РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

В варшавском выставочном зале Захенце недавно состоялась вторая выставка работ польских художников-реалистов. На первой выставке были представлены произведения 25 авторов, на нынешней — 30. «Вполне естественно,— пишет рецензент еженедельника «Культура» Лех Грабовский, — что произведения участников этой выставки отличаются друг от друга техникой рисунка и проблематикой, изобразительными средствами и творческим подходом к теме».

Среди наиболее интересных работ, представленных на выставке, рецензент называет произведения Рышарда Скупина (сообщение о нем см. в «Иностранной литературе» № 2, 1963), Хелены Краевской, Антони Лыжваньского. Работы последнего, посвященные строительству и корабельным верфям, по словам рецензента, относятся к наиболее впечатляющим экспонатам выставки.

РУМЫНИЯ

ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

Имя драматурга Александру Войтина все чаще и чаще можно встретить на театральных афишах. В театрах столицы и крупных городов Румынии с успехом прошла его пьеса-трилогия «Люди в борьбе» — о решающих этапах в истории коммунистического движения Румынии. В первой пьесе — «Люди, которые молчат» — рассказывается о подпольной борьбе коммунистов в 30-е годы. Вторая пьеса — «Люди побеждают» — посвящена периоду освобождения. В последней

Сцена из пьесы Александру Войтина «Портрет», поставленной в театре имени Лючии Стурзы Буландры. В главных ролях: Лазэр Врабле и Иляна Предеску.

(Журнал «Флакэра»)

пьесе — «Анкета» — автор показал своих героев в наши дни.

В нынешнем сезоне в румынских театрах идет новая пьеса Александру Войтина — «Портрет».

Как отмечает рецензент еженедельника «Контемпоранул», последняя пьеса Войтина ставит острые моральные проблемы современной жизни.

НОВЫЙ РОМАН ЭУДЖЕНА БАРБУ

Герои нового романа «Сотворение мира» известного писателя Эуджена Барбу — рабочие типографии. В интервью корреспонденту журнала «Вьяца ромыняскэ» Барбу сказал, что это книга о становлении новой действительности, о решающей борьбе между старым и новым. В настоящее время писатель заканчивает работу над этим произведением. «Сотворением мира» завершается цикл книг, в который входит «Яма», «Ойе и его сыновья» (опубликована в «Иностранной литературе» №№ 11—12, 1959), «Северное шоссе», посвященных теме революционной борьбы рабочего класса.

СИРИЯ

РАССКАЗЫ АЛЬФЫ АДЛИБИ

Вышел из печати сборник рассказов писательницы Альфы Адлиби «Прощай, Дамаск». Тематика рассказов, как сообщает рецензент литературного журнала «Аль-Марифа» («Знание»), разнообразна. Часть их посвящена национально-освободительной борьбе арабов. В других рассказах Адлиби описывает быт арабской семьи, в частности, положение сирийской женщины и борьбу с предрассудками.

«Прощай, Дамаск» — уже не первая книга Альфы Адлиби. Ее предыдущий сборник — «Сирийские рассказы» — пользовался успехом у читателей.

По мнению рецензента журнала, рассказы Адлиби отличает яркий национальный колорит, любовь к родине и ее древним традициям. Язык писательницы близок к народному, изобилует пословицами и изречениями. Нозый сборник Адлиби, утверждает рецензент, свидетельствует о дальнейшем росте ее мастерства.

ТВОРЧЕСТВО ФАДЫЛЯ АС-СИБАИ

Видный иорданский литератор Иса-ан-Наури опубликовал в журнале «Аль-Адиб» статью о сирийском писателе Фадыле ас-Сибаи. В своей статье ан-Наури анализирует четыре сборника рассказов ас-Сибаи: «Желание и встреча», «Гость с Востока», «Последняя ночь» и «Неисчислимые звезды».

Основное место в творчестве ас-Сибаи занимает изображение жизни трудового люда Алеппо, этой северной столицы Сирии, крупнейшего промышленного центра.

Рассказы ас-Сибаи характеризуются большой простотой, ибо, как замечает ан-Наури, проста сама жизнь, которую они рисуют. Многие из них носят характер «историй», записанных со слов случайного собеседника в кафе или на улице. Герои этих рассказов очень разные. Тут и босоногие мальчишки, торгующие кизяком и пирожками, и слепой шейх, тайно копящий деньги, и молодой чиновник, боящийся признаться в любви женщине, которая стоит выше его по положению, и девушка-машинистка, дающая отпор хозяину-ловеласу, и живущие в постоянной нужде фабричные рабочие. «Прослеживаешь эти пестрые и многоликие картины, знакомишься с различной социальной средой и как бы видишь все это воочию»,— пишет ан-Наури.

США

РАННИЙ МАРК ТВЕН

Печать сообщает о выходе сборника ранних произведений Марка Твена, созданных им в период между 1863 и 1868 гг. Сборник, носящий название «Сан-Франциско Марка Твена», включает рассказы, заметки, очерки, статьи, написанные для газет и журналов во время пребывания писателя в Неваде и в Калифорнии. Вышедшая книга, по словам рецензента «Бук уик» (приложение к газете «Нью-Йорк геральд трибюн»), содержит характерные произведения раннего Твена, свидетельствующие о его неиссякаемом юморе, наблюдательности и остром сатирическом взгляде на жизнь. Сборник, по мнению рецензента, прекрасно иллюстрирован рисунками художника Эдварда Джампа. В книге имеются также иллюстрации художника Тру Уильямса к первым изданиям ранних работ Твена.

АНТИРАСИСТСКИЙ ФИЛЬМ

Режиссеру Роджеру Корману удалось снять фильм «Чужой» ценой больших усилий. Дело в том, что в этом фильме показана школа в небольшом городке на Юге, куда несколько негритянских детей ходят учиться, каждодневно рискуя жизнью. Есть в фильме и «вежливый молодой человек» Уильям Шатнер, который, как потом выясняется, состоит в фашистской организации и приехал в городок только затем, чтобы спровоцировать выступления сторонников сегрегации — «бешеных».

Фильм «Чужой», как свидетельствует рецензент газеты «Дейли уоркер» Нина Хиббин, произведение правдивое и проникновенное. «Я сидела,— пишет она,— и трепетала от волнения за жизнь этих негритянских детей».

Нина Хиббин проливает свет на то, в каких условиях Роджер Корман создавал свой фильм. Никто не хотел финансировать такую картину, и Корман сделал ее на собственные средства и средства своего брата. Многие известные актеры, которым Корман предлагал главную роль, отказывались, так как опасались ме-

сти со стороны «бешеных». В конце концов большинство ролей пришлось поручить непрофессиональным актерам.

«Этот фильм,— пишет Нина Хиббин,— должны посмотреть все».

ГОНОРАРЫ И ПРИБЫЛИ

То обстоятельство, что большинство писателей в США, за исключением знаменитостей и авторов «бестселлеров», чтобы свести концы с концами, вынуждено искать заработка на стороне, ни для кого не является новостью. Однако в последнее время американская печать — и, в частности, еженедельник «Ньюсуик» — вновь пишет об ухудшении положения писателей. За последние десять лет авторские гонорары сократились, писатели получают значительно меньший процент от сумм, вырученных за продажу их книг. В то же время книжные издательства получают все увеличивающиеся прибыли.

Журнал приводит некоторые примеры. Томас Кэрли в течение двух лет писал свой роман «После Евы и Адама», завоевавший успех читателей. «Я выручил за него только тысячу долларов,— говорит писатель,— но и их мне пришлось вернуть на покрытие взятого мной аванса».

«Я ищу какую-нибудь работу»,— говорит 36-летний Альфред Кроссмен. Его роман «Множество скользких ошибок» получил отличные отзывы.

Вместо того чтобы создавать новые книги, пишет «Ньюсуик», этим одаренным людям приходится в лучшем случае заниматься преподаванием, а то и просто мыть посуду в ресторанах.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

НОВЫЙ ЕЖЕГОДНИК

«Сьерра-Леоне лэнгуидж ревью» — таково название нового журнала, посвященного проблемам языкознания, выход которого явился событием в культурной жизни страны. Журнал издается во Фритауне отделением современных европейских и африканских языков при университетском колледже «Фоура бэй колледж». Цель издания — освещение проблем, связанных с языками страны. Журнал будет выходить раз в год.

ФИНЛЯНДИЯ

«У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ»

Недавно в Финляндии проходил конкурс на лучшую книгу для юношества с целью отбора произведений для конкурса северных стран. Среди лучших — повесть Паули Койо «У Христа за пазухой». Герой ее — школьник-подросток Сеппо, который во время каникул работает в лавке прохладительных напитков «У Христа за пазухой».

Положительно оценивая повесть Паули Койо и подчеркивая ее воспитательное значение, рецензент газеты «Кансан уутисет» пишет: «О праздном времяпрепровождении молодежи написано немало книг, несравненно меньше сказано о ее трудовой деятельности, хотя это имеет очень важное значение для формирования характера человека. Повесть будет прочитана с большим интересом, в особенности трудящейся молодежью».

«МАЛОКРОВИЕ НОВЕЙШЕЙ ЛИРИКИ»

Стихотворный сборник «Весна» молодой поэтессы Пиркко Хяннинен послужил поводом для разговора о судьбах современной финской поэзии на страницах газеты «Кансан уутисет».

Критик Пентти Саарикоски отмечает посредственность, однообразие и инертность нынешней модернистской поэзии в Финляндии, равно как и отсутствие сколько-нибудь серьезных критических исследований основ этой поэзии.

Сборник «Весна» был выбран совершенно произвольно, но он весьма показателен, отмечает Саарикоски. Однако есть поэты, которые еще более достойны представлять «малокровие новейшей финской лирики».

ФРАНЦИЯ

ОТКРЫТИЕ ТРИСТАНА ТЗАРА

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал исследование недавно умершего французского поэта Тристана Тзара о Рабле. Исследователь доказал, что считавшееся до сих пор анонимным произведение «Великое и истинное всеобщее предсказание для всех климатов и наций, переведенное с арабского на французский, произведение великого Али Абенражеля...» принадлежит перу Франсуа Рабле.

Это произведение относится к числу малоизвестных. Оно написано в стихотворной форме и состоит из 225 четверостиший. С помощью особого, открытого им способа расшифровки анаграмм и акростихов Тристану Тзара удалось обнаружить скрытый смысл стихов, остававшихся до сих пор непонятными. Исследователь определил точное время написания этого произведения и восстановил связанные с ним обстоятельства жизни великого писателя, в частности, историю его отношений с женщиной, которая послужила прототипом образа Гаргамели и стала матерью его сына.

Тзара не только приводит даты и имена, до сих пор неизвестные биографам Рабле, но и исследует несомненное влияние открытых им событий в жизни Рабле на его творчество.

РУССКАЯ КЛАССИКА НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

«Театр де л'Эст паризьен» недавно показал инсценировку повести Н. В. Гоголя «Шинель». В спектакле приняли участие Жан Тюрпен, Жорж Верлер и другие.

Сцена из спектакля «Месяц в деревне» в парижском театре «Ателье» (в ролях — актеры Дельфин Сейриг и Бернар Руссело).

(Газета «Либерасьон»)

ТНП поставил пьесу Максима Горького «Дети солнца». Главные роли исполняют Эмманюэль Рива, Катрин Селлерс и Жорж Вильсон.

В театре «Ателье» идет пьеса И. С. Тургенева «Месяц в деревне» с участием Дельфин Сейриг и Бернара Руссело. Театр-студия на Елисейских полях показал парижанам инсценировку «Обломов» по роману И. А. Гончарова.

КНИГИ АФРИКАНСКИХ АВТОРОВ

В издательстве «Презанс африкен» вышел первый том антологии современных африканских романистов, подготовленный негритянским писателем Леонардом Сенвиллем. «Я стремился дать наиболее полное представление о современных негритянских литературах»,— сказал Сенвилль в интервью, опубликованном в газете «Юманите».

Сенвилль построил антологию по тематическому принципу. Первый том объединяет произведения, посвященные теме родины и пробуждения национального самосознания, описанию нравов и традиций; он рассказывает о тяготах колониального гнета. В своей антологии Сенвилль показывает исторически обусловленные различия негритянских африканских литератур, а также то общее, что их объединяет, — национально-освободительную борьбу.

Сам Леонард Сенвилль только что закончил роман о революционном движении на Мартинике в 1955—1956 гг. Книга выйдет в новой серии издательства «Презанс африкен» — «Негритянские писатели мира». «Задача этой серии,— говорит Леонард Сенвилль,— помочь борьбе за подлинную независимость негритянских народов». В ней предполагается опубликовать роман Поля Нигера «Лягушки горы Кимбо» и поэтические произведения Эмиля Румера, направленные против распространения американского влияния на Гаити.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

О ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ

Писательница Ленка Гашкова — признанный в Чехословакии мастер репортажа о социалистических стройках. Известна ее книга о строительстве Орлицкой плотины — «С богом, старая река». А недавно в Издательстве политической литературы вышла ее новая книга репортажей «Нефть течет через границу» — о строительстве нефтепровода между Советским Союзом и Чехословакией.

По словам рецензента газеты «Руде право», Гашковy покорил огромный размах строительства, всепобеждающая сила человеческого разума. Автор сравнивает нефтепровод с кровеносной артерией, несущей через тысячи километров свою животворную силу. В Чехословакии эта нефть превращается в киловатты электроэнергии, в тысячи лошадиных сил мощных установок, приводящих в движение промышленные предприятия.

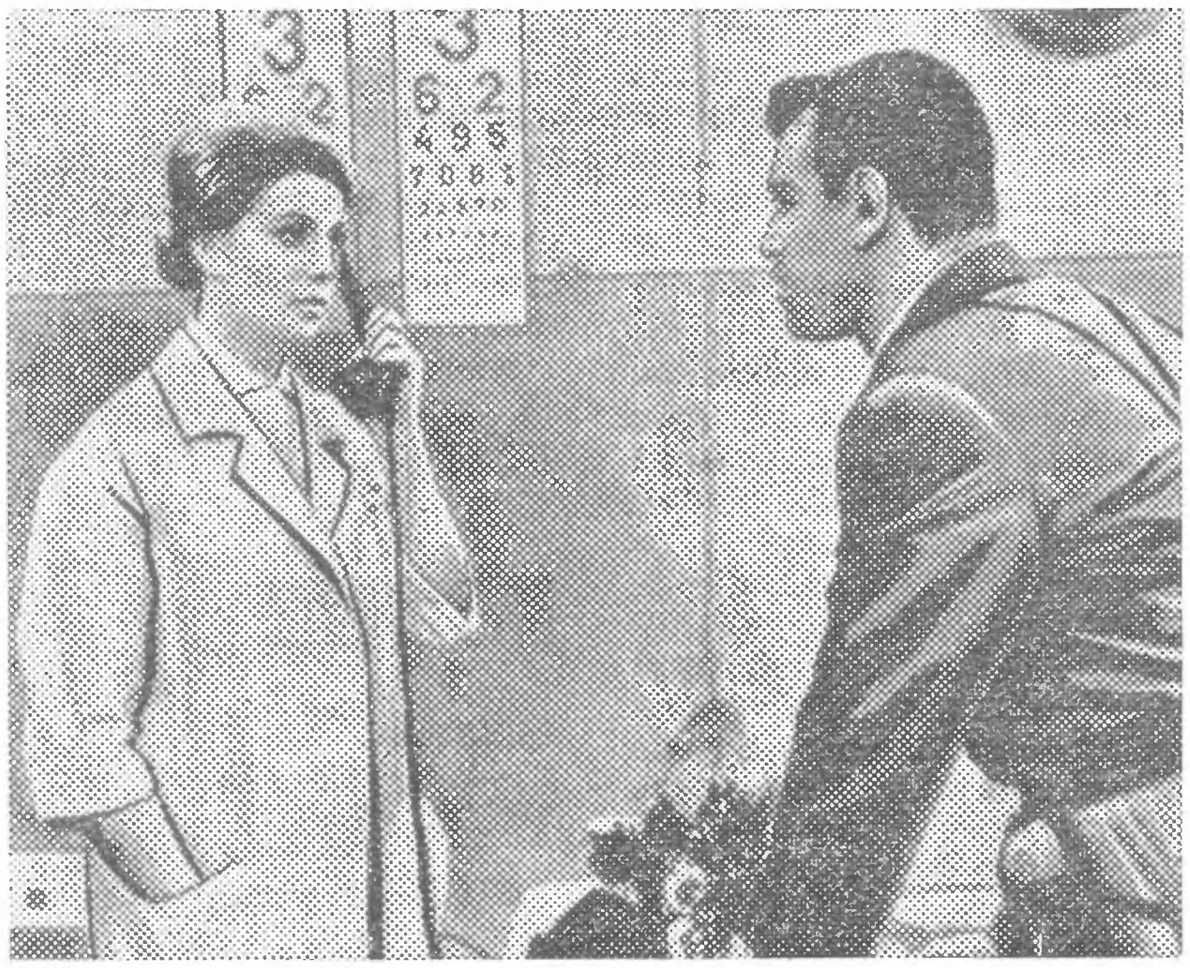
Книга Гашковой изобилует литературными зарисовками — подлинными портретами строителей нефтепровода. Среди них — русские и чехи, украинцы и словаки, немцы, венгры, поляки. Все они — обыкновенные люди, вершащие дела великой стройки, люди, объединенные благородной идеей мира и дружбы между народами.

ШВЕЙЦАРИЯ

ЦЕНЗУРА И «СТАРЕЙШАЯ» ДЕМОКРАТИЯ

«Как известно, — пишет обозреватель западногерманской газеты «Вельт» Гейнц Липман, — швейцарская демократия считается старейшей в мире. Она настолько стара, что в стране до сих пор не решаются предоставить избирательные права женщинам... Что касается цензуры, то она существует и в Швейцарии, хотя и без названия».

Обозреватель приводит несколько примеров деятельности «анонимной» цензуры. Так, после премьеры нашумевшей пьесы Рольфа Хохгута «Наместник божий» в Базельском театре городские власти разрешили дальнейшие спектакли, лишь получив заверения от дирекции театра, что из текста будут «изъяты все недостойные места». Далеко не анонимно, по словам Липмана, прозвучал запрет выступления Давида Ойстраха в Цюрихе. Начальник местной полиции «обосновал» это тем, что всемирно известный скрипач — советский гражданин и потому «политически неблагонадежен»... В отдельных кантонах была запрещена демонстрация нескольких фильмов, получивших международное признание, в том числе фильм «Не убий!» французского режиссера Отан-Лара. «Большинство швейцарских газет,— пишет обозреватель, — все решительнее протестует против подобных попыток ограничить свободу слова и культурного обмена между народами».



Новый югославский фильм «Сигналы над городом» рассказывает об одной смелой операции, проведенной партизанами в 1941 году в Карловаце.
...В город прибывают два подпольщика — Томо и Роберт. Они должны связаться с действующим в окрестностях Карловаца партизанским отрядом. Однако на вокзале подпольщиков опознают. В перестрелке фашисты ранят Томо и берут его в плен. Переодетые в военную форму партизаны совершают смелый налет на больницу, где содержат Томо, и при содействии симпатизирующей партизанам женщины-врача спасают товарища.

(Журнал «Фильмови новины»)

ШВЕЦИЯ

«ДОЛЖНА ЛИ ЛИТЕРАТУРА ОКУПАТЬСЯ?»

С таким вопросом обратился к читателям со страниц шведской газеты «Ню даг» писатель Карл Отто Саморе. «Иными словами,— сказал писатель,— допустимо ли, чтобы такая важная область культуры, как наша книгоиздательская деятельность, условия жизни шведских писателей зависели исключительно от коммерческих и частнокапиталистических интересов?»

К этому вопросу нужно подходить необычайно серьезно, подчеркнул Саморе, потому что жертвой капиталистического произвола становятся литература и вся национальная культура в целом, несущая огромные потери. Бывает так, что публикация книги приостанавливается, несмотря на ее несомненную художественную ценность, только потому, что в ней содержатся идеи, которые не устраивают политических заправил.

«Пора отказаться от повторения избитой легенды о том, будто талант художника расцветает только тогда, когда его обладатель голодает, — заявил Саморе. — Материальная необеспеченность писателя, напротив, подтачивает его творческие силы». В интересах шведской литературы и ее создателей — шведских литераторов Саморе предложил основать в стране государственное книжное издательство, которое должно отвергнуть коммерческий принцип и издавать исключительно высокохудожественные произведения.

ЮГОСЛАВИЯ

НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Югославский драматический театр в Белграде открыл новый сезон пьесами Мирослава Крлежи. Впервые поставлена на сцене драма «Саломея» с Ольгой Спиридонович в главной роли. Готовится к постановке «Маскарад» Крлежи, а также инсценировка его романа «На грани рассудка».

Балетная группа белградского Народного театра возобновила «Охридскую легенду» Христича, которая пойдет в этом сезоне в трехсотый раз. Поставлен балет Сергея Прокофьева «Золушка: Режиссер постановки — советский хореограф Н. А. Анисимова.

В Современном театре режиссером Александром Огняновичем осуществлена инсценировка романа Оскара Давичо «Бетон и светляки».

СЪЕЗД ПЕРЕВОДЧИКОВ

В Илидже, близ Сараева, состоялся съезд переводчиков, на котором были рассмотрены вопросы перевода иностранной литературы на языки народов Югославии, а также перевода произведений югославских писателей на другие языки. В целях повышения качества переводов было предложено объявлять конкурсы на переводы наиболее значительных произведений зарубежной и отечественной литературы. Все рекомендации о переводах должны исходить от Союза переводчиков Югославии.

На съезде, сообщает газета «Борба», шел разговор о необходимости противодействовать переводам низкопробных произведений, а также о том, что ценные и полезные книги следует издавать в общедоступной дешевой серии.

Председателем нового правления Союза переводчиков Югославии на съезде избран Илия Кецманович

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ — CHARLES DOBZYNSKI (род. в 1929 г.) — французский поэт, автор нескольких сборников стихов, в том числе «Буря надежды» («Une tempête d'espoir», 1955) и «При свете любви» («Au claire de l'amour», 1955). В 1963 году в журнале «Аксьон поэтик» вышел цикл его стихов «Осадочные породы» («Sédimentaire»).

Стихотворение «Где ты, Испания?» взято из еженедельника «Франс нувель» (сентябрь 1963 г.).

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (род. в 1894 г.) — польский поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, член Всемирного Совета Мира. Ему принадлежит много сборников рассказов, в том числе «Новая любовь» («Nowa miłość», 1946), «Итальянские новеллы» («Nowele włoskie», 1947), «Услышанные рассказы» («Opowieści zasłyszane», 1955), повесть «Девушка и голуби» («Dziewczyna i gołębie» (см. журнал «Иностранная литература» № 1 за 1961 г.), повесть «Влюбленные из Мароны» («Kochankowie z Marony», 1961), роман «Хвала и слава» («Sława i Chwała», 1956—1962), сборники стихов и критических статей.

Статью о творчестве Я. Ивашкевича см. в этом номере журнала.

НИКАНОР ПАРРА — NICANOR PARRA (род. в 1914 г.) — чилийский поэт, автор сборников «Стихи и антистихи» («Poemas y antipoemas», 1954), «Салонные стихи» («Versos de salón», 1962), стихотворения «Манифест» («Manifiesto»), изданного в 1963 г. листовкой, и других произведений.

Публикуемые стихи взяты из указанных изданий.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — ERNEST HEMINGWAY (1899—1961) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии. Произведения Э. Хемингуэя неоднократно издавались на русском языке.

Публикуемый в этом номере рассказ взят из американского журнала «Эсквайр» (февраль 1939 г.).

РЫШАРД МАТУШЕВСКИЙ—RYSZARD MATUSZEWSKY (род. в 1914 г.) — польский критик и литературовед, автор книг «Послевоенная литература» («Literatura po wojnie», 1948), «Критические очерки» («Szkice krytyczne», 1954), «О поэзии Владислава Броневского» («O poezji Władysława Broniewskiego», 1955), «История польской литературы (1918—1955)» («Historia literatury polskiej (1918—1955)», 1956).

Публикуемая статья получена в рукописи.

КРИСТА ВОЛЬФ — CHRISTA WOLF (род. в 1929 г.) — немецкая писательница (ГДР), автор книги «Московская повесть» («Moskauer Novelle», 1961), романа «Расколотое небо» («Der geteilte Himmel», 1963), опубликованного в журнале «Иностранная литература» № 1 за 1964 г.

Публикуемая в этом номере статья получена в рукописи.

МАРТИН НАГ — MARTIN NAG (род. в 1927 г.) — норвежский литературный критик. М Нагу принадлежит также ряд книг и статей о советской литературе. Его статью о прогрессивных тенденциях в современной норвежской литературе см. в № 1 за 1958 г. журнала «Иностранная литература».

Публикуемый в этом номере материал написан для нашего журнала.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — VLADIMIR POZNER (род. в 1905 г.) — французский писатель и публицист. Автор книг «Разъединенные Штаты Америки» («Les Etats-Désunis», 1937), «Воспоминания о Горьком» («Souvenirs sur Gorki», 1957), «Кто убил Х. О. Барелла?» («Qui a tué H. O. Burrell?», 1952), романов «Сутки траура» («Deuil en 24 heures», 1956), «Место казни» («Le lieu du supplice», 1959), «Поднятие занавеса» («Le lever du rideau», 1961).

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ДУШАН ГАМШИК — DUŠAN HAMŠIK (род. в 1930 г.) — чехословацкий писатель и журналист, автор книги «Это начиналось в Яхимове» («Začatek v Jahymove»), в русском переводе вышла в 1963 г.

ИРЖИ ПРАЖАК — JIŘI PRAŽÁK (род. в 1924 г.) — чехословацкий писатель и журналист, автор книги «Враг в укреплении» («Nepřitel mezi hradbeami», 1956).

Документальная повесть «Бомба для Гейдриха» («Bomba pro Heydricha») вышла отдельным изданием в 1963 году и получила премию журнала «Пламен».

ИВОННА ГАСАН — IVON HASAN (род. в 1925 г.) — румынская художница и искусствовед. Ее перу принадлежит ряд очерков о прогрессивных художниках мира.

Статья об А. Рефрежье, публикуемая в этом номере, взята из румынского журнала «Артэ пластика».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ** (отв. секретарь), **М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **Ю. Н. Горохов**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 04133. Сдано в производство 11/XII 1963 г. Подписано к печати 8/II 1964 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 2311

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.